



РОБЕРТ
ВИГПЕР

РИМСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

УДК 94(3)
ББК 63.3(0)
В 51

Переиздание 2012 г.

Виппер Р.Ю.

В 51 Римская цивилизация / Р.Ю. Виппер. – М.: Алгоритм, 2017 – 416 с. – (Величайшие цивилизации мира).

ISBN 978-5-906914-02-6

«Едва ли найдется человек, настолько легкомысленный и равнодушный к окружающей жизни, который бы не заинтересовался вопросом о том, какими средствами, какими приемами политики римляне в промежуток менее 53 лет победили почти все страны населенного мира и подчинили их своей единой власти — факт в истории беспримерный», отмечал древнегреческий историк Полибий и был прав.

Как же зарождалась Римская цивилизация? Как Рим завоевывал Европу и Средиземноморье?

Крупнейший отечественный специалист по истории Древнего Рима — Роберт Юрьевич Виппер — в своем фундаментальном труде «Римская цивилизация» дает широкую панораму древнеримской жизни во всех ее аспектах со времени зарождения Римской цивилизации в V веке до н.э. и до позднейшего периода principatus Августа. Автор подробно описывает условия возникновения великой Римской империи, показывает, почему она стала основой того, что мы сегодня называем «западной цивилизацией».

УДК 94(3)
ББК 63.3(0)

ISBN 978-5-906914-02-6

© Виппер Р.Ю., наследники, 2016
© ООО «ТД Алгоритм», 2016

Массово-политическое издание

Роберт Юрьевич Виннер

РИМСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

*Редактор Е.Ю. Бузев
Художник Б.Б. Протопопов*

ООО «ТД Алгоритм»

Оптовая торговля:
ТД «Алгоритм» +7 (495) 617-0825, 617-0952
Сайт: <http://algorithm-izdat.ru>
Электронная почта: algorithm-kniga@mail.ru

Сдано в набор 01.10.16. Подписано в печать 21.11.16.
Формат 60х90 1/16.
Печать офсетная.
Печ. л. 13. Тираж 1200 экз. Заказ № .



1

РИМ И ИТАЛИЯ ДО ОБРАЗОВАНИЯ ИМПЕРИИ

Возникновение Римской империи произвело в современном ей культурном мире сильнейшее впечатление. У одного из самых широкообразованных наблюдателей того времени, Полибия, писавшего в 40-х годах II века, когда Рим вступал в новую эру захвата заморских владений, это впечатление отразилось в первых же почти словах его большого исторического труда. «Едва ли найдется, — говорит Полибий, — человек, настолько легкомысленный и равнодушный к окружающей жизни, который бы не заинтересовался вопросом о том, какими средствами, какими приемами политики римляне в промежуток менее 53 лет (считая с конца 2-й Пунической войны) победили почти все страны населенного мира и подчинили их своей единой власти — факт в истории беспрецедентный»¹.

Мы выражаем теперь иначе основной исторический вопрос. Мы спрашиваем: какие социальные мотивы, какие группировки интересов вызвали империализм, какие классы направляли страну на политику расширения, и, наконец, уже какая общественно-политическая организация осуществила этот рост колониального могущества? Но мы также исходим от конечно-го факта и также ищем объяснения его во всей совокупности условий предшествующей поры. Что нам могут в этом отношении дать античные писатели?

Полибий, воспитавшийся на политической науке греков, на развитом государственном праве Эллады, превосходно знакомый со сложным хозяйством и администрацией эллинистических монархий, был поражен необыкновенно быстрыми и неотразимыми успехами нового государства, в котором центральная община сохраняла патриархальный политический строй,

¹ Polyb., I, 1.

которое было лишено правильных финансов и держалось натуральной повинностью массы мелких и средних землевладельцев, живших раздробленной и автономной жизнью, очень отсталых по культуре и технике. Какими приемами политики римляне достигли господства, в чем секрет государственного и военного строя, создавшего необычайные успехи расширения их державы, — вот что занимало более всего Полибия, и он старался выяснить путем непосредственного изучения особенностей устройства Рима и италийского союза. Полибий был при этом глубоко убежден, что нельзя писать историю исключительно по книгам; историки, работающие таким образом, неизбежно лишены ясного понимания явлений, так как оно дается исключительно личными переживаниями.

В виду этих качеств труда Полибия, его необыкновенного интереса к своему сюжету, его умения ясно и определенно ставить вопросы, его чуткости, как наблюдателя, составленный им очерк римской конституции имеет для нас неоценимое значение. Ведь мы не располагаем никаким другим описанием старого Рима эпохи до образования империи. Характеристика Полибия — самое старинное свидетельство об этом скоро вполне забытом и исчезнувшем политическом образе. Все последующие попытки реставрировать картину древнего патриархального Рима, нарисовать старые сословия патрициев и плебеев, представить выработку конструкции из медленной и упорной борьбы между ними, принадлежат уже времени конца республики, следовательно, стоят по другую сторону большого кризиса, созданного империализмом: эти научные, государственно-правовые и социально-исторические реставрации возникли в то время, когда совершенно изменился состав и облик общества, после того как прошел недолгий, но сильный подъем римской демократии, а затем крутая реакция сулланского времени. В борьбе партий за это шестидесятилетие (135—75) глубоко изменились учреждения и ослабели, если не исчезли вовсе традиции старого строя.

Можно различно смотреть на развитие римской анналистики, можно считать очень старинными официальные записи жрецов и фамильные традиции в родах нобилей — и все же трудно отрицать, что собственно политическое содержание очень поздно вошло в обработку римской истории. Ранние исторические писатели и составители светских летописей во II веке мало умели рассказать о столкновении патрициев и пле-

беев, о борьбе за землю, за равенство прав и т.д. Лишь позднейшие авторы обстоятельных литературно обработанных летописей I века внесли в изображение старины характеристики классов и партий, политических вождей, аграрных и конституционных проектов. Они вели на почве исторических построений римского прошлого принципиальную борьбу за учреждения и реформы конца республики, и их разногласия и споры мы ясно чувствуем при чтении Ливия. Благодаря своей компилятивной манере, мозаически складывающей отрывки, иногда резко противоречивые, Ливий представляет как бы свод ближайшей к нему историографии. В его изложении борьбы патрициев и плебеев постоянно мелькают программы и жгучие вопросы последнего века республики, развиваются политические и социальные теории партий этого времени; приводимые Ливием тексты законов, отнесенных на 400—300 лет назад, в V—IV веке до Р.Х., похожи, скорее всего, на формулы, которые составлены публицистами, государствоведами, антиквариями конца республики на основании общих исторических представлений о ходе конституционного развития, но без всякой опоры в каких-либо подлинных записях.

Если мы хотим открыть работу этого политико-юридического творчества в живом еще незаконченном виде, надо обратиться к Цицерону, и мы застанем его среди больших затруднений: как произошла власть старых консулов, диктатора, трибунов, откуда идет название патрициев, могло ли состояться решение народа без предварительного одобрения «отцов», — это и многое другое было так неясно, что Цицерон должен был вычитывать смысл сохранившихся терминов в них самих, толковать слова и названия, цепляться за обычаи, которые казались архаическими; а главное, он должен был складывать заново целую композицию о старинном строе на основании своих общих партийных политико-теоретических и политико-философских представлений. Цицерону казалось, что он постиг «дух старины», этот исконный обычай, державшийся веками и так близко подходивший к естественному разумному порядку вещей. Обычай старины, конечно, очень близко подходил к идеалу политического деятеля, во вторую половину жизни ставшего решительным консерваторм: по его мнению, для того, чтобы быть прочным и устойчивым, государство и общество должны сохранять иерархическое строение, в котором господствует опека и покровительство, а низшие классы преклоняются перед

высшими и отдаются в их волю; таково именно и было устройство старинного Рима.

Цицероновские идеи и манера ярко отразились в исторической компиляции Ливия, именно там, где он сделал обширные заимствования из историка Туберона, человека и лично, и по своим симпатиям близкого к Цицерону. У Ливия видна также работа другого современника Цицерона, Теренция Варрона, крупнейшего антиквария конца республики. Варрон не имел в распоряжении другого материала; он также должен был восходить от переживаний к проблематичной старине. Когда он, например, рассуждает о полезности деления исполнительной власти между двумя сановниками с равным и независимым авторитетом и отсюда выводит, что римляне должны были установить двойное консульство непосредственно за изгнанием тирана-царя в виде гарантии свободы, мы чувствуем ясно, что эти соображения навеяны партийными вопросами о постановке верховной власти в эпоху Красса и Помпея, Помпея и Цезаря, когда надеялись спасти республику уравниванием двух могущественных властителей.

У Цицерона, Туберона и Варрона были теоретические предшественники, которые в свое время, в 80-х годах, своей ученой аргументацией поддерживали сулланскую реакцию в пользу аристократии, доказывая новизну и революционное происхождение демократических идей и учреждений. Моложе этих родоначальников ученого консерватизма, но несколько старше Варрона и Цицерона был тот талантливый и пламенный историк-демократ — вероятно Лициний Макр, — которому принадлежат горячие страницы у Ливия о страданиях плебеев, о великой выдержке и пассивном героизме римского народа, о его самоотверженных и умных вождях трибунах, добившихся земли и воли, крестьянских наделов, равенства прав и личной неприкосновенности для простого люда. Эта история Рима с точки зрения радикального деятеля, написанная, по-видимому, в конце 70-х или начале 60-х годов I века, была, может быть, первой апологией партийной политики, составленной в исторических красках, и первой попыткой изобразить конституционную эволюцию Рима в виде борьбы классов. Проникнутая пессимизмом, она отражает настроение времени, в ней ясно чувствуется разгром демократии, произведенный Суллою, трагические звуки, вызванные сознанием непоправимой потери, которую понесла народная партия.

На первый взгляд можно отчаяться найти в этих конституционно-археологических и социально-полемических работах какие-либо данные для восстановления подлинной политической истории римской старины. Значение полибиевской характеристики, как будто бы еще более вырастает от сравнения с позднейшими римлянами. Но при ближайшем знакомстве с очерком Полибия нас охватывает некоторое разочарование. Это не простое описание политической машины и политических нравов, сделанное реалистом-наблюдателем, каким себя считает сам Полибий. Это — идеальная схема греческой теории наилучшего государства, иллюстрированная некоторыми чертами римского строя. Историк, приступая к изучению этого строя, уже знал наперед его секрет: тут должен открыться земной рай политики; конституционная утопия осуществилась у этих полуварваров; у них гармонически соединены три основных элемента всякой государственности, принципы монархии, аристократии и демократии; они разумно отмерены, приведены в правильное взаимодействие и уравновешены; ни одному из них не дано слишком много, ни монархическому принципу в лице двух сменяющихся консулов (здесь принципиальная нагрузка со стороны Полибия очевидна), ни аристократическому, представленному сенатом, ни демократическому, выражающемуся в народных собраниях.

В описании Полибия есть отдельные черты, в высокой мере ценные, и к ним мы еще вернемся. Но в целом оно вместо того, чтобы объяснять, заслоняет основные факты радужным сиянием: точно какой-то гений-художник или сам Бог сложил здесь из элементов общежития совершеннейшее произведение искусства, в котором нельзя ничего ни убавить, ни прибавить. Савонники, сенат и народ римский, это уже не живые люди, борющиеся за противоположные интересы, а послушные высшему принципу дисциплинированные стихии. Но если в 40-х годах II века в Риме было такое удивительное равновесие сил и согласие общественных начал, то как же объяснить, что в следующем десятилетии, в 30-х годах, обнаруживается по поводу проектов Гракха жестокий разлад, а затем этот разлад не только не прекращается, но принимает все более широкие размеры, превращаясь из римского кризиса в общеталийский, причем в социальной борьбе разрушается и порядок, сложенный, по видимому, столь искусно и прочно? Очевидно, рисуя свою политическую идиллию, не подозревая о приближающейся буре,

Полибий совершенно не замечал элементов розни, противоположности интересов в римском и итальянском обществе; реалист по убеждению, он увлекся идеологией и забыл, что государство — не дар богов, а комбинация сложных колеблющихся общественных отношений.

Римские историки, писавшие во время и после кризиса, гораздо дальше отстоявшие от старины, однако несравненно сильнее чувствовали, что и там, в туманной дали времен, надо предполагать борьбу общественных групп, различие политических влечений, столкновение программ и тактики партий и классов. Им казалось, что партии империалистической республики должны быть продолжением группировок республики патриархальной, маленького кантона, разраставшегося медленно в союз общин и, наконец, в крупную державу.

Историк-демократ I века говорит нам, что с самого начала республики патриции и плебеи были самостоятельно организованы, что они никогда не были согласны между собою: во внешней политике одни стояли за непрерывную войну, другие тяготились бесконечной службой, разорявшей их хозяйство; во внутренних делах оспаривалась всякая позиция: раздел захваченных земель, занятие должностей, общественный кредит, вопрос о личной неприкосновенности граждан и свободе слова,— все было предметом упорных схваток, всякий компромисс достигался великими усилиями и служил только началом нового спора.

Историку-консерватору многое не нравилось в гневных речах и обличениях своего радикального предшественника. Он спешил поправить тяжелое впечатление от пессимистической картины старинного Рима. Вражда классов, по его мнению, была делом, главным образом, тщеславных вождей, упрямых агитаторов; и патриции, и плебеи шли по временам за крайними правыми и крайними левыми, но в лучшие моменты политической жизни брали вверх здравые идеи середины, и тогда получалось единственно спасительное согласие интересов. Сурова была политическая дисциплина, заведенная в старой республике патрициями, но она была нужна, чтобы сплотить неорганизованную массу эмигрантов и мужиков, из которой составилась народ в Древнем Риме. И, однако, консервативный историк должен признать, что плебеи очень скоро образовали самостоятельное целое, что уже через 17 лет после основания республики они способны были уйти из Рима, чтобы обра-

зовать особую общину, что они помирились лишь на условии, если им дадут выбирать своих особых начальников, трибунов: угроза выхода и образования своей общины постоянно висела над патрицианским Римом.

Снова и снова мы встречаемся с этим упорным историческим представлением римлян, что на почве старой республики устроились две разные общины, видимо, очень нужные друг для друга, но в то же время имевшие очень различные интересы. Историки конца республики уже не могли ясно представить себе и нарисовать облик этих общин, их состав и устройство. Они изображали союз соперников в виде одной общины, состоящей из двух классов, двух общественных типов, двух морально-политических характеров. Они чуяли в старом Риме еще одну противоположность — города и деревни. Правда, все политические дебаты, все колебания партийной тактики, все смуты и протесты происходят в стенах города, авторитет трибунов не имеет силы за городской чертой; в городе собирается сенатская коллегия, ведущая знаменитую своей цепкостью и предусмотрительностью дипломатию. Но в то же время масса населения живет в деревне, и там коренятся ее интересы; не только крестьяне-плебеи, но и патриции, будучи вне политики, держатся в своих имениях, уходят в сельское хозяйство. Тут остается что-то неразъясненное, но историки держатся крепко за это различие городских и сельских дел и интересов.

Что мы могли бы извлечь из этих смутных, но неизменно повторяющихся указаний римской историографии?

Старый Рим, несомненно, был торговой общиной, главным или единственным портом Лация, находившимся издавна в сношениях с греками Южной Италии и Сицилии, а также с карфагенянами. Но какую роль в этом коммерческом Риме с его заморской политикой играли аграрные элементы? Каким образом традиция превратила правителей старой торговой общины в патрициев-землевладельцев? Новые историки различно пытались выйти из затруднения. Одни представляли крестьян, плебеев клиентами, крепостными городских крупных владельцев домов, постепенно выходящими на свободу, другие готовы были различать два периода: первоначальный торговый и позднейший аграрный. Но, может быть, с самого начала обе силы, обе группы стоят наравне и образуют союз между собою. Близкий к морскому выходу город пытался монополизировать торговлю всей округи и в то же время воспользоваться тем военным материалом, который давали ближние горные общины.

Это явление повторялось чуть ли не на всех берегах западной части Средиземного моря с тех пор, как его открыли финикийские и греческие колонисты. Сам Карфаген, сицилийские города, города Кампании, Этрурии, греческая Марсель, вероятно, также иберский Сагунт, все они, становясь центрами ввоза и вывоза, должны были искать комбинации с племенами соседних внутренних областей, нанимать их на службу или обеспечивать себе их помощь договорами. В Апеннинах Средней и Южной Италии размножающееся крестьянство, не будучи в состоянии кормиться со своих наделов, рано стало высылать младших детей в колонии и в стороннюю службу. Безнадельные охотно нанимались в войска к африканцам, к грекам сицилийским и итальянским; во внутренней Италии образовался большой рынок военных наемников. С конца V в. и в первые десятилетия IV особенно гремела в Сицилии слава кампанцев, т.е. захвативших Кампанию самнитов. Они были наняты сначала для помощи афинянам против Сиракуз. Позднее сиракузский тиран Дионисий применял кампанцев против Карфагена. Многие из них погибали в боях за чужое дело, но иные добивались награды в виде земельных наделов на чужбине, иногда за счет экспроприации туземных граждан, как это не раз происходило в Сицилии. Таким образом, эти крестьянские дети обращались в свое первоначальное звание; устроенные сплошными поселками в Катане у Этны, чтобы служить опорой сиракузским тиранам, они представляли подобие тех *coloniae agrariae*, которое устраивало потом римское правительство в завоеванных областях для расстановки гарнизонов и обеспечения безнадельных плебеев.

То, что представляли в смысле военного элемента луканы и самниты для городов Южной Италии и Сицилии, тем были латины, сабины, умбры для городов Средней Италии и для Рима, Цере, Вей и др. Старый Рим, может быть, был соединением торговой монополии городской общины на нижнем Тибре с военными силами деревенских союзов на склонах среднеапеннинских возвышенностей.

Правительство его составлялось из сената, т.е. старших представителей городских семей (буквально «градских старцев»), из военных капитанов и казначеев, принадлежавших к среде богатых торговых домов города. Римские военные предводители имели право набирать солдат в сельских округах из плебеев, т.е. преимущественно мелких землевладельцев. Стяну-

тые в войско, разделенные на классы по видам оружия и отсчитанные центуриями, сотнями, они становились под команду городского начальника. Главный командир похода (диктатор) назначался военным штабом, консулами; но второстепенных капитанов, консулов и преторов выбирало само войско, выбирали все центурии. От этого порядка и остались впоследствии главные комиции, где происходили выборы и утверждались решения сената о войне и мире. По некоторым обычаям позднейшего времени можно судить, что старинные комиции были собранием призывных солдат. Еще в эпоху Югуртинской войны в конце II в., когда уже вполне утвердился порядок продолжительной и непрерывной службы в провинциях, римское выборное народное собрание проходит под давлением войска, хотя солдаты отделены от Рима морем и африканскими степями, однако, будучи крайне заинтересованы в выборе консула, т.е. своего начальника и желая провести в главнокомандующие популярного среди них Мария, они из своего лагеря в Нумидии пишут в Рим, как бы вручают мандат своим заместителям на комициях, и этим способом проводят своего кандидата.

Помимо этих собраний призывных ополчений, у плебеев, у сельского населения была и осталась своя особая жизнь и автономия. Они сохранили свое старое деление на волости, может быть, отвечавшие вначале племенным группам. По типу сельских волостей и для соединения с ними, может быть, потом разделили на трибы и горожан: трибы сходились на особые собрания для решения своих дел, выбирали своих начальников, трибунов, для администрации и суда в своей среде. Греческие историки называют трибунов демархами, следовательно, находят в них сходство с сельскими старшинами своих общин, например, Аттики.

Описание Полибия еще дает почувствовать, что в лице трибунов первоначально являлись в Рим представители чужих, отдельно управляемых общин; греческий историк считает нужным отметить, что трибуны не подчинены консулам, хотя в руках последних сосредоточена исполнительная власть. Трибуны могли также, по-видимому, объявить от имени представляемых ими общин отказ идти на войну или допускать набор; таков, может быть, был первоначальный вид и смысл наложения трибунского veto на распоряжения сената и консулов. Следы самостоятельности плебейских внеримских общин, вероятно, надо видеть и в плебейских трибут-комициях: они созывают-

ся и ведутся трибунами, они отличаются от более парадных, но лишенных активности собраний по центуриям своей большей подвижностью, допущением дебатов и свободы слова, вследствие чего в трибут-комиции и вносятся наиболее важные для плебса аграрные предложения. Еще любопытная черта: собранный по трибам народ мог судить городских капитанов, которые были его командирами на войне. Осужденный таким приговором мог уклониться от наказания, избравши своей долей изгнание, подчинившись своего рода ostracismu; он отправлялся недалеко в одну из союзных территорий Италии.

Но, как бы ни были деятельны старые сходки по волостям, из которых, надо полагать, возникли собрания всех триб, собиравшийся в Риме сельский люд не играл большой политической роли в самой столице. Благодаря способу подачи голосов, не поголовному, а по трибам, можно было, вероятно, немногим представителям отдаленной трибы привезти с собою коллективный голос, т.е. готовое решение своей волости. Цицерон упоминает однажды, что в трибах голосуют немногие единичные граждане. Обыкновенно в этом факте видят надвигающийся упадок народных собраний и республики вообще. Но таков мог быть как раз обычный порядок прежних ранних времен. Наоборот, когда мы слышим, что трибуны со времени Гракхов организуют особую систему массового вызова в Рим сельских избирателей для важных голосований, можно считать эту форму недавно возникшим приемом демократии, чертой поздней в римской политической практике.

Еще менее активности проявляли старые центуриат-комиции. Можно представить себе, что такое были выборы консулов или преторов: выбирали того капитана или тех капитанов, которые задумали, иногда на свой риск, как Регул в 256 г., Фламиний в 224 г., Сципион в 206 г., какое-либо внешнее предприятие; кандидат развивал его ожидаемые выгоды, давал обещания наград и выдач, а собрание, наполовину, по крайней мере, состоявшее из служивших уже раньше солдат, провозглашало его вождем на будущий год, т.е. на предстоящее предприятие, поход, осаду, захват земли, заморскую кампанию, в то же время и силою того же решения оно записывалось в набор и разрешало дополнительный набор с деревень, в которых уже выросло новое поколение.

Едва ли правильно представлять себе старинных римских консулов империалистической эпохи в виде ограниченных се-

рых городских голов, которым приходилось по временам, не мудрствуя лукаво, водить мужицкие ополчения на врага. Наоборот, по всей вероятности, издавна Рим выставял искусных техников военного дела, самостоятельных предпринимателей и политиков, которые умели сами задумать поход, снарядить экспедицию и нередко выполняли ее на свой страх. В этом отношении Рим III в. не так далеко ушел от своего торгового и военного соперника Карфагена. Напрасно представляли одно государство живущим в замкнутом аграрном быту, с крепким ополчением, другое — богатым финансами, но предоставленным защите наемников; напрасно изображали на одной стороне безответных, подчиненных суровой дисциплине коллегии исполнительных чиновников, на другой — почти оторванных от государственной политики центра смелых кондотьеров, которые превращаются благодаря колониальным завоеваниям в самостоятельных князей. Между Регулом и Гамилькаром, между Сципионом Африканским и Ганнибалом, между политикой Сципионов вообще и политикой фамилии карфагенских Барка гораздо больше сходства, чем различия. И Рим, и Карфаген в эпоху борьбы за торговую монополию в западной части Средиземного моря и за колонизацию полуварварских земель, составляющих край Европы и Африки, выставяли дальновидных конквистадоров. Центральное правительство большею частью поддерживало их в случае удачи, не покидало на произвол судьбы при неуспехе; во всяком случае, им приходилось предоставлять большой простор не только в стратегических операциях, но и в дипломатических сношениях с новыми врагами или союзниками.

Так можно объяснить себе и странный на первый взгляд обычай римского сената выдавать консула, потерпевшего неудачу, врагу. Какова бы ни была цена легенды о консулах запертого в Кавдинском ущелье войска, согласившихся на позорную его сдачу и за то выданных самнитам, но налицо факт несомненный, исторический: сенат отдал нумантинцам в Испании консула Манцина, сдавшегося на капитуляцию и заключившего невыгодный договор с врагом; это было лишь запоздалым объяснением со стороны правящей коллегии, что она считает все предприятия одного из своих сочленов его частным делом; при удаче она, разумеется, присоединилась бы к его инициативе и разделила с ним добычу.

Развитие кондотьерства, преобладание конквистадоров, важная роль частного предприятия — все это нисколько не от-

нимает у римской политики элемента настойчивого постоянства. Две группы интересов идут параллельно и в союзе между собою. Если нам трудно доказать исконность этой двойной политики историческими свидетельствами, то мы можем прибегнуть к помощи географической карты. Расположение известной территории, ее конфигурация, движение завоевательной полосы говорят очень много; это своего рода археологические документы, это сама история, отложившаяся в плоскости в живописной перспективе.

Вглядимся внимательно в расположение непосредственных владений Рима, а также его старых и новых союзников, в последовательные моменты истории Италии с исхода IV в. и до окончательной формации италийского союза во II в. Первая карта изображает Италию так называемых самнитских войн, т.е. первого крупного расширения старого союза, во главе которого стоял Рим. Римская территория и земли старинных союзников лежат почти сплошной полосой вдоль моря по обе стороны Рима и реки Тибра. На этой линии равнин, следующей за берегом, бросается в глаза обилие приморских поселков, по большей части вновь основанных римлянами после завоевания, на отнятой территории; это — результат морской торговой политики Рима, которая исходя от скромного начала, проводила в размерах все более широких монопольные цели. Часть берега на юге отрезает от моря самнитов и оттесняет их в горы. Но, расширяя свои владения, община на Тибре нуждалась в более широком круге союзников, поставщиков военной подмоги: она заставила войти в союз с собою всю группу народцев, сидевших в Апеннинах, позади вновь приобретенной приморской территории, сабинов, марсов, пелигнов, френтан и самих самнитов, своих ослабленных соперников.

Приглядимся теперь к политической карте Италии лет 40 спустя, перед началом 1-й Пунической войны, в 60-х годах III века, когда Рим уже распоряжался силами большого союза всей Средней и Южной Италии. Сравнивая эту карту с предшествующей, мы замечаем значительное расширение римской территории. К приморской западной полосе присоединилась другая, под прямым к ней углом; она идет от Рима через Апеннины поперек полуострова к Адриатике. Эта полоса лежит памятным свидетельством другой завоевательной программы, именно движения деревенских союзов, входящих в римскую общину. Ближние горцы, сабины, приняты в римское граждан-

ство, но должны были уступить часть своей земли римлянам, и прежний сабинский *ager* теперь составляет часть римского; также на чужой территории нарезаны наделы новым колонистам из римских крестьян и более верных союзников, так называемых латинов. Особенно при этом пострадали пиценты и сенонские галлы на берегу Адриатического моря; по их почти сплошь занятым областям римская завоевательная линия переходит с западного склона Апеннин на восточный и приближается к широкой равнине реки По. К союзу примкнули новые малые народы — на севере этруски и умбры, на юге — луканы, салленты, бруттийцы и греческие колонии; но эти группы изолированы, отрезаны друг от друга территорией господствующей общины. На примере самнитов можно видеть характерные приемы этой римской политики, старавшейся ослабить большую племенную группу мозаичными вырезками из ее территории, отнятием у нее берега, разложением ее на мелкие союзы. От старого Самния отделены большие доли в *ager romanus*, затем на устройство латинских колоний, и, наконец, от него выделен в особый союз малый народ гирпинов; благодаря всему этому область самнитов уменьшилась втрое против прежнего.

Возьмем еще один момент, 60—70 лет спустя, и рассмотрим к карте Италии в начале II века после нашествия Ганнибала и нового расширения римской территории, в значительной мере за счет союзников. К старому почти сплошному *ager romanus* теперь примыкают в Северной и Южной Италии более или менее оторванные клочки. Расположение этих отрезанных кусков и долей римской территории открывает нам возможность изучить те же самые две задачи старинной римской политики. От Рима, к самым отдаленным частям *agri romani* и пересекая более ближние на пути, идут большие военные дороги римлян; это бывшие этапы римских походов, ставшие потом предохранительными линиями сообщения центра с завоеванными областями, с дальними колониями и гарнизонами; на тех же дорогах расположены и латинские колонии, т.е. новые поселения привилегированных, наиболее надежных союзников; и римская и латинская колонии в то же время образуют крепости.

Вследствие особенности строения полуострова римская дорога, а вместе с тем и завоевательные полосы имеют лишь два направления: на северо-запад к галльским областям и на юго-восток к Кампании, Лукании и греческим колониям. Первая линия показывает путь плебейских военно-крестьянских

наделов. *Coloniae agrariae* римлян примыкают здесь цепью к старой территории, образуют ее продолжение в инородческой земле. Вторая линия распространяется вдоль берега западного моря, отрезает от морских сношений несколько групп союзников и переходит потом к самому краю полуострова на восточную сторону, для того, чтобы обеспечить Риму сношения с Грецией и Азией. На севере в галльских областях римские колонисты сидят среди населения, близкого к ним по быту и хозяйству; это — большие земледельческие районы. На юге продолжают *coloniae maritimae*, систематически захватывая выступы, доминирующие пункты и бухты; они также находятся среди населения, живущего теми же промыслами и в сходных формах быта; по соседству с ними помещаются *socii navales*, греки и бруттийцы, вносившие важную составную часть в крупные римские флоты Пунических войн. Помимо береговой линии, и здесь захвачены территории, пригодные для земледельческой обработки.

Географическая карта II века держит нам в памяти историю, по крайней мере, двух или, может быть, трех веков, приблизительно до 100 г., начиная с 350-го до 400-го. Все это время политика Рима идет в двух направлениях. Без сомнения, были колебания, когда брала верх морская программа монополии, захвата берегов, приобретения островов, как опорных пунктов, или когда, напротив, преобладало занятие хлеботорных территорий.

Фламиний, первый вождь демократии, по определению Полибия, представляет своими популярными галльскими походами, раздачей земель в равнине р. По и проведением первой большой дороги на север резкую реакцию предшествующей политике Рима в первую Пуническую войну, всей этой трате сил на огромные флоты, на рискованные экспедиции в Африку, Сицилию, Сардинию и Корсику. Но, в свою очередь, когда римская община в 264 г. при объявлении первой войны Карфагену решила идти на море, это вовсе не было внезапным первым выходом из будто бы традиционной замкнутой сферы на путь дальних и неизвестных предприятий. В этом решении не было драматической смены вековой политики. Правящие фамилии в торговом Риме задолго до этого момента внимательно следили за отношениями сил в Западном море. Лет за 100 до столкновения с Карфагеном они пытались завести колонии на Корсике и Сардинии. Острова эти в свою очередь были очень важны

для африканской торговой державы: они служили естественной опорой в сношениях с северными берегами западного моря, передаточным пунктом в переездах из Италии к Испании; их население составляло материал для вербовки наемников; они производили важные продукты, Корсика доставляла превосходный лес для постройки кораблей, Сардиния — хлеб. На этой почве уже существовало старое соперничество Рима и Карфагена. Оно отражается и в колебании условий торговых договоров между двумя республиками. Сначала африканцы позволили римлянам в известных, строго установленных формах торговать в Сардинии. Но в договоре половины IV в. Карфаген настоял на запрещении римлянам всякой торговли в Сардинии: особо было выговорено, чтобы Рим не основывал никаких поселений на острове.

Как нельзя более характерны для Рима и эти старинные торговые договоры, восходящие к началу V в., за 250 лет до начала первой Пунической войны. В них отражается главный интерес, главная забота правящей общины на нижнем Тибре.

Это коммерческое прошлое Рима затуманено, стерто в позднейшей традиции. Она изображает нам земледельческий край, суровую деревенскую простоту, заслуженного Цинцинната, которого отрывают от плуга, чтобы поставить командиром в опасный поход, и т.д. Особенно трудно заставить себя думать, что старые патриции, что предки римских нобилей, позднейших лендлордов Италии и Африки, были негодичантами, коммерческими предпринимателями, судовладельцами, каперами. Но ведь и нобили Венеции XV и XVI в. уже не были коммерсантами, а располагали большими поместьями на *terra ferma* и отдавались лишь высшей политике; однако они наследовали коммерческим завоевателям и посредникам торгового транзита предшествующих веков. Отчего бы и старым римским патрициям не быть монополистами торговли Лация и Сабинны, отчего мы не вправе представлять себе старые *gentes* в виде больших купеческих домов? Еще до первой Пунической войны должен был чувствоваться этот элемент во всем складе высшего общественного слоя: едва ли римские адмиралы, которые с таким успехом разбивали флоты первой морской державы того времени, могли выходить из среды земледельцев, никогда не видавших моря и отдававших судьбу своих кораблей в распоряжение стихий и несогласованных, но храбрых усилий своего экипажа? Странная басня об этой римской добродете-

ли и дельности, преодолевавшей или делавшей ненужную всякую технику, специальную выучку и опыт. Не вернее ли будет в консулах Пунической войны предположить испытанных капитанов, прошедших основательную морскую школу, которая в свою очередь приобретает лишь в среде торговых странствователей, купцов и пиратов, рыбаков, перевозчиков груза, искателей новых морских путей?

Впоследствии преуспевающие общественные слои, господствующие фамилии, конечно, уйдут от непосредственного приложения своих рук к промышленному делу. Они оставят за собой общее руководство, они начнут жить высшей политикой. Из их среды, однако, и потом еще продолжают выходить капитаны-конквистадоры, организаторы новых предприятий на более широкую ногу: поход, экспедиция при удаче есть прежде всего большая добыча, крупный барыш; еще больше выгоды обещает основание заморской колонии. Но непосредственные торговые обороты отдельных фирм с расширением государственной сферы превращаются для правящих фамилий в общую коммерческую политику сената, большой коллегии, соединяющей представителей всего верхнего общественного слоя. Полибий отмечает, что господствующий момент в деятельности сената — финансы и дипломатия, а дипломатия, в свою очередь, сводится к коммерческим трактатам и торговым войнам, в которых опять выступают предприниматели *en grand* из той же знати. Детали торговли, размельченная работа, постройка судов, плавание по морям транспортом, разработка новых промышленных богатств и угодий постепенно переходят ко второму разряду гражданства, менее сильному капиталом, вследствие этого зависящему от капитала высшего класса, который пускает его в оборот посредственно, отдает в кредит. Так складывается класс откупщиков государственных налогов и аренд, негоциаторов, менял и ссудчиков. Между тем высший слой загораживает себя стеной сословной чести, объявляет политику и общественную службу своим специальным ремеслом и запрещает своим сочленам мелкую работу торговли и судостроительства в качестве недостойной их звания; но уже одно это запрещает показывать, как усиленно они раньше отдавались тем же занятиям. Представители римского нобилитета обращаются к той стихии, которая у аристократии всех времен считалась самой возвышенной и почетной, к владению землей, причем скоро прибавляется и важное хозяйст-

венное побуждение для разработки земельных угодий — дешевые привозные рабы, создаваемые тем же ходом непрерывных завоеваний. Если нам представляется, что политика Рима издавна шла двумя путями и отличалась большой последовательностью и настойчивостью, то в ее истории все же можно различить периоды роста. В середине IV в. до Р.Х. в Западном море, помимо Карфагена, самой крупной морской силы, и сильно ею теснимых сицилийских греков, выступают несколько торговых общин и союзов, соперничающих между собой, в их числе Рим. Община на Тибре берет верх над этрусками и над Капуей в Кампании, потому что располагает наибольшими или наилучшими массами ополчений из плебейских триб. Но войны заставляют Рим расширить свою территорию и раздвинуть первоначальный союз: надо увеличивать надель, вознаграждать из захваченной земли солдат, — вот основание для *coloniae agrariae*; с другой стороны, для охраны своей удлиняющейся береговой линии, для вновь появляющегося флота, вообще для поддержания своего более крупного политического положения, нужно увеличивать число обязанных военной службой союзников.

Как известно, общего союза из итальянских народов не составилось. Они все были индивидуально связаны с Римом отдельными договорами и не имели никаких взаимных условий и сношений между собою. Союзы Рима с различными *socii* слагались, вероятно, по типу старинного союза торговой патрицианской общины Рима и плебейских деревень. Но чем дальше от центра, чем позже возникновение союзных связей, тем менее у союзника прав на участие в политике центра, тем менее выгод для союзника. Старый союз остался привилегированной группой 35 триб; к их числу уже не прибавляли новых; группы вновь приписанных в гражданство заносились в старые трибы, и вследствие этого трибы из волостей обратились в разряды голосующих граждан, объединявшихся только в Риме на собраниях. Уже на римской территории начиналось ограничение прав, прежде всего для общин, лишенных активного и пассивного избирательного права. Затем союзники располагались по двум ступеням: впереди стояли привилегированные латинские города, в сущности, союзные крепости, рассеянные в разных местах, с лучшими наделами, частью нарезанными из отобранной земли; дальше остальная масса, *socii italici*, сохранившие автономию, но не получившие земельного придатка.

В таком виде общеиталийский союз — если только не забывать условного значения этого термина — держался около полувека, с 60-х годов III в. до 216 г., когда Ганнибал склонил часть союзников к отпадению. Опираясь на силы всего союза, Рим предпринял большую первую войну с Карфагеном, в результате которой приобрел три больших острова Западного моря. Но вторая война с Карфагеном — поединок на жизнь и смерть, внесла глубокое изменение в строй италийского союза. Часть союзников изменила, и вследствие этого Рим пережил опаснейший кризис своего существования. Зато вместе с победой в 201 г., центральная община, получив крупнейшую контрибуцию, увеличив свои заморские владения, приобрела небывалый перевес над всеми союзниками, вместе взятыми. Рим поспешил воспользоваться этим перевесом. Он наказал отпавших во время войны с Ганнибалом южных союзников, гирпинов, луканов, бутгайцев, апулийцев, города Тарент и Фурии, отобранием значительной части их территорий. Согласно вычислению Белоха, область римских владений увеличилась с 490 кв. километров до 675, т.е. более чем на $\frac{2}{5}$ прежнего протяжения. В это время и возникает своеобразная массовая конфискация земли у изменивших союзников, которая ведет к образованию земельного фонда под названием *ager publicus*.

Как была использована эта отобранная земля? И старое гражданство, и верные союзники, без сомнения, заслуживали самого крупного вознаграждения в смысле наделов, так как они несли со времени вступления Ганнибала в Италию в 218 г. до крайности напряженную воинскую повинность, да и после его ухода долгие годы не останавливались заморские войны: до 192 г., т.е. до столкновения с Антиохом Сирийским, непрерывно следовали кампании и экспедиции в самой Италии, в Испании, Сицилии, Африке, Македонии, Малой Азии. По старому обычаю отобранные земли должны были бы идти на устройство земледельческих колоний в виде крестьянских наделов, может быть, в размере 30 югеров ($7\frac{1}{2}$ десятин), судя по тому, что Тиберий Гракх остановился потом на этом размере. Так поступили еще перед самой войной с Ганнибалом по настоянию популярного консула Фламиния, который заложил и дорогу из Рима поперек Апеннин в Пицен и к галльскому берегу Адриатики, где были нарезаны новые наделы римских колонистов. Но теперь так устроили только заслуженных ветеранов африканского похода, вернувшихся в 200 г. вместе с прославленным

победителем Ганнибала и Карфагена, П. Сципионом: им отвели участки из земли, отобранной у апулийцев и самнитов. Другие земледельческие колонии двадцатипятилетия, следующего за второй Пунической войной (200—175 гг.), были устроены далеко от центра, за северными Апеннинскими на равнине р. По, среди галльского населения. На юге же ограничились только возведением нескольких приморских крепостей, в которых посадили немногих римских и латинских колонистов.

Руководящие слои центральной общины решили иначе использовать конфискованные земли, поступившие в распоряжение государства. Большая их часть представляла после войны пустыри или разоренные дворы: для устройства колонистов-крестьян потребовались бы выдачи из казны на постройки, обустройство. Правящий класс вовсе не склонен был к таким тратам и открыл простор частному предпринятию: желающим предоставили вступать в разработку пустующей земли с условием ежегодно вносить казне десятину с посевов, пятину с посадок и сбор с числа голов скота, выгоняемых на пастбища. С самого начала было ясно, конечно, что мелкие пользователи должны будут устраниваться от оккупации государственной земли, что воспользоваться ею могут лишь те, у кого имеется преимущество свободного капитала. Без сомнения, именно в это время должно было оказаться очень много безземельных; прежде всего в таком положении были те союзники, у которых конфисковали земли, которым не дали вернуться в свои прежние разоренные дворы. Далекие от мысли устраивать их где-либо в качестве земельных собственников, правящие слои Рима, в этот момент своего обращения к сельскому хозяйству, видели в невольничестве и внезапно созданных сельских рабочих новый шанс для выгоды своих оккупации: у них будут в достаточном количестве хорошие местные батраки, так как итальянский народ очень плодovit и способен к терпеливой работе.

Поэтому в оккупацию государственной земли вступали преимущественно римские нобили, между ними и впереди всех те самые Сципионы, Квинции, Эмилии, Метеллы, Домиции и другие, которые обогатились заморскими походами и командованиями; у них был теперь еще один лишний ресурс — дешевый живой инвентарь для вновь устраиваемых имений, привозные рабы в качестве результата завоеваний.

И второй имущественный разряд, всадники, был также припущен к пользованию казенной землей, люди чисто го-

родских и торговых профессий, негоциаторы, факторы, менялы и ссудчики по профессии, они не добирались до самого хозяйства в имениях; но они теснились на торгах, производимых римским цензором, управителем государственных имуществ, к получению больших аренд. Сдавались в аренду, между прочим, солеварни, леса; в больших лесах по Силайскому хребту в Бруттии на откупу были обширные дегтярные заводы. Вероятно, бралась в крупную аренду и полевая земля. Впоследствии, особенно в африканских больших поместьях, мы находим, в качестве посредника между крупным собственником и мелкими съемщиками, кондуктора, т.е. главного или крупного арендатора, сдающего от себя вторичные аренды. Можно представить себе в такой же роли и более ранних итальянских откупщиков: они были, вероятно, нередко генеральными съемщиками, которые забирали комплекс земель в интересах крупного магната республики, может быть, даже пользуясь у него кредитом, давали на торгах аванс из его капиталов и затем от себя передавали участки мелким съемщикам.

И крупная оккупация, и крупная аренда казенной земли были только самыми яркими формами интереса богатых классов Рима к земле и к сельскому хозяйству. Рядом с захватом конфискованных пустырей заметно и другое проявление того же интереса, скупка мелких владений, превращение групп раздробленных крестьянских дворов в большие фермы с целостной систематической экономией. Капитал, собранный с завоеваний, с посторонних владений, бросился на землю в Италию. Его представители искали новой выгоды и были уверены, что они на настоящем пути; в их духе теоретики заговорили о важности, о чудесах рационального хозяйства на широких основах, как бы само собою разумелось, что мелкий собственник не может поспеть за улучшениями, не в состоянии поддерживать большой дисциплинированный рабочий материал. К услугам крупных хозяев появляются агрономические трактаты, причем римляне усиленно пользуются сельскохозяйственными уроками побежденного африканского противника, переводят и перелагают карфагенских авторов.

Среди этой агрономической лихорадки возникло известное сочинение Катона Старшего *de re rustica* (или *de agri cultura*). В нем отражается эта новая для Италии жажда земли, не крестьянская, не лично-трудовая, а помещичья, предпринимательская, отражается взгляд капиталиста, который уже строит на

земельном хозяйстве сложный бюджет. Чрезвычайно характерно само вступление к сельскохозяйственным советам и замечкам Катона: речь идет о том, где всего выгоднее купить имение, и на что надо преимущественно смотреть при покупке, автор прямо вводит нас в среду общества, где усиленно покупали землю, обзаводились имениями, нервно осматривались в составе инвентаря, строили хозяйственные здания, покупали орудия, вырабатывали новые условия договора с рабочими и т.д. Катон советует приобретать имение поближе к большому городу, на судоходной реке или у моря, или недалеко от большой дороги, ради удобства сбыта своих продуктов и приобретения орудий для хозяйства, надо еще смотреть, чтобы это было в области, где легко достать рабочих, необходимых в горячее время; желательно, чтобы на покупаемой земле уже были налицо постройки, орудия, скот, посуда и пр., чтобы не тратить сразу много на первоначальное обзаведение.

Катон не только сторонник интенсивной культуры, но он ее фанатик, ее педантический схоластик. Переходя к вопросу о видах наиболее производительного хозяйства, он дает знаменитую сравнительную оценку культур земли применительно к условной норме участка в 100 югеров (около 25 десятин): на первом месте по доходности стоит виноградник, потом сад или огород под искусственным орошением, затем ивняк (в качестве материала для плетения корзин, для подпорок), оливковая роща, луг, хлебное поле, лес дровяной, лес строевой и наконец дубовый для корма свиней желудями. Хотя оливка стоит на четвертом месте, когда сравнивается продуктивность участков одинаковой величины, но по доходности в смысле сбыта разведение оливы идет у Катона следом за виноделием или даже стоит наравне с ним. Более всего в своем трактате Катон и занят устройством двух образцовых ферм: одной виноградной в 100 югеров (25 десятин) величины, другой оливковой в 240 югеров (60 десятин). Вино и масло готовятся исключительно на сбыт, и выгода от их продажи на рынке должна оправдать вложенный в посадки и прививки капитал. Старинный продукт Италии, хлеб, занимает в этом хозяйстве самое скромное место; он сеется в размерах, достаточных для питания рабов имения, и продается только в случае, если останется излишек, из того соображения, чтобы ничего не пропадало даром.

Сельское хозяйство в глазах Катона есть лишь вид помещений капитала. Денежный расчет, *rotio*, подведен ко всем стать-

ям расхода с чрезвычайной чисто римской скупостью и кропотливостью, он кульминирует в правиле: «Покупай как можно меньше, продавай как можно больше». Эта система, разумеется, не имеет ничего общего с «натуральным, замкнутым» хозяйством: соображения относительно рынка господствуют над всеми остальными в этом сельскохозяйственном бюджете, и перед нами просто один из видов римского скупого ростовщичества, на этот раз в приложении к земле.

Хозяин хочет, прежде всего, съэкономить на постоянных рабочих имения. Это, конечно, рабы; Катон наивозможно старается сократить их число: для нормальной оливковой плантации он считает достаточным держать 13 рабов, для виноградной 16, в том числе старосту и его жену. В то же время он настаивает на крайнем напряжении их работы. Никогда они не должны оставаться без дела. Если дурная погода не позволяет работать в поле, их надо посадить за домашнюю работу — плетение корзин, струганье кольев и кручение веревок, починку собственной одежды, чистку помещений и мытье посуды. Даже в праздник им не должно быть отдыха, обойти религиозный запрет работы в праздник не трудно, надо только придумать непредусмотренный заповедью вид труда. «Надо помнить, что когда ничего не делается в хозяйстве, расход на него все-таки идет». Надо пользоваться всякой возможностью сбережения: рабу, раз он заболел и неспособен к работе, следует уменьшить дневную порцию. У Катона приведен обстоятельный рецепт приготовления для рабов дешевого напитка из вина, воды и уксуса; если что из этой смеси останется по прошествии нескольких месяцев напаивания рабов, «у тебя будет великолепный уксус». Все непригодное для хозяйства надо продавать, например, испорченный инвентарь, в том числе состарившихся или болезненных рабов. При этом хозяин-продавец не должен брать на себя забот по доставке продукта; перевозка пусть лежит на покупателе.

Постоянных рабочих-рабов, однако, оказывается недостаточно на случай построек, поднятия нови или для горячего времени сбора винограда и оливок. Необходимо нанимать свободных рабочих со стороны, будут ли это безземельные батраки или мелкие крестьяне-соседи. Вольнонаемный труд уже сильно развит в это время, что, между прочим, видно из обилия технических обозначений: рабочие зовутся *operarii* (это, впрочем, общее обозначение и для сельских рабов), *poeitores mercenarii*, *leguli*, *factores*, и в более специальных случаях *custodes*, *capulatores*.

Хозяин может найти для себя затруднительным приискывать рабочих, договариваться с ними отдельно. Тогда у него в распоряжении другой путь: сдать подряд на сбор всей жатвы, также на выжатие масла из оливок; в таком случае съемщик приводит целую партию переходящих рабочих или является рабочей артель. Во времена Катона хозяева, видимо, очень охотно продавали спекулянту посев на корню или годовой приплод и продукты с овечьего стада. На все эти случаи Катон сообщает тексты и формуляры контрактов.

Только что приведенные случаи очень напоминают позднейшую сдачу на откуп доходов в имперских провинциях Рима, когда собственник, римский народ, тоже завладевал угодьями с тем, чтобы тотчас же предоставить эксплуатацию приобретенного посторонним, арендатором, а себе взять готовую долю: здесь как нельзя более ярко выступает денежный характер сельскохозяйственного предприятия. Но владелец мало хозяйничал и в том случае, когда оставлял за собой весь процесс оборота в имении: Катон представляет себе, что владелец живет в городе и лишь наезжает в поместье для устройства первого обзаведения, для проверки своего приказчика и просмотра с ним вместе счетов, материала, орудий. Советы Катона имеют в виду людей очень определенного имущественного положения; ясно, что без значительного капитала нечего и подступаться к рациональному хозяйству. Очень характерно в этом смысле подробное описание у Катона одной сельскохозяйственной машины, пресса для оливок, сопровождаемое вычислениями ее стоимости на четырех рынках и трат на ее транспорт. И сама машина, и ее провоз, и ее составление на месте из разобранных частей, и наконец, ее ремонт стоили весьма дорого и были недоступны по цене мелкому хозяину. А между тем ускоренное приготовление масла при помощи этого технического усовершенствования давало перевес на рынке обладателю машины. Таким образом, создавалось обычное разделение интересов при переходе к более интенсивной культуре; мелкий хозяин должен был отказаться от новых способов обработки и оставался при старой, более грубой и первобытной системе, которая становилась вдвойне невыгодной с появлением рынков для сбыта. Едва перебиваясь на своем старом хозяйстве, он нередко вынужден был идти в наемные рабочие к тому самому соседнему владельцу, который заводил у себя разорявшее крестьянина рациональное хозяйство.

Еще в одном отношении должны были заметно разойтись интересы нового рационально хозяйничающего крупного владельца и крестьянина. Большой инвентарь, обилие посуды для хранения вина и масла, обилие металлических орудий заставляли помещика несравненно больше покупать на городском рынке; Катон точно знает, что надо приобретать в Риме, что в Минтурнах, что в Суэссе и т.д. Усиленный спрос на фабрикаты, особенно на глиняную посуду и металлические орудия, конечно, должен был вызывать развитие городской индустрии, и особенно в тех пунктах, которые были ближе всего к иностранному подвозу: большая часть металла привозилась морем, железо с о. Эльбы, свинец из Испании. Но вся эта повышенная работа индустрии в городских центрах Италии и усиленный подвоз из провинций приходились собственно на долю новых хозяев: в лице их самих и в лице необходимых индустриальных и торговых посредников нового хозяйства в деревню вторгался городской капитал.

В сочинении Катона необыкновенно живо отразилось появление в старой итальянской деревне этого городского капиталиста, жадного и скупого хозяина, неотступного и безжалостного вымогателя подневольного труда, с его железной бухгалтерией и счетоводством, с привычкой переводить все работы, все виды почвы, все вещи, от хозяйственных машин вплоть до изношенного старья — на деньги. Он еще с некоторой осторожностью осматривается в новой обстановке: Катон советует покупателю имения сразу стать в добрые отношения к соседям, и очевидно при этом имеет в виду крестьян: «Если будешь хорош с ними, тебе легче будет продавать продукты своего хозяйства, сдавать аренду, нанимать рабочих; если нужно будет тебе строиться, они помогут охотно работой, дадут подвозы, навезут лесу». Эта идиллия должна была однако скоро смениться другим отношением окружи к помещику, и притом в зависимости от того, чем скорее он принимался строго исполнять все советы Катона; деревня должна была скоро почувствовать, что в ее среде появился беспощадный хищник, а та энергия и та экономическая сила, которую он приводил с собою, делали борьбу с ним почти безнадежной.

В Италии началась заметная и быстрая перестановка имущественных отношений. Приобретенный в заморских завоеваниях капитал направился на итальянские земли и угодья, стал поглощать старинные наделы и деревни. Явление это очень не-

равномерно сказывалось в различных частях полуострова. Оно почти не коснулось отдаленных галльских областей на равнине р. По; в слабой мере отразилось оно в гористых местностях середины Италии и на восточных склонах к Адриатическому морю: марсы, пелигны, френтаны, вестины, самниты сохранили, по-видимому, свое старое земельное устройство вплоть до большого восстания 90 года. Иначе была картина в областях луканов, бруттиев, апулийцев в Южной Италии; здесь старое население было оттеснено на худшие земли, или было вынуждено идти на работу в поместья, или уходить в город. Но то же самое повторилось с крестьянством на собственно римской земле: под столицей фруктовое, огородное, птицеводное, скотоводное и молочное хозяйство вытеснили старинное хлебопашество; но и дальше от центра, по линиям больших дорог, в Сабине, в Пицене, в Кампании, оливка и виноград, а с ними представители большого рационального хозяйства выедали старую культуру ячменя и проса вместе с мелкими плебейскими дворами. К числу стран, где сказалось обезземеление, надо отнести и союзническую территорию этрусков, с тою только разницей, что там этот процесс, по-видимому, начался раньше, прежде чем римский капитал ринулся на Среднюю и Южную Италию.

Без сомнения, обезземеление было и обезлюдением сельских округов. Далеко не везде капитал насаждал и высшую культуру, под знаменем которой он так шумно выступил; в Лукании на месте прежних земледельческих хуторов и поселков, образовались большие пустыри, которые эксплуатировались для очень экстенсивного скотоводства: на широких пространствах единственными обывателями оставались немногие бродячие пастухи. Впрочем, традиция сохранила даже соответствующие советы самого апостола нового рационального хозяйства, показывающие, что сельско-экономическая мудрость легко приспособлялась к различным условиям: по словам Цицерона, Катон считал не только хорошее скотоводство, но и среднее и даже плохое более выгодным, чем хлебопашество.

Можно считать этот завоевательный путь римского капитала первым шагом к объединению Италии. С вытеснением старых пользователей земли увеличилась территория римского владения и продвинулась новыми полосами и пятнами по разным частям полуострова, в разных концах Италии выросли новые крепости, прошли новые дороги, усилились нити влияния центральной общины. Италия стала объединяться в смысле

слияния владельческих интересов. Конечно, не было возможности монополизировать отобранные у мятежных общин богатства в руках одних римских магнатов, нобилей и денежных людей; надо было делиться с верными союзниками, те, в свою очередь, с высшими общественными слоями в их среде.

Но рядом с этой владельческой консолидацией шла другая. В Италии началось объединение оппозиции; она составила не только из обиженных экспроприированных союзников, но к ней также примкнули обделенные землею римские граждане, плебейство, которому загородили выдачу наделов предоставлением больших пространств государственной земли в руки крупных пользователей, примкнули те, кого вытесняла с земли конкуренция городского капитала. Вместе с этим объединением недовольных и возник впервые в широком размахе вопрос аграрный. Также впервые возник и вопрос союзнический, потому что раньше у союзников не было общих сходных жалоб, не было возможности и основания объединять свои требования. В своем существе союзнический вопрос был тем же аграрным: деревенское население в союзнических общинах было недовольно так же, как римские плебеи, своим малоземельем или безземельем и добивалось участия в правах римского гражданства для того, чтобы соединиться с плебеями на общей программе и требовать раздела земель из государственного фонда.

В победах капитала, объединявшего Италию, город Рим сыграл важную роль, и его влияние вследствие этого все более возрастало. Полибий необыкновенно яркими красками рисует нам эту капиталистическую силу Рима, это живое и непосредственное участие столичного населения в эксплуатации Италии: «Очень много работ, пошлин и аренда сдаются цензорами на торгах, во-первых, заготовка и починка общественных сооружений, которых так много, что трудно и пересчитать их, затем взимание сборов с речного провоза, ввоза в портах, с садовых плантаций, с рудников, с хлебных полей, одним словом, со всего того, что досталось во власть римлян; во всем этом участвует весь народ, так, что можно сказать, нет ни одного человека, который бы не вложил в эти аукционы своего капитала и не получал барыша с откупов. В частности одни непосредственно откупают у цензоров подряды, другие находятся с первыми в компании, третьи выдают поручительства за откупщиков, и, наконец, четвертые вкладывают свои капиталы в общественные предприятия через посредство откупщиков». Последний

разряд указывает уже на участие сберегателей, т.е., по-видимому, всякого среднего и мелкого люда, искавшего прибылей от военных поставок, постройки дорог, от плантаций и заводов, но вынужденного доверять свои запасы и доли оперирующим компаниям. Взятые вместе, все эти разряды и образуют *plebs urbana*, столь не похожую по своему составу и интересам на *plebs rustica*, на старое плебейство; мы можем понять происхождение жестокой вражды между ними, которая разражалась потом драматическими столкновениями в народном собрании и даже прямыми побоищами. *Plebs urbana* возникла из элементов старой торговой общины, ее состав заполнялся все более подначальными агентами больших домов, их клиентами и вольноотпущенными, и расширялся за счет притока иностранцев, привлекаемых заморскими сношениями. Теперь масса городского плебейства следом за магнатами и компаниями откупщиков приняла участие в полувойском, полухозяйственном захвате и объединении Италии. В этом ходе вещей *plebs rustica* заняла обратно пассивное положение, она тоже расширилась в своем составе и из римской или латинской стала общекитайской; от нее по-прежнему требовали тяжелой воинской повинности, но ее оставляли без вознаграждения, ее не пускали к свободной земле, ее стискивали большими фермами, широкими пастбищами. Рим заявлял прежние притязания, присылал прежние приказы, и в то же время из Рима являлись предприниматели, отстранявшие мелкого землевладельца от аренды и оккупации земель, так недавно отобранных у его же соседа. Это была своего рода вторая встреча завоевателей и покоренных.

В обществе никогда нет совершенно резко очерченных разрезов, всегда имеются переходные слои. В среде союзников были, конечно, и крупные дома в роде римских *gentes*; были средние землевладельцы, были торговцы и негоцианты неримских городов. С другой стороны, в Риме развивался обширный класс пролетариев из мелких ремесленников, ходебщиков и разносчиков, людей, занятых в извозе и переноске тяжестей, в торговой службе, которые, конечно, не могли ни в каком смысле участвовать в эксплуатации Италии и ее угодий. В деревне образовался также новый класс из безземельных; это были частью пострадавшие от конфискации, частью же лишние дети крестьянских семей, которым не доставались более земельные наделы за прекращением земледельческих колоний; им приходилось искать заработка или в соседних больших эконо-

номиях, или в городе. Мы уже видели, какое заметное место занимают вольнонаемные батраки в сельскохозяйственных соображениях Катона. Когда Цицерон говорит о жалких и беспокойных *agrestes*, он, очевидно, понимает тот же разряд. Тяжелая участь, наемный труд, необеспеченность существования сближали *agrestes* с городскими пролетариями, тем более, что иногда это были те же самые люди, менявшие занятие и местопребывание. Получалась некоторая промежуточная среда бедноты, в которой *plebs rustica* и *plebs urbana* близко соприкасались между собою. Падение крестьянской Италии и причины этого явления очень занимали еще античных писателей. Тот крупный римский историк конца республики (вероятно Азиний Поллион), которым пользовался Аппиан в своей истории гражданских войн, оставил нам красноречивую картину захвата Италии римским капиталом. В его глазах само появление крупных пользователей на казенной земле составляло уже опасное начало, но это еще не была главная причина уклona и гибели большей части римского и италийского крестьянства. Сам крупный землевладелец или сторонник латифундиального хозяйства, он решается упомянуть о некотором идеале, к сожалению, для него, не осуществленном: хорошо, если бы мог образовываться из обойденных раздачей крестьян, из этой «трудолюбивейшей итальянской породы», постоянный состав сельскохозяйственных рабочих или второстепенных пользователей под руководством на службе больших экономий. В этой мысли историка заключено обычное оправдание, свойственное эпохам капиталистического подъема, когда завоеватели, крупные хозяева и техники стараются уверить себя и других, что в их жестоком деле, в приносимом ими разорении есть и возмещение беды, есть новый источник выгоды для разоряемых. Но римский историк находит, что и это утешение не было дано Италии. Многочисленная трудовая масса не получила применения в новых больших поместьях; собственник и крупный оккупатор бросились на приобретение дешевых рабских рук, и в этой-то конкуренции невольников заключалась главная причина обезлюдения Италии и падение старого плебейства.

Историки нового времени, современники роста европейско-американского капитализма, усиления всемирной торговли, ухода разоряемого крестьянства в города и жестокого соперничества рабочих групп между собою приняли эти объяснения Аппиана. Увлекаясь аналогиями Рима II—I вв. до Р.Х. с Евро-

пой XVIII—XIX вв., они пошли еще дальше. Моммзен представляет себе Италию наподобие современной деревенской Европы под давлением громадного и дешевого подвоза продуктов первой необходимости, особенно хлеба. Рим и другие города начинают потреблять исключительно иностранные продукты, доставляемые новообразованной империей; крестьянская, хлебопашеская Италия лишается рынка и гибнет.

В последнее время против объяснений подобного рода выступил довольно энергично итальянский историк и социолог Сальвиоли¹. В этом ученом своеобразно сплетается сторонник социально-философских теорий марксизма и реалист-наблюдатель современной Италии, глубоко убежденный в исконности и основной неизменности национальной культуры своей страны. Сальвиоли исходит из новых экономических категорий, выставленных европейско-американской культурой последних двух веков, но думает, что старинная Италия (которую он неосторожно отождествляет даже в заглавии книги с «античным миром») не дошла до форм развитого капитализма, остановившись на довольно скудном, тихом, замкнутом хозяйстве. Сказочная роскошь и расточительность Древнего мира, о которой повествуют, главным образом, сатирики и обличители, по его мнению, до крайности преувеличена. Богатства Древнего мира, говоря безотносительно, были несравненно скуднее и мельче новоевропейских. От завоеваний, от подвоза иностранных продуктов богател только Рим, издалека привозились сюда только предметы редкие, для немногих богатых людей, остальная Италия как была, так и осталась глухой деревней. Капитал направился только на непроизводительные формы откупов и ростовщичества, не захватил индустрии и не пытался завоевать сельские области крупным сбытом, ремесло оставалось узким местным производством.

В своем справедливом протесте против чрезмерных аналогий между Римом и европейской современностью Сальвиоли, может быть, заходит несколько далеко, в другую, противоположную сторону: капиталистическое предприятие в Италии, без сомнения, сравнительно мало захватило индустрию, но сильно выразилось в сельском хозяйстве; оно не завоевало, может быть, всей Италии, но, во всяком случае, далеко зашло за пределы Рима и еще двух-трех больших городов. Рим не толь-

¹ *Salvioli. Le capitalism dans le mond antique*, trad. P.A. Bonnet, Paris, 1906.

ко покупал на свои непроизводительные ростовщические деньги, и покупал не только чужеземные редкие товары или производимые в подгородных имениях лакомства и цветы. Из описаний и советов Катона мы ясно видим, что Рим и другие города, по крайней мере, западного берега были обширными рынками, которые покупали продукты сельских экономий, сравнительно отдаленных, и которые, в свою очередь, были необходимыми для этих имений поставщиками фабрикатов, приготовляемых ими же в больших размерах. Напрасно считать море единственным торговым путем того времени: мы видели опять, какое значение придает Катон положению поместья у реки и у большой дороги, как далеко он считает возможным по сухому пути экспедировать сельскохозяйственную машину.

Приняв все это во внимание, мы опять готовы вернуться к характеристике Аппиана, мы еще более, чем римский историк конца республики, готовы будем видеть первый толчок к падению крестьянской Италии в самой оккупации государственной земли, в том, что капитал с каперства, с захватов на море, с военных кампаний, кончавшихся контрибуциями, бросился на эксплуатацию земли. Мы только остережемся делать заключение о его всепроникающей, всеобъемлющей роли; большая часть Италии все-таки и после кризиса II в. осталась вдалеке от погони за торговой выгодой, от колебания цен, от крупных расчетов на сложные конъюнктуры. Но мы должны отказаться и от того взгляда на экономическую жизнь Древнего мира, который относит в круг влияния культуры и капитала только береговую полосу, а все остальное безраздельно передает царству натурального хозяйства.



2

ВОЗНИКНОВЕНИ ИМПЕРИАЛИЗМА И НАЧАЛО РИМСКОЙ ДЕМОКРАТИИ

О Римской империи нельзя говорить по-настоящему до события половины II в., до момента одновременного захвата Карфагена и Македонии с Грецией. Ранее 146 года у Рима были посторонние владения за пределами Италии; были области, обремененные натуральными поставками, напр., Сицилия и Сардиния, обложенные повинностью поставлять хлеб, были народности на западе, в Галлии, Испании, на Балеарских островах, с которых римляне собирали живую подать, требовали военной помощи. Но эти владения не составляли постоянных доходных статей римского государства, они не успели еще сделаться достоянием римского капитала.

Римское правительство все еще держалось старой финансовой системы. Оно не имело постоянного бюджета. Для организации большого военного предприятия сенат должен был прибегать к чрезвычайному принудительному займу, с граждан собирали *tributum*, с тем, чтобы потом вернуть его из добычи, из военной контрибуции, взятой с противника, и в хорошем случае вернуть со значительной лихвой. Возвращением трибута служили последующие раздачи хлеба гражданам, земельные наделы, вероятно, также распределение между ними денег. Иногда правительство, не желая брать на себя риск предприятия, допускало сбор добровольных пожертвований, которые сосредоточивались в руках конквистадора: так организован был поход в Испанию и в Африку молодого Публия Сципиона в 206 г. В таких случаях и последующие раздачи народу, вероятно, также носили частный характер, исходили не от сената, не от всей коллегии нобилей, а от тех отдельных капитанов-предпринимателей, которые организовали данное завоева-

ние или экспедицию. По-видимому, Сципионы в таком же духе вели свои более ранние предприятия в Испании, в 218—211 гг., и свои последующие кампании на Востоке в 90-х гг. II в. И тогда нам становится понятен известный эпизод политической карьеры Сципиона Африканского Старшего, его высокомерный отказ явиться на суд и дать отчет в расходовании военных сумм. Он был по-своему прав: предприятия его были частным делом, и если ему в свое время предоставили полный простор действия, то запоздалый контроль со стороны должностных лиц, посторонних его предприятиям, представлялся ему вмешательством в это частное дело.

По всей вероятности, в лице Сципионов и дружественных им фамилий Квинкциев Фламининов и Эмилиев Павлов Рим имел самых ярких и влиятельных представителей кондотьерства, а в период 212—168 гг., начиная от походов в Испанию и Африку и до разгрома Македонии, переживал самую интенсивную пору частных военно-коммерческих предприятий. В эту же самую эпоху Рим был довольно близок к тирании счастливых командиров на манер сиракузской монархии Дионисия или Агафокла.

Такое положение вещей было слишком невыгодно для остальных нобилей, так как частные предприниматели, капитаны, отодвигали влияние большинства аристократии. В следующие десятилетия можно заметить, как сенат, т.е. масса нобилей, делает усилия регулировать внешнюю политику, разделить равномернее ее выгоды; с этой целью, прежде всего, стараются установить очередь должностей между главными правящими фамилиями. Благодаря этому выдвинулась коллегия сената, и римская республика получила тот вид, который закрепился за ней в идеализированной традиции: во главе разумно подчиняющейся общины — собрание царей, как льстиво называли сенат восточные клиенты Рима, корпорация, где нет чрезмерно выдающихся личностей, а правит средний государственный ум, опираясь на коллективный опыт. Когда за этим периодом равновесия нобилей в сенате последовал кризис и потрясение сенатского авторитета, так называемый революционный период, то стало казаться, что вся старина была временем твердого и постоянного управления сената; между тем как в действительности это были какие-нибудь 40—50 лет.

Момент финансового и дипломатического всемогущества сената закреплён как раз в характеристике Полибия. Правда, в

угоду своей излюбленной теории равновесия трех политических форм, греческий историк изображает руководство сената в виде одного только из основных цветов политической радуги Рима, придает ему в общем гармоническом чертеже значение лишь одной важной, но не господствующей линии. Но это не мешает нам найти в характеристике Полибия реальные черты. «Сенат распоряжается прежде всего казною: он определяет все доходы и расходы. Квесторы (казначей) не могут делать никаких выдач помимо постановления сената за исключением тех, которые совершаются от имени консулов. Но в особенности от сената зависит разрешение на самые существенные и крупные общественные траты, а именно на те сооружения и поставки, которыми заведуют цензоры; только от сената цензоры и получают на это уполномочие»¹. Полибий замечает дальше по этому поводу, что сенат входит во все детали, контролирует ответственного чиновника во всех стадиях торгов и сдачи подрядов. Изобразив участие всего римского гражданства в аукционах и поставках (в вышеприведенном отрывке), Полибий прибавляет: сенат во всей этой процедуре распоряжается полновластно. От него зависит установление и изменение срока договоров, он может в известных случаях скидывать уговоренные ставки или даже вообще во внимание к затруднениям расторгать условленные сделки. Таким образом, очень обширны пределы области, в которой сенат может причинить крупный урон и доставить большие выгоды. Еще раз повторяю, что доклад обо всех этих делах идет в сенате. В другом месте Полибий соединяет вместе разные функции сената, еще раз говорит о финансовом его управлении, о судебном, полицейском авторитете сената над всей Италией и о ведении им всей международной политики. И для полной определенности он прибавляет: «Народ во всем вышесказанном не имеет никакого голоса».

Замечания эти чрезвычайно важны. Они объясняют нам, почему откупщики и стоящие позади них группы компанейщиков, поручителей и пайщиков-сберегателей потом образовали оппозицию сенатскому правительству. Их держали вдали от финансового источника, им связывали руки в эксплуатации приобретаемых государством богатств. Народное собрание, где они подавали свой голос, было совершенно устранено от финансовых дел.

¹ Polyb. VI, 13.

Но что касается состава финансов, во II в. произошла важная перемена. В старом бюджете, неправильном, прерывающемся, главной статьей дохода была военная контрибуция. В 201 г. с Карфагена была взята контрибуция таких размеров, что она свела сразу великий африканский город в разряд второстепенных держав. Одновременно Рим мог скинуть большой расход: с уничтожением карфагенского военного флота Западное море становилось закрытым римским морем и, следовательно, исчезла необходимость держать свой военный флот. В 198 г. взяли крупную сумму с македонского царя Филиппа, а после 192 года поплатился тем же его союзник, царь Антиох Сирийский. Это было десятилетие замечательно счастливое в смысле чрезвычайных доходов. Через 25 лет (167 г.) добыча, полученная с побежденной Македонии, и контрибуция с территорий Балканского полуострова оказалась столь значительной, что с граждан перестали брать трибут; другими словами, в казне образовался большой постоянный запас, из которого можно было делать все траты на снаряжение новых походов, не прибегая к займам у гражданства. Конечно, это одно поднимало авторитет сената, ставило его в еще более независимое положение относительно народа.

Но правящие нобили не хотели на этом останавливаться. Налицо были новые мотивы завоеваний и присоединений. Полной монополии в Западном море не было, пока существовал самостоятельный Карфаген. *Delenda est Carthago!* — говорил типичный средний нобиль Порций Катон и, конечно, не он один был такого мнения. У Сципионов имелось множество подражателей, которые хотели попытать счастья на слабом в военном отношении, почти обезоруженном Востоке. Многим желающим не хватало должностей; если несколько счастливых консулов получили вслед за своей годовой службой провинциальные наместничества, то другим за неимением свободных провинций приходилось ждать очереди, а пока уходить в частную жизнь. Наконец, и это самое важное, если военные экспедиции составляли путь к новым доходам, то всего выгоднее было вступать в постоянное пользование побежденной территорией, т.е. присоединять ее к своей державе. Вот почему в 146 г. несколько вассалов были лишены автономии и их земли превращены в провинции: Карфаген, четыре республики, образованные в 167 г. из Македонии, Коринф, Ахайя.

В самом способе присоединения и устройства этих наместничеств не было ничего нового в принципе. Но нельзя не заметить разницы между провинциями, имевшимися до 146 года, и теми, которые возникли после этого момента. Первые, кроме Сицилии, были малокультурными областями, дававшими мало дохода. Вторые представляли территории с очень развитым земледельческим или индустриальным хозяйством, плотным населением, большими имущественными фондами и запасами. С них можно было резать постоянный денежный доход. Вложенный в завоевание ростовщический капитал Рима мог дать здесь непосредственный или большой процент. Для победителей не было нужды входить в разработку естественных богатств и даже заниматься обменом; местное население оставалось при своем привычном производстве и доставляло все, что требовалось Риму. Между Востоком и Западом возникли своеобразные экономические отношения. Восток и карфагенская Африка были богаче культурой, техникой, запасами, трудолюбием; но лучше сконцентрированный хищнический капитал Рима, опираясь на полуварварские военные силы окружающих стран Запада, брал верх над работой, искусством, бережливостью эллинистических и семитических стран.

Приобретения 146 г. скоро увеличились новыми наместничествами. В 133 г. римской державе досталось замечательное наследство, бывшее Пергамское царство Атталидов. Оно отошло по завещанию последнего царя, может быть, задолжавшего римским капиталистам и вынужденного отдать теперь свой залог, всю свою страну. Около того же времени в Испании к прибрежной полосе присоединили внутренние области. В 118 г. римляне устроили наместничество в той области, которая служила им для военных переходов в Испанию, превратили в провинцию южную прибрежную Галлию: страна эта, уже разработанная греками Массилии, отличалась от остальной Галлии своей культурой и богатством. Можно считать захваты этого тридцатилетия началом Римской империи, т.е. обширной колониальной державы, служившей интересам Рима и Италии. На первых порах, однако, империя принесла выгоды немногим группам гражданства. Ее образование вызвало вместе с тем к жизни широкую и разнообразную по составу и мотивам оппозицию в метрополии.

Новые проконсульства и пропреторства значительно расширили число мест для выгодного устройства нобилей. Вся их корпорация, соединенная в сенате, стала распоряжаться еще большими суммами. Но она не собиралась, по-видимому, изменять финансовое управление. В новых наместничествах римский начальник вступал в соглашения с отдельными общинами относительно размера податей, взносов и поставок так же, как это велось уже раньше в Сицилии. Конечно, это открывало простор большим злоупотреблениям и утайке сумм. Само правительство сената, обеспокоенное растущими утайками, назначило постоянную судебную комиссию для проверки возвращавшихся в Рим наместников, под очень характерным названием *quaestio de pecuniis*, т.е. следствия о суммах, подлежащих взысканию (в казну). Капиталисты второго разряда, «всадники», успевшие втиснуться посредниками в пользование итальянскими угодьями и поставками, но оттесненные от больших политических должностей, а, следовательно, и от участия в провинциальной администрации, не могли не поднять громких жалоб против традиционного управления: они представляли правительству и народу всю невыгодность этой администрации командиров и офицеров, весь некоммерческий характер его и обещали несравненно большие сборы с провинций, если бы управление было им предоставлено.

Неизбежно также должно было возрасти недовольство римских и союзнических крестьян, служивших в войске. В то время как они перестали получать наделы, нобили все более приобретали выгоды от оккупации земель, от скупки мелких участков и округления своих имений, потому что получили в свое распоряжение новые массы привозных рабов и могли выкраивать себе все новые и новые доли из растущей провинциальной добычи. Сторонники старого плебейства могли спрашивать себя, почему же не отделяют казенных сумм на устройство колоний, почему вообще не пытаются остановить этот двойной грабеж, при посредстве которого созданный завоеванием капитал помогает в Италии вытеснению мелкого хозяина и пользователя? Сельскому батраку угрожал приток дешевых рабочих из провинций и потеря заработка. Городской пролетарий тоже стал терпеть от конкуренции работ; он видел перед собою каждый день блеск новой роскоши, которой окружали себя нобили, по временам созерцал пеструю сказочную, переливающую-

ся всеми цветами добычу, которую везли напоказ в триумфах и потом складывали в таинственные кладовые государственных церквей,— все это проходило мимо него, а между тем, несмотря на приток иностранного золота, цены возрастали и становилось трудно обеспечить себя самым необходимым; хлеб везли из подчиненных областей даровой, но он попадал в руки скупщиков, и казалось естественным, что богатое правительство должно взять на себя все руководство делом хлебоснабжения столицы.

Наконец, в самом правящем классе были недовольные — не все нобили могли получить долю в общем дележе колониальных приобретений, должностей консульских, преторских, квесторских, наместнических далеко не хватало на всех. Пока управление держалось на старой системе временных командований и военного чрезвычайного устройства порядка, персонал администрации в провинциях был невелик и действовал только суммарными приказами, не входя в детали, в отчетность. Возникла мысль об устройстве более дробной и активной администрации завоеванных областей, о введении в провинциях бюрократии и замене временных команд посредством более постоянного гражданского управления; вместе с тем обделенные нобили могли надеяться на открытие для них новых кадров службы.

Оппозиция в Риме и в Италии выросла и сложилась очень быстро. Она получилась из самого факта империалистического расширения; общественные группы, разоренные внезапным притоком чужих богатств, сходились в ней с другими, отодвинутыми от пользования этими богатствами и добивавшимися своей доли. Оппозиция была очень пестра; больше того, — она составлялась из противоречивых элементов. Нобили, сторонники бюрократии, были прямыми и естественными врагами откупщиков, требовавших устройства провинциальной администрации по типу коммерческого предприятия; городские пролетарии, добиваясь казенного хлеба, не могли сочувствовать выдачам денег на устройство земледельческих колоний.

И, тем не менее, несмотря на эту рознь интересов, оппозиционные элементы должны были действовать вместе: против всемогущей сенатской коллегии у них было только одно политическое средство — народное собрание по трибам, руководимое трибунами. Политический обычай в Риме не открывал

других путей для заявления жалоб и нужд, для обстоятельной защиты программ, для формации партий, для проведения реформ. Комиции по военным сотням, руководимые первыми сановниками республики, решавшие крупные внешние акты по инициативе сената, лишенные дебатов, не давали вовсе выхода для оппозиции. Оставались трибы, издавна поставленные более самостоятельно, но теперь, в обстановке большого союза и вновь возникшей державы, обратившиеся в очень узкое случайное соединение незначительных количественно долей населения метрополии.

Трибы по своему составу совершенно не отвечали действительной группировке италийского общества. Большая часть жителей полуострова не имела участия в римских голосованиях; обширные территории не были представлены в трибут-комициях. Но этого мало: значительные перемены в устройстве союза, происшедшие около 200 г., послужили к новой невыгоде римских народных собраний. Сенат после катастрофы карфагенского нашествия, после целого ряда экзекуций над мятежными общинами стал распоряжаться полновластно в союзных территориях: все тяжкие проступки уголовного и государственного характера, совершенные в союзных общинах, особенно измена, политические заговоры, шли теперь на разбирательство сената; союзники обращались к нему же со своими тяжбами и спорами; сенат назначал отправку гарнизонов и полицейских отрядов в общины союзников. Наряду с таким усилением власти сената над Италией, трибы во всех этих вопросах не имели никакого участия. Их старая компетенция оставалась теперь узким полем действия. В виду этого различные слои оппозиции, пытавшиеся заявить свой голос и свои притязания в политике, естественно должны были сойтись на одной общей программе: расширение триб, принятие новых граждан, увеличение числа активных голосующих членов общины и затем расширение круга ведения самих трибут-комиций, вместе с прямым вмешательством народа через своих доверенных, трибунов, в дела администрации, суда, распределения земель, распоряжения финансами. На первую очередь выдвигалась для всех оппозиционных групп политическая реформа: все сходились на требовании демократических перемен.

Демократия была в Риме совершенно новым, невиданным явлением. Полибий передает нам очень характерный взгляд со-

временников своих: «Если бы кто-нибудь приехал в Рим, когда там нет налицо ни одного из консулов, государственный строй показался бы ему безусловно аристократическим¹. Таково убеждение большинства греков, а также восточных царей, так как сенат верховно решает во всех делах и сношениях с ними».

Насколько демократическое течение в Риме казалось новым и в этом смысле революционным фактом, можно заключить из разных частных фактов. По-видимому, до Гракхов в Риме не было вовсе митингов, не было частных совещаний или агитационных собраний, не было никаких средств и приемов для того, чтобы сговариваться на общей программе, выставлять общие требования. В биографии Тиберия Гракха рассказывается о совершенно первобытном приеме, при помощи которого он узнал о жажде земли у плебеев: всюду на стенах домов, внутри портиков, на общественных монументах простолюдины нацарапали своеобразные воззвания к трибуну, написали о своем желании получить землю из общественного поля. Эти разрозненные настойчивые призывы из среды массы, официально вынужденной молчать, впервые дали политическому деятелю представление о наличии кадров большой, еще не сформированной партии, которую можно было бы назвать римским крестьянским союзом.

Все говорит нам о первых неровных шагах выступающей активно массы. Принято считать, что со времени Гракхов римское народное собрание утратило свою старинную сдержанность, спокойствие и солидность, стало шумным и беспокойным на манер греческих демократий, наполнилось горячими речами и спорами, резкими перерывами и драматизмом; другими словами, оно теперь только проявило признаки жизни, впервые стало активной ареной политики. Очень типичен в том же смысле один мелкий сравнительно эпизод из времени трибунства Кая Гракха. Когда в 122 г. среди приготовлений к большим играм были устроены лучшие места на помостах для богатых, за которые предполагалось брать плату, Кай Гракх потребовал у распорядителей, эдилов, чтобы помосты были сняты; получив отказ, он велел ночью рабочим разнести балконы и таким образом, открыл всему народу одинаковое участие в празднике. Эта, до известной степени юношески-задорная выходка демагога и

¹ Polyb. VI, 13.

реформатора, занятого в то же время крупнейшими вопросами политики, характерна и для него самого, и для руководимой им партии. Масса впервые организуется, впервые просыпается в ней смутное сознание своих прав, идеи равенства, и она проявляет себя, может быть, несколько беспорядочно в непрошеном вторжении туда, где сидят представители высших классов.

Стоит привести еще одну анекдотическую мелочь, сохранившуюся случайно у Цицерона, потому что она наглядно рисует нам, насколько трудно было политически дисциплинировать римскую массу, какие усилия приходилось применять вождям, чтобы обучить народ политической азбуке. Цицерон вспоминает о необычайно искусном политическом наставничестве Сервилия Главция, демократического деятеля, погибшего в 100 г. «Главция, — говорит он, — приучал народ вслушиваться внимательно в первые слова вносимых сановниками предложений: если они начинаются со слов «диктатор, консул, претор, начальник конницы», пусть собравшиеся не напрягают внимания: очевидно, дело идет о чем-нибудь, не касающемся народа. Но если вступление гласит: «кто после этого закона и т.п.» — пусть слушают внимательно и остерегаются, чтобы не связать себя новой ограничительной, антидемократической комиссией»¹. Без сомнения, это — уроки трибуна на особенный случай, когда ему самому нельзя выступить с подробными объяснениями, т.е. в собрании, руководимом высшими сановниками из консервативной аристократии. Но положение вещей все-таки остается характерным, и этот незначительный, по-видимому, анекдот резко выделяет римские комиции с их спешным производством дел, слабостью или отсутствием разъяснительных прений от греческих экклезий с их долгими, необыкновенно детальными обсуждениями, в которых так легко должен был уметь разбираться обыкновенный посетитель.

На первых порах вся оппозиция стоит за демократию — явление, которое, кажется, повторилось в начале революционных движений во все времена и во всех странах. Еще другая особенность начального периода революций обнаружилась при первом взрыве оппозиции в Риме: все жгучие вопросы были поставлены зараз. У обоих Гракхов, открывающих собой период подъема демократии, в программе стояли и наделы, и колонии, и раздачи, и реформа финансов, и перемена провинциальной

¹ Ibid.

администрации, и крестьянский и рабочий вопросы, и уравнивание союзников в правах с римлянами, и усиление самих римских народных собраний, т.е. установление народного верховенства.

Но как только вопросы были поставлены на практическую почву, как только за предстоящим расширением и осуществлением политических прав стали вырисовываться очертания дальнейших социальных изменений, группы оппозиции разошлись между собою, частью стали во враждебные друг другу отношения. Уже первые вожди демократии, Гракхи испытали всю силу этого внутреннего разлада оппозиции, перешедшего тотчас же в коллегию трибунов и отразившегося в противоречивых, непосредственных голосованиях народных триб.

При сравнении римской демократии с греческой, в частности с афинской, резко бросается в глаза и слабость первой, и более короткий срок ее активного выступления, — какие-нибудь 50 лет (от 134 до 84). Разница объясняется многими условиями. Главное, конечно, состоит в том, что греческая демократия была до известной степени старинной, исконной, почти естественной бытовой формой греческой общины, как это видно из описания народного собрания еще у Гомера. В римской традиции, в старых римских нравах нет демократического начала, римская демократия — создание новых политических обстоятельств, в значительной мере результат самой империи и принесенного империей разорения старинных народных классов.

Большие народные решения и голосования немыслимы без деятельности и борьбы партий, а партии предполагают подготовительные усилия кружков, клубов, корпораций, где сплачиваются единомышленники, вырабатываются программы. В греческих демократиях всегда очень деятельную роль играли гетерии, т.е. политические клубы. В Риме мы лишь под конец республики встречаем коллегии политического характера, и правительство относится к ним в высшей степени подозрительно, несколько раз принимается за их запрещение и преследование. Если потом в громадной столице империи так шатко было существование политических клубов, то можно представить себе, что раньше, при первых шагах демократии, их работа была совсем слаба. Весьма красноречивы в этом смысле также факты, относящиеся к истории аграрного закона Тиберия Гракха. Из всего, что мы слышим о приступе к делу Гракха, о не-

ожиданной оппозиции его коллеги Октавия, о драматическом обороте дела, когда трибы, впервые спрошенные по вопросу о неприкосновенности своего избранника, одна за другой стали высказываться за смещение непопулярного трибуна, — из всего этого можно вывести заключение, что в Риме еще не было никакого расчленения агитации, не было предварительной работы второстепенных вождей, не было деятельности политических союзов: сам инициатор реформы, вместе с близкими друзьями своими, развивал программу на митингах, непосредственно предшествовавших решительному голосованию, и при этом он не был даже в состоянии предусмотреть такой досадной частности, как возражение одного из своих коллег, грозившее, однако, в самом начале остановить все дело.

Другая невыгодная особенность римской демократии состояла в том, что вожди ее принадлежали большею частью к одной группе оппозиции, выходили из того же класса нобилей, который держал в своих руках и политическую власть. Иных законных представителей своих интересов перед сенатом, кроме трибунов, народные массы не имели, а между тем трибунат давно уже сделался ступенью в служебной карьере нобилей, и если бы они допустили к трибунской должности людей низших классов, им пришлось бы скоро принять этих «новых людей» вообще в свою среду, в сенат и на высшие должности. Поэтому трибуны и в эпоху демократического подъема носят имена старинных городских фамилий, Семпрониев Гракхов, Аппиев Клавдиев, Фульвиев Флакков, Папириев Карбонов и т.п. По-видимому, в трибуны редко проходили люди всаднического звания, нечего и говорить о других еще ниже стоявших классах. Рассказы о римской старине, составленные под впечатлением социальной борьбы I века, подтверждают наше наблюдение. Только один раз в лице горячего трибуна Волерона из эпохи начального периода старой сословной борьбы мы встречаем человека, вышедшего из самой толпы, из солдат, только что испытывших всю тяжесть службы; все другие деятели эпохи борьбы патрициев с плебеями принадлежат к известным фамилиям, между ними есть родственники крупных сановников республики; не раз у демократического историка I в. проскальзывает жалоба, что между массой плебеев и ее вождями, трибунами, мало общего, как будто это люди разных интересов и понятий, что простой народ неохотно идет за трибунами, нередко изменяет им.

Итак, вожди демократии, «популярны», большею частью сами принадлежали к высшему классу. Можно было бы несколько видоизменить жалобу демократического историка или обернуть ее острие на самих вождей и сказать, что они не представляли в достаточной мере желаний и чаяний низших классов, наиболее нуждавшихся в защите. Это были, по большей части, люди посторонние крестьянству Италии и пролетариям, сельским и городским. Естественно у нас возникает вопрос: что же в свою очередь заставляло часть нобилей отколотиться от той общественной группы, к которой они принадлежали, и, превратясь в вождей демократии, открыть борьбу со своими ровнями?

Мы уже видели, что часть нобилей не находила места в рядах правящих семей, в числе замещаемых ежегодно очередных должностей. Недовольные переходили в оппозицию и добивались изменения администрации в смысле расширения контроля, усиления правительственного вмешательства и увеличения служебного персонала. В реформах обоих Гракхов видное место занимает создание новых гражданских должностей. Для устройства наделов на основании аграрного закона 133 г. была устроена комиссия триумвиров, в которую, кроме инициатора, трибуна Тиберия Гракха, сел его тесть Аппий Клавдий и его брат Кай Гракх. Комиссия, при своих обширных судебных и административно-межевых полномочиях, нуждалась в большом числе подчиненных служащих: особенно должен был явиться сильный спрос на работу землемеров при больших проектированных переделах. Когда Кай Гракх через 10 лет двинул в дело свои широкие проекты поставок, проведения дорог и устройства заморских колоний, потребовалось сразу создать много новых должностей. Впоследствии обширный проект земельных наделов, выработанный Сервилием Руллою (64 г.), имел в виду образование большого штаба — не менее 200 — гражданских чиновников.

Высшим авторитетом над новыми должностями должны были сделаться трибуны, раньше не имевшие участия в администрации; напротив, предполагалось отстранить консулов, до тех пор стоявших во главе исполнительной власти, от пользования новыми административными кадрами. Дело явно шло к образованию двух служебных групп, одной, которая была связана со старой системой командований и заполняла собой се-

нат, другой, которая примыкала к народным избранникам, трибунам, и к народному собранию. Для массы незанятых нобилей, особенно для небогатых, разорившихся, эта новая служба представляла очень важный выход. При удаче, для народных вождей, трибунов, открывалась перспектива устроить новую правительственную коллегия, параллельную с сенатом. Когда нам описывают руководящее, почти единоличное положение Кая Гракха в 123—122 гг., эта возможность вырисовывается очень ярко. В Риме был момент, когда, казалось, руководящая роль перейдет к обновленной гражданской власти избранников и представителей триб.

Вообще если решиться провести резкие контуры для политических эпох римской истории, то можно найти в промежутке 150 лет от Сципиона Старшего до Цезаря четыре типа правящих сил, сменяющих друг друга: конквистадоры, сенат, трибуны и, наконец, колониальные императоры. Третий момент был самым преходящим, как и вообще демократия блеснула в Риме короткой полосой, определенной политической формы из ее преобладания не получилось, но тенденция ясно сказалась, тип правления наметился; во всякое случае, всевластие сената, создавшемуся в предшествующий период, был положен конец, аристократия была расстроена,

В 133 г. до Р.Х., в трибунство Тиберия Гракха, начинается сильный натиск оппозиции на сенатское правительство. С именем этого первого великого трибуна связывается преимущественно аграрная реформа, устройство крестьянских наделов из казенной земли. С проведением этой реформы в свою очередь связаны в традиции известные драматические; сцены столкновения между трибунами, апелляции Гракха к народу и суда над непопулярным трибуном. Но нельзя сводить содержание трибунства первого Гракха только к этому закону. Оно уже поставило на очередь все почти вопросы, волновавшие возникающую демократию, оно уже подняло все силы оппозиции. «Глава народной партии» успел в короткий срок объявить войну правительству сената по всей линии.

Только что досталось Риму богатое наследство царя Аттала в Азии, сенат собирался, по обыкновению, принять отчетность по доходам, сокровищам и денежным запасам Пергама, привезти движимость в Рим и распорядиться ею по усмотрению. Но Гракх предложил неожиданно раздать эти суммы народу, а

именно тем мелким земельным владельцам, которые должны были получить наделы из казенной земли с тем, чтобы они могли воспользоваться пособием для устройства своих новых дворов, приобретения орудий и т.п. Эта мера не была только моментальным вмешательством популярного трибуна в сферу до сих пор бесспорного ведения сената. Гракх явно замышлял реформу всего финансового управления в центре и на местах. Он заявил, что дальнейшая судьба новой провинции Азии не подлежит ведению сената и что он сделает доклад народу о повинностях и устройстве городов, входящих в состав царства Аттала. Вероятно, в тесной связи с этим отнятием у сената новой провинции стоит еще одна мера Тиберия Гракха, которую позднейший историк считает лишь агитационным средством: в судебную комиссию, разбиравшую жалобы на действия провинциальных наместников, Гракх посадил впервые всадников в равном числе с сенаторами. Другими словами, это значило присоединить представителей класса, находившегося в оппозиции, к финансовому управлению, которое было до тех пор монополией правящей аристократической коллегии.

Тиберий Гракх символически резко обозначил кризис финансового и административного всемогущества сената: в борьбе за аграрную реформу он впервые, если судить по силе впечатления, произведенного на римское общество, применил трибунское veto в широких размерах. Правда, Полибий в описании строя римской республики упоминает о праве трибунов останавливать негодные народу решения сената и не допускать созыв заседаний сената. Но в виду ограниченной компетенции народных собраний до Гракхов мы можем представить себе только один повод для подобного бойкота администрации — отказ в наборе солдат для непопулярной экспедиции, заявленный от имени триб их избранниками. Мера, принятая Тиберием Гракхом, была, без сомнения, первым крупным расширением средства старой политической стачки. Теперь трибун объявил приостановку всех дел, всей администрации и суда в городе: он угрожал штрафами сановным судьям, которые вздумали бы произносить приговоры, запретил казначеям делать вклады или производить выдачи из государственной кассы и приложил к ней свою печать.

Следует упомянуть еще о двух мерах Тиберия Гракха для того, чтобы дополнить картину широкого, почти всеобъемлю-

щего характера его реформ. Во-первых, через народное собрание проходит закон о сокращении срока военной службы, затем закон об апелляции к народу от суда сановников. О последней мере наш источник (Плутарх) говорит лишь вскользь. Может быть, закон Гракха формулировал более точно и обставлял определенными гарантиями положение о личной неприкосновенности римских граждан, которое возводили к старинному *lex de provocacione* одного из основателей республики. Между тем и другим могло быть отношение, похожее на связь *Habeas Corpus* с неизвестным параграфом Великой Хартии. Закон Гракха вносил важный принцип: он признавал народ верховной судебной инстанцией; согласно же греческой политической теории, судебное верховенство народа составляет главный шаг к общему народному суверенитету во всей государственной жизни.

Как ни важен сам по себе аграрный закон Тиберия Гракха, его необходимо представить себе именно в обстановке этих других реформ, проектов и начинаний римской демократии. Так же как другие реформы Тиберия Гракха, он имел в виду удовлетворить широкие круги оппозиции. Общее содержание аграрного предложения Тиберия Гракха слишком известно, но неясны некоторые важные детали, а главное, много спора всегда вызывал вопрос о том, чьим интересам служила реформа и, наоборот, какие общественные слои и в каком смысле были невыгодно задеты ею и должны были стать к ней в оппозицию?

Гракх предложил, исходя от принципа государственной; верховенства над *ager publicus*, ограничить право пользования землею из казенных угодий до 1000 югеров (250 десятин) на отдельных хозяев, ограничить права выгона на той же земле известным количеством голов скота и затем нарезать из полученных излишков крестьянские наделы по 30 югеров (около 7 десятин) в неотчуждаемое владение. Прежде всего, возникает вопрос, было ли это предложение об ограничении права крупных пользователей на оккупации или аренды и о разделе излишка безземельным и малоземельным новым шагом возникающей демократии, или же оно было повторением более старинной меры, реставрационной попыткой старшего Гракха, как говорит Моммзен?

В истории гражданских войн Аппиана и в Плутарховой биографии Тиберия Гракха почти в одинаковых выражениях говорится о проведенном трибунами, но забытом законе дограк-

ховского времени, который устанавливал норму в 500 югеров для крупных пользователей и ограничивал количество скота на общественных пастбищах. Оба историка сообщают только об ограничительном требовании закона, но не говорят о каких-либо наделах из излишков земли. Аппиан прибавляет даже, что до Гракхов никто не решался предложить экспроприацию посессоров, потому что изгнание их с тех земель, которые ими были возделаны и застроены, казалось делом нелегким и несправедливым. По мнению обоих историков, закон этот мог бы помочь бедным мелким владельцам и арендаторам государственной земли, да и помогал вначале, но его скоро стали обходить, крупные хозяева начали вытеснять мелких, на казенной земле возникли огромные владения, а вместо самостоятельно хозяйничающих крестьян стало возрастать количество сельского пролетариата.

Однако сведения об этом законе представляются весьма сомнительными. Странно уже то, что время издания закона совершенно неопределенно. По смыслу, он мог быть издан лишь среди злоупотреблений и захватов, т.е. лет 15—20 спустя после большой конфискации, следовательно, лет за 50 самое большее до предложения Гракха. Но о таком недавнем законе сохранились бы точные сведения, и в рассказе Аппиана и Плутарха были бы упомянуты авторы закона или указана его дата. Весьма мало также правдоподобно, чтобы такой закон могли провести трибуны в начале II в.: мы невольно спрашиваем себя, где же они нашли бы для его проведения нужные голоса: ведь много говорит в пользу того, что оппозиция впервые организовалась и сплотилась при Тиберии Гракхе; все впечатление от истории борьбы за аграрный закон 133 г. говорит в пользу того, что дело это было новым, революционным. Догракховский закон об ограничении оккупации, вероятно, принадлежит к области легенды, и притом демократического происхождения, легенды, старавшейся потом найти для Гракха и его дела закономерные прецеденты. С течением времени легенда стала искать опоры в более ранней эпохе, и у Ливия мы находим ее под именами трибунов Лициния и Секстия, отнесенной на два века назад, к борьбе патрициев с плебеями; сама возможность такого перенесения говорит в пользу того, что мы имеем дело со свободным творчеством политического романтизма. Но могла быть все же реальная основа, на которой выросло представле-

ние о старом ограничительном законе, и она, вероятно, сводится к следующему. Во время больших конфискаций конца III в., когда впервые была допущена оккупация в значительных размерах, могли установить максимальную норму для занятия земли; с другой стороны, может быть, при этом даны были со стороны правительства обещания произвести мелкие наделения, как это делалось раньше.

Устанавливая ограничение для крупных имений и для выгона больших стад, Гракх, может быть, опирался на норму эпохи конфискаций; в определении размера крестьянских участков, которые предполагалось нарезать из отбираемого у богатых излишка, он также, вероятно, возвращался к обычному старинному типу надела. Новизна заключалась не в этом техническом содержании реформы 133 г., а в ее политическом принципе. Сенат до сих пор распоряжался безгранично конфискациями земли, установлением условий их пользования, выдачи в оккупацию и в аренду, наделениями военных колонистов. Тиберий Гракх первый решился вырвать у сената это большое и важное ведомство. Трибун впервые предлагал народному собранию отнять у сената распоряжение казенной землей, объявить право народа на «общественное поле и на производство наделов». В аграрном вопросе повторилось то же, что было в финансовом, и там, и здесь сенат правил единовластно: в 133 г. Тиберий Гракх заявил притязание демократии на обе крупнейшие сферы государственного управления.

Кого имел в виду первый вождь римской демократии в предположенных задачах и наделениях? Аппиан, отличающийся от всех историков римской эпохи чуть ли не наибольшей отчетливостью при определении партий и социальных групп, все время говорит об италиках, о всей Италии, горячо заинтересованной в аграрной реформе. Ни в чем не видно, чтобы римские граждане были поставлены в особое привилегированное положение при наделении землей. В одной из речей Тиберий Гракх даже исключительно говорит об италиках, об оскудении и вымирании от малоземелья «этой полезнейшей для Рима нации, родственной по крови и особенно пригодной для военной службы». В рассказах о торжестве Гракха, когда ему удалось провести свой аграрный закон, есть такая любопытная подробность: народные массы — а в Риме собрались крестьяне со всех концов полуострова — провожают трибуна домой и славят его

«воссоздателем не одной какой-либо общины, не одного племени, а всех народностей Италии»¹. Вполне сходится с этой характеристикой картина, случайно сохранившаяся в отрывке Диодора. Выражения этого отрывка напоминают, скорее всего, поэму, автором которой был какой-нибудь горячий сторонник Гракха. «И стекались в Рим со всей страны массы, точно реки во всеобъемлющее море. Эти массы были исполнены горячего желания улучшить свое положение: они возлагали надежды на благодетельный закон, на своего вождя, недоступного ни подкупу, ни страху, который решил положить все силы жизни, идти на все опасности, бороться до последнего издыхания за возвращение народу земли»².

В проектах римской демократии вся крестьянская масса Италии выступала как одно целое, без различия полноправного гражданства, латинов и союзников. Сторонники реформы выводили право на получение наделов из военной службы, лежавшей на сельском населении, а римские командиры в провинциях, и впереди всех консервативный Сципион Младший, покоритель Карфагена и герой трудной испанской войны, должны были признать, что союзники несут одинаковую с римлянами или даже более тяжелую службу. Гракх ставил на очередь и вопрос о союзниках; он не требовал еще определенно включения их в римские трибы, допущения их к большим голосованиям в Риме, но он пытался уравнивать их с гражданами в самом важном практическом деле, в обеспечении землею. Римская демократия не могла чуждаться демократических элементов среди союзников. Гракх привлекал массы сельчан из разных частей Италии, и если не все могли по формальным причинам принимать участие в голосовании, то все же присутствие в городе италийского крестьянства должно было оказывать сильное давление и на римского горожанина, лишенного земельной жадности, и на сенатское правительство, состоявшее, главным образом, из обладателей крупных посессий.

Предложения Гракха имели в виду не только наделение малоземельных или безземельных, не только воссоздание исчезнувших крестьянских дворов. По-видимому, приняты были во внимание также сельские рабочие, которые не в силах были завести собственное хозяйство, но надеялись получить защиту от

¹ App. I, 8, 9, 12.

² Diodor, 34, 5.

рабочего кризиса, вызванного громадной конкуренцией рабов. Правда, в изложении Гракхова закона историки не упоминают о сельских рабочих. Но свободные батраки, несомненно, разумеются в той речи Гракха, где он ссылается на тяжелое состояние Сицилии, вызванное именно преобладанием в плантациях привозных рабов. Сельские рабочие фигурируют также в легендарном законе, который античные историки предпосылают Гракхову. Там было будто бы положено, чтобы крупные хозяева нанимали определенное количество свободных рабочих, и притом для работ высшего порядка, для администрации и надзора за рабочими в имениях. Возможно, что соответствующая статья была и в законопроекте Гракха.

Кто же были противники реформы и как думали вожди демократии прийти к соглашению с ними? На первый взгляд кажется, что предложение Гракха об ограничении участков, которыми могли пользоваться отдельные лица из казенной земли, могло задеть лишь очень немногих магнатов. Оно было, по-видимому, направлено главным образом против крупного экстенсивного скотоводства и имело в виду изъять обширные пустующие земли в пользу мелких хлебопашцев. Среднее имение в том размере, как нам описывает его Катон, укладывалось в рамки, допущенные законом Гракха: посессоры, занявшие не более 1000 югеров, могли ведь спокойно сохранить свои владения. Средний нобиль мог бы оставить без протеста аграрное предложение, тем более что Гракх обещал превращение оккупации, не переходящих нормы, в полное владение данных пользователей. Поэтому общее принципиальное решение прошло сравнительно быстро и без больших затруднений. В самом сенате были сторонники реформы: они могли руководиться военно-политическими соображениями. Последняя война в Испании показала, как трудно добыть охотников идти в далекие походы: теперь можно было создать приманку для солдат в виде последующего наделения землею, вернуться к старой политике устройства ветеранов.

Тем не менее, оказалось много лиц разных разрядов, задетых реформой. Как только приступила к делу комиссия триумвиров, избранная для определения излишков оккупированной земли и нарезки из них крестьянских наделов, немедленно обнаружились и широкие размеры предстоящего переворота. Особым законом комиссии было поручено расследовать и оп-

ределить границы между частным владением и оккупированной казенной землей. Но после долгого и бесконтрольного хозяйничанья нобилей и снисхождений сенатского правительства это значило, что для оппозиции открывается возможность произвести пересмотр всех раздач и захватов, совершившихся за последние 60 лет, пересмотр прав на владение у большей части крупных и средних владельцев, воспользовавшихся обширными запасами конфискованной земли. Комиссия требовала предъявления документов на право владения. Но за давностью лет эти границы стерлись и перемешались: участки оккупированной земли перепродавались, дарились, переходили по наследству, отдавались в приданое. Фактические обладатели имений получали их иногда из вторых, третьих рук, заплатили за них капитал и не считали себя ответственными за первую оккупацию. В покупку земли, в мелиорации вложены были суммы, взятые в кредит. Все эти владения и капиталы подвергались опасности.

Комиссия триумвиров получила самые широкие судебные полномочия: она могла принимать жалобы о неправильном размежевании земли при первом разделе; вслед за производством следствия триумвиры могли предписать новый передел всей земли в известной округе. Подобные переделы сопровождались перемещением всех владельцев, причем оный мог с культивированной земли, с виноградника или оливковой плантации, с виллы, снабженной всякого рода инвентарем, попасть на совершенный пустырь. Можно представить себе крайнее раздражение хозяев катоновского типа. С другой стороны, были обеспокоены всадники-капиталисты, дававшие ссуды под залог земли, так как им грозила потеря долга. Наконец, расследования комиссии втягивали в круг спорных земель многие смежные участки, в свое время проданные или розданные союзникам.

Число недовольных, угрожаемых или сдвинутых со своего положения все возрастало. Гракх пытался примирить с неизбежным тех посессоров, которые лишались своих посадок, инвентаря, теряли капитал, положенный на мелиорацию имений: он предложил вознаграждение таким хозяевам, и запасы пергамской казны казались тут очень кстати. Но с италиками, не принадлежавшими к составу римского гражданства, было очень трудно прийти к соглашению. Из общин, рассеянных по всему полуострову, являлись новые и новые жалобщики и просители.

Они ясно делились на две группы так же, как римское гражданство: одни ожидали новых нарезок, другие протестовали, оспаривали отобрания, производимые римскими землемерами, но высказывались также против своих сограждан, малоземельных и безземельных, увеличенных движением римского крестьянства и требовавших таких же переделов в своих общинах и округах. Здесь римский трибун и римское народное собрание были бессильны сделать что-нибудь: италийские общины составляли автономные единицы, между ними не имелось соединительных органов и связей. Для того чтобы дать им правильное участие в решении общего земельного вопроса, их надо было бы принять в состав римского гражданства. Каждая из двух больших аграрных партий в среде союзников была по-своему заинтересована в приобретении политических прав: одни — чтобы двинуть, другие — чтобы остановить аграрную реформу.

Гракх и его партия были, несомненно, за распространение гражданских прав на союзников; это видно из того, что 8 лет спустя гракханец Фульвий Флакк в свое консульство внес соответствующее предложение; это видно также из призывов, с которыми Гракх обращается к массам сельчан, когда надо было собрать силы для важного голосования; без сомнения, среди них были горячо ожидавшие наделов италийки. Когда летние работы помешали им явиться в Рим к выборам трибунов, дело Тиберия Гракха оказалось потерянным: остался налицо только столичный народ, равнодушный к земельному вопросу, частью невыгодно задетый кризисом капитала, положенного в оккупированные и подлежащие отобранию земли; в коллегии трибунов получилось большинство, неблагоприятное для переизбрания Гракха, и он погиб, как частный человек, лишенный защиты священного авторитета, окружавшего избранника триб.

Тиберий Гракх захватил в своих проектах и начинаниях все группы оппозиции, все интересы недовольных правлением сената и сидевшего в нем нобилитета. Он впервые мобилизовал соединенные силы оппозиции: но при первом натиске она оказалась плохо слаженной; с силой столкнулись в ней самые противоположные интересы; ее деятельность была неправильна и прерывиста.

В реформе первого вождя демократии своеобразно сплелось старое и новое, политические традиции и революционные порывы. В отдельности требования, выставленные трибуном в

133 г., отвечали ясным желаниям отдельных элементов оппозиции, но их соединение под общими политическими символами и формулами представляется новым и неожиданным для малоподвижной римской среды. В пересказе историков деятельность обоих Гракхов, и особенно старшего, расцвечена множеством речей. Большая часть этих речей должна быть отнесена на счет известного литературного приема греков и римлян, который превращает мотивы действий в прямые обращения и драматические монологи действующих лиц. Но известную долю теоретических разъяснений, приписанных Гракху, все-таки можно признать подлинной, все равно, излагались ли они именно в такой форме перед народом или нет; без сомнения, общие политические и социальные идеи скрепляли обширный план, с которым выступала римская демократия в 133 г.

В свою очередь ясно, откуда идут теории, где заимствуются примеры и иллюстрации: это греческие общины с их социальной борьбой, это греческая ученая литература. Практическая программа римской демократии, конечно, выросла из особых условий, созданных возникающей империей. Но в уяснении ее требований, в выработке политических реформ, в развитии теоретических толкований большое участие принадлежит грекам, демократам и социалистам. Политические эмигранты и странствующие риторы, т.е. преподаватели греческого государственного права, принесли зарождающейся в Риме демократии свой богатый опыт, свою искусную аргументацию и горячую убежденность. В биографии Тиберия Гракха упоминаются в качестве настоящих инициаторов аграрной реформы два ближайших друга его, ритор Диофан, эмигрант из Митилены, и Блоссий, уроженец греческой колонии Киме в Италии, учившийся у знаменитого Антипатра из Тарса. Блоссий был человек очень решительный, с независимым складом мысли и горячо преданный Гракху. В критический день выборов 133 г., когда суеверные римляне, окружавшие Гракха, испуганные приметами своей науки — наблюдения над птицами, стали удерживать его дома, Блоссий объявил, что будет стыдно народному вождю бояться какого-нибудь ворона, когда его зовут граждане на защиту их дела. Реакция потом неистово бросилась на этих греческих друзей вождя демократии. Диофан был убит, а Блоссия привели на допрос в сенат. Сципион Назика, убийца Тиберия Гракха, хотел запугать Блоссия и заставить его сознаться,

что будто бы Гракх приказал ему зажечь Капитолий; на это грек ответил словами, каких, вероятно, никогда еще не слышали в римской сановной коллегии: «Такого приказа Гракх не давал, но если бы он предписал подобную вещь, я счел бы за честь исполнить поручение, потому что Тиберий мог решить лишь то, что принесет благо народу»¹.

На одном примере особенно ясно видна эта связь римской практической программы и греческой идеологии. Гракх предложил ввести для вновь создаваемых крестьянских участков начало неотчуждаемости. Видимо, мера была вызвана тем, что в предшествующую пору мелкие владения скупались очень настойчиво, и из них уже успели составиться крупные комплексы имений. Вместе с тем у богатых нобилей, завладевших большими долями казенной земли, уже обнаружилась сильная тенденция к тому, чтобы перевести имения в свою полную собственность. Вводя неотчуждаемость для новых мелких наделов, при условии постоянных взносов в казну, Тиберий Гракх восстанавливал верховное право государства на землю. Комиссия триумвиров по земельному делу уполномочивалась осуществить это право на всем обширном протяжении конфискованных земель. В речах Гракха перед народом, т.е. в теоретическом обосновании этой реставрации государственного верховенства над землей, мы встречаемся с формулами, которые звучат совсем как идея национализации земли. Наделы рассматриваются как доли общего достояния всего народа. Гракх спрашивает, обращаясь к массе: «Не будет ли требованием справедливости, чтобы общее владение народа распределялось на началах общестственности». В той же речи дальше наделенный государством крестьянин обозначен любопытным термином общинник, член коммуны. Та же мысль вложена в уста протестующих сельских пролетариев: они говорят, что не в силах выполнить свои повинности, не могут кормить семей, если у них не будет земли, и если, таким образом, «будет похищена приходящая им доля общественного достояния»².

Перед этим первым натиском демократии сенат оказался в большом затруднении. Трибуны с народом заявили притязания на управление финансами и государственной землей — два сравнительно новые ведомства, возникшие вместе с импе-

¹ Plut. T.G. 8.

² App. I, 10.

рией, из самого имперского расширения, и в конституционных обычаях сенат не мог найти опоры для того, чтобы удержать за собою захваченную им монополию. Вот почему влиятельные члены сената пытались вступить в компромисс с Гракхом, отговорить его от решительного шага. Позднейший историк гражданских войн, писавший после реакционной диктатуры Суллы, делает характерное замечание: «Я изумляюсь, — говорит он, — почему сенат, столько раз спасаемый среди подобных страхов неограниченной властью, не подумал на этот раз о необыкновенно для него полезном диктаторстве»¹. Насколько мы можем судить, старинная диктатура была лишь высшей военной командой и не имела внутреннего социального назначения, нам понятно, почему «на этот раз сенат не вспомнил» о диктаторстве: он еще не дошел до мысли о социально-реакционном диктаторстве. Часть нобилей, по крайней мере, искала более конституционных средств защиты. Консул 133 г. Муций Сцевола отказался принять какие-либо насильственные меры против агитации и дебатов, происходивших на форуме при переизбрании Тиберия Гракха, и непримиримым со Сципионом Назикой во главе осталось только прибегнуть к дикой частной расправе над своими политическими противниками.

В трибунате Тиберия Гракха впервые и остро стали новые конституционные вопросы; в основе их лежала борьба различных групп гражданства из-за новых имперских богатств. На орудовании имперскими средствами возросла сила сенатской коллегии; теперь демократия оспаривала у нее эту область.

Источники оставляют нас почти в полной неизвестности относительно партийной борьбы в десятилетие от смерти старшего Гракха и до вступления в трибунство младшего (133—123). Середина между двумя яркими драматическими трибунствами остается темной. Но по разрозненным данным можно судить, что демократическая партия не провела их даром, что она работала над организацией своей и старалась усилить авторитет органов народной воли. Близкий к Тиберию Гракху Папирий Карбон на другой год после его смерти предложил два важных закона: один вводил тайное голосование в законодательных комициях, т.е. обеспечивал свободу мнений в народном собрании; другой допускал переизбрание трибуна любое число раз.

¹ Ibid. I, 16

Такое переизбрание раньше считалось, по-видимому, неконституционным. Трибунство Тиберия Гракха показало, как невыгоден краткий срок должностного года, как недостаточен он для проведения сложной реформы и как неудобен перерыв для правильного участия трибуна в администрации. Тиберий Гракх хотел уничтожить традиционную преграду фактическим переизбранием своим; его преемники предпочли легализовать переизбрание и дать возможность трибуну без риска перерыва продолжать свою деятельность. Это было вообще первым отступлением от годовых сроков и от частой смены административного персонала, которые утвердились в практике римской республики, и мы очень хорошо можем понять, каким образом демократическая партия пришла к этому новому принципу: она естественно искала противовеса постоянному авторитету медленно возобновляющегося сената, и она надеялась найти его в такой же постоянной коллегии трибунов.

Через год трибун Атиний особым решением народного собрания обеспечил правильное участие трибуна в заседаниях сената: трибуны были объявлены постоянными членами высшей административной коллегии, получили в ней место, тогда как раньше, соответственно своей традиционной роли, они лишь появлялись чрезвычайным образом в заседаниях и символически занимали место за порогом, у входа.

С другой стороны, аграрное законодательство Тиберия Гракха оставалось в силе, несмотря на гибель инициатора. Комиссия триумвиров по аграрному делу продолжала действовать. В какой мере настойчива была ее деятельность, можно судить по беспокойству владельческих слоев Италии, которые решили, наконец, искать защиты у самого влиятельного представителя аристократии, Сципиона Африканского, когда он вернулся с испанской войны. Сципион успел перед своей загадочной смертью добиться результата очень важного для всех посессоров, и римлян, и италиков: комиссия триумвиров была закрыта, а их полномочия переданы консулу, т.е. фактически все расследования о праве владения, все отобрания и раздачи земли прекратились. Демократическая партия оказалась теперь в большом затруднении; ее союзники на всем полуострове, крестьяне латинских колоний и италийских общин были от нее отрезаны; у римских демократов не было теперь средств помочь их земельной нужде.

При таком положении вещей необходимо было сделать дополнение к программе Тиберия Гракха и потребовать дарования гражданских прав союзникам. С таким требованием и выступил консул 125 года, Фульвий Флакк, в свое время заменивший Тиберия Гракха в комиссии триумвиров. По существу, это была все та же цель — распространить на всех италийских крестьян действие аграрного закона и помочь им из средств империи. Но прежняя цель являлась теперь в рамках широкой политической реформы, в виде преобразования избирательной системы и порядка голосования. Римская демократия ставила на первую очередь объединение демократических элементов всей Италии: с принятием италиков в римские трибы она надеялась дать полный перевес народному собранию и провести популярные социальные реформы.

Флакк, правда, взял свое предложение назад, но оно осталось крупнейшим политическим обещанием демократической партии. С новыми силами она готовилась к столкновению с правительством нобилей. При избрании трибуном Кая Гракха в 123 г. мы находим оппозицию лучше организованной, чем за 10 лет до того. Демократическая партия привлекла на трибунские выборы в Рим совершенно необычайную массу народа. Для прибывающих из других городов и общин людей не хватало помещения в столице; а в день голосования большая площадь не могла вместить всех избирателей, многие расположились на крышах, на выступах зданий и оттуда подавали свои голоса. Мы находим также компетенцию народного собрания чрезвычайно расширенной. В двухлетнее трибунство Кая Гракха народ решает самые крупные вопросы провинциальной администрации и устройства Италии: народное собрание учреждает новый суд из всадников-капиталистов над нобилиями-командирами и администраторами; оно вводит новую форму финансового управления провинций посредством сдачи сбора подателей на откуп: оно решает крупные общественные работы в Италии, вывод колоний и переселений в провинции, определяет сроки военной службы, постановляет устройство хлебных раздач.

Вследствие этого полномочный представитель народной воли и руководитель коллегии трибунов Кай Гракх, приобрел совершенно исключительное правительственное положение. Сенат должен был допустить трибуна ко всем своим совеща-

ям, принимать его предложения в особенности по тем вопросам, которые раньше были в исключительном ведении сената. Его положение становится монархическим, говорит его биография, а прибавляет для иллюстрации факт действительно в Риме еще небывалый. Испанский наместник Фабий прислал из своей провинции хлеб, принудительно отобранный у общин. Это был самый обычный случай в практике римской военной администрации, и пропретор нисколько не сомневался, что угодит этой реквизицией своим равным, нобилим, которые или вчера делали то же самое, или завтра то же самое повторяют. Но Кай Гракх придал делу неожиданный оборот: он предложил сенату продать присланный хлеб и вернуть его стоимость деньгами тем общинам провинции, которые обложил наместник, а его самого притянуть к суду за то, что он вызвал в подданных ненависть к власти римлян. Нобили должны были скрыть свои чувства и выдать своего коллегу. Трибун резко и настойчиво вмешался в администрацию провинций и заявил новый принцип отношений к подданным. Некоторое время спустя Кай Гракх сам, не отказываясь от трибунства, отправился за море в Африку для устройства в этой провинции обширной колонии на месте разрушенного Карфагена. Опять совершенно небывалое явление: авторитет трибуна считался ограниченным тесным кругом римского померия, старой городской черты, а теперь он передвигался вместе с комиссарами по устройению гражданской колонии в область военной команды, начальник которой привык давать отчет только сенату.

Не меньшим переворотом было вмешательство главного трибуна в управление Италией. Кай Гракх задумал обширные общественные работы и сооружения: особенно важно было проведение новых дорог и улучшение старых, постройка общественных магазинов в связи с новой организацией хлебоснабжения. Эти предприятия, работы и подряды поставили под его начало большое число всяких интеллигентных специалистов, нанимателей, рабочих и местных властей. «Поразительно было это невиданное еще зрелище, когда его окружала масса подрядчиков, техников, делегатов от общин и муниципальных советников, военных людей и литераторов, которые от него зависели, причем он умел со всеми быть обходительным, соединяя достоинство с доступностью, всякому отдавая должное; он наглядно опровергал этим тех обвинителей, которые изображали его резким, бестактным и деспотичным. Благодаря всему этому

он привлекал к себе массу не только речами с трибуны, сколько ежедневными сношениями с людьми и распределением между ними дел»¹. В последних словах биографа очень ясно отмечена новая административная роль трибуна, ставящая в тень даже его агитационную и законодательную деятельность. Трибунская власть никогда ни до, ни после этого времени не поднималась до такой силы. При консульских выборах 122 г. ожидали, что Кай Гракх зараз будет искать трибунства и консульства. Среди великого напряжения массы он, однако, выступил с рекомендацией другого лица, Фанния, в качестве кандидата на консульство. Этого было достаточно, чтобы создать Фаннию, до тех пор неизвестному, большую репутацию. Трибун явно сделался патроном консула, высшей административной должности в государстве. Впечатление в Риме от этих перемен было огромно, и Кай Гракх старался внешним символическим образом закрепить народное настроение и совершившийся переворот. Между тем как раньше ораторы говорили с трибуны, обращаясь лицом к зданию сената и вовнутрь комиций, т.е. огороженной перед сенатом площадки, Кай Гракх первый стал говорить лицом к форуму, обернувшись наружу к народной массе; по его словам, «в этом небольшом повороте головы и изменении позы заключалось очень многое: он означал превращение государственного строя из аристократии в демократию, где ораторы должны помнить об интересах массы, а не сената»².

Оппозиция торжествовала в 122 г. крупнейшие свои успехи. Под руководством Кая Гракха она была несомненно сильнее, чем при его старшем брате. Но в то же время стали резче обнаруживаться различные и даже противоположные течения, которые в ней заключались. Тиберий Гракх проводил важнейшие меры при помощи голосов крестьян. В известные сроки, на определенные моменты их приходилось сзывать особыми приглашениями; в горячие дни летней работы они вовсе не приходили. С этим материалом трудно было осуществлять быструю решительную и общую демократическую реформу. Кай Гракх стал опираться преимущественно на городские круги Рима, и особенно на капиталистов-всадников, которые в свою очередь добивались участия в эксплуатации империи и расширения своих операций на провинции.

¹ Plut. G. G. 6

² Plut. G. G. 5.

Судебная реформа, объявленная еще Тиберием Гракхом, открыла всадникам широкое участие в политике. Теперь они, помимо суда над провинциальными наместниками и их финансовым управлением, получили в свои руки все судебное разбирательство над римскими гражданами и над италиками, бывшее до тех пор в ведении сената. Всадники приобрели большую силу в республике. Организованные в крупную корпорацию, они оказывали вождю оппозиции главную поддержку в голосованиях народных собраний. Судебная монополия всадников, сменившая судебную исключительность сената и нобилей, сама по себе составляла для них большой экономический выигрыш; в процессах, разорявших нобилей, частные обвинители, те же всадники, обогащались из штрафов, залогов и взысканий. Но обладатели денежного капитала в Риме, занявши фактически господствующее положение в республике, воспользовались им, чтобы обеспечить себе еще большие материальные выгоды. Они добились перемены финансового управления в богатой провинции Азии; вместо системы раздробленных взносов с общин здесь была введена однообразная для всей области десятина, и капиталисты получили ее на откуп. Без сомнения, казна должна была выгадать при этом гораздо больше, чем при управлении военных командиров; откупщики сильнее напрягали платежную способность подданных. Но и интерес римских капиталистов был велик; поставленные вне всякого контроля, они уговаривались с отдельными общинами провинции, давали в случае нужды кредит для уплаты государственной повинности и превращали плательщиков налога в своих должников.

Большие сооружения в Италии также приходились на пользу всадникам. Кай Гракх немало должен был заплатить подрядчикам и поставщикам, которые строили и чинили дороги, брали на себя подвоз хлеба и устройство больших запасных магазинов. В этом смысле капиталисты могли надеяться на новый выигрыш при устройении заморской колонии в Африке и перевозке колонистов. Этот новый город, Юнония, проектированный Каем Гракхом на месте Карфагена, разрушенного за 25 лет до того, задуман был вовсе не в виде аграрной колонии для крестьян, а скорее в виде обширного нового центра обмена, туда предполагалось везти людей хорошего состояния.

Успехи всадников-капиталистов, составлявших главную опору демократической партии, большею частью оплачивались напряжением империалистической системы, отягчением уча-

сти подданных Рима. Со времени Кая Гракха римская демократия еще в одном отношении и уже непосредственно заставляла служить себе империю: хлебобородные провинции были обложены новой тяжелой повинностью поставки в Рим дешевого, а потом и дарового хлеба для столичного населения.

В сравнении с эпохой старшего Гракха теперь, в конце 20-х годов, выдвинулись на первое место и другие элементы оппозиции, и другие вопросы. Вожди демократической партии были так увлечены политической и административной реформой, так много уступили капиталистам, что аграрный вопрос как будто отодвинулся на второй план.

Нельзя сомневаться в том, что у Кая Гракха была в виду широкая аграрная реформа. В Новое время найдены пограничные камни, прямые следы межевания государственной земли, производившегося младшим Гракхом в области гирпинов, недалеко от той местности Лукагии, которою хотел воспользоваться Тиберий Гракх. Следовательно, была восстановлена также аграрная комиссия со всеми ее широкими полномочиями. Аграрная реформа была, однако, поставлена иначе, чем при старшем брате. Со времени предложения Фульвия Флакка в 125 г. аграрный законопроект превратился в союзнический: с начала расширение политических прав, распространение их на массу италиков, затем наделы и устройство крестьян на казенной земле. В этом смысле Кай Гракх и возобновил предложение Флакка о даровании прав римского гражданства союзникам.

Какая судьба постигла это предложение и какую роль оно сыграло в борьбе партий и дальнейшей эволюции демократии? Обыкновенно указывают на то, что против принятия союзников в состав римского гражданства была римская *plebs urbana*, столичное бедное население, мелкий люд, которому угрожала потеря исключительного права на раздачи из казны. Но раздачи в виде дешевого хлеба только что начались в это время, и едва ли такое отдаленное соображение, что от дарования политических прав союзникам явятся в Рим новые конкуренты на получение хлеба и стеснят римских пролетариев, могло вызвать страхи в низших классах населения Рима. Вопрос об уравнивании союзников в политических правах, который был главным образом аграрным вопросом, едва ли задевал ремесленников, лавочников, перевозчиков, каменщиков и прочих мещан и рабочих Рима; скорее он затрагивал интересы совсем других групп гражданства, именно капиталистических его слоев.

Чтобы понять занятую ими позицию, необходимо вернуться к аграрному предложению Тиберия Гракха и взглянуть на него с точки зрения общезакономерной, государственно-хозяйственной. Образование империи, т.е. посторонних владений, приводило Рим к новой финансовой системе: вместо натуральных повинностей, личной военной службы крестьян и вместо собираемых с владельческих групп чрезвычайных налогов, должна была возникнуть постоянная казна и постоянный широкий бюджет, который давал возможность иначе поставить войско и внешние экспедиции, вести их более широко и последовательно. В новом бюджете немалое место должен был занять и доход с казенных земель, и притом главным образом от их продажи и сдачи их в аренду. Но правящий класс, нобили, сами в интересах своих частных выгод лишали государство большей части этого дохода: многие из них бросились на самый дешевый способ эксплуатации казенной земли, разобрали ее в беспорядочное оккупационное пользование и вели большею частью также самое дешевое, малоинтенсивное пастбищное хозяйство. Тиберий Гракх своим предложением об ограничении размеров оккупации и раздроблении казенной земли на мелкие наделы не ухудшал финансового положения, но и не улучшал его существенно: едва ли могли быть велики те арендные взносы, которые стали бы платить вновь посаженные на «общественном поле» мелкие наследственные пользователи. Вероятно, главная их повинность государству должна была состоять в их личной службе, в обязательной поставке солдат с новооснованных дворов; может быть, гракховские колонии были задуманы в виде военных поселений на манер нашего казачества, австрийской военной границы или византийских стратиотов, мелких ленников IX—XI вв. по Р.Х. В смысле общей хозяйственной политики государства гракховская реформа была скорее поворотом назад, к доимперским порядкам.

Пока у Гракха противниками были только нобили, участники оккупации и сомнительные хозяева, им трудно было привести какие-либо возражения с точки зрения государственных интересов. Но, как мы видели, действия аграрной комиссии с неизбежностью затянули в пересмотр и другой круг хозяев, представителей рациональной культуры, работавших со сложением капитала. Задеты были проектом о мелких наделах и крупные арендаторы капиталистического типа, снимавшие землю у государства или у посессоров, а также ростовщики, креди-

товавшие хозяев: и это потому, что сторонники гракховской реформы готовы были использовать, возможно большие запасы казенной земли и изъять все, что не было покрыто оккупационной привилегией в норме 1000 югеров. Ко времени Кая Гракха обладатели денежного капитала получили новое политическое значение, участие в законодательстве и администрации. В их лице выступила и новая группа противников аграрного закона. Вместе с земледельцами — представителями интенсивного хозяйства, они могли занять более выгодное положение в споре, аргументировать с большею последовательностью и более убедительно ссылаться на финансовые интересы государства, которые пострадают от возвращения к устарелой системе военно-крестьянских поселений. Вероятно, по этому поводу велось много дебатов и выставлялись обстоятельные теоретико-финансовые соображения. Они не дошли до нас в прямом виде, но их отзвук можно видеть в одном курьезном месте у позднего писателя Дионисия Галикарнасского, который вставляет в рассказ о борьбе патрициев с плебеями все, что ему известно о социальных программах, теориях и агитации последнего столетия республики.

У Дионисия дело идет о легендарном аграрном законе Спурия Кассия (под 485 г. до Р.Х.), но говорится о наделении бедных и малоземельных крестьян из обширной казенной земли, об участии в долях римских граждан и союзников, т.е. как раз о том, что было на очереди в 20-х годах II в. В сенате тоже есть колеблющиеся, но выступают и резкие противники наделов, и один из них Аппий Клавдий, говорит так, как бы мог в эпоху Кая Гракха говорить финансист капиталистического направления. Он, прежде всего, ставит на вид всю важность *agri publici* для государственного бюджета. Это достояние необходимо беречь и наивозможно лучше эксплуатировать. Следует поручить особой комиссии произвести полную и точную опись казенных земель, правильно их обмежевать, затем — деталь очень любопытная для точки зрения ловкого и экономного финансиста — следует продать все спорные участки, чтобы отделаться от тягости процессов и переложить их на долю частных лиц. За выделением же спорной земли не может быть колебания относительно способа эксплуатации домена: его надо отдавать большими участками в крупную аренду, и только такое пользование будет производительно.

Капиталист готов принять демократическую формулу национализации казенной земли. Да, конечно, земля, в принципе, составляет общее владение, потому что приобретена она великими жертвами и усилиями всего народа. И, конечно, когда неимущие видят, что национальный запас беспорядочно расхищается (оратор разумеет оккупацию), они возмущены и начинают требовать всеобщего передела и поголовного наделения всех земельными участками. Не трудно, однако, показать недоброльному бедному люду, в чем заключается ошибка таких требований. Ведь на небольшом клочке мелкий хозяин едва в состоянии будет просуществовать, не говоря о притеснениях и захватах со стороны соседей; его взносы в казну будут ничтожны. Другое дело большие комплексы имений, где можно завести высокие и производительные культуры. Они дадут очень большие доходы государству. Введением капиталистической аренды, поощрением рационального хозяйства можно, следовательно, прекратить агитацию в пользу всеобщего передела. Национальное достояние не отнимется у народа, оно только умножится и получит более производительное применение. Те же бедные люди, которые бились бы в напрасных усилиях на своих жалких земельных отрезках, получают из казны, наполняемой взносами капиталистов-хозяев, хорошее жалованье в качестве солдат, провиант из больших запасных магазинов, у правительства будет возможность производить все необходимые заготовки для крупных экспедиций.

Аргументация очень интересна и напоминает рассуждения пророков и философов капитализма в Англии и Франции конца XVIII в., когда дело шло о вытеснении с земли мелкого собственника и мелкого арендатора во имя усиленного дохода и рациональной агрономии, доступных только крупным хозяевам. В гракховском Риме капиталисты делают ту же уступку демократической фразеологии; они берут тот же либерально-филантропический тон: пусть крестьянин сам убедится, что ему выгоднее быть превращенным в наемного рабочего. У них та же самая искусная ссылка на совпадение интересов государственных с интересами крупных пользователей: государство будет несравненно богаче при концентрации капитала в руках немногих, напротив, всеобщее уравнивание владений может быть только всеобщим оскудением.

Если приведенные рассуждения действительно принадлежат времени Кая Гракха, то можно себе представить, какое

крупное разногласие обнаружилось в рядах демократической партии. Самые влиятельные люди в ее среде оказывались противниками проектированной старшим Гракхом раздачи земли в мелкую наследственную аренду. Они, конечно, были также против дарования прав гражданства союзникам, так как следом за этим уравниванием ожидалась та же раздача мелким хозяевам. Во внимание к капиталистическому крылу партии Кай Гракх, вероятно, изменил постановку земельного вопроса. Иначе трудно объяснить, как мог у него явиться конкурент на этой почве в лице трибуна Ливия Друза, выставленного правительством и предлагавшего широкую крестьянскую колонизацию в самой Италии.

Разногласие в среде демократии дало возможность правящему классу нобилей выйти из оцепенения. Сенат направил усилия к тому, чтобы отвлечь известные группы от коалиции противников, чтобы образовать среди других классов правительственную партию. Так появилась против демагогии радикальной, пытавшейся соединить интересы капиталистов, крестьян, ремесленников, городских и сельских пролетариев демагогия консервативная. В лице Ливия Друза она старалась отвлечь от Кая Гракха группу крестьян, возобновляя перед ними программу старшего Гракха, отодвинутую временно младшим. В то время как Кай Гракх предлагал устроить на государственной земле новые индустриально-торговые центры и с этой целью возобновить города Капую и Тарент, причем имелись в виду люди с капиталом, Ливий Друз объявил, с согласия сената, о своем намерении вывести в Италии 12 колоний для бедных, т.е. устроить крестьянские поселения. Интересна еще одна черта различия между трибуном оппозиции и трибуном правительственной партии. Кай Гракх в духе финансовых идей капитализма настаивал на обложении новых колонистов и пользователей государственной землей взносами в пользу казны; Ливий Друз, принимая на вид более демократическую позу, обещал освобождение колонистов от всяких взносов: иными словами, он предлагал отвод земли мелким хозяевам в полную собственность.казалось, часть нобилей готова была сделать крупную уступку крестьянству — отдать ему часть свободной еще государственной земли, чтобы сохранить за собой оккупированные владения. Но если судить по законодательству, которое очень скоро последовало за гибелью Кая Гракха, жертва со стороны крупных вла-

дельцев не была так велика, а освобождение новых колонистов от взносов в казну было опасной для них самих привилегией.

Непосредственно за смертью Гракха прошел закон, отменивший неотчуждаемость участков, выданных из казенной земли: это было лишь естественным следствием освобождения от взносов и объявления мелких участков полной собственностью их владельцев. Можно представить себе, как крупные посессоры, пользуясь нуждой мелких хозяев, бросились скупать их участки и как вновь начался рост больших имений, остановленный гракховскими ограничениями. Следующий закон (*lex Thoria* 118 года) подвел принципиальный итог всей этой политике нобилей, спасавших свои оккупации: он объявил перевод оккупированной государственной земли в частную собственность совершившимся фактом и утвердил всех наличных пользователей в их владении. После этого ни о каком ограничении размеров оккупационных имений и отобрании излишков не могло более подыматься и речи. Закон Тория прекратил также деятельность аграрной комиссии по переделам и отводу крестьянских участков, учрежденной старшим Гракхом.

Историк междоусобных войн прибавляет к этому любопытную подробность: трибун, предложивший последний закон, поставил в условие посессорам — уплачивать в казну как бы выкупную сумму за переход владения в собственность с тем, чтобы получения эти шли на общенародные нужды и раздавались бедным гражданам. В этом ограничении можно узнать отзвук демократических теорий в их капиталистической окраске: государственная земля должна быть использована, как национальное достояние; ее эксплуатация будет более производительной в руках немногих крупных могущественных владений; бедные граждане получают больше посредственно через казну, чем прямо в качестве самостоятельных хозяев. Консервативная демагогия, видимо, продолжала свое дело: она заимствовала у своих противников еще один мотив, именно, аргументы в пользу рациональной постановки финансов в связи с содержанием бедных на счет государства, и при помощи этого мотива сделала последний шаг к закреплению старых оккупаций и окончательному разделу государственного земельного имущества. Правда, она очень скоро нарушила свои обещания. Закон 111 года отменил взносы посессоров с бывших оккупационных земель, установленные в 118 году. Казне снова грозил убыток от уступки

дохода с земель в пользу господствующего класса. Земледельческая реакция нашла однако средство успокоить капиталистов, которые жаловались на невыгодную постановку финансов: желая сохранить во что бы то ни стало свои оккупации в Италии, крупные посессоры отдали в продажу (силою того же закона 111 года) обширные территории «общественного поля» в провинциях.

Нам пришлось зайти несколько вперед, перешагнуть эпоху Гракхов для того, чтобы выяснить очертания и судьбу аграрного вопроса до большого общеиталийского движения начала I в. Оппозиция выступила в 134 г. против расхищения казенной земли нобилиями, против оккупации, ссылаясь на то, что они малодоходны для государства и в то же время разрушительны для крестьянского хозяйства. Но в этом походе демократии случайно и чисто внешним образом соединились два разных направления: реставраторов крестьянства и сторонников капиталистического хозяйства. Вместо двух партий по этому вопросу оказались три, и это обстоятельство открыло возможность новых политических комбинаций: угрожаемой в своем политическом и социальном положении крупный нобилитет воспользовался расколом в среде демократии и попытался привлечь на свою сторону крестьянские элементы ее. В свою очередь, капиталистические слои оппозиции, римские всадники, заинтересованные прежде всего в сохранении своего нового политического и административного положения в империи, не расположенные и без того к крестьянским наделам, выпустили аграрный вопрос из своих рук и отдали эту позицию нобилитету. Они удовлетворились крупной продажей провинциального *agri publici*. Гракховская реставрация крестьянства была этим похоронена, и в аграрных отношениях фактически восторжествовал тот порядок, который стал складываться еще в первой половине II века.

Разлад оппозиции был причиной трагической катастрофы крупных вождей демократии 20-х годов, Кая Гракха и Фульвия Флакка. Ближайшие условия падения партии гракханцев совершенно неясны. В биографии Плутарха и даже в богатой, вообще говоря, социальными фактами истории Аппиана драматические эпизоды, психологические моменты совершенно заглушают очертания партийной борьбы. Каково было положение разных групп оппозиции в решительную минуту? Одна подробность известна. Консул Опимий отдает всадникам приказ

явиться каждому с двумя вооруженными рабами на помощь сенату. Если правительство находит возможность довериться всадникам, то они, по-видимому, отступились от Гракха и Флакка. Итак, вожди демократии могли опираться лишь на низшие классы. Но что они замыслили, собирая в свою очередь вооруженные силы, занимая то Капитолий, то Авентин? Завладеть городом, государственной казной, назначить временное правительство и произвести демократический переворот с отстранением сената, допущением союзников к гражданству и обширным наделением малоземельных? Все это остается совершенно неизвестным. О серьезности момента дает понятие поведение сената и главы исполнительной власти.

В первый раз в Риме правительство вводит чрезвычайное военное положение. В 133 г. консул Муций Сцевола не усмотрел в агитации Тиберия Гракха и его сторонников мятежа и не нашел основания для применения военной силы. Консул 121 г. Опимий, напротив, в качестве резкого врага демократии, выпросил у сената чрезвычайные полномочия для подавления движения в городе. Мы знаем это римское «положение о чрезвычайной охране» из формулы, в которой Цицерон получил от сената в 63 г. поручение подавить мятеж катилинариев. Вероятно, в 121 г. эта формула впервые была применена: «Консулу дали полномочия принять все, какие возможно, меры для спасения государственного порядка, и расстроить попытку тирании». «Попытка тирании» в политической терминологии того времени означала приблизительно наше «ниспровержение существующего строя». В этом первом сражении гражданских войн римские солдаты не участвовали ни с той, ни с другой стороны; защитники римской демократии были перебиты критскими стрелками, т.е. иностранным наемным отрядом.

Чрезвычайная власть, которою был облечен консул Опимий, составляет первое в Риме появление социально-реакционной диктатуры, хотя этот титул был применен лишь 40 лет спустя при Сулле. Эта диктатура не военного происхождения. Она не принесена счастливыми командирами с завоеванных окраин, а сложилась во внутренней борьбе, задолго до появления колониальных императоров и возникла в качестве измышления аристократии, испуганной за свои привилегии; она не была ответом на какие-либо насилия со стороны оппозиции; демократия не успела выступить из границ закона. Но на ее расширившуюся агитацию, на рост ее организации правительство но-

билей не умело ответить также закономерной политикой; аристократия закрепила свое политическое бессилие применением грубой внешней силы.

Реакция 121 г. унесла больше жертв, чем 133 г., разгром римской демократии был еще резче, она потеряла самых выдающихся своих вождей вместе с наиболее активными сторонниками, которые были осуждены чрезвычайными судами и казнены в числе нескольких тысяч. Но полной победы правительство сената все же не одержало. Правда, главная опасность — распространение прав гражданства на всю Италию — была отстранена. Но сенат утратил монополию финансов, распоряжение самой богатой провинцией; административная деятельность его была связана и стеснена всадническими судами. Народное собрание сохранило в принципе право вмешиваться в дипломатию, в управление провинциями, в распоряжение казною, в устройство колоний и наделов. Когда стали забывать панику, вызванную гибелью гракховской партии, трибуны опять подняли жгучие вопросы общей политики, и опять нельзя было найти конституционные препятствия для их вмешательства в дела.

В какое беспомощное положение мог иногда стать сенат по отношению к народному собранию и трибунам, показывает сцена 119 г., два года спустя после смерти Кая Гракха, когда трибун К. Марий терроризировал аристократическую корпорацию. Марий предложил народу закон, расширявший силу народного суда в ущерб авторитету сановников. Консул Котта, обеспокоенный этим плебисцитом, провел в сенате отмену его и вызвал Мария к ответу. Явившись в сенат, Марий обратно потребовал у консула уничтожения сенатского декрета и пригрозил в случае отказа заключением самого консула в тюрьму. Котта в замешательстве апеллировал к мнению одного из старейших сенаторов, Метелла, при благосклонном покровительстве которого Марий прошел в свое время в трибуны. Метелл стал говорить в пользу консула, Марий вызвал в сенат ликтора и приказал ему отвести Метелла в тюрьму. Метелл пытался еще найти защиту у других трибунов, но никто не заступился за него, и сенат должен был отменить свое постановление, т.е. принять плебисцит.

Другой эпизод, разыгравшийся немного позже, показывает, в какой мере слабо было конституционное положение сената. Трибун Сатурнин предложил закон о даровой раздаче хлеба бедным гражданам. Так как это был, прежде всего, финансовый вопрос, в сенате выступил с возражением городской квестор,

т.е. заведующий казначейством, Цепион. Квестор ссылался на то, что казна не в силах выдержать подобный расход: под влиянием его речи сенат постановил в случае, если проект будет внесен на голосование народа, считать инициатора нарушителем конституции. Сатурнин, не стесняясь сенатус-консультум, внес свое предложение и начал отбирать голоса, несмотря на то, что его коллегии, другие трибуны, присоединились к решению сената и заявили протест. Цепион, его главный противник, считая, что игнорирование сенатского постановления и протеста других трибунов составляет кричащее нарушение конституции, в свою очередь решил сорвать незаконное в его глазах собрание: он собрал толпу единомышленников, ворвался в среду голосующих, спутал мостки, по которым двигались участники собрания к урнам, разбил баллотировочные ящики и остановил все производство. Однако Цепион оказал этим плохую услугу сенату: дело кончилось тем, что его самого привлекли к суду за оскорбление величества народа римского.

Этот случай показывает, что право возражения со стороны сената на решения народа не было обставлено ясными и прочными конституционными прецедентами. Во всяком случае, демократия успела выработать свою политическую традицию, равносильную аристократической, и с успехом защищала ее. Из того же эпизода видно, что вопросы, по поводу которых возникло столкновение, были новыми в политической практике, что они впервые ставились самой усложнившейся жизнью. Читая позднейших историков и публицистов, выстроивших картину легендарной конституции, мы узнаем, правда, что все это уже было решено и предусмотрено в старинном политическом строе Рима. Но римские политики конца II в. еще ничего не знали о предполагаемых прецедентах и должны были биться не историческими, а рациональными аргументами.

Вся сила нового режима, созданного Каем Гракхом, ярко выступает в событиях 10-х годов II в., среди затруднений, которые создал Риму нумидийский царь Югурта и в последующей войне с ним. Стесненная контролем всаднических судов и интерpellаций народного собрания, аристократия бросается на окольные пути политической интриги. До Рима доходят слухи о неправдоподобных скандалах африканской войны. Оказывается, что нобили заключали частные соглашения с богатым и предприимчивым нумидийцем, вели таинственные переговоры с его делегатами, получали подарки, премии и взятки, завели

на месте военных действий торговлю с врагом, продавали ему припасы, пленных, орудия. Все злоупотребления этой дипломатии и войны на дальней окраине раскрываются перед народом стараниями популярных трибунов. Бесперывно в Рим созываются многочисленные митинги. Одно время на них выступает главным оратором Меммий, только что выбранный, еще не вступивший в свои обязанности трибун — интересная частность, которая указывает на большую свободу слова и сходок, фактически существовавшую в то время в Риме.

Под влиянием Меммия народ решает, помимо сената и в знак недоверия к сенатской делегации, послать своего собственного уполномоченного в Африку для вывоза Югурты в Рим «с ручательством неприкосновенности от имени народа», а вместе с тем для того, чтобы вскрыть злоупотребления дипломатической миссии, имевшей во главе самого «первого сенатора» Эмилия Скавра. Югурта приезжал в Рим, и в собрании происходит знаменитая сцена народного суда над царем. Взволнованный народ, под впечатлением возмутительных африканских интриг, хочет немедленного заключения царя в оковы. Трибуну Меммию стоит великих усилий убедить массу произвести правильный допрос и добраться до истинных виновников; он сам вводит Югурту в собрание и торжественно требует ответа. Допрос, однако, не удается: нумидийский царь успел подкупить другого трибуна, и при всяком обращении Меммия коллега приказывает Югурте молчать. Толпа приходит в неописуемую ярость, грозит и нападает на подсудимого; но царь и другие соучастники великого скандала выходят невредимыми, и народ покидает собрание, обманутый в своих ожиданиях.

Когда военные операции против Югурты завершились позорной капитуляцией консульского войска, трибун Мамилий провел в народном собрании требование, чтобы все участники похода были отданы под суд. Сенат должен был выдать своих коллег и претерпеть ряд оскорбительных для него процессов. Самые крупные нобили были отданы в жертву демократии; между ними Сервилий Цепион, непримиримый аристократ, пытавшийся вернуть сановной коллегии суды. Цепион лишился всех должностей, его имущество было конфисковано, сам он подвергся изгнанию. Даже когда аристократии удалось выдвинуть для войны в Африке действительно способного и честного человека из своей среды, Метелла, он не смог долго удержаться. У Метелла явился опасный соперник в лице его собственно-

го помощника Мария, уроженца глухого городка Средней Италии, человека, выбившегося из низших чинов и занимавшегося когда-то откупам. С неподражаемым искусством рисует нам Саллюстий высокомерного аристократа Метелла, которому не могло прийти в голову, что какой-то патронируемый им плебей считает себя пригодным для высшего звания консула; довольно с него чести поддерживать на выборах аристократического подростка, сына своего патрона, молодого Метелла. Но плебей уже дерзали на высшую должность, и в лице Мария в первый раз демократическая партия провела на консульских выборах «новичка».

История избрания Мария дает нам возможность заглянуть и в обстановку римских выборов того времени. Марий проходит при поддержке двух разрядов граждан: во-первых, солдат, среди которых он уже давно пользовался известностью, как человек, прошедший все трудности службы и знакомый с лагерным бытом; во-вторых, негоциаторов и ростовщиков, в большом количестве заполнявших города провинции Африки и соседней части Нумидии. Недовольные управлением Метелла и затяжкой войны, они готовы были всеми силами поддержать его конкурента. Те и другие, солдаты и денежные люди, пишут в Рим своим близким, товарищам и единомышленникам и энергически рекомендуют избирателям стоять за хорошо им известного Мария. В Риме эти рекомендации производят решительное впечатление, горячо стали за Мария, и он прошел. Избрание Мария решало вопрос о командовании в нумидийской войне. Сенат еще раньше высказался за продолжение полномочий Метелла. Но победоносная демократическая партия довела дело до конца. Трибун спросил народ: кому поручается война с Югуртой? И огромное большинство высказалось за Мария. Решение сената, до тех пор бесконтрольно раздававшего командования и провинции, осталось бессильным. Народ в первый раз распорядился назначением главнокомандующего.

У Саллюстия Марий произносит перед избирателями в Риме речь, которая, конечно, заключает в себе лишь обычную драматическую разрисовку положения и целиком принадлежит автору: там есть резкие выходы против аристократии, есть демократически гордая фраза «мои раны на груди — вот мой герб, мой дворянский титул», есть обещания вернуться к чистым и строгим нравам предков. Но в этой Саллюстиевой ком-

позиции есть одно выражение, которое звучит как подлинное, все равно, сказано ли оно было Марием или кем-нибудь другим из представителей демократии. Марий обещает народу, что его управление будет *utile, civile imperium*. Переводить «гражданский характер управления» в противоположность «военному» здесь не имело бы никакого смысла; ведь дело идет, прежде всего, о командовании, наборе, организации войска, ведении трудной кампании. Очевидно, в термине *civile imperium* ударение лежит не на содержании власти, а на источнике ее: это — поручение, полученное не от коллегии сановных людей, а от всего гражданства, от верховного народа.

Народ проявил большую верность к своему избраннику. С нетерпением дожидались возвращения Мария из Африки, чтобы послать его против страшного врага на севере, кимвров и тевтонов, угрожавших всей земледельческой Италии, и по окончании нумидийской войны, без перерыва, было возобновлено его консульство; в течение Северной войны его выбирали еще три раза, нарушая старый конституционный обычай, не допускавший переизбрания. Аристократии и здесь оставалось только подчиниться.

На чем основывались все эти успехи демократической партии? Из кого набирались ее кадры в это время? В аграрном вопросе после смерти Кая Гракха одна неудача следовала за другой, крестьянские элементы были отодвинуты от политики и по-видимому лишь в 100 г. удалось Аппулею Сатурнину снова организовать массы сельского населения. Процессы крупных нобилей, проведение Мария в консулы, неконституционное повторение его консульства, все это было делом всадников и тех кругов преимущественно столичного населения, с которыми они стояли в связи и сношениях. Располагая политическими судами и направляя голосования народного собрания, обладатели денежного капитала составляли как бы второе параллельное сенату правительство. Их сила опиралась на развитие империи, сложившейся в 40-х и 30-х годах II в. и отданной в значительной мере в их распоряжение. В этом отношении закон Кая Гракха, предоставивший всадникам суд над администраторами провинции, имел решающее значение. «Провинциальные откупщики были компанейщиками римских судей и делали, что хотели, наполняя провинции произволом и преступлениями»¹.

¹ Diod. 37, 5.

Крупные барыши, которые давало новое провинциальное управление, привлекали все больше и больше пайщиков из среды деловых людей, принимавших деньги в залог, занимавшихся ссудами, и вообще всех тех, кто имел сбережения. Постепенно рядом с первостатейными капиталистами образовался еще второй слой денежных людей, так называли в Риме *tribune aearii*. Это имя указывает, может быть, на их происхождение из своеобразных порядков старинного сбора чрезвычайного налога по трибам. Первоначально *tribune aearii* могли быть податные старосты, отвечавшие перед правительством за платежную исправность округа и откупавшие его у казны с тем, чтобы покрыть гарантируемую сумму сбором с населения; такую обязанность должны были брать на себя с порядочными сбережениями, и в свою очередь они зарабатывали при сборе немалую прибыль на свой капитал. С появлением откупов на дороги и постройки в Италии, на аренду казенной земли, провинциальных пошлин и заморских угодий, прежним податным старостам легко было перейти на эти сходные занятия. В этой области они встретились с другими типами сберегателей и мелких денежных промышленников и передали всей категории свое характерное профессиональное имя. Но оно стало все же обозначать капиталистов второго разряда, тогда как главы фирм, большие банкиры, директора компаний сохранили название *equites*.

Оба класса были тесно связаны в своих предприятиях, но составляли две разные корпорации, как бы два цеха в гражданстве. В разбираемое время и высший слой капиталистов разбогател и расширился в своем составе. Историк междоусобных войн сообщает любопытную цифровую деталь: к 91 году, когда Ливий Друз Младший пытался согласовать интересы нобилей и всадников и с этой целью предлагал включить в сенат 300 представителей денежной аристократии, с передачей вместе с тем преобразованному сенату суда по делам провинциальной администрации. Оказалось, что огромное большинство всадников, «вкусивших уже больших барышей и власти», совсем не желали такой перемены; они боялись произвольного выделения из своей среды небольшой привилегированной группы и заранее завидовали тем немногим счастливым, которые должны будут попасть в высшую правительственную коллегию: число 300 очевидно составляло лишь незначительный процент в общем составе всадников.

Необходимо представить себе вокруг этого многочисленного класса денежных капиталистов, под управлением и в зависимости от откупщиков и арендаторов казенных статей, еще большее количество всякого рода мелких служащих: агентов, посыльных, писцов и т.п. Среди них было, конечно, много рабов и вольноотпущенных, но значительную часть этих клиентов капитала давало и свободное гражданство. Вся масса находившихся в услужении у банкиров и откупщиков, все, кто был непосредственно связан с ними своими интересами, кто отдал им свои сбережения, — составляли естественную политическую армию, которою командовали представители крупного капитала. Они могли при случае расширить состав людей, обязанных им своими голосами, например, для проведения нужного кандидата привлечь новые кадры раздачей денег в обширных размерах. Избранник откупщиков, Марий, получил в шестой раз консульство и отстранил своего постоянного соперника Метелла при помощи систематически проведенного подкупа: деньги были розданы избирателям с правильным распределением по трибам. Подкуп избирателей становится с этого времени одной из форм оборота для капитала, получаемого денежной аристократией от имперских владений и их администрации: такие единовременные выдачи народу должны обеспечить капиталистам сохранение политической власти; они стоят наряду с раздачей гражданам-избирателям дешевого хлеба.

Столичное население втягивается таким путем в политику империализма. Этот римский плебс конца I в., раздающий провинциальные командования, жадный до внешней политики, сильно отличается от оппозиционной массы времен Тиберия Гракха, от неорганизованной еще демократии, в которой преобладали сельские элементы и для которой на первом месте стоял земельный вопрос в Италии. За короткое время столица выросла, и в ней интересы империи стали затирать задачи и заботы ближайшего местного характера. Рим более чем раньше, отчуждается от Италии. Быстро меняется даже его национальный состав. Хотя по своему коммерческому положению город всегда был открыт для иммиграции с моря и для поселения иностранных торговцев, но теперь, с присоединением Африки и восточных областей, колонии иноземцев должны были быстро возрасти. В столице, вероятно, постоянно появлялись и подолгу жили жалобщики и ходатаи из провинции; расширение торговых сношений по Средиземному морю привлекало в

Рим большое число негоциантов из союзных и вассальных государств, Сирии, Египта, Кирены, Родоса. Наверно, в эту пору увеличилась греческая колония в Риме, может быть, около этого времени возникла иудейская колония, которая в эпоху Цицерона уже производила довольно внушительное впечатление. Рим приобретает космополитический вид, его «гражданство», по выражению одного политика, «составляется из стечения всех народностей».

Рост столицы, ее превращение в международный центр имело неблагоприятное влияние на судьбы демократии. Первоначальная оппозиция совершенно разладилась: еще резче прошла черта различия между интересами Рима и Италии. Она ярко обнаружилась во внутренних столкновениях 100 года, которые были предвестием крупнейшего социального кризиса Италии, сохранившегося в традиции под названием Союзнической войны.



3

ИТАЛИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И РЕАКЦИЯ

При всех своих внешних удачах римская демократия в эпоху непрерывного консульства Мария стояла перед неминуемым распадом. В то время как капиталистическая фракция партии популяров двигалась от успеха к успеху, крестьянская Италия все более отстранялась назад. Еще одну последнюю попытку вернуться к программе Грахов и соединить столичных плебеев с аграрной демократией Италии сделал в 100 году энергичный и даровитый трибун Аппулей Сатурнин. Он искал вместе с тем опоры в новой силе, выдвинувшейся в республике, — в солдате и его главном командире. Необходимо дать себе отчет в том, как сложилась эта сила.

В истории развития Римской империи обыкновенно недостаточно различают периоды. Вследствие этого получается впечатление, как будто бы успехи римского оружия, за исключением отдельных случаев, были непрерывны, присоединение провинций шло почти ровным шагом, милитаризм римский не только не ослабевал, а даже нарастал. В действительности остановки были довольно значительны, и римская держава в течение нескольких десятилетий вовсе не заслуживала названия завоевательной. После сильного подъема империализма в 40-х и 30-х годах II в. следует большая остановка завоеваний и присоединений приблизительно на 60 лет (133—74). За этот промежуток приходится, правда, три большие войны, в Африке с Югуртой, на севере по обе стороны Альп против тевтонов и кимбров и на востоке в Греции и Азии против Митридата. Но все эти войны — оборонительные: Рим должен защищать окраины против опасных врагов. Нападение Митридата угрожало потерей самых доходных восточных областей. Движение тевтонов и кимбров было крайне опасно даже для собственно римских и италийских поселений заальпийской Галлии и равнины р. По; самые жиз-

ненные интересы аграрной Италии были затронуты нашествием варварских масс. Потребовалось большое напряжение военных сил и средств метрополии, небывалое в течение 100 лет со времени другого нашествия на Италию, когда в ней был великий карфагенский завоеватель. Войска II в., посылавшиеся против восточных царей, Карфагена и испанцев, были экспедиционными отрядами, забиравшими в походы сравнительно небольшую часть гражданства и союзников. В оборонительных войнах конца II — начала I в., напротив, приходилось поднимать на ноги всю Италию, звать людей всякого состояния и правового положения. Уже Метелл перед отправлением в Африку, должен был надолго задержаться в Италии, чтобы набрать и мобилизовать новые войска, были вызваны гарнизоны из разных концов государства; потребовали усиленной помощи от всех разрядов италийских союзников и от вассальных царей.

Но скоро и этого оказалось мало. Марий, которому народ поручил сменить Метелла в командовании, в обширных размерах организовал вербовку солдат, так как правительство, очевидно, уже не имело силы собрать ополчение посредством старой системы общей повинности. При записи новых солдат даны были самые определенные обещания относительно добычи, наград и повышенного жалованья. Эти обещания и обеспечили неожиданный успех вербовки: сенат не мешал Марию, так как был уверен, что, при нерасположении народа к военной службе, новый консул, впервые проведенный демократами, потеряет всю популярность; но этого не случилось, за Марием жадно двинулись на войну массы людей. Марий брал в солдаты также пролетариев и вольноотпущенных рабов; свободного зажиточного населения для усиленного набора теперь уже не хватало. Вероятно, в последующей войне с кимврами Марий повторил подобную же вербовку; конечно, за ним последовала значительная часть солдат, уже служивших под его начальством в Африке.

Сколько можно судить, Марий был крупным реформатором в военном деле. Он вел войну методически, долго готовил и упражнял свои войска, прежде чем пускать их в дело, обеспечивал себе сообщения и подвоз в тылу обширными техническими сооружениями, проводил новые дороги, копал каналы; его солдаты помимо строевой службы должны были исполнять саперные, строительные, инженерные работы. Это была тяжелая служба, и в дисциплине, заведенной Марием, было, без со-

мнения, что-то новое, небывалое для римского глаза: его солдаты, тащивших на себе в долгих переходах провиант и снаряды, задавленных работой и усталостью, молча, беспрекословно исполнявших все приказы, с насмешливым сожалением прозвали «вьючным скотом Мария»¹. По-видимому, выдающиеся генералы и военные администраторы I в., т.е. конца республики, были его учениками и подражателями. Начиная с его утомительных походов в африканских степях и потом в приальпийских областях, римское войско получает тот вид, который нам более всего известен, но который неправильно было бы распространять на предшествующие времена. Это — солдаты по профессии, люди разнообразной технической выучки, но уже оторванные и продолжительностью службы, и характером работы от гражданских занятий, с исключительно военным заработком и совершенно естественным притязанием на пенсию или пожизненную награду по окончании долгой службы.

С другой стороны, в этих легионах, стоявших лагерями по несколько месяцев и годам, выбиравших из своей среды центурионов, т.е. низших офицеров, слагалась своя организация, вырабатывался корпоративный дух, самостоятельность решений. Солдаты составляют часто сходки, обсуждают на них общее положение вещей, стратегические и политические вопросы, а командиры привыкают с ними советоваться, объяснять им свои намерения, действовать с их согласия.

Вожди римской демократии не могли не обратить внимания на своеобразный характер этого нового общественного элемента, в особенности такой выдающийся политик, каким представляется трибун Аппулей Сатурнин. Прежде всего, солдаты составляли организованную силу, которой следовало воспользоваться в политических целях; опираясь на них, можно было внести большую планомерность в голосование комиций. С другой стороны, выслужившие ветераны, более чем кто-нибудь, были заинтересованы в наделении землей; для них и с их помощью можно было возобновить прежнюю аграрную программу, отодвинутую после смерти Кая Гракха. В то же время между солдатами было более всего людей, особенно остро и непосредственно задетых аграрной реакцией, последовавшей за гибелью реформы Гракхов. Законодательный поход 121—111 гг. против мелкого землевладения, против охраны прав мелкого пользова-

¹ Plut. Mar. 13.

теля сопровождался раздробленной борьбой на местах, множеством насилий, которые позволяли себе крупные земледельцы относительно крестьян, отбирая произвольно их участки. При этом терпел и разорялся тот самый класс, который давал Риму непобедимые войска. В то время, «как император с немногими близкими делил военную добычу, большие господа выгоняли из родных углов семьи и малых детей солдатских, живших с ними по соседству»¹.

Аппулей Сатурнин сумел опять соединить элементы прежней оппозиционной коалиции, капиталистов и их свиту, с одной стороны, защитников аграрной реформы — с другой. Он уже раньше был близок к Марию и более всего помог кандидатуре Мария на второе консульство 105 г. для войны с кимврами. Воссоединенная Аппулеем Сатурнином демократия изменила свою тактику сравнительно со временем Гракхов. Между тем как раньше ее вожди старались скорее создать конкуренцию правительству сената, устраивая особую администрацию трибунов и триумвиров и особые суды всадников, они теперь идут на захват самых высших правительственных мест, консульства, преторства и на преобразование в более демократическом духе сената. Марий в первый раз в 106 г. прошел в консулы в качестве кандидата откупщиков и негоциаторов; денежные люди и потом крепко стояли за него, обеспечивая ему несколько раз возобновление консульства. В 100 г. положение было особенно выгодно для партии популяров. Марий был выбран в шестой раз консулом; другой видный сторонник демократии, Сервилий Главция, прошел в преторы. Таким образом, половина двух высших правительственных коллегий оказалась в руках оппозиции. При помощи марианских солдат отстранили кандидатуру главы оптиматов, Метелла, а выбранный затем коллега Мария по консульству, Валерий Флакк, согласился быть вполне послушным подчиненным в руках популярного товарища.

Еще раньше была сделана демократами попытка вмешаться в составление списка сенаторов. В 103 году после приговора народного суда над непримиримым оптиматом Цепионом прошел закон Кассия, который воспрещал людям, осужденным народом, появление в сенате. Этим путем вводилась возможность отвода из сената лиц, неугодных народному собранию. В ближайшем будущем мог появиться в качестве цензора бывший

¹ Sall. Jug. 41.

консул-демократ для того, чтобы вписать в список сената любое число популяров и реформировать в духе демократии всю коллегию.

Аграрный вопрос стоял в 100 г. иначе, чем за 20 лет до того. В Италии в границах старого союза осталось мало неподделенной государственной земли. Для наделов малоземельным и безземельным, выслужившим солдатскую пенсию, приходилось отписывать землю на окраинах, особенно в приальпийских местностях или в провинциях, выводить дальние колонии. Аппулей Сатурнин предполагал, прежде всего, воспользоваться той землей, которая на севере полуострова и в Галлии Заальпийской была захвачена варварами, а потом, по римскому обычаю, по окончании войны конфискована с отстранением старых галлов-пользователей; кроме того, имелось в виду устроить колонии в Сицилии, Ахайе, Македонии⁶. Если уже Т. Грахх для операции выкупов или уплаты за мелиорации нуждался в применении денежных средств, получавшихся с империи, то еще более свободных сумм требовалось для устройства дальних колоний; следовательно, реформа аграрная могла быть осуществлена лишь за счет имперских финансов, примененных в самом широком размере.

Иначе стояло дело и в отношении участников наделения. При Граххах имелось в виду допустить к наделам, прежде всего, римских граждан; жаждущие надела союзники сначала еще должны были добиться политической реформы, получить право голоса. В 100 г. состав непосредственно ожидающих наделения был шире. Любопытно сведение, что А. Сатурнин разослал приглашение по деревням, настойчиво призывая заинтересованных на голосование в решающий день; он особенно рассчитывал на тех, кто служил под начальством Мария. Все италийцы ожидали для себя выгоды, только масса в Риме была против. По-видимому, в первой очереди стояли Мариевы ветераны, и в виду этого правдоподобно, что соответствующие обещания насчет земли были им даны, может быть, самим же Аппулеем Сатурнином в начале кампании, когда выбирали Мария в главнокомандующие Северной войны. Эти солдаты были собраны со всей Италии, далеко не принадлежали к одному гражданству и, может быть, даже союзники в их числе значительно преобладали. Таким образом, союзники уже без всякого посредства предварительной политической реформы были привлечены к предстоящему великому аграрному устройению. В аграрном вопросе

грань между ними и римскими гражданами была теперь устранена тем самым, что в Италии почти не было более спорных земель, те и другие могли рассчитывать лишь на внеиталийские наделы, а на провинциальной почве они являлись уже в равном положении. Историк гражданских войн уже не знает разницы между крестьянами римскими и италийскими, напротив, он проводит резкую черту между городским римским и сельским, общеиталийским населением.

Зато между этими двумя элементами демократии разыгрывается самая жестокая борьба по поводу аграрного закона. Римская *plebs urbana*, наполовину всадники и их клиентство, решительно противятся наделам. Голосование на форуме превращается в битвы. Сначала одолевают горожане, но Аппулею Сатурнину удается увеличить массу крестьян, привлеченных из деревень, и закон проходит. С помощью той же армии голосующих, между которыми, вероятно, было много настоящих солдат, ветеранов Мария, Аппулей Сатурнин достигает своей последней и наибольшей политической победы: он заставляет весь сенат под угрозой изгнания и штрафа несогласных сенаторов, прийти в народное собрание и клятвенно заявить о принятии и верном исполнении нового закона. Отказался только Метелл, и за это тотчас же был выслан всесильным трибуном из Рима⁹. Эпизод этот интересен с чисто политической точки зрения. В лице трибуна демократия делает попытку превратить сенат в исполнительный орган верховного собрания; плебисцит не должен более подлежать обсуждению в сенате. К законопроекту Сатурнина при внесении его в народное собрание уже было прибавлено заранее условие: «Если народ примет закон, сенат обязан в течение 5 дней принести присягу в повиновении закону»¹.

В смысле развития народного верховенства этот шаг Сатурнина составлял, может быть, высшую точку, достигнутую римской демократией. Но уже при первом обсуждении дела в сенате обнаружилось, что есть еще другие, пока тайные противники. Сам консул Марий, благоволивший, по-видимому, А. Сатурнину до тех пор, вызвавшийся быть посредником между народом и сенатом, показал свое недоверие к аграрной реформе; он советовал сенаторам подчиниться для виду, пока еще не разошлись по домам скопившиеся в городе крестьяне. Потом Марий со-

¹ App. I, 39.

гласился даже взять на себя преследование А. Сатурнина и его сторонников вооруженной силой. Мы знаем Мария за деятеля, особенно близкого к всадникам, денежным людям Рима. Они, вероятно, вовсе не сочувствовали сатурниновой политике широкого распространения крестьянских элементов; может быть, им грозила перспектива сокращения больших поставок на Рим, а также они могли опасаться ухода из Италии в колонии свободных рабочих рук. Их союз с Сатурнином и сторонниками аграрного переворота был чисто внешний, временно-политический. Теперь, когда на улицах Рима начиналась революция в интересах сельских классов, они покинули, как в 121 г., вождей демократии и соединились с правительством, со своими политическими и финансовыми врагами, нобилями. Этот картель и заставил Мариа приступить к военной экзекуции и осаде Капитолия, где засели Сатурнин, претор Главция, квестор Сауфей и вооруженный отряд крестьян, снова вызванных из деревень. Произошла катастрофа, напоминающая гибель Кая Гракха и его сторонников.

В течение своего кратковременного преобладания в 105—100 гг. демократия достигла более значительных политических результатов, чем в трибунство Кая Гракха. Но распределение партийных элементов было уже другое. Еще решительнее прошла рознь между городскими и деревенскими плебеями, причем с первыми заодно стоят денежные люди, ко вторым примыкают сельские элементы всей Италии. Все эти составные части оппозиции могут идти вместе очень далеко; когда определено и широко поставлена важная реформа, они расходятся, и первая группа принимает сторону сенатского правительства. В самой городской массе нашлось много ожесточенных врагов Аппулея Сатурнина, которые в своей добровольной помощи правительству зашли гораздо дальше консула, облеченного военной охраной города, когда Марий принял их капитуляцию и обещал им жизнь. Но зато и в высшем правящем классе более чем когда-либо обнаруживается распадение: из среды аристократии скоро выйдет последний великий трибун, принявший значительную часть демократической программы, Ливий Друз. Скоро мы увидим нобилитет резко разделенным между лагерями марианцев и сулланцев.

События и отношения 90-х годов в Риме нам почти неизвестны. Яркой агитации, громкой партийной борьбы тут и не могло быть. Новый разгром демократии, гибель ее вождей, рас-

стройство ее организации, конечно, должны были сказаться в общественной жизни, и катастрофа 100 г. имела последствием несколько лет политического уныния. В Риме сейчас же подняла голову реакция. Главу непримиримых консерваторов, Металла, вернули из изгнания с великим торжеством, а трибуна Фуррия, который не соглашался отменить эту ссылку, толпа растерзала. Но за эти годы политического затишья в Риме в большей части Италии готовилось крупное движение.

В событиях 100 г. ясно обнаружилось, что крестьянская демократия гораздо более представлена италиками, чем римлянами, что она превращается в общеиталийский союз. Уже Сатурнин кажется скорее политическим вождем италиков, чем трибуном Рима и его гражданства; у него организована была постоянная и деятельная корреспонденция с сельскими избирателями и с общинами различных частей Италии. Трибунат в Риме служил центром объединения разрозненных до тех пор групп италиков. У них начиналась и своя военная организация, сколь мы можем судить по быстрому приходу в Рим тех деревенских подкреплений, при помощи которых Аппулей Сатурнин одерживал свои полувойенные, полуполитические победы на форуме. Сношения отдельных союзных общин и народцев с центральным штабом демократии, конечно, должны были скоро повести к самостоятельным переговорам, соглашениям и союзам между отдельными группами италиков. В конце 90-х годов мы застаем их в самых оживленных взаимных сношениях: они обмениваются заложниками — это знак последних уговоров перед восстанием — и, видимо, они уже выработали союзную организацию с выключением Рима, невозможно себе представить, чтобы союз «Италия», выбравший в 90 г. своим центром город Корфиний, возник сразу без всяких приготовлений.

После трех десятилетий окольной борьбы путем косвенных влияний и прошений через своих патронов, сановных римлян, после кровавого столкновения 100 г. и катастрофы своего вождя Аппулея Сатурнина, италийцы почти не рассчитывали на мирную уступку со стороны Рима. Но они еще не порывали окончательно со столицей. Еще была возможность войти в соглашение с частью нобилей, ставших в оппозицию к правящим группам. Таким образом, в конце 90-х годов появляется в Риме новый и последний вождь италиков, аристократический трибун Ливий Друз. Он еще раз предлагает законодательным путем провести дарование прав гражданства союзникам, урав-

нение их с римлянами. Но, в сущности, восстание уже готово, предложение Друза мало чем отличается от угрозы добиться своих требований путем вооруженного вмешательства. Сам Ливий Друз был по отношению к союзникам как бы главным их доверенным в Риме, кем-то вроде общепризнанного неофициального диктатора Италии. Он располагал определенными полномочиями, в силу которых мог вытребовать вооруженную помощь из областей Италии.

В дошедшей до нас формуле присяги каждый из союзников клянется римскими богами и святыми основателями Рима и создателями римской державы, что будет иметь одних и тех же друзей и недругов, вместе с Друзом, что не пощадит ни имущества своего, ни детей своих ради блага и пользы Друза и тех, кто с его стороны также принес клятву. «Если же я достигну прав гражданства в силу закона Друза, то буду считать Рим своим отечеством, а величайшим благодетелем своим Друза, и к той же клятве привлеку возможно большее число граждан». Эта присяга указывает, во всяком случае, на очень тесные связи, образовавшиеся между италиками и главой оппозиции. Их было достаточно для того, чтобы после смерти Друза противники его могли обвинить италиков в покушении на целостность государства.

Ливий Друз занимал в Риме иное положение, чем его предшественник Аппулей Сатурнин. За него, представителя очень богатой старинной семьи, стояли многие крупные нобили, Лициний Красс, Антоний, Аврелий Котта, Сульпиций, он старался приблизиться также к кругам всадников и вообще сущностью его программы был широкий компромисс между всеми классами римского и италийского общества, между всеми разрядами правящего слоя и оппозиции. Друз хотел выйти искусным ходом из двоевластия, устранить антагонизм, который существовал между верховным управлением нобилей и финансовой администрацией всадников. Он предложил к 300 сенаторам из нобилей прибавить столько же из всадников и затем составить суды уже из этого смешанного и обновленного сената. Затем Ливий Друз вводил в свой план по примеру Кая Гракха и Сатурнина снабжение дешевым или даровым хлебом столичного населения. Наконец он предлагал вывести несколько колоний в Италии и Сицилии частью на местах уже намеченных, т.е. опять возобновлял аграрные предложения Гракхов и Аппулея Сатурнина, предлагал помощь малоземельным или безземель-

ным из территориального фонда государства или на средства казны. В чью же пользу было направлено это аграрное предложение Ливия?

Вероятно, мы вправе считать его аграрный закон главным требованием, выставленным в интересах союзников, или иначе, видеть в аграрном предложении сущность проекта дарования гражданских прав союзникам. В самом деле, чем же еще другим объяснить это настойчивое желание массы союзников получить право *civitatis romanae*, как не тем, что это был вопрос о земле? Какие еще реальные блага получились бы для апеннинских горцев, для марсов, самнитов, лукан и пр. от приписки в римские трибы, от участия в голосованиях?

Аграрный вопрос принимал для разных групп италиков различные формы. В областях западного склона Апеннин, у марсов, самнитов, гирпинов, по соседству с Римом, Кампанией, бойкими приморскими центрами, где энергически продвигалось вперед интенсивное хозяйство, виноград, оливки, садоводство, где процветала в свое время оккупация, а позднее происходила усиленная скупка земли и насильственные изгнания мелких владельцев, — аграрная программа была, скорее всего, оборонительная: защитить существующие дворы с их старой культурой полей и горных склонов от захватов крупного владения. Несколько иначе, вероятно, обстояло дело в областях восточного склона Апеннин, для таких народцев, как пелигны, фронтаны. Здесь преобладало пастбищное хозяйство; но горцам, обладателям стад, было важно сохранить за собою пользование равнинами вдоль берега, куда они могли пригонять своих овец на зиму. Длинные и широкие пути перехода от гор к берегу, для каждой группы стад отдельно, с остановками для отдыха, и сейчас, в современной Италии, тянутся у склона Адриатики, может быть, даже совпадая со старинными дорогами, по которым пастухи странствовали два раза в год. Наиболее важна была для деревенских скотоводов Апеннинских гор степь Апулии, но со времени больших конфискаций здесь водворились крупные стадовладения и арендаторы пастбищ, загородившие пользование равнинами для горцев. Может быть, именно этот край и именно нужды апеннинских пастухов более всего имел в виду Тиберий Гракх, когда требовал ограничения количества стада, высылаемого на выгоны казенной земли. С падением гракховского запрета у горцев не оставалось никакой защиты и возможности вернуть старые пастбища. Наконец, были груп-

пы италиков, которые в аграрном законе видели осуществление своих положительных требований: все те, кто служил в тяжелых войнах 106—102 гг. могли ожидать наделов от государства.

В историческом изображении так называемой Союзнической войны не упоминается об аграрных требованиях, но у нас целый ряд косвенных указаний на то, что эти требования составляли сущность программы восставших. Прежде всего, на это заключение наводит картина географического распространения восстания. Мятеж охватывает Среднюю Италию и горные области южной части полуострова; восстают народцы, сохранившие старинный деревенский быт; это — страна, где еще сильно мелкое землевладение, где не успели образоваться латифундии или большие пастбищные хозяйства. Наоборот, остались верны Риму северные союзники этруски и отчасти умбры, т.е. области крупного землевладения с социальными порядками, похожими на те, которые уже успели образоваться на римской территории. Это разъединение интересов союзников было заметно и хорошо известно римскому правительству еще до восстания: консулы, которые были противниками аграрных предложений Ливия Друза, вызвали в Рим многих этрусков и умбров, чтобы дать место их протесту или даже чтобы с их помощью умертвить Друза и его сторонников. У историка междоусобных войн есть еще одно замечание, на первый взгляд непонятное, которое при ближайшем анализе, может быть, дает верный ключ к пониманию группировки интересов. Он говорит: «Италики, из-за которых Друз главным образом и строил свои широкие проекты, опасались последствий его закона об устройстве колоний; они боялись, что у них тотчас же отнимут римскую государственную землю (которая, будучи неподделенной, находилась в пользовании отдельных лиц, захвативших ее частью силой, частью скрытыми, обходными путями); боялись они неприятностей и в связи со своим частным владением; этруски и умбры разделяли с ними эти опасения».

Немыслимо выйти из противоречия, заключенного в этих словах, если не предположить двух разъединенных групп в среде союзников, столь же разъединенных, как в Риме были нобили и плебеи. Кто из италиков мог сочувствовать крупным землевладельцам Этрурии, кто мог опасаться, что у него будут отобраны захваченные силой или маскированные покупкой доли римского *agri publici*? Конечно, не крестьяне, ни малоземельные, ни безземельные. Это были богачи среди союзников, му-

ниципальная знать, патриции союзнических общин, откупщики и негоциаторы из италиков. Они могли теперь даже опасаться одновременного проведения аграрного закона и уравнивания в гражданских правах. В свое время действие благодатного для крупных владельцев закона Тория на них не распространилось, так как он имел силу только для римской территории. Доли захваченной союзниками казенной земли оставались в принципе все еще общественным достоянием и с получением италиками полного гражданства мог подняться общий пересмотр владельческих прав, и могло произойти отобрание казенной земли для раздачи малоземельным и безземельным. Иначе говоря, богатые землевладельческие классы среди союзников более всего боялись своих земляков, своей *plebs rustica*, своих *agrestes*. А если они так опасались за свое земледелие, то ясно, что у общи-талийской партии Ливия Друза, у восставших в 90 г. на первом месте было требование земли, наделов, прирезки, а право римского гражданства, которого они добились, было лишь необходимым средством для этой основной цели; оно должно было послужить политическим мостом к осуществлению аграрной реформы. В той внутренней социальной борьбе, которая происходила в среде самих союзников, низшие классы были поставлены в затруднительное положение, у них не было политического центра, где они могли бы сплотить свои усилия: они надеялись найти его в римских комициях, в римских трибунах, в римском аграрном законодательстве.

Эпоха агитации Л. Друза и Союзнической войны представляет необыкновенно отчетливое и резкое разделение интересов в той классовой группировке, которая стала слагаться уже в 100 г. На одной стороне крестьянская Италия, гораздо сильнее представленная союзными общинами, чем римлянами, и готовая с нею сблизиться группа нобилей, склонных к реформе. На другой — главным образом, римские капиталисты и их городская клиентела, с ними другая, консервативная часть римского нобилитета. Римская землевладельческая аристократия разбилась на две части: одна, более просвещенная, не чуждая греческой политической школы, склоняясь перед неустрашимым натиском демократии, согласна была на уступки: принять в среду высшего правительственного совета, в число служебных фамилий часть финансовой аристократии, расширить состав гражданства, произвести наделы и увеличить число мелких землевладельцев Италии, но зато ослабить беспокойную и

притязательную столичную массу, опасную своей политической дисциплиной и организацией.

Некоторое представление о политической программе этих умеренных реформистов дают те страницы римской истории и Ливия, и Дионисия, где речь идет о деятелях ранней республики, умевших создавать мудрые компромиссы между вечными врагами, патрициями и плебеями. В легендарной истории первым таким посредником и умиротворителем является народолюбивый царь Сервий Туллий, который озабочен между прочим наделением земель неимущих, потом умные и популярные магнаты, особенно из дома Валериев. Эти изображения возникли, может быть, в публицистике, работавшей в эпоху Друза. У сторонников умеренной реформы получалась стройная и красивая картина патриархальной республики. После изгнания царей они представляли себе счастливый момент, когда вся аристократия сознательно вела популярную политику, и сенат ухаживал за народом: правительство закупало хлеб для городского населения, завело дешевую государственную продажу соли с устранением посредников, освободило бедных от пошлин и прямого налога, переложивши тяжесть на более зажиточных на том основании, что «бедные достаточно платят, отдавая детей в военную службу»¹. Аристократия вела эту социальную политику в народническом духе, не выпуская из рук сильной власти, в то же время она сохраняла свой вес и влияние, не замыкаясь в тайну и бесконтрольность.

Какие же политические учреждения и обычаи позволяли ей править с таким искусством, популярностью и авторитетом? Реформисты нашли ответ на этот вопрос. Разумной серединой между правлением немногих и господством массы в старину было, по их мнению, учреждение ценза, отдавшего перевес богатым слоям общества и сократившего политическое значение бедных. Ценз был и справедлив, и полезен; справедлив потому, что на богатых лежит больше тягостен, податей и повинностей, а следовательно, они должны иметь и больше влияния в государстве; полезен потому, что бедные по преимуществу являются новаторским, революционным элементом, а зажиточные — консервативным. Установление ценза приурочивали к царю-примирителю Сервию, мастеру политико-археологического изобретения, успели даже составить для легендар-

¹ Liv. II, 9.

ного царя очень сложную систему из 5 имущественных классов с подразделением классов на неравное число голосующих центурий, причем количество голосов у каждого класса было в прямой пропорции к величине состояний. Очень возможно, что так называемая сервианская конституция и есть создание того времени, когда появилась в римском нобилитете партия умеренной реформы. Этой партии не нравились, вероятно, дебатировавшие независимые трибутные собрания, не нравился недавно выработавшийся в практике римской демократии обычай проводить плебисциты без предварительного одобрения сената; более конституционными казались ей собрания по центуриям, разумеется, в идеальной своей форме с распределением граждан по цензу; сенат должен пользоваться правом *вето* и внесения поправок к решениям народа; трибуны должны быть органами правильных сношений между сенатом и народом.

Ни одного из положений этой программы не хотела допускать денежная аристократия Рима. Восстановление крестьянства в Италии грозило переменой финансовой системы, в частности, вытеснением всадников от аренды и эксплуатации казенной земли. Сокращение народных собраний, гибель политического режима, введенного Каем Гракхом, грозили упадком их собственного влияния: он не уравнивался принятием небольшой части всаднического сословия в сенате. В массе своей всадники вовсе не искали мест в высшем правительстве, в общей администрации, тем более, что переход в сенат для отдельных лиц был связан с прекращением торговых и денежных операций. В смысле финансового использования империи было гораздо выгоднее оставаться в тени, в роли присяжных судей, и в качестве контролирующей силы не допускать контроля над собой. Когда Друз потребовал расследования по прежним процессам, чтобы вскрыть совершившиеся подкупы, главы сословия, «столпы народа римского», по выражению Цицерона, заявили бурный протест. Они самым откровенным образом повторили свою теорию, их отказ от почестей, блеска власти, мундира, свиты, военной команды, преклонения иностранцев, от всего того, чем пользуются нобили, дает им право на неприкосновенность в частных делах, на жизнь спокойную и далекую от бурь, на милости народные, они вполне сознательно избегают опасностей, связанных с политическим положением, у нобилей велики служебные награды, но велик также соблазн впасть в злоупотребления — и, следовательно, страх поплатиться за

них. Другими словами, всадники не допускали вмешательства в сферу своих дел и желали по-прежнему уклоняться от ответственности ценою своего политического воздержания.

Можно предполагать еще другие основания беспокойства всадников. Множество нобилей находится у них в долгу; тако-вы были землевладельцы, забравшие кредит для насаждения высших культур, винограда, оливок, плодовых садов и т.д., так усиленно рекомендованных Катонем и переводными карфагенскими авторами; искатели политической карьеры, добившиеся народного избрания ценою предвыборных раздач; наконец, множество лиц, привлеченных приятностью столичной жизни, хлопотавших об устройении своей *villa urbana*. Судя по событиям, разыгравшимся в Риме уже в следующем 89 году, масса задолжавших нобилей была не чужда мысли о принудительном банкроте и надеялась с этой целью использовать политический кризис, отделаться среди общих затруднений от своих обязательств. Эта часть нобилитета, вероятно, горячо приветствовала нападение Л. Друза на суды всадников, его попытку раскрыть злоупотребление капиталистов; она могла рассчитывать на расширение похода против римских банкиров и ростовщиков, на предъявление им ультиматума в виде кассации долгов. В свою очередь всадники хорошо понимали, какими опасностями грозит их промышленному положению политический переворот, связанный с падением городской демократии, усилением земледельческого элемента в народных собраниях и привлечением к политике отсталых деревенских групп Италии.

Эта рознь интересов достаточно объясняет в высшей степени нервное настроение римского общества в 90 г. Весь план Друза потерпел неудачу вследствие крайнего обострения вражды между партиями. Отношения стояли так резко, что если бы сам Ливий Друз не пал от руки неизвестного убийцы, его, вероятно, скоро увидели бы вынужденным идти во главе восстания Италии.

Италийское восстание представляется в свою очередь глубоко понятным. Империя и приток ее великих богатств сильно видоизменили весь строй Италии. Старое равновесие между правящей торговой общиной и союзом средних и мелких землевладельцев полуострова давно было нарушено. Богатства не только достались первой, не только увеличили ее размеры, ее значение до степени столицы Средиземного моря, не только создали крупнейшую денежную аристокрацию Древне-

го мира. Они также разорили большую часть страны, вытянули соки из патриархальной мелковладельческой Италии, свели часть ее на нищенское положение. Правда, тот же империализм создал в Риме оппозицию и открыл обиженным классам населения возможность поднять свой голос в политике. Римская демократия сказала и сделала все, что можно было сказать и сделать в ее положении, но она потерпела неудачу от своего внутреннего разлада, от того, что и в ее среде интересы империалистического расширения провели и повторили ту же рознь, отделив центральную общину, обладательницу универсальных финансов, от ее старых поставщиков натуральной повинности. Италия продолжала платить дань людьми, а эти орудия колониального расширения не получали своей доли в раздачах, напротив у них ускользала из-под ног земля, на которой они, казалось, искони сидели. Патриархальная, еще замкнутая в своих отдельных мелких группах, разноречивая Италия долго пассивно отвечала на перемены, которые совершались кругом. Но политическая школа демократии сделала свое дело: римские трибуны провели нити связей и агитации во все концы Италии и объединили на своих митингах, в своих аудиенциях нужды, жалобы и заявления ее пестрых и разрозненных племен и союзов. Италики почувствовали себя общей силой, взаимно связанной во всех своих частях. В 90-м году они предъявили впервые сами свои общие требования Риму, а когда получили отказ, то отделились и воспроизвели в своей среде формы римского государства.

Их новосозданная столица Корфиний, или «Италия» повторяла Рим в своей политической архитектуре: в ней был устроен большой форум для народных собраний и курии для сенатских заседаний. Сенат состоял из 500 членов. Во главе администрации и военных сил были поставлены два консула — Помпедий Силон из племени марсов, и Папий Мутил из племени самнитов. Консулам были подчинены 12 преторов, и между ними пополам было поделено управление всей восставшей Италии.

В основе восстания италиков лежал давнишний протест против последствий империалистической политики; старая Италия как бы инстинктивно пыталась отстоять свой старый быт и строй. Но империя с ее легкодостающими доходами, с ее соблазном службы была неустрашимым фактом, она была тут, налицо, вблизи. И первоначальный протест осложнялся и затуманивался: союзники хотели вместе с тем принять участие в де-

леже, занять равное с римлянами место в эксплуатации имперских богатств.

Но их настойчивые требования, их отделение грозило расшатать самый строй империи. Италия, как показали особенно войны 111—102 гг., ставила главный контингент римского оружия, державшего в страхе соседей. Как раз с ее отделением совпал тяжелый для римлян кризис на Востоке: самые богатые и доходные ее области, Македония, Греция и в особенности Азия были захвачены предприимчивым полуварваром Митридатом, и это искусный и неутомимый противник очень хорошо знал, какой несравненный шанс для него представляло италийское междоусобие, равнявшееся полному онемению центральной общины. Впоследствии инсургенты отправили к нему депутацию с предложением напасть на Рим, и Митридат обещал им помощь, как только управится в Азии. Надвигаясь на дальнюю восточную провинцию римлян, он, прежде всего, предложил местному населению расправиться с римскими откупщиками и промышленниками и разделить с ним их капиталы.

Биржа, главный показатель пульса римской политики, при самом начале восточных осложнений, была охвачена паникой. Никогда, вероятно, денежные люди в Риме не горели в такой мере патриотизмом, не гремели так сильно о жертвах на алтарь отечества, о необходимости мщения. Именно в это самое время отказывались служить главные кадры римской армии. Понятна необыкновенная нервность и раздраженность, которую проявлял в Риме класс, состоявший из главных откупщиков, их пайщиков, агентов и финансовой администрации, рассылавшейся по местам. Политический пыл всадников в эту пору превосходит все, что они показали раньше и позже того.

Опять они составляют временный союз с консерваторами. После низвержения Друза и его партии они открывают настоящий террор: через трибуна Вария проводится в народном собрании предложение о предании видных италиков суду за измену; всадники надеются истребить, таким образом, своих противников. Когда остальные трибуны заявили протест против предложения Вария, представители денежной аристократии, участвовавшие в голосовании, бросились на них с обнаженным оружием и вынудили решение. Все еще в обладании политических судов, всадники открыли преследование против влиятельных сенаторов партии реформы и заставили их уйти в изгнание. Одна сцена, разыгранная в Риме немного позднее, но

под впечатлением той же паники денежных людей, ярко рисует их настроение. Масса должников, доведенная до крайности взысканиями, нашла поддержку в городском преторе, римском министре юстиции. Претор Азеллион согласился вернуться к старому официальному проценту, с которым практика ростовщиков резко расходилась, и в этом смысле дал указания судьям. Тогда разъяренные кредиторы бросились с оружием в руках на форум, где претор в священнической одежде публично совершал богослужение перед храмом Диоскуров, рассеяли толпу, окружавшую его, загородили дорогу к весталкам, где он хотел укрыться, загнали в какой-то трактир и убили его. Сенат назначил высокую плату тому, кто укажет убийцу Азеллиона, но на этот призыв никто не явился: ростовщики с необыкновенным единодушием покрыли друг друга.

При таких затруднительных для Рима обстоятельствах, внутреннем разладе в самом городе, под угрозой потери полновины империи начиналось великое восстание Италии, крестьянская революция, оставшаяся в традиции под названием Союзнической войны. В ходе военных действий социальный характер борьбы выступил еще раз очень ясно. Низшие классы на римской и союзнической территории быстро соединялись вместе. Самнитский вождь Палий, захватив город Нолу, вместе с находившимся там римским гарнизоном из 2000 человек, казнит офицеров, а солдатам предлагает перейти к повстанцам, на что они все и соглашаются. То же самое он делает в Стабиях, Милтурнах и Салерне, причем последний город уже был римской колонией: везде простой народ переходит на сторону инсургентов. Весьма дружелюбно относятся восставшие также к рабам, везде освобождают их и записывают в свои отряды. Симпатии распределяются очень быстро и без колебания. Командир южных повстанцев, Юдацилий, поступает в целом ряде общин по самому определенному рецепту: где ему оказывают сопротивление, он распоряжается казнить римских нобилей, а простой народ и рабов присоединяет к своему войску. Впечатление такое, как-будто крестьяне, потеряв терпение в изнурительной разрозненной борьбе с вторгающимися посессорами, образовали, наконец, огромный союз для вытеснения помещиков. К ним примкнули и сельские рабочие больших экономий и крупных пастбищных хозяйств.

На римской стороне мало доверяют плебеям, гражданским элементам, крестьянству. В виду недостатка солдат вызывают

подмогу от вассалов и варварских народов, от галлов и нумидийцев; набирают гарнизоны из вольноотпущенных, состоящих клиентами при больших домах. В распоряжении Рима одно время оставалась только прибрежная полоса на западе. Приходилось опираться на морские сношения, на подвоз из провинции, организовать склад провианта и оружия на Сицилии. Перед грозящей опасностью полного распада Италии римские партии сблизились между собою: во главе римских войск стали представители как консерваторов, так и популяров: Марий, Сулла, Цезарь, Красс, Цепион, Помпей. При этом Марию, вероятно, пришлось даже сражаться против своих прежних сослуживцев, солдат тяжелых войн 105—102 гг., которые появились в отрядах восставших союзников.

В этой отчаянной борьбе космополитического города с отсталой деревенской Италией есть что-то эпическое, и рассказ более позднего историка, составленный частью по преданиям, носит черты поэмы в прозе. Тут есть единоборства перед общей битвой: малорослый нумидей одолевает громадного галла. Героический вождь племени марсов, Помпэдий, в то же время главный агитатор восстания и первый консул нового союза, лично совершает рискованный подвиг: является к римлянам будто бы в качестве изменника, советует напасть на собственное войско, лишенное предводителя, увлекает римского легата в засаду, дает сигнал своим и искусно исчезает. В начале еще сказывается военное братство между римлянами и италиками, создавшееся во внешних войнах. При первой встрече Мария и Помпэдия их солдаты узнают близких и товарищей, переключаются, выходят из рядов, сбрасывают оружие, обмениваются рукопожатиями и увлекают своим примером вождей; когорты, выстроенные для боя, смешиваются и образуют огромный праздничный круг.

Но постепенно ожесточение нарастает. Восставшие вспоминают старые религиозные обычаи, совершают страшные заклятия, сопровождаемые человеческими жертвами, образуют дружины смерти. Воинственные марсы, над которыми римляне никогда не одерживали победы, готовы погибнуть все до единого, но не сдаться, и по поводу их неукротимости в Риме вспоминают поговорку: «Невозможен триумф ни над марсами, ни без марсов». Недаром все восстание осталось в позднейшей традиции под названием Марсийской войны. Запертый в родном городе Аскуле, Юдацилий после отчаянной защиты, видя

неминуемую гибель, велит выстроить в храме костер, совершает на нем последнюю тризну с друзьями, принимает яд и приказывает им поджечь костер вместе со своим ложем. На второй год войны Сулла подходит к центру Самния, крепкому Бовиану, в то время как там собрался конгресс инсургентов; он обманывает их бдительность, между тем как защитники города сосредоточили против него все силы и внимание, он посылает в обход несколько когорт, они берут незащищенные форты сзади Бовиана и дымом от костров дают сигнал к нападению. Застигнутые с двух сторон, бовианцы отчаянно сопротивляются, но вынуждены сдаться. На другой год Помпедий снова с торжеством занимает Бовиан.

Но римляне неистощимы в средствах накопления и снаряжения новых военных сил. Напротив, у италиков нет больших запасов и поставок. С их стороны война все более превращается в партизанскую. Все почти крупные вожди восстания погибают один за другим; их отряды рассеиваются или сдаются. В смысле военном италийская революция потерпела неудачу: в упорных битвах были истреблены массы восставших, взяты были их крепости, союз «Италия» совершенно расстроился; остались незамиренными только горные области на юге, Самний и Луканы.

Но политически италики одержали победу, и Рим должен был уступить. Все, кто положил оружие, не говоря о тех, кто оставался с самого начала верен Риму, получили права гражданства. Римская республика могла бы, начиная с 88 г., называться с полным правом италийской. Но борьба 90—88 гг., перешедшая в междоусобие консервативной и демократической партии 88—82 гг., истребила наиболее независимые элементы Италии; образовалась пустота, которая открыла простор для нового вторжения римского капитализма, в виде крупного владения и крупного хозяйства. В то же время и римская демократия была очень ослаблена; от присоединения новых италийских элементов, в среде которых к тому же были свои консервативные группы, она не могла сразу много выиграть. Притом между старым и новым гражданством оставалась еще рознь. Старое гражданство хотело сохранить перевес в голосовании, и поэтому в Риме не соглашались вписывать новых граждан во все 35 триб, опасаясь наводнить ими голосующие отделения; их или старались поместить в небольшое число существующих триб или составляли для них особые трибы не более 10 числом. Ита-

лики все еще оставались какими-то неполноправными гражданами, они не могли влиять на выборы и на законодательство. Только новое столкновение партий в среде самих римлян могло им помочь.

С окончанием военных действий в Италии, можно было подумать о посылке новой армии на Восток в подкрепление слабых наличных сил, которые не могли удержать Митридата, уже готового переправиться на Балканский полуостров. Дело шло главным образом об отвоевании Азии, этого золотого дна римских откупщиков, негоциаторов и ростовщиков, сама война считалась очень выгодной в смысле добычи. Всадники были чрезвычайно заинтересованы в том, чтобы был послан главнокомандующим их человек, Марий. У Мария были связи на Востоке: в 90-х годах он вел переговоры с Митридатом. Но большинство нобилитета желало вернуть администрацию Востока в свои руки; поэтому сенат выставил своего кандидата, Суллу, давнишнего соперника Мария. Сулле было поручено вести войну, и он собрался ехать к армии. Судя по последующему поведению Суллы, он выступал решительным врагом администрации всадников, и наоборот, был расположен к бюрократии нобилей. Было ясно, что публиканам не вернуть при его команде прежнего положения в Азии, которое им досталось за 34 года до того. В случае успеха Суллы должно было измениться и внутреннее положение. Нобилитет, уже начавший спланировать около Друза, мог найти в Сулле опору для проведения реформы, которая лишила бы всадников политического влияния в центре. Им оставалось только соединиться против этой новой опасности со своими вчерашними врагами, с бывшими италиками, ныне новыми гражданами Рима. Так можно объяснить необычайно резкий поворот политики денежных людей в 88 г.

Представитель новой коалиции оппозиционных партий, трибун Сулпиций, внес в народное собрание одно за другим два предложения, между которыми не было никакой внутренней связи; они зато ясно показывали интересы двух случайно и неестественно связанных союзников. В силу первого предлагалось распределить новых граждан одинаково по всем трибам, т.е. дать им перевес в комициях, так как числом они значительно преобладали. Когда избирательный закон был проведен, и новые граждане вошли в прежние трибы, Сулпиций предложил соединенной демократии отнять у Суллы начальство и назначить Мария главнокомандующим в Азию.

Очень любопытно поведение сулланского войска, той первой римской армии, которая опрокинула гражданский порядок, не остановившись перед величием верховного народа. Корпоративный дух сделал большие успехи в новом войске, вышедшем из преобразований Мария. Солдаты привыкли обсуждать общие дела на своих сходках, у них образовалась своя парламентская жизнь. Сулла, узнав о постановлении народа, сместившем его, собирает в лагере общую сходку. Он выступает сам оратором, объясняет положение и как бы спрашивает у солдат совета и поддержки. Сходка подсказывает ему и требует, чтобы генерал вел их против Рима. Все офицеры отказывают в повиновении, но это не смущает солдат; они ведут переговоры непосредственно со своим главноначальником и настойчиво проводят совместно с ним решение. Их виды и расчеты совершенно ясны: в перспективе выгодная война, большая добыча и крупные награды. Сулла нашел уже сконцентрированную под Нолой армию, это войско не пришлось набирать специально для Азии; оно было готово, потому что участвовало в войне против италиков, и ему, вероятно, уже раньше, при наборе и сформировке, были даны определенные обещания, как марианцам в 105 г. Вопрос о том, кто будет главнокомандующим, имел для них самое существенное значение: Марий распустил бы их по домам и набрал других. Это не бывшие марианские солдаты Северной войны; это — легионы, сформированные для подавления италийского восстания, для экзекуций над независимыми горцами. Понятно их позднейшее столкновение с самнитами и луканами, когда Сулла вернулся в 83 г. с Востока; опять встретились те же противники, продолжая борьбу, происходившую в 90—88 гг., еще раз Рим против Италии, но Рим, снова черпнувший восточных богатств.

В 88 г. Сулла и его войско, по взятии Рима, не ограничиваются только избиением и изгнанием своих противников, Мария, Сульпиция и других, и кассацией народного решения о передаче команды на Востоке. Победители проводят преобразование конституции в реакционном духе. Этот полупереворот 88 г. не имел прямой связи с тем, чего в данную минуту добивался Сулла; тотчас же после конституционной реформы Сулла отправился на Восток и покинул политическое создание на произвол судьбы. Все это показывает, что Сулла взялся здесь устроить чужие интересы. Мало интересуясь конституционными вопросами, озабоченный только тем, чтобы вырвать у про-

тивников Восточную войну, главнокомандующий вошел в союз с известными партиями, ради которых и совершил государственный переворот. Какие же это были партии, какие общественные слои в свою очередь искали опоры в мятежном войске и в генерале, поднявшем оружие против республики? На противоположной стороне была денежная аристократия, ее клиентела, римский плебс и новые граждане. Эти группы плохо ладили между собою, но все они стояли на почве демократического строя, который вырабатывался со времени Гракхов. Напротив, большинство нобилитета желало опрокинуть или существенно реформировать этот политический порядок, причем побуждения были так же различны, как и элементы, на которые распадалась старая родовая аристократия.

Крупные владельческие слои, обладатели земельных латифундий, конкуренты на большие политические должности руководились иными политическими соображениями, чем остальная масса средних и мелкоместных или совсем лишенных земли дворян. Среди первых преимущественно рекрутировались сторонники Ливия Друза, которые, путем известных уступок различным классам гражданства, предполагали вернуть сенату политическое руководство, сократить компетенцию народных собраний и сломить финансовую роль всадников.

Сравнительно с этими умеренно-консервативными реформистами массу среднего и мелкого нобилитета можно назвать реакционерами. В глазах задолжавших землевладельцев или столичных искателей должностей и службы, которых, в свою очередь, отодвигало в сторону финансовое управление откупщиков, лучшим выходом казался насильственный переворот, провозглашение банкротства и кассации долгов, может быть, даже им рисовалась в перспективе конфискация имущества у самих кредиторов, разбогатевших на управлении империей. Но подробного переворота невозможно было ждать от народного собрания и его руководителей. Такого рода темы нельзя было обсуждать на публичных митингах, созывавшихся трибунами. Поэтому масса мелкого и разоренного нобилитета становится в ряды ожесточенных врагов демократии.

Историки, изображающие римскую старину чертами действительности I в., отметили этот общественный слой и характерную для него реакционную горячность, перенесли его агитацию в картины столкновений патрициев с плебеями. Реакционные нобили называются там *juniors patrum*; этих «младших патри-

циев» постоянно упоминает Ливий. Они подстрекают «старших» и «руководящих» сенаторов к репрессивным мерам против плебеев, осмеливающихся заявлять протест; они не устают уверять, что трибуны — язва государства, а по временам они сплачиваются, набирают дружины слуг и производят натиск на мирное собрание плебса или стараются сорвать политический процесс, направляемый трибунами. Та же «патрицианская молодежь» окружает в качестве белой гвардии децемвиров, когда они, забывши свое назначение, превратили свои чрезвычайные законодательные полномочия в тиранию и попрали всякое подобие политической и гражданской свободы. Нас не должно смущать это несколько наивное деление старинного патрициата на старших, более умеренных, и младших, более крайних. Довольно ясно, что хочет сказать историк: он различает сенаторов, правящие группы, от массы неслужащих нобилей, и очень правильно, соответственно наблюдение своего времени, он замечает среди первых наличность более спокойных и уступчивых магнатов, способных на реформы, а вторых изображает кипятливыми, непримиримыми реакционерами. В историческом очерке отражается еще одна тонко подмеченная черта действительности: между «старшими» и «младшими» есть и разница, бывают и столкновения, но есть между ними и взаимная связь: хотя и лишенные реальной политической власти *juniors patrum* оказывают, однако, давление на правительство; без их содействия сенат не мог бы справиться с плебейской массой, руководимой трибунами.

В социальной действительности I в. до Р.Х. это взаимодействие имело свое оправдание: часть мелких нобилей жалась к домам крупных магнатов, искала занятий и службы в их свитах, записывалась к ним в клиенты. Находясь в социальной зависимости от сенаторов, мелкие нобили в массе оказывали на них политическое давление: в моменты социальной паники они увлекали магнатство в сторону реакции.

Это именно и случилось как раз при вступлении Суллы в Рим. К нему устремились и реформисты, и непримиримые. В спешно проведенном законодательстве 88 г. отразилась давно заготовленная программа умеренной реформы; ее основные тенденции проведены были гораздо дальше предполагавшейся раньше границы. Весь страх перед демократией и все раздражение против нее, накопившееся особенно за последние два десятилетия, сказались в законодательстве сулланской рестав-

рации. Народное верховенство, выражавшееся в собраниях по трибам и в авторитете трибунов, и теоретически, и практически было уничтожено. Вмешательство трибунов в администрацию, их законодательная инициатива должны были исчезнуть вместе с отменой собраний по трибам. Сохранены были только собрания по центуриям, но, во-первых, в них должна была произойти важная реформа состава избирателей: введен был ценз, размеры которого нам неизвестны, но который, во всяком случае, сильно сокращал число участников народного собрания и выключал из него массу мелкого и небогатого люда. Во-вторых, решения этого скорее парадного, чем активного народного собрания, в котором к тому же дебаты отсутствовали, были поставлены под контроль сената; ни одна ротация, ни одно предложение не могли быть сделаны в собрании, если его предварительно не одобрил сенат, т.е. народное собрание обратилось в пассивный орган, утверждавший формально решения сената.

Таким образом, реформисты 90 года были откинута направо, а умеренная реформа потонула в необузданной реакции. Ученая аргументация, проглядывающая в конституции 88 г., показывает, что реформа была давно и систематически задумана и разрабатывалась особой школой государствоведов. Введенный вновь ценз оказался вполне соответствующим порядку, который установил еще царь Сервий Туллий; предварительное одобрение сенатом народной ротации тоже оказалось очень старинным «исконным» учреждением. В противоположность демократии консервативные публицисты, по-видимому, меньше интересовались греческими теориями и, напротив, усвоили националистический тон: выстроивши на свой лад историческую старину Рима, они открыли там здравые политические основы. Консервативные теоретики старались уверить римское общество, что особенностью древней общины была суровая дисциплина, в какой патриархи-правители держали массу плебеев, набравшихся из бродячего люда всякого рода; римский народ вырос и стал велик тем, что умел подчиниться; оттого у него в старину не было ничего похожего на греческих тиранов, этих льстивых демагогов, добивавшихся насильственного переворота и незаконной власти.

Ко времени торжества реакция охранительная нота в идеальной композиции стала звучать громче. Еще шаг, и консерваторы обернули против трибунов их собственную терминологию политической свободы и уже обвиняли их самих в стрем-

лении к тираническому господству; под этой формой защиты республики и свободы была проведена отмена трибунской власти, сведение трибуната к его будто бы истинному первоначальному виду частного ходатайства пред судом.

Реакция всех времен сознательно или невольно усваивает революционные термины: она тоже защищает свободу, но только «истинную», она тоже охраняет, и даже особенно охраняет, неприкосновенность личности, но только личности истинных, благонамеренных граждан. Так очень скоро, под покровом благожелательных чужих слов, для «защиты от произвола и тирании» реакция вводит полнейшую противоположность всякой свободе и неприкосновенности граждан, социально-охранительную диктатуру. Соответственно этому понятию о вернейшем средстве от новых зол консервативные публицисты ввели в исторические характеристики старинного Рима фигуры строгих, но справедливых сдержанных диктаторов, которые утишают своим авторитетом народные бури, останавливают разгулявшуюся распушенность черни, заставляют смолкнуть вредную агитацию ее вождей, трибунов, и этим восстанавливают опять патриархальное управление вельможных отцов народа.

В 88 г. Сулле не успели дать официального титула диктатора, но фактически он уже был носителем социально-реакционной диктатуры. Конституция 88 г. уничтожала политическую свободу, участие народа в законодательстве и управлении; главный помощник и исполнитель замыслов ее создателей произволом своей неограниченной власти упразднил гражданскую свободу, т.е. личную неприкосновенность. От республики ничего не осталось, кроме имени. Конечно, настоящий монархический авторитет императоров сложился немного позже, в колониальных войнах; но первое применение неотвечественной власти было сделано раньше, для целей внутренней расправы, и в этом смысле оно составляло политическое изобретение консервативной аристократии. Конечно, республику и политическую свободу в Риме прикончили Цезарь и Август, но они были лишь продолжателями и учениками той политической реакции, которая применила в первый раз чрезвычайную охрану в 121 г., а в 88 г. вошла впервые в союз с фельдмаршалом, собиравшимся в колониальную войну.

Состав сулланской партии, победителей 88 г., был не особенно значителен. Часть нобилей была против него, судя по гибели и бегству многих представителей аристократии в этом го-

ду и четыре года спустя, когда Сулла вернулся с Востока. На стороне Мария и за демократическую республику были люди из старинных семей, Сульпиций, Цетег, Юний Брут, Туллий Альбинован. Всадники тем более были противниками Суллы; число опальных из среды этого класса было особенно велико потому, в 82 г., конституция 88 г. не открывала им вовсе простора, они вероятно уже теперь должны были потерять политические суды. Не видно, чтобы в массе городского простолюдинства были симпатии к Сулле; при вступлении его в Рим, в предместьях народ встретил солдат ожесточенным градом камней, бросаемых с крыш; Сулла нашел улицы загороженными баррикадами и только посредством поджога домов очистил себе путь. Нечего и говорить, насколько Сулле была враждебна независимая крестьянская Италия. За него, помимо войска, соблазненного перспективой Восточной войны, было большинство родовитых сановных нобилей, искавших опору в диктатуре и уничтожении свободы, но число их было не так велико: сенат в 88 г. оказался очень поредевшим вследствие разных катастроф революционного времени, и его пришлось искусственно сразу пополнить новым составом еще неслуживших лиц. Набрали 300 новых сенаторов из «лучших» людей в Риме, как неопределенно выражается историк междоусобных войн. Может быть, согласно плану Ливия Друза, дополнили сенат из класса всадников. Но отчасти, по крайней мере, в сенат ввели и второразрядных нобилей.

Вообще у Суллы искали теперь спасения мелкопоместные, задолжавшие, разоренные крестьянским восстанием патриции, которых, с одной стороны, теснили денежные люди, кредиторы всаднического класса, а с другой — выбивали мелкие хозяева, организовавшиеся в большие воинственные союзы междоусобной войны. В качестве единственного исхода им оставалось административное положение, хотя бы зависимое и невысокое. Очень скоро Сулла начнет составлять из них кадры новой бюрократии, которые потом расширит Цезарь и Август. Но уже в Восточной войне 87—83 гг. и в администрации Востока Сулла мог дать мелким нобилям большой простор, в особенности раз он отстранял и всадников. Этот римский обедневший нобилитет, эти *declasses* аристократии и составляли вместе с муниципальной знатью Италии главную социальную опору Суллы.

Может показаться странным это неоднократное превращение мелкого нобилитета. Будущее чиновное дворянство стоит сначала, при Гракхах, в рядах оппозиции, в сулланскую эпо-

ху оказывается в лагере ожесточенных реакционеров, потом во время катилинарного движения опять вступает на революционный путь и наконец успокаивается в цезаризме. Но такие политические метаморфозы при социально-неизменном облике и содержании вполне возможны и особенно наблюдаются в истории мелкопоместного класса. Нечто подобное было с немецким рыцарством XVI в. и в XVIII в. с французским дворянством, радикально настроенным до революции, а после разгрома обратившимся к реакционному монархизму.

Конституция 88 года осталась на бумаге. Тотчас же по уходе Суллы вернулись популяры, Корнелий Цинна, Марий, Папирий Карбон, Серторий. Марий велел убить несколько враждебных ему аристократов, но имущество их не было тронут. Возвратившиеся эмигранты, вероятно, оставили без существенных изменений только что составленный по-новому сенат, но принудили его повиноваться демократическому режиму. Их главной опорой были опять новые граждане, т.е. масса италиков. Цинна вновь выступил с реформой, предложенной Сульпицием, о записи новых граждан во все 35 триб, чтобы дать им перевес над старым гражданством. Мало того, популяры соглашались на все требования, выставленные наиболее непримиримыми из восставших в 90 году, все еще не хотевших положить оружие. В какой мере эти предложения были искренни, видно из того, что в 83 году во время второго столкновения демократов с Суллой, самниты выступают их верными союзниками.

Но демократия, восстановленная вслед за уходом Суллы, остается настолько же разъединенной, как и раньше. С италиками повторяется в народном собрании то же, что испытывали прежде крестьяне: в обычное время, когда они не вызваны специально трибунами в столицу, их мало, и в голосованиях горожане забивают их числом. Консул 87 года Цинна, расположенный к новым гражданам, встречает протест римлян, которые не хотят допускать италиков в старые трибы. Другой консул, сулланец Октавий, заставляет Цинну бежать из Рима и искать опоры в бывших союзнических общинах, которые только что получили все права римского гражданства, в Тибуре, Пренесте, Ноле. Наконец Цинна останавливается в Капуе, этом старом сопернике Рима. Здесь в присутствии войска он созывает митинг, на котором объясняет свое положение и тесную связь, существующую между властью его, как главы республики, и их интересами, как новых граждан. «Какая нам польза

от прав гражданства, если вы не получите возможности применять их на практике, участвовать в римских голосованиях, быть во всех трибах, выслушивать ораторов на митингах?»¹ Здесь в уста Цинны вложены слова и взгляды, в действительности принадлежащие самим италикам, консул формулирует результаты демократической революции 88 года и политическое сознание членов новой италийской республики, которой суждено было так недолго существовать.

В демократии 80-х годов не было согласия и по вопросам внешней политики. В то время как новые граждане, италики, были весьма равнодушны к Восточной войне, римские капиталисты вовсе не хотели упускать из рук этого дела, со смертью Мария в 87 году они не оставили своей цели. Они решили послать на Восток свою армию, которая должна была вести операции независимо от Суллы. Генералы демократии, Валерий Флакк, а потом Фимбрия, пытались оттянуть солдат от Суллы. Фимбрия избрал другой путь похода: предоставил Сулле Грецию, а сам двинулся более решительно через Македонию и Геллеспонт в Азию, чтобы вернуть всадникам их главный домен, их основную походную статью. Войска Суллы, однако, были лучше организованы, вероятно, лучше вознаграждались; армия демократии постепенно расстроилась, Фимбрия был убит взбунтовавшимися солдатами, и большая часть их перешла под команду Суллы.

Но тот же консул Валерий Флакк, который отправился защищать интересы всадников в Азии, вынужден был перед уходом своим принять меру, невыгодную для римских банкиров и ростовщиков и рассчитанную на удовлетворение главным образом, может быть, средних и мелких нобилей: в силу *lex valeria de dere dieno* предписывалось погашение долгов четвертью занятой суммы, т.е. провозглашалось фактически банкротство.

Среди этого смутного социального положения Сулла в 83 году высадился в Италии с небольшими сравнительно силами 6—8 легионов. Без сомнения, за время его четырехлетнего отсутствия, в Италии оставалось немало его сторонников, вынужденных уступать демократам и дожидавшихся его военной помощи. Одно обстоятельство оттеняет весьма определенно социальное положение главных сулланцев. В рядах противников Суллы, вместе с ополчениями независимых горцев, с крестьян-

¹ App. I, 66.

ством Италии, сражаются рабы. Еще Цинна, а за ним молодой Марий всюду призывали рабов, обещая им свободу. Рабы были особенно многочисленны в западных областях в кругу распроектирования крупных хозяйств, и мы можем предполагать в числе нобилей, дожидавшихся Суллы, владельцев латифундий близ Рима, в Этрурии, Кампании и Лукании, совершенно расстроенных бегством и мятежами рабов.

Очень быстро стали примыкать к Сулле выдающиеся аристократы: Метелл Пий, сын известного непримиримого реакционера-магната, выступавшего против Сатурнина, Сериллий Лукулл, Лициний Красс, особенно важна была поддержка, оказанная молодым К. Помпеем Страбоном, который набрал из клиентов своего богатого дома в Пицене три легиона. Переходили иные марианцы, Корнелий Цетег, Веррес, знаменитый впоследствии своими вымогательствами наместник Сицилии. Путем обещаний Сулле удалось перетянуть на свою сторону все войско консула Сципиона, и командиру осталось только униженно капитулировать. Сулла располагал теперь втрое большим количеством солдат, чем при высадке.

У демократии не было выдающихся политических вождей. Марий Старший умер в 87 году, Цинна был убит солдатами в 84 г. Но у противников Суллы были еще значительные военные силы. Особенно рассчитывали они на воинственных горцев Южной Италии, стоявших под оружием с 90 года. Демократический консул Папирий Карбон перед самым столкновением добился выгодного для новых граждан распределения голосов в народном собрании: все бывшие союзники должны были получить права активного гражданства.

В то время как Сулла бился около Рима с Карбоном и младшим Марием, на выручку демократам двинулось большое ополчение самнитов, весь цвет молодого поколения племени, под начальством смертельного врага римлян Понция Телезина. Самнитский вождь подошел вплотную к столице и чуть не захватил ее. Позднейший историк считает этот момент таким же критическим для существования Рима, каким было нашествие Ганнибала. У Коллинских ворот произошло кровопролитное сражение с армией Суллы, где не давали пощады ни с той, ни с другой стороны. Перед битвой Телезин говорил своим солдатам, что настал последний день Рима, и что надо до основания разрушить ненавистный город: «Никогда не уничтожить волков, расхитителей свободы Италии, пока не срублен лес, в котором они

гнездятся». Бились до глубокой ночи; на другой день нашли израненного Телезина, но на лице умирающего было выражение неукротимости. Сулла велел носить по улицам срубленную голову самнитского героя и расстрелять 8000 пленных самнитов. Победу у Коллинских ворот он считал своим величайшим успехом и в память ее установил семидневный праздник Виктории, который сохранился потом и в императорскую эпоху.

Чем резче сопротивлялась Италия, тем страшнее была месть сулланцев. В 82-м и 81 г. опальные списки и обыкновенные убийства под покровительством диктатора унесли огромное число жертв из всех классов общества. Историк междоусобной войны насчитывает 90 сенаторов, 15 консуляров, 2600 всадников. Но этот террор в центре бледнеет все-таки перед разгромом целых местностей, муниципий и народностей Италии. Сулла думал, что у римлян не будет покоя до тех пор, пока существуют самнитские общины, и в Самнии не оставили камня на камне. «Молодежи италийской погибло до 100 000», — продолжает историк свою печальную летопись.

Старая Италия, уже сильно сдвинутая с места первыми проявлениями империализма, теперь окончательно была похоронена. Число мелких собственников в ней значительно сократилось. Во многих местностях решительно сменился состав владельцев и обывателей; влияние Рима, его покупателей, его капиталистов могло проникнуть глубже во внутренние части Италии и превратить италийские муниципии в тени, в зависимые доли великого Рима. Конец независимой, мелкоземельческой Италии был вместе с тем и концом демократии в Риме. Начиная с Тиберия Гракха, ее главной опорой были крестьянские элементы, которые притягивались трибунами на агитационные митинги, на большие голосования и даже являлись для схваток на форуме. На городскую массу нельзя было в такой мере положиться; ее значительная часть была затянута в интересы больших владельческих домов и крупных компаний, находилась в более или менее тесном кругу зависимой клиентелы.

Демократическая партия никогда уже более не могла возродиться в прежнем виде, она жила потом еще два или три десятилетия обрывками старых организаций, воспоминаниями и традициями своей великой эпохи. Очень характерно, что самые энергичные ее представители должны были, вместе с Сертори-ем, искать опоры на почве провинции, в колониальном владении среди римских эмигрантов и иностранных общин.

Свою вторую реставрацию Сулла провел в пользу тех же общественных слоев и теми же средствами, что и первую. С ним возвращались эмигранты, раздраженные разорением имений крестьянскими ополчениями и бежавшие на Восток под его защиту. Его дожидались сторонники, не успевшие бежать, но испытывавшие ту же участь, что и эмигранты. Под его начальством были 23 легиона, около 120 000 человек, между ними солдаты, прослужившие под его командой 8 лет сначала в гражданской, потом в колониальной войне, вернувшие Риму его богатейшие владения и требовавшие теперь в качестве обещанной и естественной награды капитальной доли из добычи и земель в Италии. Новое затруднение, поднявшееся в 83 г., это досадное для солдат упорное сопротивление старой Италии только подняло их требовательность и раздражение.

Сулле все удавалось, и он никого не обидел из своих сторонников. Его победа объясняется не только перевесом организованных военных сил, но еще более, может быть, его финансовым могуществом. Он очистил во время войны с Митридатом главные казнохранилища Востока, между прочим, опустошил ризницу и кассу Дельфийского храма. Он мог в междоусобной войне 83—82 гг. взять верх над противниками быстротой передвижения, подвозом припасов и орудий. Он мог наделить всех, кто служил под его командой и теснился под его покровительство. Сулла одолел римскую демократию и независимую Италию силами и средствами империи. Какие учреждения принесла эта вторая реставрация? Италийские общины не потеряли своих прав гражданства. Но фактически они были сильно урезаны. У многих, у самых выдающихся, были отняты значительные доли их территории, и на них были поселены ветераны, офицеры и солдаты сулланской армии, причем они вошли и в состав городских управлений. Наделы были нарезаны также из государственной земли, сколько ее в то время еще оставалось, или сколько вновь получилось из произведенных конфискаций. В политическом строе центра, без сомнения, были восстановлены формы, декретированные в 88 г., т.е. произошло почти полное уничтожение народных собраний. Только трибунство еще беспокоило реакционеров; поэтому несколько новых постановлений обрезали возможность его возрождения. Всего важнее было закрытие трибунам пути к дальнейшей служебной карьере, к квесторству, преторству и консульству. Трибунат перестал быть саном и властью в республике: трибуны

превратились в частных ходатаев; об их агитационной роли не могло быть и речи, раз прекращены были собрания по трибам и народные митинги.

Напротив, служебные кадры были сильно раздвинуты. Число одних квесторов, чиновников казначейства, Сулла с 4 увеличил до 20. Тот же смысл имело и удвоение сената с 300 до 600 членов. Сенаторы сидели в разнообразных административных и судебных комиссиях; они получили теперь опять суд над наместниками, отнятый у денежных капиталистов, следовательно, и рост сената надо рассматривать как расширение бюрократии. Новые сенаторы, как сообщает историк междоусобных войн, были взяты из класса всадников, причем сведения о них были собраны по трибам. Может быть, этим путем проникала в сенат впервые в значительном количестве муниципальная знать Италии, крупные люди из бывших союзнических общин. Сулла давал, таким образом, выход большой группе римских нобилей и иногородней аристократии, добившейся участия в новой растущей имперской администрации.

Все эти перемены были осуществлены вне каких-либо конституционных обычаев Рима, силою верховной власти, предоставленной Сулле. Учреждая эту диктатуру для восстановления строя республики, реакция выполняла свой определенный замысел и даже применяла придуманный публицистикой термин. Как ни темна была история учреждений ранней республики, но в эпоху Суллы очень хорошо знали, что старинные диктаторы были чисто военной должностью и никакого отношения к внутренней политике не имели. Вот почему потом, при разрисовке римской старины в консервативном духе, историки соответствующего направления очень долго останавливались на мотивировке диктатуры и приводили ее в связь с народными волнениями, оправдывали чрезвычайную власть необходимостью нагонять время от времени страх на массу подобием монархии и ее безответственности. Однако вполне последовательно препарировать историю в этом духе не удалось. Диктаторы V в. стоят лишними фигурами в борьбе классов; она идет своим чередом, плебеи получают шаг за шагом права; хуже того, первый диктатор Валерий остался в традиции как инициатор закона о неприкосновенности личности. Все эти несообразности и неслаженности исторического изображения выдают тот факт, что социально-охранительная диктатура не имела никакой опоры в традиции, что она была весьма новым изобретением.

Реакция получила все, чего она хотела. Одного она, может быть, не подозревала раньше, когда вырабатывала свои теории и планы спасения республики от демагогии и демократии: именно, что спаситель, туманно обозначавшийся «временно уполномоченным на крайние средства», станет настоящим неограниченным монархом и превратит самое аристократию в свою свиту, в бюрократический фундамент своего величия. Этот загадочный человек, которому выпали на долю такие неправдоподобные успехи, никому из своих сторонников ни в чем не отказывал и дал разъяренной реакции насытиться до конца края в своей мести и захватах, но он и сам взял себе львиную долю. Его приговоры заменили всякий суд, он публично заявлял, что такое-то должностное лицо республики убито по его приказу. В качестве крупнейшего грансеньора, или скорее наподобие восточного царя, он отпустил на волю 10 000 рабов, принадлежавших убитым опальным владельцам, дал этим новосозданным Корнелиям, которым подарена была его фамилия, права гражданства и расписал их по своему усмотрению, по разрядам римских плебеев, получилась настоящая гвардия людей, всегда готовых в корне раздавить всякое сопротивление или протест, который мог бы подняться против всевластного правителя. Само диктаторство в его руках перестало быть чрезвычайной властью и обратилось в главный, чуть ли не единственный государственный орган.

Очень характерно формулирует этот факт историк междоусобной войны: по получении в Риме известия от приближавшегося Суллы, что он желает установления диктатуры и считает себя наиболее подходящим для этого человеком, «римляне, лишённые самостоятельной воли, потерявши закономерные голосования и вообще вполне сознавая свое ничтожество в политике, польстились, среди общего упадка настроения, на внешнее подобие голосования, ухватились за эту слабую тень и фантом свободы и провозгласили в собрании Суллу самодержавным государем на срок, какой ему будет угоден. Диктаторская власть и раньше была абсолютной, но она ограничивалась краткосрочностью; теперь же, впервые получив бессрочный характер, она стала полным абсолютизмом. Для того чтобы соблюсти приличие выражений, они прибавили в постановлении, что выбирают диктатора для проведения законов, какие он сам найдет нужным, для восстановления строя республики. Таким образом, римляне, у которых в течение более 240 лет было мо-

нархическое устройство, а потом в продолжение 400 лет народное правление, при ежегодно сменяющихся консулах, испытали опять монархию»¹.

Ясное дело: позднейшие поколения считали основателем абсолютной монархии в Риме Суллу; Цезарь и Август были в их глазах продолжателями. Тот же историк не может удержаться от следующего сравнения: «На следующий год по достижении верховной власти Сулла, хоть и остался диктатором, но для того, чтобы восстановить лицемерное подобие республики решил во второй раз стать консулом вместе со своим коллегой Метеллом Пием. По этому примеру еще и до сих пор римские государи, хотя сами назначают консулов, но по временам и себя возводят в этот сан. Таким образом, вся картина императорства вплоть до игры республиканскими символами и терминами уже была осуществлена Суллою. Одно только представляется удивительным историку, пишущему в эпоху прочно установившейся монархии: каким образом Сулла, первый из всех монархов и он единственный, слагая с себя подобную власть, без всякого принуждения с чьей-либо стороны, передал ее не детям своим (как его современники Птолемей в Египте, Ариобарзан в Каппадокии, Селевк в Сирии), а тем самым людям, над которыми деспотически правил. Совершенно невероятным кажется и то, что этот человек, положивший столько усилий, столько отчаянной смелости на достижение власти, добровольно сложил ее, когда добился цели»².

Вот эта противоречивая психология первого римского монарха, вообще, первого самодержавца, слагающего свою власть не в сказке, не в теоретической возможности, а при свете ясных исторических сведений, крайне занимала античных писателей. Решением странной психологической загадки занята вся биография Суллы у Плутарха, и вследствие этого она одна из самых неблагоприятных для новейшего историка: в ней почти нет политических фактов, а только приводятся поразительные или характерные случаи жизни сверхчеловека, безгранично отдававшегося своим влечениям и в то же время глубоко равнодушного к людям, одаренного всеми талантами ума и воли и не имевшего никаких целей. Сопоставляя эти черты, биографы и историки, изучавшие Суллу, его характер и судьбу, стара-

¹ App. I, 99.

² App. I, 103.

лись объяснить основную нелогичность его натуры и особенно изумительный его конец, его уход с высоты престола в частную жизнь.

Среди тех интимных деталей, которые они сообщают, есть одна, крайне любопытная в культурном отношении. Сулла верил в свою звезду, он считал счастье прирожденным своим даром. Он сам присоединил к своему имени прозвание «Счастливого», любил, когда его так именовали, и назвал детей Фаустами, любимцами судьбы, перед рострой, трибуной в народном собрании, была поставлена его вызолоченная конная статуя с надписью: «Корнелий Сулла, счастливый император». Фаустом, человеком особой благодати, почти божьей милостью, Сулла себя считал потому, что поставил себя под покровительство великой богини Венеры, по греческому обозначению Афродиты (по-гречески «Фауст» переводился «Эпафродит»). Эта богиня не была нежно улыбающейся утехой любящих; Суллова Венера — совсем другое существо, небесная царица, великая мать-природа, могучая прародительница, подающая силу и победу. Когда Сулла однажды обратился к оракулу, ему был дан ответ: всем богам ежегодно возносить дары, слать, приношения в Дельфы, но главное — «там, где поднимаются снежные высоты Тавра в Азии, в крепостенном городе карийцев — посвятить Венере секиру; тогда он достигнет высшей власти». Сулла послал своей благодетельнице золотую корону и секиру с надписью: «Шлет тебе это державный Сулла, видевший тебя в снах своих, как ты воодушевляла своих верных людей и направляла их воинственное оружие»¹.

Это почитание богини-матери могло у Суллы возникнуть еще на почве Италии; будущая мадонна уже прибыла с Востока в Рим. В вышеприведенном изречении оракула она уже названа покровительницей Энеева рода, следовательно, легенда, которая через Энея связывала ее с римским народом, уже сложилась и закрепилась в умах задолго до Цезаря, который постарался монополизировать себе и Венеру, и Энея. Но, все же, особенная близость Суллы к этой богине должна была образоваться на Востоке, в странах с монархиями божьей милостью, где римский командир, как равный с равным, имел свидание с великим царем Митридатом. Сулла и в этом отношении показал первый пример: Цезарь и Август были его подражателями.

¹ App. I, 97.

Он — первый из римских императоров, ослепленный восточным аппаратом власти, отблеском небесного сияния, окружавшего здесь монархию со времени старинного Вавилона. С ним вместе в граждански простую обстановку Рима вторгается восточный парад, придворная позолота, рабские возгласы преданной толпы.

Созданный Суллою культ монархии продолжается и после его смерти. Хотя он окончил жизнь частным человеком, но его хоронят, как царя, потому что бояться его вассалов, его легионеров и его Корнелиев. Из далекого имения через всю Италию его останки везут в Рим на золотом ложе, в царском украшении. Со всех сторон стекаются сулланские солдаты, наделенные им ленники. В городе выходят навстречу и присоединяются к шествию все жреческие коллегии в парадных одеяниях, весталки, весь сенат и все сановники со своими отличиями, затем идут *in corpore* римские всадники и наконец выстраиваются все легионы, которые служили при Сулле. Впереди несут подарки и приношения от подчиненных им городов и до 1000 венцов, наскоро сделанных из захваченного золота, солдаты несут позолоченные знамена и серебряное оружие, «как и теперь водится на императорских похоронах», прибавляет позднейший историк. «Звучит торжественный похоронный марш, исполняемый необозримым количеством трубачей. Сенаторы возносят клики и обеты, за ними всадники, потом воины, их повторяет народная масса. Были искренние возгласы, было много и таких людей, которые боялись его воинов и самого мертвеца не менее, чем живого Суллу; страшило их и развертывавшееся перед глазами зрелище, и память о том, что сделал этот человек...»¹

¹ App. I, 105—106.



НОВЫЙ ПОДЪЕМ ИМПЕРИАЛИЗМА И ОРГАНИЗАЦИЯ РИМСКОГО КАПИТАЛА

Сулла был вдвойне реставратором Рима: он возобновил господство аристократии и восстановил прежнюю империю в размерах, сложившихся к 30-м годам II в. Но обе эти реставрации были крайне непрочны.

Аристократия сильно поредела, часть ее фамилий опустилась и обеднела, часть ее погибла от руки самой сулланской реакции, наверху остались сравнительно немногие. Однако и эта группа магнатов — *principes*, как они стали называться — держалась только грубой силой неответственной власти; сама по себе она не имела авторитета. Тотчас же по смерти Суллы всюду обнаружилось полное неповиновение сенату, который, в силу сулланской конституции, получил верховную власть. Один из двух консулов, Эмилий Лепид, недавний сулланец, объявил себя противником только что установленного порядка и защитником интересов демократии, он потребовал возвращения изгнанников, осужденных опалами Суллы, возобновления хлебных раздач для городских пролетариев и — самое важное — изгнания с конфискованных земель сулланских ветеранов и возвращения их прежним владельцам, италикам. В угрожающем количестве эти потерпевшие от сулланских раздач эмигранты собрались на севере Италии и под начальством Лепидова легата, Юния Брута (это — отец знаменитого Брута, убийцы Цезаря), надвигались на Рим. Лишь с большим трудом, набравши инородческие отряды, вооружив рабов и вольноотпущенных, удалось другому консулу, консерватору Катуту и молодому почитателю Суллы, Гнею Помпею (род. 106 г.), отбить Лепида и Брута; большая часть мятежных войск демократической партии ушла в Испанию, и эта область совсем отделилась от Рима под управлением Сертория.

Несмотря на этот уход, в Италии все-таки было беспокойно, и как раз более крупные владельцы находились под угрозой восстания невольников на своих плантациях и пастбищах. Опасные результаты вытеснения туземного свободного рабочего и мелкого арендатора дешевым привозным рабом сказались с полной силой. Рабов было очень много, и они сознавали свой количественный перевес. Из итальянских невольников образовались две большие национальные группы, военнопленных галлов и германцев, с одной стороны, с другой — фракийцев. Сначала они пытались пробить себе путь на родину, но затем, опираясь на недовольство деревенского люда, бывших итальянских владельцев, изгнанных с земли, они образовали большие воинственные лагеря и стали беспокоить страну набегами. В течение трех лет землевладельцы Италии были под страхом этих нашествий. Главный начальник восставших, фракиец Спартак, разбил консульское войско, был момент, когда он быстрым маршем надвигался на самый Рим. Руководители политики совершенно растерялись; сенат не мог найти генерала, который бы согласился реорганизовать разбитые легионы и повести их опять против страшных невольников, дисциплинированных долгой войной. Начальство должно было достаться очередному претору на 71 год, но долго никто не выступал кандидатом на выборах, пока, наконец, трудную задачу не взял на себя один из сулланцев, разбогатевших на скупке опальных имений, Личиний Красс.

Наследство, оставленное Суллой во внешней политике, было также очень шатко. В свое время среди войны с Митридатом, имея у себя позади революционную Италию, а впереди успешно продвигавшуюся демократическую армию Фимбрии, он поторопился заключить мирный договор с понтийским царем. Дарданский трактат 84 г. предоставлял Митридату неожиданные выгоды: величайший враг римлян, по наущению которого были избиты за четыре года перед тем римские граждане во всей Азии, был теперь признан союзником римского народа, он должен был только оставить за римлянами уже отнятые у него провинции и сохранял полностью свои прежние владения, Сулла оставил нетронутыми силы и ресурсы царя и даже для скорейшего заключения мира подкупил главнокомандующего враждебной армии; он уступил так много, руководясь соображениями внутренней политики, желая поскорее разделаться с демократами, отнять у них возможность дальнейшего ведения

войны и вернуться для их разгрома в Италии. Теперь последствия миролюбия Суллы во внешних делах сказались. В середине 70-х годов Митридат снова готовил план нападения на восточные владения римлян; его организации теперь были еще крупнее и настойчивее, у него был уже настоящий договор с демократами, укрепившимися на другом краю Европы, в Испании, союзники имели в виду вести одновременные операции против Италии.

Еще в другом отношении дело Суллы казалось теперь сомнительным выигрышем для римской империи. Он вернул, правда, восточные области, но в самом разоренном виде, Греция и Азия пострадали не только от военных операций — между прочим, после осады жестоко были разрушены Афины, — но также от вымогательства и грабежа, произведенного римским фельдмаршалом. Все запасы в храмовых сокровищницах Дельф, Олимпии, Эпидавра были забраны для чекана монеты и уплаты жалованья солдатам; Азия в виде наказания за свое отпадение должна была покрыть военные издержки штрафом в 20 000 талантов и кроме того отдать всю сумму налогов за пять лет. Грандиозная экспроприация, совершенная Суллой, потянула за собой целый промысел систематических грабежей. Римский завоеватель старался увести из греческих областей, лежащих кругом Эгейского моря, как можно больше пленных для италийских поместий; в этих странах, совершенно беззащитных, римские торговцы продолжали захватывать людей при помощи разбойничьих шаек, элемента, также неизбежно возникающего во всякой стране, разоряемой самими администраторами. Берега Азии, Ликия, Памфилия и Киликия, служили невольными поставщиками похищаемых людей, а моряки с островов, особенно с Крита, везли добычу на рынок в Делос, где сосредоточивались римские торговые посредники. Образовался особый флот для перевоза и сбыта невольников и разбойничье государство на Крите, опиравшееся на ряд укрепленных замков на берегах Малой Азии. На службе этого исключительного промысла Восточное море стало небезопасным для торговых и других сношений. Подвоз в Италию был крайне затруднен, но в течение почти 15 лет римское правительство ничего не предпринимало против организованного пиратства.

В 70-х гг. I в. римская империя была в полном распадении. Диктатор доставил консервативной аристократии удовлетворение во внутренних делах, но теперь и в Италии все расшата-

лось, а колониальная держава Рима едва существовала. При таком положении вещей правящие круги сената естественно проявляли крайнюю боязливость и нерешительность во внешней политике. Рим получил в течение короткого срока три наследства по завещаниям царей, так или иначе обязанных великой республике: в 81 г. поступило завещание на владение птолемеевским Египтом, шесть лет спустя одновременно были отписаны на Рим Кирена и Вифиния. Римское правительство приняло Кирену, но отказалось от Египта: не имелось ни войска для оккупации, ни флота для перевозки солдат. Сенат не хотел также принимать Вифинии, потому что за это царство пришлось бы тотчас же вести войну с Митридатом, уже готовым к нападению. Почти согласный предоставить Вифинию на произвол судьбы, сенат мог в перспективе ожидать скорой вторичной потери и самой Азии. Но и это соображение не могло вывести правительство из нерешительности.

В конце концов, принятие Вифинии и поход против Митридата были решены ради капиталистов, положивших крупные суммы на ссуду последнему вифинскому царю при отвоевании им потерянного государства: доходные статьи Вифинии были залогом, из которого они должны были вернуть кредитованную сумму. Но военная политика правительства была так же плоха, как и его дипломатия. Вместо сосредоточенной команды против такого опасного врага, как Митридат, три соседние области были отданы трем разным наместникам. В конце концов, тот поход, из которого разрослась крупнейшая в истории империи азиатская война, был лишь частным предприятием, которое начал с небольшими силами наместник Киликии Лукулл, друг и ученик Суллы, поставивший себе целью быть вторым после него колониальным императором Рима.

Кампаниями Лукулла начинается второй период римского империализма, наступивший после значительного перерыва, и империализм возобновлялся с большими усилиями. Главная причина его упадка заключалась в кризисе римского капитала, особенно обострившемся с 90 г., со времени отделения независимой мелковладельческой Италии и потери восточных областей, особенно Азии. Откупщики, негоциаторы и банкиры теряли и на итальянских крупных арендах, и на подвозе поставок в Рим, и особенно на таможенном и податном управлении в восточных областях, в Азии жестоко пострадали также мелкие капиталисты типа ломбардов, которые накинута сеть сво-

их операций на область, предоставленную Каем Гракхом клас-су всадников. Падению материальной силы римских денежных людей соответствует их политическое поражение: Сулла отнял у них политические суды, т.е. вмешательство в управление провинциями. Сулланские бюрократы, герои доносов и грабежа опальных, захватили самые лучшие посты; между ними был знаменитый пропретор Веррес, три года бесконтрольно владевший Сицилией и убитый потом в качестве первой жертвы капиталистами, вновь усилившимися к 70 году.

После 12—15-летнего кризиса римский денежный капитал опять начинает оживать и входить в силу. Вновь воссоединенный Восток, хотя и не возвратился к прежней всаднической администрации, все-таки открыл им свои старые доходные статьи, рабский рынок оживился, как никогда, навстречу грабежу людей и захвату дешевых рабочих сил шло в Италии образование крупных имений из конфискаций, шел запрос владельцев, обогатившихся в сулланской реакционной оргии. Новые собственники-хозяева, в значительной мере чуждые сельским промыслам, или спешили сбыть легко доставшиеся поместья, или искали денег для обзаведения, для мелиорации, новых посадок и т.п., во всяком случае, нуждались в кредите, занимали и должны у римских фенераторов. Стала подниматься новая волна ростовщических предприятий в крупных и мелких размерах; она чувствуется не только в нервической погоне за большими поставками на Рим и Италию; она приливает к окраинам империи и заходит на соседние территории. Сулланские генералы везде, отчасти помимо своей воли, открывают им пути. Сулла-нец Помпей в подавлении демократической эмиграции, собравшейся в Испании под начальством Сертория, вынужден, за неимением морского транспорта, выписывать поставки длинным окружным путем через южный берег Галлии. Римские капиталисты должны были много заработать на этом посредничестве, и с этого времени они наводняют римскую провинцию Галлии (Нарбонскую) и начинают закидывать нити в другие независимые галльские области. В то же время они кредитуют восточных царей, римских вассалов. Этим путем они готовят новые присоединения к империи, толкают Рим на новые завоевания.

Возрастающее влияние всадников отразилось и на внутренних переменах. Магнаты вернули себе в конце 80-х годов авторитет и управление при помощи победоносного императора, и только при военной поддержке его маршалов, Помпея и

Красса, они могли сохранить аристократическую конституцию Суллы. В 70-х годах республиканские традиции плохо соблюдались; оба военные деятеля сулланской школы получили первые командования свои по усмотрению диктатора; они и потом продолжали занимать важные посты, распоряжались большими войсками взамен консулов, не давая себе труда проходить обычную политическую карьеру, начиная с низших городских должностей. Понятно, что эта опоры аристократии вовсе не желали быть ее покорными орудиями. Помпей во время испанской войны разговаривал с высшим правительством весьма непочтительным тоном. Когда сенат несколько задержал присылку денег, Помпей пригрозил прийти со своим войском в Италию, и суммы были немедленно высланы.

Оба лучших генерала республики, уже прямо нарушая конституцию, не распустили своих войск по окончании военных поручений, один — после войны с серторианцами, другой — после подавления рабов, и в 71 г. подошли с вооруженными силами к Риму. Их разделяло жестокое соперничество; оба они преследовали одну и ту же цель: получить консульство на 70 год с тем, чтобы открыть себе путь для большого провинциального командования на Востоке. Малая Азия, Месопотамия, Сирия, Египет необычайно волновали в это время воображение римских капиталистов и военных. У Лукулла было много завистников, желавших заменить его. Помпею это удалось 4 года спустя. Красс достиг цели своих восточных мечтаний позже и сложил там свою голову.

Но с сенатской аристократией было трудно поладить. Она уже не желала иметь дело с новым диктатором вроде Суллы; вследствие этого у сената нельзя было получить обещания на выгодное восточное командование. Эти затруднения и подвинули Помпея и Красса на сближение с денежными людьми, в свою очередь старавшимися оживить разгромленную демократическую партию. По всей вероятности, между сторонами был заключен самый определенный уговор: генералы окажут давление в смысле восстановления демократических учреждений, политической роли трибунов и собраний по трибам; трибуны приложат все агитационные усилия, чтобы добиться избрания народом Помпея и Красса в консулы, а в дальнейшей перспективе им открывается командование в Восточной войне. Консулы, в свою очередь, обязуются вернуть всадникам потерянную ими финансовую администрацию и особенно суды над намест-

никами. Таким образом, Помпею и Крассу было обещано доставить именем народа то, в чем им отказывал сенат. В этих уговорах демократической партии приходится играть второстепенную служебную роль; за десять лет политического молчания трибунов кадры демократии расстроились, в особенности распались связи городских агитаторов с сельскими округами. Голосования устраиваются преимущественно путем предварительных раздач городским трибам и тем немногим представителям сельских триб, которые являются в город. Трибуны могут действовать лишь при помощи средств влиятельных капиталистов и в тени магнатов Рима.

Союз всадников, демократии и генералов, стоявших во главе войска, привел к реформам 70 года. Сенат должен быть допустить избрание Помпея и Красса в консулы и уничтожение сулланской конституции. Рим вернулся опять к тому неустойчивому равновесию главных политических сил, которое держалось в период от Гракхов до Суллы; руководство сената подлежало ограничению верховного народного собрания, и обратно: провинции распределял сенат, но важное командование могло быть передано определенному лицу народом; закон являлся в результате решения комиций, но сенат мог выпускать указы в административном порядке и принимать меры чрезвычайной охраны, стеснявшие политическую свободу и гражданскую неприкосновенность. Посредством особого закона, *lex Aurelia* 70 г., произведена была судебная реформа, восстановившая в существенных чертах порядок досулланского времени. Состав судей был разделен между тремя классами поровну: сенаторами, всадниками и трибунами-эрариями. Так как последнее в качестве капиталистов второго разряда были компанейщиками или доверителями всадников, то в коллегии за денежными людьми было обеспечено большинство двух третей.

Политические союзники двух генералов устроили и торжественное всенародное примирение между ними. Помпей и Красс должны были преклониться перед гражданской республикой, покинуть свои диктаторские замашки и, главным образом, распустить свои войска. Истый сулланец, тоже с верой в свое особое сверхчеловеческое призвание и счастье, Помпей вынужден был, пересиливая свою натуру, изображать послушного сына республики, уважающего конституционные обычаи. На другой год, после своего консульства, когда цензоры производили смотр кавалерии, и всякий конник, проходя со сво-

им конем, произносил обычные слова о выполнении служебных обязанностей, появился и Помпей, со всеми знаками отличия, ведя под уздцы свою боевую лошадь. Народ расступился и смолк. На вопрос приятно изумленных и сконфуженных цензоров: «Исполнил ли ты, Помпей Великий, свою службу, как того требует закон?» — Помпей ответил громко: «Да, исполнил все, и притом под своим собственным начальством». Раздались восторженные аплодисменты и под их нескончаемый гул вышедшие сановники республики вскочили со своих мест и проводили Помпея домой, отблагодарив затем и граждан, которые составили им свиту.

Подобная сцена уже стоит на пороге того, что можно назвать политической комедией. Все более и более республиканские формы обращаются в парад, в условную формальность; Суллова монархия оставила свой след. Один эпизод того же года реставрации демократических учреждений очень характерно рисует нам толпу в горячей мольбе, возносимой к сильным мира сего, и мы уже узнаем будущий народ императорского цирка, приветствующий государя и заявляющий ему свою челобитную. Помпей и Красс еще не примирились: они сидят на форуме друг против друга на возвышенных местах в мрачно недоверчивом положении. Народ, в страхе перед военными силами консулов, молит их о примирении: оба остаются непреклонными. Тогда вырываются несколько юродивых, как бы одержимых пророческим духом и грозят великими бедами, если консулы не примирятся, и опять народ с плачем и жалобным криком возобновляет свои просьбы.

Стоит обратить внимание и на этих боговдохновенных ходаев. Биография Помпея упоминает еще некоего Аврелия, неизвестного человека, жившего всегда вдали от политики, который внезапно взошел на трибуну в народном собрании и объявил, что ему было видение, вещий сон: высший бог Юпитер повелел консулам не отказываться от власти до тех пор, пока они не примирятся. Все это очень далеко от обстоятельных дебатов, рациональных голосований гражданской демократии; пассивность массы, влияние бесноватых свидетельствуют об упадке политической жизни.

Реформы 70 года возвращали всадникам прежний вес в республике и открывали им новые широкие перспективы. В свое время они не могли помешать назначению Лукулла главнокомандующим на Востоке. Они положили теперь все усилия, что-

бы устранить его. Аристократ, с бюрократическими наклонностями в администрации, беспокойный фантазер в военных предприятиях, первый римлянин, который вообразил себя Александром Македонским и так увлекся открытием «дальнего Востока», что покинул всякую мысль об обеспечении тыла, Лукулл совсем не подходил для дельцов, искавших прочных приобретений, хозяйственной системы, скорейшего прекращения сложных походов. К тому же Лукулл не давал им простора, радикально разрубал долговые вопросы. Потерявши терпение, римские откупщики решили свергнуть Лукулла и заменить его более податливым командиром. Военные успехи и искусство Лукулла при незначительных силах, которыми он располагал, были поразительны. Почему бы не послать ему подкрепления? Зачем надо было заменять опытного главнокомандующего, пробывшего в Азии 7 лет, Помпеем, который о Востоке не имел никакого понятия? Только потому и только затем, что Лукулл был неудобен капиталистам, а Помпей, с которым они сблизилась в 70 году, казался им более подходящим, И теперь для этого генерала, то, что считалось неосуществимым в течение 15 лет, устроилось в один год.

Помпею дали в 67 г. средства на постройку и снаряжение флота, с которым он разгромил пиратов Восточного моря, взял их прибрежные крепости и переловил их суда; только в рамках этих огромных материальных средств, доставленных римскими капиталистами, а не официальной государственной казной, и получает смысл то неограниченное полномочие, которое дали Помпею над водами, берегами и островами: иначе это *imperium maius* было бы пустым звуком. Только теперь, по очищении путей сообщения к азиатским областям, возможно стало посылать правильные подкрепления и придать Восточной войне окончательный решающий характер. И опять без капиталистов нельзя было обойтись, опять исполнить все, что требовалось, мог только Помпей. Цицерон, лучший оратор денежной аристократии, взялся укрепить их союз и своею знаменитой речью, составляющей восхваление римских ростовщиков и банкиров, раскрыл народу все выгоды азиатских доходов и все значение быстрого окончания азиатской войны и добился назначения Помпея главнокомандующим (66 г.).

Преобладание денежной аристократии во внешней политике 60-х и первой половины 50-х годов составляет факт необыкновенно яркий. Опять компании откупщиков, крупных аренда-

торов доходных угодий, негоциаторов и ссудчиков двинулись в Азию. Одно за другим пошли присоединения значительных территорий. В четыре года, 66—62, были заняты римлянами на севере Вифиния и Понт, т.е. весь малоазиатский берег Черного моря, на юге Сирия, т.е. берег Леванта до Египта вместе с внутренней областью до Евфрата; и аравийской степи. Территории Передней Азии, оказавшиеся как бы в тисках между этими новыми провинциями, Галатия и Каппадокия, обратились в вассальные княжества, зависимые от Рима. Захвачены были два больших острова восточной части Средиземного моря, Крит и Кипр, первый во время разгрома морской державы разбойников, второй десять лет спустя (56 г.). Руководящие круги денежной аристократии не упускали из виду и другой окраины, богатой и населенной Галлии. Начатое Цезарем в 58 г. завоевание Галлии, конечно, не было результатом его личной внезапной идеи. Его замысел не мог быть секретом для тех денежных людей, которые провели его в конце 60 года на выборах при помощи грандиозного подкупа, больше того: вероятно, план завоевания Галлии «Косматой», на которую из Галлии культурной жадно поглядывали римские капиталисты, был подсказан ими. Иначе трудно представить, почему они решились поддерживать Цезаря, ненадежного политика, который вышел из марианской родни, потом перекинулся к сулланцам, к разоренным нобилям с Катилиной во главе, бросившимся на путь государственного переворота, и который теперь опять нуждался в помощи всадников, так как иначе немислимо было пройти в консулы против консервативной аристократии.

Денежные круги Рима не упускали в то же время из виду Египта, наследства, присужденного Риму, но не принятого правительством. Они заинтересовали в судьбе этой страны беспокойных политических деятелей, Цезаря, Помпея, Красса, когда все трое сблизилась между собою в тесный династический союз. За большую взятку в 6 тысяч талантов Цезарь в год своего консульства (59) согласился поддерживать права египетского претендента Птолемея Авлета. Помпей еще раньше получил много подарков от того же принца, множество сенаторов было подкуплено, и благодаря всему этому состоялось постановление сената, а потом и народное решение, присуждающее Египет Авлету. Положенные в дело деньги были взяты ссудой у римских банкиров в счет будущего египетского бюджета. Но когда Птолемея изгнали из Александрии, сенат, несмотря на но-

вые подкупы, отказал приехавшему в Рим царю в официальной поддержке, а триумвиры были отвлечены временно другими делами и не настаивали на посылке римского вспомогательного отряда. Но капиталисты добились своего: в 55 г. Помпей решил секретно своему бывшему легату и зависимому от него человеку, Габинию, наместнику Сирии, направить сирийский корпус римской армии в Египет для водворения там Птолемея Авлета: без всякого поручения от правительства, без его ведома, римских солдат послали защищать частное дело, заключавшее в себе интересы римских банкиров.

К середине 50-х годов, ко времени разгара второго империалистического периода, территория внешних владений Рима была раз в 6 раз более италийской метрополии, а еще 10 лет спустя, с присоединением Галлии Цезарем и расширением африканских владений, колонии в 8 раз, по крайней мере, превосходили размером метрополию. Какие же были реальные причины этого расширения? Каков был социальный смысл огромных римских завоеваний, какие классы общества в Италии воспользовались ими и каким образом?

В больших империях последующего времени, арабской, британской, русской, при всех различиях условий, есть одна господствующая черта: расширение, завоевание есть вместе с тем обширная колонизация — колонизация кочевников, земледельцев или промышленников, вызванная, так или иначе, избытком населения в метрополии при данных условиях культуры. Только в строении одной части Британской империи, именно в Ост-Индии, выступает сильно элемент торговой и финансовой эксплуатации постороннего владения, которое лишь оккупировано, но почти не колонизируется из метрополии.

В образовании Римской империи поразительно слаб первый элемент — колонизация, и в высшей степени преобладает второй — финансовая и торговая эксплуатация чужих земель и чужой культуры. Географически Апеннинский полуостров тянет к областям западной части Средиземного моря. В первую эпоху римских завоеваний в III в. земледельческое население Средней Италии двигалось в сравнительно слабо заселенные малокультурные области на севере в равнину реки По. Но дальнейшее движение на запад почти остановилось. Римляне заняли Испанию во время второй Пунической войны для того, чтобы оградить себя от возможности карфагенских нападений из этой области. Они сохранили ее потом, чтобы пользоваться рудни-

ками и копиями и вербовать военную подмогу среди туземцев. Но Рим не отправлял туда колонистов. Еще 100 лет почти прошло, пока устроили первую колонию в Южной Галлии (Нарбон) на пути, по которому римляне добирались до Испании. Во II в. Рим приходит в соприкосновение с большими, богатыми, сложно устроенными, густонаселенными державами, Карфагеном и эллинистическими государствами. В захвате этих культурных стран на юге и на востоке, в Африке и в Азии, и развивается характерная для римской империи система провинций, т.е. больших оброчных владений.

С этой поры в течение полутора веков из Италии в «вотчины римского народа» и на окраины направлялись лишь тесно ограниченные общественные слои и по весьма односторонним мотивам. Это были откупщики и их свита, ростовщики крупные и мелкие, агенты римских банков, крупные арендаторы угодий, поставщики на войско и их служебный персонал. В своей речи о поручении начальства на Востоке Помпею Цицерон отчетливо определяет состав римской деловой колонии в Азии: «Откупщики, люди видные в обществе и почтенные, поместили в этой провинции свои капиталы и устроили деловые конторы; из других классов люди промышленные и предприимчивые частью ведут обороты в Азии, частью положили там большие деньги»¹. В другой речи (*pro Fontejo*) Цицерону приходится говорить о римской провинции на противоположной окраине империи, где все же было помещено некоторое число земледельцев; эти колонисты как бы тонут для него в массе откупщиков и негоциаторов. Но он скоро забывает земледельцев и под «римскими гражданами, заполняющими Галлию», понимает только откупщиков и ссудчиков. То же самое в Африке: италийцы в римской провинции и в ближайших городах вассальных варварских государств — негоциаторы: их дела — поставки, откупа, ссуды. У нас имеются, к сожалению, лишь отрывочные сведения, чтобы судить о том, как был организован этот воинственный и непроизводительный римский капитал.

Не видно, чтобы усилия римских капиталистов и промышленников направились на сбыт каких-либо продуктов метрополии в зависимые страны. Также мало, по-видимому, занимала их торговля произведениями подчиненных областей и подвоз товаров в метрополию или в малокультурные провинции Запа-

¹ Cic. De imp. Pomp. VII, 17, 18.

да, если не считать больших государственных поставок в столицу. На первом месте в их деятельности были обороты, которые возникали из эксплуатации излишков, сбережений и местных доходов, получавшихся в сложных технически развитых хозяйствах плотно населенных стран южного и восточного побережья Средиземного моря. Римский капитал завоевал эти хозяйства, вводил их в широкий оборот и откидывал с них обильный дивиденд западному властелину.

В этом отношении республика шла по линии своего давнишнего развития. Поднявшись в качестве торговой столицы Средней Италии, Рим вступал уже в эру заморских завоеваний с большими свободными капиталами, с влиятельным классом откупщиков. Здесь, в этом денежном излишке лежал основной стимул дальнейших приобретений. В свою очередь, захват посторонних владений, огромный рост государственных имуществ и оброков с подчиненного населения и создал в настоящем смысле то могущество римского капитала и то необыкновенное положение денежных людей, которое так характеризует последнее столетие республики от Гракхов до Цезаря.

Небывалое значение, которого достиг этот общественный слой в Риме, коренилось в характере государственного строя и в условиях администрации республики. Рим долго сохранял архаическую систему финансов. Нельзя было собирать правильную прямую подать с граждан, а тем более с союзников, пока большая часть Италии держалась форм замкнутого хозяйства, мало продавала на отдаленные рынки и не имела ясно определенного денежного дохода. Государство налегало на косвенные сборы, на пошлины, занимаемые в морских ввозных портах, и на эксплуатацию казенных имуществ. Политическая раздробленность страны, сохранившаяся до 90 года, была причиной того, что эта система удержалась до более поздних времен. Первобытности обложения соответствовала несложность финансового управления. Рим остался при своих краткосрочных выборных сановниках, а правительство освобождало себя совершенно от технической стороны дела, расценки, внимания, контроля, и продавало доходные статьи оптом частным предпринимателям. Характерно было само название сдачи государственных доходов на откуп: оно так и обозначалось «куплей-продажей».

С расширением государственной территории необыкновенно выросла и эта масса дохода. Верховная городская республи-

ка сохранила свои прежние формы, очередных консулов, преторов, квесторов и всенародные голосования; а тяжесть содержания большого государственного тела стала ложиться на новых подданных, как бы крепостных плательщиков центральной республики. Вместе с тем для частного предприятия, откупавшего эти доходы, открывался все больший простор. Интересы капитала, который в них вкладывался, и сделались главным мотивом новых и новых присоединений и завоеваний.

В последний век республики в руках римских капиталистов соединялись разнообразные и пестрые статьи. У них была эксплуатация рудников в Македонии и Испании, обширных плантаций в Африке и Сардинии, бывших коронных земель и угодий в азиатских областях, сбор портовых и пастбищных денег в разных провинциях и т.п. Верхом успеха откупщиков была передача им при Гракхах десятины, т.е. прямого налога во вновь приобретенной Азии с исключением от конкуренции местных капиталистов. Этот сбор налога ставил римских арендаторов лицом к лицу с городскими управлениями, которые заключали с ними условия. Если город находился в финансовом затруднении, те же или другие римские предприниматели получали возможность опутывать города системой ссуд и истощать их средствами долгами.

Чисто денежные операции стояли, таким образом, в тесной связи с откупками больших доходных статей. Можно себе представить, как римские ссудчики, банкиры и менялы, наподобие евреев и ломбардов средневековой Европы, систематически рассаживались по округам и населенным пунктам провинций. В 69 г. Цицерон говорил о римском наместничестве в Южной Галлии: «Римские граждане — негоциаторы битком наполнили Галлию; без посредства римлян ни один галл не ведет деловых отношений; в Галлии нет в обороте ни одной монеты, которая бы не прошла через счетные книга римских граждан»¹.

Интересы денежных людей защищала грозная сила римского оружия; в крайнем случае, они могли опереться на государственную экзекуцию. Одним из характерных примеров в этом отношении может служить история денежных операций двух римских всадников, Скапция и Мануция, представлявших интересы Брута на о. Кипр. Стоик-республиканец, убийца тирана Цезаря, одна из сурово-добродетельных фигур отживающе-

¹ Cic. P. Font. V, 11.

го строя в Риме, Брут допускает по отношению к провинциалам безжалостную эксплуатацию. Город Саламин на Кипре задолжал ему сумму, выданную на имя его доверенных, так как открыто римляне высшего правящего класса не могли вести таких оборотов. Заем сам по себе заключал целый ряд обходов и нарушений. По закону Габиния были запрещены заемные сделки с провинциалами в самом Риме. Но негоциаторы, при посредстве Брута, добились двух постановлений сената, которые освобождали их от ответственности по закону. Это дало им возможность поднять в долговом условии процент до 48% и предъявить потом к уплате, начисляя проценты на проценты 200 талантов, вместо 106 талантов долга, которые получились согласно официальным 12%. Когда городское управление Саламина задержало уплату долга, Скапций выпросил у римского наместника соседней Киликии, Аппия Клавдия, отряд конницы и запер членов саламинской думы в их помещении, где пятеро из них умерли с голоду. Между тем наместник сменился. Новый проконсул Киликии, Цицерон, держался вообще более мягких приемов по отношению к провинциалам. Он отозвал конных стражников с Кипра и пригласил к себе саламинцев и Скапция в Таре. Здесь выяснилась незаконность операций; Цицерон напомнил, что, в силу указа, изданного им при вступлении в должность, процент не должен превышать 12%, и саламинцы выразили согласие уплатить долг немедленно. Но Скапций «бесстыдно» настаивал на своей огромной цифре и упросил Цицерона отложить дело. Опасаясь, как бы не рассердить Брута, Цицерон отложил взыскание, т.е. предоставил капиталистам дожидаться нового наместника, который, как они надеялись, окажется более внимательным к ним и более беспощадным по отношению к провинциалам.

Типом римского банкира и ростовщика, занятого ссудами в провинциях, может служить друг Цицерона, Помоний Атик. Это был плантатор, книгоиздатель, поверенный и управитель по делам нескольких богатых капиталистов и нобилей, направивших свои денежные средства в восточные области. Центром операций Атика была Греция; здесь у него было множество клиентов, не только частных лиц, но и целых общин; города и территории стояли под его денежным патронатом. Особенно близки были отношения Атика к Афинам, где он постоянно почти и жил. Разнообразные и крупные ссуды, которые он давал афинянам, сплетались тесно с его популярными щедрота-

ми, с его либеральным меценатством в городе. В дурные годы Аттик хлопочет о раздаче хлеба гражданам, после разорения города Митридатом дает ему большую ссуду без процентов. Но это, в конце концов, лишь неопределенная чрезвычайная премия, посредством которой обеспечивается постоянный доход с массы лиц, находящихся у него в долгу.

Характерны отношения Аттика к городу Бутроту в Эпире. В его окрестностях и на его территории Аттик составил себе путем последовательной скупки весьма крупные имения. Конечно, и здесь у Аттика появилось немало клиентов. Но в этой области его положению, как денежного патрона, грозили те осложнения, которые возникли в Риме со стороны монархических претендентов, искавших вознаграждения для военных масс. В эпоху сулланских конфискаций и наделов Аттик, уклонившийся от политики в Италии, сумел сохранить свои приобретения в Греции. Но после второй гражданской войны в 40-х годах I в. ему с неизбежностью грозили потери. Цезарь решил, между прочим, устроить в Бутроте колонию ветеранов и отобрать для этой цели у города часть его территории. Аттик, хотя и косвенно, терял очень много: городу предстояло разорение, и тогда не могло быть речи о возврате кредитованных ему сумм. Через Цицерона Аттику удалось добиться свидания с Цезарем, и за обедом у диктатора дело устроилось к полной выгоде для влиятельного капиталиста, которого Цезарь, по-видимому, желал привлечь на свою сторону. Соглашение состояло в том, что Аттик внесет сумму, равную угрожавшей городу потере, как бы уплатит положенную на город военную контрибуцию; этим способом он и выкупал Бутрот от военной колонии. Таким образом, капиталист спас уплату по старым обязательствам граждан и новым большим кредитом поставил город в еще большую от себя зависимость.

В эпоху расцвета империализма всемогущий римский капитал стал распространять свою силу за военные и политические границы государства. Негоциаторы являлись не только следом за покорителями. Они открывали кредит соседям, союзникам народа римского, владельцам вассальных княжеств. Таким образом, они шли впереди завоевателей, готовили им пути, своими ссудами и поставками втягивали в зависимость города, царьков, полуварварские племена, раньше, чем являлись легионы и администрация. Ливий признает вполне откровенно и наивно уничтожающую силу римской кредитной системы: рим-

ляне победили македонского царя, но оставили Македонию самоуправлением; они решили, однако, вовсе прикрыть доходные рудники этой страны, «потому что эксплуатация их невозможна без посредства откупщиков, а где раз появился откупщик, там либо бессильно публичное право, либо союзники наши утрачивают всякое подобие свободы»¹.

Судя по переписке Цицерона, на Востоке в 50-х годах, кажется, не было крупного города или князя, который бы не задолжал римлянам. Город Никея в Вифинии был должен римскому гражданину Пиннию 8 млн. сестерций. В качестве наместника Киликии, Цицерон внушает пропретору Вифинии, чтобы город понудили к уплате долга сыну и наследнику Пинния, «молодому человеку, необыкновенно скромному, ученому и мне преданному»². Один из азиатских должников, каппадокийский царек Ариобарзан, отчаянно бился между двумя кредиторами, Помпеем и Брутом. Ему пришлось прибегнуть к чрезвычайным налогам в своей стране, однако общей суммы собранного с подданных (33 аттических таланта) не хватало для того, чтобы заплатить проценты с капитала, занятого у одного Помпея. «Но наш Гней (Помпей) милостиво терпит: он не видит пока своего капитала и довольствуется ростом, да и то неполным. Зато больше царь никому не платит и не может платить; ничего нет в казне, нечего больше собрать со страны... Нет более разоренного государства и более бедного царя», — пишет Цицерон³.

В одной из своих защитительных речей Цицерон, хваля своего клиента, одного из крупнейших по богатству представителей капиталистического класса всадников, говорит: «Он вел массу дел, получил множество концессий, владел большими паями, вложенными в эксплуатацию казенных статей; он давал займы народам, в большинстве провинций положены были его капиталы; наконец он кредитовал царей!»⁴

Эти слова относятся к банкиру Рабирию, и нигде, может быть, связь между внешней политикой Рима и операциями денежных людей не выступает так осязательно, как в его истории. Царь египетский, Птолемей Авлет, только что признанный сенатом, был свергнут с престола своими подданными и

¹ Liv. XLV, 18.

² Cic. Ad Famil. XIII, 61.

³ Cic. Ad Attic. VI, 1.

⁴ Cic. P. Rabir. II, 4.

изгнан. Он приехал в Рим, чтобы хлопотать о своем восстановлении при помощи римских легионов. Помпей дал изгнаннику и его двору блестящее помещение в своей загородной вилле, но предоставил ему действовать на свой риск. Необходимо было найти денежные средства для подкупа сенаторов. Рабирий уже ссужал царя «заочно», особенно когда для признания его законности надо было подкупить Цезаря в 59 г. за 6000 талантов. Ему казалось теперь, что «нет риска предоставить еще большие средства в распоряжение Птолемея, когда никто не сомневался, что царь будет восстановлен, и Рабирий положил в его египетское предприятие почти все свое состояние вместе с капиталами своих «друзей», т.е. доверителей своего банка и денежных участников своих ссудных операций. Однако сенат принял неопределенное решение и не дал Птолемею военной помощи. Рабирию надо было во чтобы то ни стало восстановить свой поколебленный кредит в Риме. Пользуясь посредничеством Помпея, он вошел в частное соглашение с проконсулом Сирии Габинием. За восстановление Птолемея Габинию обещали 10 000 талантов, и уплату этой суммы опять гарантировал Рабирий, выговорив себе процент за комиссию. Когда сирийские оккупационные легионы посадили Птолемея в его дворце в Александрии, долг царя Рабирию превышал намного весь ежегодный бюджет богатого Египта. Теперь Рабирий потребовал, чтобы его назначили министром финансов и распорядителем казны в Египте: таким способом он надеялся заплатить по договору Габинию и вернуть с выгодой всю ссуду, данную царю.

Эта история банкира, ставшего министром у своего должника, иностранного государя, чрезвычайно характерна. Происходит подчинение большой страны капитализму задолго до ее действительного и окончательного присоединения к римским владениям. Вместе с тем для финансового удовлетворения римского банкира совершается набег, происходит временное завоевание государства; предприятие это, правда, ведет должностное лицо из высшего служебного класса, но оно носит совершенно частный характер, оно составляет крупное злоупотребление властью в интересах частной выгоды.

Рабирий недолго удержался в своей министерской должности в Египте. Дворцовый переворот или раздражение народа в Александрии заставили его бежать. В Риме его и Габиния ждали уголовно-политические процессы. Габиния судили сначала за нарушение воли сената и народа римского, то есть за экспедицию в Египте, и оправдали; по второму обвинению его суди-

ли за взятки и осудили — он поспешил уехать в добровольное изгнание. Во второе дело был затянут и Рабирий, как соучастник подкупа Габиния. Суд, состоявший на две трети из представителей класса откупщиков и негоциаторов, оправдал Рабирия. Защищал Рабирия Цицерон: его речь, проникнутая особой теплотой к этим неутомимым, работающим, преуспевающим римским дельцам, между прочим, заключает в себе целую юридическую теорию о правах и ответственности классов в государстве, с сущностью которой мы уже знакомы по политическим дебатам 90 года. Цицерон находит, что уголовная статья, требующая преследования за взятки и подкупы, существует для должностных лиц и их подчиненных, но не для римских всадников; всегда они были свободны от подобных стеснений; они не ищут политического почета и власти, блеска и славы, зато они имеют право на безответственность в денежных операциях, они могут сказать: «Мы ушли от почестей и политики ради покойной и свободной от неприятностей жизни». Это — одна из важнейших гарантий класса всадников. Надо оберегать ее от всяких покушений, не надо допускать хотя бы одного случая обвинения, подобного данному, потому что оно может послужить опаснейшим прецедентом. Цицерон поставил этой аргументацией процесс на принципиальную высоту, и присяжные, без сомнения, очень хорошо его поняли.

Эпизод Рабирия и Габиния вместе с тем иллюстрирует тесную связь между интересами представителей служебной аристократии, правивших в провинциях, и выгодами больших римских негоциаторов. Цицерон, умевший, как никто другой, представлять в патриотической окраске услуги капиталистов, писал во время своего наместничества в Кадикии Крассипеду, квестору Вифинии: «Еще раньше я настойчиво и горячо рекомендовал тебе вифинскую компанию. Теперь, когда они переживают кризис, я по их просьбе опять пишу к тебе, будучи теснейше связан дружбой с этим товариществом. Убедительно прошу тебя оказать им сколь можно больше охраны и содействия их выгодам: мне ведь хорошо известно, какой властью в этом отношении располагает квестор. Ты узнаешь впрочем — мне это известно по опыту, — что вифинские откупщики сохраняют воспоминание об услугах, которые были им оказаны, и умеют выражать свою признательность»¹.

¹ Cic. Ad Famil. XIII, 9.

Громадная завоевательная сила римского капитала становится понятной лишь в том случае, если принять во внимание два важных условия: во-первых, что в финансовой эксплуатации иностранных владений участвовала масса римских граждан и италиков, масса мелких капиталов и сбережений и, во-вторых, что римские капиталисты были прочно организованы в центре и на местах, в самих колониальных владениях.

Провинциальная администрация и денежные предприятия в колониях были так обширны, что капиталы отдельных негоциаторов не могли бы совладать с ними. Для осуществления больших казенных подрядов и поставок нужны были огромные соединения частных средств и ссуд; финансовые сеньоры выступали вождями, направлятелями, организаторами таких соединений. В большом египетском займе Рабирий должен был опираться на множество своих «друзей». В таком же смысле вообще всадники и их операции были центрами, к которым прилеплялись, куда тянули, взносы из разрозненных средних и нередко мелких доходов и сбережений. В виде множества вкладов, паев входили они в крупные предприятия, и на этой основе уже строились товарищества, пускавшие в оборот свободные денежные средства Рима и Италии.

Еще Полибий отметил для своего времени тот факт, что позади римского капиталиста стоял массой средний и мелкий римский сберегатель. Цицерон с особенною настойчивостью указывает на факт заинтересованности массы граждан в коммерческих и кредитных предприятиях капиталистов, создающихся в колониальных владениях и на границах империи. Для оценки роли римского капитала в провинциальном управлении и во внешней политике особенно важна его речь о назначении Помпея главнокомандующим на Востоке. Речь эта поразительна по материалистической откровенности аргументации. Оратор указывает на то, что в опасности капиталы деловых людей, разрабатывающих доходы богатейшей, «первой» в империи провинции, Азии. Но ведь дело идет о «ваших крупнейших и важнейших доходах и податях, квириты», продолжает он: вы все живейшим образом заинтересованы; поэтому вы должны позаботиться и охранить имущество и капиталы денежных людей. Цицерон изображает дорогой ему класс капиталистов, с которым он чувствует себя теснейше связанным, в качестве опоры всего общества. «Если мы всегда считали провинциальные подати — первыми республики, то уж,

конечно, правильно будет назвать тот класс, который эксплуатирует их, поддерживает для всех остальных». По словам Цицерона, всадники положили в провинцию все свое состояние. За ними идут люди других разрядов, деловые и промышленные, которые также поместили в провинциальные операции большие суммы, принадлежавшие им самим и их близким. Но косвенно захвачены гораздо более широкие круги. «В государстве потеря имущества для многих неизбежно влечет за собою гибель для еще большего числа лиц». «Весь кредит, весь счет денег, находящихся в обороте в Риме, на бирже, стоит в тесной связи с азиатскими капиталами. Разрушатся последние, они вместе с тем силою того же удара расшатывают и втянут в разорение здешние состояния». «Неужели вы думаете, что можете сохранить пользование (огромными доходами Азии), если не сохраните состояние тех, кто вам доставляет этот доход». После этой картины ясен общий мотив всей речи: «В опасности имущество массы граждан»²⁴.

В переписке, в речах Цицерона рассеяны технические выражения, указывающие на выработанную организацию денежных оборотов, которые были связаны с эксплуатацией провинции. Эти выражения дают понятие о биржевом языке, который был в ходу на римском денежном рынке. Упоминаются акции, паи, крупные и мелкие, повышавшиеся и падающие в цене, кредитные знаки капиталов, вложенных в провинциальные предприятия.

Встречаются другие также технические выражения, которые служили для обозначения разных категорий участников предприятий. Можно различить активных членов больших компаний и более широкий круг пайщиков и обладателей акций. Среди первых в свою очередь выделяются *mancipēs*, т.е. ответственные агенты, заключавшие условия с правительством, входившие в непосредственные сношения с официальным лицом, цензором, а с другой стороны, остальная группа капиталистов, вступающих в товарищество, *praedes*, *socii*. Еще дальше стояли *adfinēs* и *participēs*, третий и четвертый разряд людей, которые приставали своими долями к предприятиям, покупали паи и акции или разрешали банкирам, хранившим их сбережения, пускать эти деньги в оборот. Среди *adfinēs* постоянно упоминаются наместники, сановники, сенаторы, люди, которые по своему сословному положению не имели права участвовать непосредственно в кредитных и откупных операциях, но могли

помещать в них капиталы. Эти разряды и обозначения совершенно совпадают с четырьмя категориями дельцов и их доверителей, упомянутыми у Полибия.

Термин *particulae* указывает на существование минимальных долей, которые давали возможность вступать в компанейскую эксплуатацию огромному множеству людей всякого звания. Выражение *partes dare* в применении к крупному предпринимателю, по-видимому, означает, что он раздавал, распределял паи между вновь вступающими в предприятие членами. Слова *carissimae partes*, *partes eripere* показывают, что существовала крупная и горячая спекуляция на паи провинциальных и колониальных доходов и предприятий, что по временам они могли стоять очень высоко, и тогда на них появлялся усиленный спрос. Усложнения внешней политики, известия об успехах или неудачах римского оружия должны были поднимать фонды и настроение римской биржи или, напротив, вызывать панику, тут могли быстро создаваться и разрушаться большие состояния.

При огромном материальном участии римских граждан в крупных спекуляциях можно представить себе отражение коммерческой и финансовой стороны завоеваний в больших политических сходах, в жизни римского народного собрания. В значительной мере ведь оно состояло из акционеров и пайщиков больших предприятий. Так можно представить себе массу, слушавшую речь Цицерона *pro lege Manilia*: иначе вся аргументация, построенная на мотиве — «в опасности имущество массы граждан», оставалось бы пустым звуком. В больших голосованиях эпохи расширения Римской империи участвовал очень определенный и реальный мотив: когда передавались крупные полномочия на окраинах, когда декретировалась война или эвекция, когда утверждался международный договор, дело шло и даже преимущественно шло о судьбе тех или других больших коммерческих предприятий. Цицерон напоминал народу давнишнюю римскую традицию: «Наши предки часто вели войны, когда хоть чуть были затронуты наши торговцы и моряки». Понятна и политическая роль, которую играл в народном собрании класс всадников. Финансовые вожди, директора больших компаний, могли рассчитывать на голоса своих денежных клиентов, многочисленных участников и пайщиков в провинциальной эксплуатации. В значительной мере от них зависело устроить тот или другой состав этих собраний, они могли иной раз также сорвать собрание.

В конце республики агитация перед выборами была делом очень сложным и дорогостоящим. Когда Цицерон выступил кандидатом на консульство, его брат Квинт преподал ему несколько практических советов, как составить группу преданных избирателей и подготовить себе партию. В этом руководстве поставлены на первое место в качестве наиболее влиятельных лиц в голосовании *omnes publicani, equester ordo*. Брат Цицерона дает им самое возвышенное обозначение: «благонмеренные и надежные люди».

Но, конечно, ничто не может сравниться с теми характеристиками, с теми эпитетами, которыми наделяет крупных финансистов сам Цицерон, политик, вышедший из среды их, как он много раз охотно заявлял о том публично. Кажется, ни в одной литературе нельзя найти такого горячего панегирика представителям капитала, такой сентиментальной и романтической разрисовки их деятельности, их беспощадного, по временам страшного дела. При упоминании о них Цицерон непременно прибавит: первостатейные, многотимые люди. «Могучий и великий откупщик», — говорит он про одного из финансовых князей, отца Рабирия. «Боги бессмертные! какие это были люди, — вспоминает он публиканов и банкиров недавнего прошлого, — отцы наши, деятели того поколения, которое составляло важнейшую силу в государстве и держало в своих руках политические суды»¹. Но одна цicerоновская фраза превосходит все другие: «В корпорации откупщиков, — говорит он в речи *pro placio*, — заключен цвет римского всадничества, украшение государства, они образуют основной столп республики».

Если одним условием силы римских неготиаторов был приток капиталов в созданные ими деловые центры, то другим была организация в компании, большие самоуправляющиеся союзы. Собственно правительство при заключении контрактов имело дело лишь с одним номинальным, ответственным откупщиком и довольствовалось поручительством и имущественной ответственностью нескольких представленных им *praedes*, не входя в вопрос о том, каковы эти *praedes* в коммерческом отношении, составляют ли они товарищество с активным предпринимателем или нет.

¹ Cic. *Pro Rabir. Perd. reo* 7, 20.

Для внутренней жизни оперирующих компаний вопросы организации были очень важны. Огромное финансовое значение провинций повело к тому, что на их эксплуатации сложился целый класс. Класс этот образовал замкнутый состав и выработал своеобразные правовые формы. Союзы капиталистов обратились в корпораций (*corpora*), которые приобрели права юридических лиц, продолжая именоваться по своему старинному значению в ополчении, «всадники» выбирали старшим сословия — *princeps equestris ordinis*. Встречается также *princeps publicanorum*, *princeps equestris ordinis* и в единственном числе это обозначение звучало так же внушительно, как *princeps senatus*, старейший член правящей аристократии. В театре, в торжественных процессиях всадники занимали второе по почету место после сената и выступали, как сплоченная корпорация.

Чем более развивалась эта сословная организация, тем более в отдельных финансовых компаниях отступали на второй план те агенты, которые являлись их представителями перед государством. На первое место выдвигалось самоуправление союза, само *collegium*, *re mancipis*, доверенные союзы во внешних сношениях стояли в нем впереди, а выборные директора компании, ее *magistri* и *promagistri*, ежегодно сменялись. Цицерон называет магистра первостепенной должностью компании.

По всей империи были рассеяны *societates* и их разветвления: в речи против Верреса Цицерон называет в качестве места их деятельности Азию, Македонию, Испанию, Галлию, Африку, Сардинию и самое Италию. Отдельные лица могли принимать участие в нескольких предприятиях зараз, принадлежать к разным обществам. Цицерон называет одного из своих клиентов основателем крупнейших обществ и директором очень многих из них. Несколько компаний могли, в свою очередь, устроить новое общество, новый союз. О таком синдикате союзов в Вифинии однажды говорит Цицерон — это могущественное товарищество кажется ему, уже по самому составу входящих в него лиц, крупным элементом государства.

В распоряжении компаний было громадное счетоводство, обширная переписка, многочисленный персонал служащих. Под их руководством работали главные бюро в центре, местные конторы в областях, масса сборщиков, приказчиков, счетчиков, бухгалтеров, контролеров и вестовых. Это был настоя-

щий состав средних и мелких чиновников, преимущественно рабов и вольноотпущенных на службе частных предприятий, в то время как государство было еще совершенно лишено бюрократических низов. Изображая огромное налаженное хозяйство и администрацию азиатских публиканов под страхом угрожающего нападения Митридата, Цицерон говорит о многочисленном составе рабочих и низших служащих, которыми располагают откупщики в лесных дачах, в обработке полей, в портовых таможнях, в сторожевых поселках³³. В какой мере эта служба выработала правильные формы и приемы, опять видно из тех технических выражений, которыми определялась деятельность бюрократии: о ней говорили *mittere innegotium*, *esse in operis operas dare*, *in operas mittere*. Можно сделать заключение о чрезвычайной развитости письмоводства и бухгалтерского дела. В бюро хранились главные книги. Деятельность компанейских организаций имела не только финансовое значение для государства. Благодаря постоянной и обширной корреспонденции центральных бюро с провинциальными отделениями, политические сведения, получавшиеся агентами компании, были часто точнее и быстрее доходили, чем сообщения официальные. Цицерон в речи *pro lege Manilia* ссылается на эту ежедневную, приходящую из Азии переписку как на важнейший политический документ. По-видимому, в распоряжении компаний была целая почтовая организация. По городам, не только крупным, но и мелким, были размещены рабы-скороходы для коротких расстояний и верховные для более далеких. Этой почтой пользовались и правительственные наместники.

Помимо этих специальных компаний, державших на откупе большие доходные статьи в провинциях, римские дельцы были прочно организованы по отдельным областям и городам. Везде, где появилась римская коммерческая и агентская колония, мы встречаемся с корпорационным началом. Римские поселенцы в чужом краю соединяются в союзы. Эти союзы различной величины и охватывают неодинаковые территории: то они соединяют в себе группу лиц, утвердившихся в одном городе, то людей, рассеянных по целой области. Положение римских граждан относительно туземцев, конечно, было иное в густонаселенных восточных странах с преимущественно городской культурой, чем в полуварварских сельских территориях Запада. В первых среди организованного туземного городского населения римляне или италики составляли коллегии, частные союзы, меж-

ду тем как во вторых конвенты римских граждан были настоящими городскими поселками, совершенно воспроизводившими тип городского самоуправления и большею частью впоследствии обратившимися в города.

Так или иначе, в своем внутреннем быту эти союзы были чрезвычайно самостоятельны. Союз решал вопросы о приеме новых членов в свою среду и вел членский список. Имелась касса взносов, и во главе союзной администрации стоял выборный *curator* или несколько *magistri*. Свою связь с Римом и влиятельными кругами центра конвент поддерживал, между прочим, посредством патроната. Почетным покровителем избирался крупный сановник или другой выдающийся член аристократии.

По некоторым признакам можно составить себе понятие о силе, которую представляла собой сплоченная организация римских негоциаторов, торговцев и деловых людей в провинции. Их значение, например, ясно выступает на о. Делос, который был в I в. первоклассным торговым центром, в особенности громадным рынком рабов, и служил главным средоточием сношений между Западом и Востоком. Надписи этой эпохи, найденные на острове, называют постоянно римлян и италиков вместе с греками, или даже одних римлян и италиков; судя по этому, на Делосе было много итальянских промышленников. В посвящениях они примыкают к местному культу Аполлона. Всюду на Делосе встречается множество латинских названий местностей, должностей и т.д., нередко также названия являются на двух языках рядом.

Задолго до покорения Египта появилась подобная же колония римлян в Александрии. Ее главным делом, вероятно, была огромная поставка хлеба в Рим и другие итальянские центры. Менее успеха имели римляне в Сирии, стране старинного транзита, где им не удалось сломить сильную конкуренцию местного купечества.

Сила и влияние римских конвентов в иностранных государствах и в провинциях сказывается особенно в критические моменты. В столкновении между двумя нумидийскими царями, Югуртой и Адгербалом, в 112 г. многочисленные италики-негоциаторы большого нумидийского города Цирты играют решающую роль. Они принимают в стенах города беглеца Адгербала, организуют защиту Цирты и когда дальнейшее сопротивление становится невозможным, заставляют Адгербала капитулиро-

вать на определенных условиях, в уповании на помощь, которую им окажет римское правительство³⁸. Конвенты выступали также настоящей политической силой, когда провинция подвергалась внешней опасности, или когда она составляла предмет спора, в эпоху смуты и гражданских войн. В таких случаях члены конвента, повидимому, сходились для совещаний, принимали самостоятельные решения относительно защиты или передачи городов. Во время борьбы между Цезарем и Помпеем в 49—48 гг., союзы римских граждан в городах Испании разделились между претендентами, конвенты Иллирии в городах Салоны и Лисе объявили себя за Цезаря. Сложнее было положение вещей в большом африканском городе Утике немного позднее, в 46 году, во время столкновения Цезаря с республиканцами. Низший класс готов был примкнуть к Цезарю, между тем как богатые слои, особенно торговые люди, держались помпеянской и республиканской партий. Представителю последней, Катону, удалось искусно воспользоваться этим раздвоением и обеспечить для своих сторонников поддержку большого и сильного города. Опираясь на состоятельный класс римского конвента в Утике, он выселил за черту городских стен цезарианское простонародье. Из среды конвента он набрал 300 влиятельных лиц, которые составили вместе с помпеянскими и республиканскими римскими сенаторами большой политический совет при начальнике римских военных сил, сражавшихся за республику против Цезаря.



5

ОБРАЗОВАНИЕ МАГНАТСТВА

Факт проникновения римского капитала в средиземноморские страны и торжества его в культурном мире II—I вв. до Р.Х. своеобразно отразился на внутренних отношениях метрополии. Тот класс, который по преимуществу располагал этим активным капиталом, приобрел большое политическое влияние: он держал одно время в своих руках суд над администрацией колониальных владений и оказывал сильное воздействие на народные голосования. Но он не поднялся до политической власти, как буржуазия в некоторых новоевропейских странах. Капиталистическое развитие Рима вообще не демократизировало римского общества, не сломало сословных рамок и преград, не открыло широких путей к политической и социальной роли людям всякого звания. Рим, правда, обратился в «международную общину», но во главе его остались крупные, большею частью старинные служебные фамилии. Они держались административным навыком и традициями своих членов, связью многочисленных родичей, обширным кругом разных зависимых людей; вследствие этого они могли пускать в ход большие агитационные средства и добывать себе выборные должности. Несмотря на резкие столкновения и антагонизм групп и партий, они выработали тесную корпорационную связь в высшем государственном совете, в сенате, который собирал всю массу, как служивших активно на высших местах, так и заслуженных людей, уже прошедших эту карьеру. В эту среду было трудно проникнуть, но раз проникнув туда, человек другого класса, как, например, Марий, Цицерон, скоро ассимилировался с нею, усваивал интересы и круг понятий служебной родовой аристократии.

Правда, во время крупных завоеваний состав служебных фамилий не остался неподвижным. Исследователь истории

республиканского сената Виллемс сравнил состав его в 179 г., перед началом завоеваний на Востоке и 125 лет спустя, в 55 г. в эпоху первого триумvirата. Сравнение показало, что за это время, во-первых, значительно сократилось число представителей старинных патрицианских фамилий (с 88 на 43, при том сенат 179 г. был из 300 членов, а сенат 55 г. из 600, следовательно, относительное уменьшение числа патрицианских сенаторов еще значительнее). Затем оказалось, что в числе вновь поднявшихся на службе плебейских фамилий многие не римского происхождения, а родом из италийских городов, из муниципальных аристократий. Таким образом, объединение Италии, распространение римского гражданства на другие городские общины оказало свое сильное влияние на нобилитет. Но факт этот не сказался остро на жизни его; посторонние Риму фамилии втягивались постепенно и не изменили общего характера высшего класса.

Завоевания, составившие империю, были делом военных и административных талантов из среды этого класса. Но в то же время империализм отразился на социальном строении нобилитета; в нем произошло расслоение; одним удавалось добывать себе командование, наместничества, вводить на раз пробитую дорогу своих родственников, вкладывать полученные доли имперской добычи в земельные владения; другие, отстраняемые от политического конкурса за недостатком связей, сходили на худшее положение, и из них получался обширный разряд задолжавшихся, безземельных нобилей. Но и в среде первых дележ громадных богатств, приносимых завоеваниями, вызвал резкие столкновения, которые привели, наконец, к истребительной борьбе гражданских войн и закончились гибелью и разорением множества представителей аристократии. Несмотря на всю силу катастроф, испытанных нобилитетом, формы его владения и господства сохранились, они лишь сосредоточились на более узком слое. В лице нескольких преуспевших фамилий высший служебный класс превратился в настоящее магнатство: образовались как бы княжеские дома с обширными владениями и массой зависимых от них людей.

В то же время в литературе появился характерный термин для обозначения этих глав общества, *principes*. Всматриваясь в изображение старинной республики у Ливия, мы видим, как наблюдателю I в. до Р.Х. представлялся сенат и вообще нобилитет: масса рядовых сенаторов стоит в тени, образует

группу политических статистов, настоящий авторитет принадлежит *principes*. Они образуют фактически высший совет, господствующий внутри сената, они нередко выделяются даже в особые совещания с консулами. Когда историк хочет сказать, что известное лицо приобрело крупную силу и влияние, он выражается так: «Аппий Клавдий (перебравшись в Рим из чужой общины) был записан в число сенаторов и скоро достиг высокого положения принцепса»¹. Ясно, что *principes* образуют особый разряд, в сенате существует как нельзя более отчетливая иерархия.

Выделяясь в сенате, *principes* еще более поднимаются среди остального общества. Все более и более виден определенный социальный поворот. Обширные круги населения становятся в зависимые, своего рода вассальные отношения к крупным домам, к сеньорам общества. На одной стороне, опека, патронат, на другой — клиентство, в которое втягиваются прежние самостоятельные, средние и мелкие элементы римского и италийского общества. Политическому падению демократии, так резко сказавшемуся на поверхности жизни, отвечает менее заметный, но глубже лежащий социальный процесс. Необходимо отметить его реальные черты.

Магнаты выделяются своими земельными владениями. По сведениям Плиния, у Красса в землях положено было около 200 миллионов сестерциев. Тот же Плиний в знаменитом, столько раз цитированном месте о «латифундиях, погубивших Рим, а затем и провинции», ссылается на земельное богатство Помпея, которого не превзошли и позднейшие императоры: Помпей будто бы никогда не торговался из-за участков, смежных с его владением, и скупал их без конца. Само выражение здесь похоже на картину, изображенную Цицероном в речи *de lege agraria* (63 г.); оратор упоминает о весьма распространенном обычае скупать смежные участки, причем владелец до тех пор выселяет всяких соседей, пока у него для утешения глаза не образуется из множества имений целый сплоченный округ. Любопытно еще такое сведение из эпохи начала борьбы между Помпеем и Цезарем. Помпеянец Домиций, видный аристократ, собирает 33 когорты, находящиеся под его начальством (т.е. 15 000 человек) и, стараясь возбудить их к энергическому сопротивлению надвигающемуся Цезарю, дает им обещание выдать каждо-

¹ Liv. II, 6.

му из собственных владений по 4 югера (=1 гектару), с соответствующими прибавками центурионам и офицерам. Если брать слова Домиция буквально, он располагал, по крайней мере, 15 000 гектаров. Пусть это даже значительное преувеличение, все-таки земельные владения Домиция были очень велики, а помимо того интересно отметить самую мысль о наделении массы солдат ленами, уже не от государства, а из частного владения сеньора.

Теперь впервые появляется термин «латифундия» и подобные ему. Цицерон в речи *de lege agraria* говорит о широком просторе посессий. Варрон в сельскохозяйственном трактате своем, отражающем распространенные представления той же эпохи (сочинение, может быть, вышло позднее, в начале 30-х гг. I в.), ссылается на крупные парки для охоты, находившиеся во владении магнатов в разных частях Италии. В отличие от Катона, который имел в виду в своих агрономических советах землевладельцев среднего типа, Варрон занимается главным образом вопросом о наилучшем устройстве крупной виллы; в сельскохозяйственной перспективе появляются *latifundi divites*. Конфискации и опалы Суллы сыграли не малую роль в этом образовании латифундий: Цицерон, упоминая широко раскинутые посессии, преимущественно разумеет владения преуспевших сулланцев.

Образование латифундий происходило до известной степени в бурных, резких формах. Грандиозные экспроприации гражданских войн оставляли свой след во множестве раздробленных местных актов; они продолжались в виде отдельных захватов со стороны сильных. Перебирая те средства, которыми в Риме разбогатели очень видные люди, Цицерон, между прочим, упоминает об «изгнаниях соседей» и «захвате полей»; эти слова он употребляет почти как технические выражения. В другом месте Цицерон рассказывает наглядно о таком захвате. Однофамилец и клиент Цицерона Туллий, пострадал от нападения своего соседа Фабия, который вздумал отнять у него участок совершенно несомненного наследственного владения; грабитель воспользовался отсутствием собственника, набрал банду из самых смелых и сильных своих рабов, вооружил их и повел в имение Туллия, где они убили трех или четырех сторожей. Туллию потом осталось только жаловаться в суд. Суды так много занимались делами о захватах подобного рода, что речи на тему о насилиях крупных владельцев сделались предметом

школьных упражнений. Длинная речь такого содержания помещена Квинтилианом в его *Declamationes*, образцах художественного красноречия.

Определить точнее, как далеко зашло магнатское землевладение в Италии, конечно, нельзя. Но оно не ограничивалось Италией, и даже в провинциях, может быть, в этом смысле открывалось еще больше простора; здесь сами наместники при своем бесконтрольном положении или близкие им люди могли воспользоваться обширными конфискациями при завоеваниях. Первое место в этом отношении занимала, вероятно, Африка, которая в позднейшую, императорскую эпоху служит классической страной крупного землевладения. Здесь лежали во II в. огромные коронные и лично императорские вотчины, целые территориальные единицы. По всей вероятности, император был в Африке преемником аристократических владельцев республиканской эпохи. Так, по крайней мере, изображает дело Плиний Старший. Для иллюстрации своего известного положения о вреде латифундии для Италии и провинций он приводит пример: «Шесть крупных господ владели половиной Африки, когда их казнил принцепс Нерон». Конечно, это сильное преувеличение. Еще в императорскую эпоху в Африке были большие имения, принадлежавшие людям сенаторского звания, и далеко не всех магнатов вытеснил принцепс. В свою очередь представители римской аристократии, вероятно, были в Африке преемниками карфагенских сеньоров; они нашли здесь уже готовые формы крупноземельного хозяйства и владения и вступили в обладание сложившейся администрацией, инвентарем и зависимыми людьми.

Императорские *saltus* впоследствии были изъяты из нормальной организации управления, связанной с городскими округами, на которые распадалась провинция: большие вотчины были выделены от городского обложения и от подчинения городским органам, и сами были поставлены на положение особых округов, равных городским, причем вотчинный устав и вотчинная администрация заступали место муниципального строя. Можно предполагать, что и в этом отношении императоры были преемниками магнатов республиканской эпохи и что владения последних были точно так же изъяты из подчинения нормальной администрации провинциальных городских округов.

Каково было экономическое значение больших хозяйств? Можно встретить еще и в новой исторической литературе тот

взгляд, что существенным мотивом земельных приобретений и округлений была известного рода аристократическая спесь.

Но ведь владения аристократии далеко не ограничивались одними увеселительными виллами и парками для охоты. Среди них было множество имений с обширным, правильным, часто весьма интенсивным хозяйством.

При сравнении Варрона с Катонем можно заметить важные изменения в смысле развития видов более интенсивного хозяйства. Катон останавливается более всего на устройении оливковых плантаций и виноградников, и они кажутся для его времени сравнительно новыми в Италии формами обработки. Варрон говорит уже с ударением о плодовых садах, один из участников сельскохозяйственных бесед у него восклицает: «Не засажена ли вся Италия в такой мере фруктовыми деревьями, что кажется одним большим садом?»¹. Затем у Варрона более, чем у Катона, выделено скотоводство, и притом рациональное, основанное на систематическом выращивании кормовых трав. Наконец, Варрон упоминает о новых производствах, которые совсем отсутствуют у Катона. Это выкармливание птицы, дичи, рыбы, в частности птичьи дворы, загоны и парки для дичи и рыбные садки. Этот вид сельскохозяйственной промышленности Варрон считает очень доходным. Ясно, что для таких продуктов расширился сбыт, и главным образом явился новый крупный потребитель — столица.

Помимо собственно сельскохозяйственных производств Варрон отмечает еще другие промышленные отрасли, практикуемые в больших имениях. Во-первых, глиняные и кирпичные заводы. Их распространенность подтверждается еще и тем, что в Италии находят старинные кирпичи с разнообразными именными штампами. Затем Варрон упоминает большие ткацкие мастерские, в которых работают многочисленные *textores*. Наконец, немалый доход, по его словам, получают землевладельцы от постоянных дворов, которые они устраивают на больших дорогах.

Все эти виды промышленности требовали увеличенного числа рабочих, и в значительной части рабочих обученных, специалистов; таковы были ткачи и кирпичники, затем охотники и рыболовы на службе в *pastiones villaticae*. Римский землевладелец эпохи образования империи как раз располагал многочис-

¹ Varr. R.r. I, 2, 6.

ленной и чрезвычайно дешевой поставкой рабочих рук из завоеванных стран, и таким образом у него имелся сильнейший экономический мотив для захвата возможно более обширных и разнообразных земельных угодий. Вот почему это и есть эпоха наибольшего развития рабовладения и рабского труда. Если не считать цветного рабства в XVIII и XIX вв. в Америке — рабский труд и работорговля никогда не достигали таких размеров, как в Римской империи в течение 200 с чем-нибудь лет от второй половины II в. до Р.Х. и до конца I в. после Р.Х.

Массовое рабство изучаемой эпохи составляет характерное явление римского капитализма. Как ни велики были «городские фамилии» рабов, т.е. дворни, челядинцы, которых ради представительства держали магнаты, но все-таки главную массу в работорговле составляли рабочие, труд которых закупался для плантаций, рудников и заводов. Римское завоевание с его быстрыми успехами и тяжелым военным правом открывало возможность широко пользоваться и физической силой варварских племен, и технической выучкой греческого и азиатского рабочего.

С приходом римлян, с установлением римской администрации и хозяйства, быстро менялась социальная картина в провинции. Малая Азия, передовая страна по своей культуре, работавшая при посредстве свободных людей в индустрии и сельском хозяйстве, наводнилась невольниками, которых привели римские капиталисты. Когда Цицерону нужно было представить римскому народу всю опасность иноземного нашествия на богатую Азию, он назвал, между прочим, в качестве главного богатства римских пользователей громадные фамилии, т.е. фабрики, артели и партии рабов, которых откупщики держали в полевом хозяйстве, во вновь разрабатываемых территориях, в портах и на военной границе. Для римского капитала, по преимуществу денежного, в торговле рабами открывалось самое подходящее поле, операции реализовались как нельзя быстрее. В этом виде торговля наиболее близко подходила к войне и грабежу, довольно долго она питалась систематическим похищением людей, настолько крупным, что на самом этом посредничестве построилось целое разбойничье морское государство в 70-х годах I века.

Эпоха наибольшей дешевизны несвободных рабочих рук и была вместе с тем временем наибольшего расширения магнатского землевладения. Здесь, на плантациях, заводах и пастбищ-

ных хозяйствах и выработались условия рабского труда, описанные римскими агрономами, те порядки военного и каторжного права, которые вызывали время от времени страшные массовые протесты и жестокие общие кризисы. Для более полной характеристики этого права можно, не ограничиваясь Варроном, современником Цезаря и Цицерона, привлечь несколько более позднего писателя-агронома, Колумеллу, работа которого вышла в 60-х годах I в. после Р.Х. Порядки в имениях и сто лет спустя остаются приблизительно те же, а между тем мы получаем любопытные дополнения к Варрону, который является по преимуществу литературным компилятором, тогда как Колумелла гораздо более практический хозяин.

В больших римских имениях позднейшего времени, начиная со II в. по Р.Х., сколько мы знаем их по надписям, особенно африканским, господская часть занимала долю небольшую сравнительно с крепостными наделами и арендуемыми участками. Можно предполагать, что в Италии, и притом в более раннюю эпоху, которую мы теперь изучаем, господская часть имения была гораздо более развита. Хозяин мог извлечь гораздо больше выгоды из непосредственной эксплуатации имения, потому что был в состоянии занять в нем большую массу дешевых рабочих. В сельскохозяйственном трактате Варрона речь идет только об организации работы, направляемой из центральной экономии; о землях, отдаваемых в аренду, о самостоятельном хозяйстве мелких съемщиков Варрон не упоминает. У Колумеллы, правда, кругом имения предполагаются мелкие арендаторы из свободных, но в то же время господская экономия его времени очень велика. Ее размеры кажутся еще значительнее, чем у Варрона; крупное хозяйство сделало еще новые шаги. В типичном имении, описанном Колумеллой, устроены большие амбары и склады для запасов. «Сельская фамилия», т.е. организованный состав несвободных батраков, живущих на господском дворе, очень велика. Для них нужна «большая и высокая» кухня. Предполагается строгое разделение их на классы по специальностям. В главе разрядов стоят *magistri operum* или *magistri singularum officiorum*, а для надзора за штрафными, помещенными в *ergastulum* – *ergastularii*.

В распределении домена и аренда Колумелла исходит из прочно установившейся практики, он советует сдавать лучше всего отдаленные участки, до которых все равно трудно добраться хозяину. Надо различать также вид культуры: хлебные

поля лучше сдавать, так как на рабов трудно положиться: они не исполнительны и много крадут; напротив, леса и виноградники предпочтительнее разрабатывать самому владельцу через посредство невольников.

Господин мог вложить значительные доли капитала в технические улучшения, например, оросительные сооружения, прививки растений, но главная затрата капитала все-таки заключалась в приобретении рабочего персонала. Отсюда своеобразные заботы о сохранении приобретенной трудовой силы и, с другой стороны, беспощадные, беспримерные реализации ее. Так как за потерей несвободной рабочей силы безвозвратно погибал затраченный капитал, то о здоровье невольника беспокоились больше, чем о судьбе вольнонаемного. В этом отношении очень характерен один совет Варрона: он рекомендует вместо раба ставить свободного рабочего во всех тех случаях, где легко заболеть и умереть.

Но сама эксплуатация невольничьего труда отличалась чрезвычайной интенсивностью и беззастенчивым характером. Нужно вчитаться в наставления Варрона и Колумелла относительно того, какие качества требуются от надсмотрщика за работами, от вилика, который сам не что иное, как привилегированный раб, какие обязанности возлагаются на него по части дисциплины рабочих. Опираясь на более старинные советы, заимствованные еще у переводных карфагенских агрономов, Варрон говорит, что начальники над рабами, старосты их, должны быть грамотны, кое-чему обучены и воздержанны; нужно, чтобы они были постарше, чем сами работники (которые, в свою очередь, не должны быть моложе 22 лет); такие послушнее молодых. Они должны быть хорошо знакомы с сельскими работами, чтобы уметь действовать собственным примером, чтобы подчиненные видели, что они превосходят их знанием. Поменьше ударов; больше они должны влиять словами, если только можно чего-нибудь таким образом достигнуть. Не годится, чтобы между ними было много единоплеменников; от этого больше всего возникает домашних неприятностей. Надо привлечь старост наградами, давать им скот, позволять жениться на рабынях, чтобы у них были сыновья и чтобы они тем прочнее скрепляли свою судьбу с именем. У хорошего знатока частностей работоторговли Варрон заимствует такое специальное указание: всего лучше для этой должности подходят эфиротские фамилии, у которых очень развиты родственные связи.

Сложные правила для обращения с рабами, которые мы находим у агрономов, напоминают иногда как будто военный регламент; они одни показывают, как в господском хозяйстве все рассчитано было на то, чтобы использовать без остатка время и силы рабочих. Колумелла напоминает, что главный приказчик везде должен иметь глаз; тогда и подчиненные надсмотрщики будут исполнять верно свои обязанности, да и рабочие, закончив несладкую свою работу, будут думать только об отдыхе и сне, а не о развлечении; работа должна отбить всякие посторонние мысли. К этой картине очень идет та деловая терминология живого и мертвого инвентаря имения, которую мы находим у Варрона. В хозяйстве, говорит он, можно различать три вида орудия: немое — телеги, полугласное — скот и одаренное голосом — рабы.

Для того чтобы провести бессрочную каторжную работу невольников и подчинить их строгой дисциплине, господская администрация справедливо считала нужным герметически закупорить выходы из имения, отделить его непреодолимой стеной от остального мира. В больших хозяйствах, отдаленных от городов, держать своих ремесленников и мастеров всякого рода, частью отобранных из общего числа рабов. Эта наличность своих индустриальных рабочих сокращала несколько сношения латифундий с центрами. Варрон еще видит ту выгоду от устройства ремесла в имении, что рабы не будут гулять без дела и в будние дни шататься вместо того, чтобы работать с пользою в хозяйстве.

Рабам систематически мешали сноситься со свободными, выходить наружу за черту усадьбы или допускать во двор посторонних. Варрон советует, чтобы никто не выходил из имения без позволения вилика; сам вилик может уйти только с разрешения хозяина и то лишь ради нужд имения и с тем, чтобы возвратиться в тот же день. Колумелла также напоминает, что вилик не должен посещать рынок за исключением случаев, когда ему поручают купить или продать что-либо. Он может сноситься лишь с теми людьми, с которыми позволяет господин; гостей он не должен принимать, разве изредка, в праздник может позвать к столу своему хорошего, прилежного рабочего. Он не смеет также без позволения господина приносить жертву богам.

В советах Варрона и Колумелла еще есть характерные мелочи, которые наглядно рисуют разобщение сельской виллы и

ее фамилии от остального мира. Самые строения господской усадьбы приспособлялись к этой цели. Колумелла предлагает: «Надсмотрщику надо устроить жилище у самой входной двери, чтобы он хорошо мог видеть всех входящих и выходящих. Управляющему надо дать помещение над дверью ради той же цели, но чтобы вместе с тем он мог поблизости наблюдать и за надсмотрщиком». Тюремное обособление и система взаимного недоверчивого надзора ярко выступают в этих подробностях. С наглядными описаниями сельскохозяйственного руководства сходятся указания художественной археологии. До нас дошли интересные рисунки, принадлежащие к большой рабовладельческой вилле Помпея в Африке. На полу терм, находившихся в имении, исполнена мозаика, которая изображает самый замок, усадьбу и снабжена посвятельными надписями. Перед нами — длинное многоэтажное здание с большими сводчатыми окнами в верхних ярусах; По бокам его башни, а к ним прилегают низкие строения служб. Над одной башней надпись: *saltuari locus, saltuarius* — это надзиратель за рабами.

Конечно, из этой административной обособленности поместий не надо делать заключений об их экономической замкнутости и строить из приведенных фактов теорию отгороженных от остального мира и друг от друга хозяйственных ойков. Впервые большие имения работали на широкий сбыт своих продуктов. Варрон совершенно так же, как за 120 лет до него Катон оценивает разные виды хозяйства, измеряет выгоды затрат с точки зрения наибольшей денежной доходности имения. С другой стороны, масса вещей, нужных в обиходе сельского имения, орудия, одежда, посуда, вовсе не готовятся в самом имении, а покупаются на больших городских рынках. Поэтому Варрон придает большое значение положению виллы вблизи хорошей дороги; разница с эпохой Катона лишь та, что сеть дорог гораздо более развита.

Можно догадываться, что помещения для рабочего люда были весьма неблагоустроены. В картине усадьбы Помпея на над хлевом надписано: «помещение скотника». Совершенно подходит к этому наставление Колумелла: «Пастухи должны жить около скота, чтобы сейчас же быть под рукой. Они должны жить как можно ближе друг к другу; приказчику не приходится тогда далеко ходить и терять время на обход; да и каждой из них может показать на других, кто трудится и кто ленится».

У Колумеллы можно найти описание знаменитого римского эргастула, помещения штрафных и вообще скованных рабочих. Колумелла все время различает среди «фамилии» имения рабочих, находящихся на свободе, и рабочих скованных. Последние составляют, очевидно, многочисленную и постоянную группу в большом хозяйстве. В виноделии заняты преимущественно скованные рабы, так как, по мнению Колумеллы, для этого дела надо подбирать самых сильных молодцов. Часть их, вероятно, были отбывающие каторгу осужденные. Но нужно иметь в виду, что между ними бывали также люди, захваченные на дороге, похищенные посессорами и их вооруженными бандами. Впоследствии при Тиберии были назначены особые *curatores* для осмотра эргастулов и освобождения тех, кто неправильно был посажен по частным тюрьмам.

Жилища рабов на свободе и рабов скованных были отдельны, и самый характер жизни тех и других различен. Свободные собирались в просторной кухне и спали в каморках, которые «лучше всего устраивать на южную сторону». «Скованных помещают в здоровую (!) подземную тюрьму, которая освещается частыми, но узкими окнами; окна должны быть на такой высоте, чтобы их нельзя было достать рукой»¹.

Колумелла писал уже в эпоху рабского кризиса, когда подвоз рабов стал значительно меньше, и явилась необходимость для господ более бережно относиться к наличным рабам. Отсюда ряд советов, как господин должен проверять управляющего и надсмотрщиков и брать рабов под некоторую защиту, из них можно сделать ретроспективные заключения о худшем положении рабов в более раннее время. «Все осмотрительные хозяева имеют обыкновение подсчитывать скованных рабов и наблюдать, все ли они в сохранности, достаточно ли прочна и крепка тюрьма, не заключил ли управляющий кого-либо в оковы без ведома господина. Нужно смотреть также внимательно, чтобы управляющий сам по себе, без ведома господина, никого не освобождал из оков. Господин должен позаботиться особенно, чтобы они не имели недостатка в одежде и чтобы другие потребности их были удовлетворены. У них слишком много начальства, надо повиноваться управляющим, надсмотрщикам, тюремным сторожам, и потому они часто терпят несправедливость; а они гораздо страшнее, если раздражены

¹ Col. I, 6.

жадностью и жестокостью (второстепенных служащих). Внимательный господин должен осведомляться у них самих и у рабов нескованных, которые заслуживают более доверия, все ли подлежащее они правильно получают; он пробует их пищу и осматривает платье. Надо им также позволять жаловаться на тех, кто притесняет или обманывает их». «Я охотно восстанавливаю справедливость, — говорит Колумелла, — но наказываю также тех, кто возбуждает челядь к мятежу и клеветает против надсмотрщиков».

Сдвинутые в общую тюремную казарму, которая служила спальней, мастерской и лазаретом, скованные невольники жили в своего рода военно-коммунистическом быту. О семье у них не могло быть и речи. Порядки эргастула освещают, конечно, быт и остальных невольников. Выше было сказано о разделении многочисленной сельской фамилии на специальности. Колумелла видит не только техническую пользу в разъединении разрядов, но и дисциплинарную. Что касается последней, он замечает: если случится какой-нибудь недосмотр в работе, то при смешении множества рабочих разных категорий трудно добраться до виновника. Очень подробно ученый хозяин описывает внешние статьи, по которым надо различать и подбирать рабочих для разных отраслей производства, куда брать «длинных» и куда «широкоплечих» и т.п. с реалистической откровенностью какого-нибудь учебника по животноводству.

Для поддержания дисциплины разряды были поделены на правильные группы, десятки (декурии). Колумелла советует не рассеивать их по два, три человека; иначе за ними невозможен строгий глаз. Утром под предводительством сторожей, вооруженных бичами и остроконечными палками, рабы выходят на работу; верхняя одежда складывается вместе и бережется особым надсмотрщиком. Жена вилика заведует общей кухней и больницей.

Эти разбросанные черты быта несвободных рабочих в целом рисуют обстановку больших плантаций и положение посессоров и их администрации. Рабы управляются своего рода военным регламентом, да и все право в посессиях можно назвать военным. У Тацита рабовладелец, требуя террористических мер для сдержки рабов в подчинении, приравнивает отношения между господином и рабами прямо к войне. Пропасть увеличивалась еще тем, что рабочие на плантациях и челядь в доме были *nationes*, т.е. разноязычные, иноплеменные, иноверные люди,

на что также ссылался тацитовский рабовладелец: с ними нельзя иметь ничего общего, нельзя столкнуться, это — совершенно чужая порода. Само выражение *nationes* близко напоминает «цветных невольников» американских плантаций. Резкой иллюстрацией военно-каторжного права рабовладельческих посессий может служить случайно дошедший до нас репрессивный закон. Это — постановление сената, которое относится к концу правления Августа (10 г. по Р.Х.); его возобновляют потом и пытаются усилить при Нероне. Закон, как можно предполагать, далеко не единственный и не первый в своем роде, грозил, в случае убийства господина кем-либо из рабов, подвергать пытке и казни всех тех рабов, которые в момент преступления были в доме хозяина или в пути вместе с ним. Эта угроза террористической репрессии против больших невольничьих «фамилий» одна, сама по себе, указывает на обширные размеры и беспокойный характер пестрого рабского состава в крупных хозяйствах.

Ученые-агрономы и хозяева эпохи рабовладения все время рядом с большими «фамилиями» рабов представляют себе также большие массы свободных рабочих. Но их положение очень характерно, на нем в значительной мере отражаются условия труда невольников: мы уже видели, что их ставят на самые тяжелые и губительные для здоровья работы. Любопытно отметить их социальный облик; это довольно жалкие, разбитые общественные элементы. Варрон различает три разряда их.

Во-первых, очень бедных крестьян, имеющихся во множестве, которые приходят работать со своими семьями; во-вторых, наемных рабочих, которых берут на крупные спешные работы, каковы уборка винограда или сенокос. Отличая от наемников, приглашаемых в горячее время, на короткий сезон, работников постоянных, являющихся без посредников-наемателей, Варрон, очевидно, разумеет в последней категории местных жителей; по-видимому, это — крестьяне, но с таким малым наделом, что кормиться с него одного нельзя, и приходится дополнять свой доход заработком на господской земле, может быть, польной арендой. Не так давно еще они могли быть в лучшем положении. Мы вспоминаем тех *vicini*, на которых Катон обращал внимание начинающего помещика, советуя поддерживать с ними хорошие отношения. Теперь нечего хлопотать об этом; *vicini* только и могут существовать близостью, зависимостью от большой экономии.

В исторических изображениях римской старины мы встречаемся с курьезной нормой надела в 2 югера ($1\frac{1}{2}$ десятины), которая будто бы была достаточна для прокормления суровых и умеренных плебеев ранних времен. Эти знаменитые *hina jugera* вошли и в наши руководства по римской истории, но все же исследователи ломали голову над истолкованием известия античных писателей: не разумели ли они под 2 югерами наследственного надела только усадьбную и огородную землю, не считая полевых участков, которые входили в состав общинной земли? Мы решаемся высказать догадку, что упрямо повторяемая писателями норма не имеет ничего общего со стариной и заимствована из практики эпохи образования латифундий. Около больших экономии могли действительно сидеть мало-земельные, опустившиеся владельцы двух югеров или чего-нибудь подобного в этом роде; их единственное спасение было в мелкой аренде на городской земле. Или, может быть, крупные землевладельцы устраивали на отрезках, на окраинах своих владений небольшие дворы для безземельных с наделением огородной землей наподобие коттеров английского хозяйства до аграрного переворота. Маленький наделец служил, конечно, только подспорьем, но в то же время задерживал семью; при большой экономии обеспечивал имению постоянных местных работников.

Третий разряд свободных рабочих на латифундии составляют, по Варрону, «люди, которых у нас зовут безнадежными должниками». Это, по-видимому, отбывающие штрафные работы, закабаленные за долги. Варрон прибавляет, что их теперь много стало по провинциям, в Азии, Египте и Иллирике. Этот разряд стоит совсем близко к рабам. Не трудно узнать в нем продукт римской финансовой эксплуатации завоеванных областей. Когда Лукулл в 70-х гг. I в. принялся за облегчение участи жителей Азии, он застал провинции в самом тяжелом положении. Откупщики и ссудчики превратили ее в рабский рынок: чтобы расплатиться по наросшему долгу контрибуции, жители распродавали всю домашнюю обстановку, мебель, утварь и иконы, продавали детей своих и, наконец, пройдя сквозь суд и пытки, сами попадали в рабство.

Необходимо иметь в виду этот темный фон, на котором выступает сила и влияние богатой служебной аристократии конца республики. Для магнатов главным помещением капитала в метрополии и в провинциях было плантационное хозяйство.

Его крупные размеры и характер определялись огромной единственной в своем роде поставкой дешевых невольничьих и полусвободных рабочих рук, а это явление, в свою очередь, было и прямым результатом и характерным признаком образования Римской империи.

Сосредоточение имперских богатств в руках немногих домов еще более оттеняется условиями, в которых жила масса римского населения, составлявшая также продукт империализма.

Население Рима продолжало расти; иммиграция из провинции, с окраин давала себя чувствовать все более и более. В результате этого наплыва получилась необыкновенная скученность народа и чрезвычайно тесная застройка города, которая, по-видимому, превосходила все, что можно встретить в современных крупнейших центрах. О тесноте можно судить по тем высоким ценам, которые платились за городские участки земли. Когда Цезарь задумал построить форум одними только публичными зданиями, за выкуп его территории у частных владельцев пришлось заплатить 100 миллионов сестерциев.

Постройки магнатов с их обширными службами, дворами и садами, в свою очередь, отнимали значительные доли городской территории и заставляли мелкий люд еще более скучиваться в предоставляемых ему участках. Вследствие этого пролетарский Рим вырастал ввысь. Крупные здания, размером иногда в целый квартал, так называемые *domus insulae*, то же, что наши «крепости» с массой наемных помещений, мелких квартир и углов, поднимались на 6—7 этажей. Официальная граница высоты для домов, установленная в Риме, приказывает, что они могли быть гораздо выше, чем в новоевропейских городах при гораздо меньших промежутках, оставляемых улицами. Марциал говорит, что иной бедняк взбирается на 200 ступенек вверх, это выходит что-то вроде десятого этажа. В то же время развились и подвальные помещения на 10—20 ступенек ниже уровня улицы. Вероятно, эти громады домов в Риме поражали воображения приезжего провинциала. В императорскую эпоху в Риме вошла в поговорку многоэтажная *insula* владельца Феликла: Тертуллиан, иронизируя над гностиками и их картиной множества небесных этажей, нашел подходящим сравнить ее с феликловой «крепостью».

Вся эта стройка была крайне плоха в санитарном и пожарном отношении. Между высокими домами проходили большою

частью узкие, нередко извилистые улицы, в которые едва проникал солнечный луч. Верхние этажи домов выводились небрежно, из дерева или тонких стенок необожженного кирпича. Вследствие этого они легко делались добычей опустошительных пожаров или — другое характерно для Рима явление — разрушались от непрочности стен и падали. Плутарх называет пожары и падение домов двумя злыми силами, тесно сроднившимися с Римом. Эти условия создавали большой риск для вложения капитала в домовладение. У Геллия свидетель огромного пожара в Риме говорит: «Очень велики доходы с городских земель, но несравненно крупнее связанные с ними опасности. Если бы можно было найти средство, чтобы дома в Риме не горели так часто, я, клянусь, чем хотите, продал бы все сельские владения и купил одни городские»¹.

Домостроители и домовладельцы, однако, умели покрывать риск. Жилищная нужда гнала массу населения в их руки. С одной стороны, они сокращали расходы возведения легковесных этажей, с другой — старались вознаградить себя возвышением наемной и квартирной платы. Хотя нам неизвестны соответствующие цены, но на основании одного сведения можно заключить, что квартирная плата за помещения в Риме была вчетверо выше, чем в других городах, а это дает представление о дороговизне наемных помещений. Косвенно о том же самом можно судить из факта участия в сдаче квартир посредников, получавших значительную выгоду. Система эксплуатации больших домов в Риме напоминает современному исследователю нынешний Лондон. Домовладелец, часто, вероятно, большой господин, подобно английскому лорду, не входил в непосредственные сношения со съемщиками отдельных помещений; дома арендовались крупными нанимателями, которые уже от себя сдавали мелким квартирохозяевам или вторым подарендаторам, служащими новыми посредниками при сдаче.

Понятно, что спекуляция завладела этим видом доходов. Дома были очень ходким товаром в Риме. Страбон говорит, что в столице шла непрерывная стройка, потому что непрерывно происходило разрушение домов, их продажа и перепродажа. А Плутарх в лице Красса яркими чертами изобразил нам типичного предпринимателя и спекулянта на домах. Красс, в сущности, сам не строил домов. Он, прежде всего, настойчиво и

¹ Gell. XV, 1.

искусно скупал пустыри и места под стройку. Он являлся на пожары и приобретал у испуганных домовладельцев за дешевую цену горевшие здания или соседние с ними, которым, очевидно, грозила та же участь. Таким путем он вступил в обладание чуть не половиной городских угодий в Риме. Строиться на них он предоставлял другим, но извлекал из этого новый доход. Дело в том, что Красс положил значительную долю своих капиталов в покупку технически обученных рабов. У него была, между прочим, устроена артель из 500 каменщиков. Такой значительной массой специальных мастеров он оказывал сильное давление на рабочий рынок и его цены: домостроители были вынуждены пользоваться его рабочими, которые никогда не оставались без дела. Биограф Красса изображает его вообще рабозаводчиком в грандиозных размерах. Все находившиеся в его владениях серебряные рудники, ценные поместья, массы сельскохозяйственных рабочих и в сравнение не могли идти с доходностью его фабричных техников, обучением и дисциплиной которых он сам руководил, и которые, по-видимому, отдавались в наем для различных предприятий.

Условия городской жизни открывают также мрачную сторону капиталистического развития в римском обществе, созданного образованием империи. Концентрация капиталов произошла быстро, резким способом и успела примкнуть к старым правовым и социальным формам. Вследствие этого она и выразилась в группировке массы людей, зависимых и обязанных, около немногих «домов», представители которых поднялись на ступень своего рода владетельных особ.

Магнат держит огромный стол, собирает постоянно около себя множество людей, окружен массой рабов, которые нужны не только для услужения, но также для блеска, для представительства. Эти рабы в доме составляют целые отряды, которые при случае можно организовать на военную ногу. После убийства Цезаря, среди паники его сторонников, не знавших еще, как может дело повернуться в Риме, Антоний бежит к себе, укрепляется в своем доме и, вооружив своих рабов, готовится к возможному нападению. Но в ближайшей среде, окружающей магната и его родство, в числе его сотрапезников, спутников есть также множество свободных людей, которые образуют целую иерархию зависимых отношений. Их общее обозначение *clientes*. Они зовутся также *amici* или *familliales*, *convivae*, если получают у него кров и пищу, *comites*, если сопровождают

ют его в прогулках и путешествиях. Эти люди свиты всячески служат сеньору своему — исполняют его поручения, приносят ему по утрам поздравления, вотируют за него и т.д. Когда Ливий рассказывает о вождях старинного патрициата, т.е. изображает *principes I в. до Р. Х.*, мы видим их всегда окруженными *magna clientium manu*; через посредство своих *hospites* и *clientes* они могут на голосовании победить независимых плебеев или даже, вооружив клиентов, прогнать плебеев и трибунов из собрания. Однажды Ливий замечает: «Клиенты составляют большую часть плебейства»¹. Большой контингент в такие свиты доставляли вольноотпущенные; и в правовом, и в экономическом отношении рабы после отпуска на волю еще сохраняли известное подчинение прежнему господину; они заполняли собой администрацию больших хозяйств, вели денежные дела своих патронов. При огромном развитии рабства число вольноотпущенных было также очень велико.

Помимо того в состав свит и «друзей» входили также заурядые люди свободного происхождения: одни спасали свое положение, другие пробирались в службе, но так или иначе примыкали к магнату, отдавались ему «на веру», становились под его защиту и покровительство. Характерны самые выражения для этих отношений, очень близкие к позднейшим средневековым обозначениям вассалитета, закладывания своей личности, состояния в свите. Такими клиентами и вассалами могли быть люди из муниципий и провинций, искавшие повышения. Например, Цицерон в начале своей карьеры был, по-видимому, в клиентеле у Помпея. Здесь были разорившиеся люди высшего класса, нобили, выбитые из своего звания; были люди либеральных профессий, которым трудно было обойтись без покровителя.

В подобном положении был поэт Лукреций Кар, как можно судить из посвящения в его поэме. Его прозвище, *Carus*, распространенное в кельтских областях и встречающееся только у рабов и вольноотпущенных, указывает на его происхождение и объясняет отчасти его затруднительное положение в обществе. В униженных выражениях ищет великий римский просветитель поддержки у важного человека, одного из провинциальных наместников, сторонника Помпея, Кая Меммия. «В мысли о твоём достоинстве, Меммий, и в надежде на сладость твоей

¹ Liv. V, 32.

дружбы я нашел силу, чтобы одолеть всякий труд, чтобы про- вести без сна светлые ночи и найти истинную форму выраже- ния для моего учения»¹. Мы уже знаем, какой специфический смысл надо придавать здесь слову «дружба». Ни один Лукре- ций был или искал счастья быть в свите этого магната. Во вре- мя наместничества Меммия в Вифинии при нем состояли по- эты Катулл и Цинна и грамматик Курций Никий, толкователь сатирика Луцилия.

Еще более отчетливо выступают черты клиентской зависи- мости в отношениях между поэтом Горацием и его патроном Меценатом. Гораций поддерживал свое положение в обществе благодаря подаркам и милостям своего покровителя. Крупней- ший из этих подарков — пожалованная ему земля, сабинское поместье. После многих приглашений и долгих приготовле- ний Гораций принимает в этом имении пожалователя, как вас- сал — своего сеньора. Мы знаем и обратную сторону: в сво- их воспоминаниях Гораций останавливается на том важном для него моменте, когда Меценат после второго их свидания «ве- лел ему быть в числе своих друзей». В другой раз он выража- ется, что Меценат «начал его считать в числе своих». Это озна- чает, что Гораций вошел в «фамилию» Мецената, должен был ходить к нему утром на поклон, ждать его выхода и т.д. И не в одних только невесомых повинностях выражалась эта зави- симость. Для характеристики положения Горация очень важ- но, что перед смертью своей Меценат поручил Горация Августу, следовательно, по завещанию патрона, Гораций перешел в другой «дом», на службу к другому сеньору. Мы увидим сейчас, каков мог быть материальный смысл такой передачи.

Количество постоянных «друзей» магната могло быть очень велико. Когда составлялось такое *agmen magnum*, в доме нужно было завести *nomenclator*'а, который вел список приня- тых и умел назвать патрону всех обязанных визитами посетите- лей. Помпей во время сулланской реставрации набрал в Цице- не, своей родине, целый отряд из своих клиентов. Во время за- говора катилинариев около Цицерона собрались его клиенты и приготовились защищать его, как особая гвардия.

В подобные же зависимые отношения к римским сеньо- рам становились также отдаленные группы людей, нередко це- лые общины. Население города Бонинии (Болоньи) находилось

¹ Lucretii. De rerum natura. I, 140—142.

с давних пор в клиентской зависимости от рода Антониев. Для такого рода отношений характерен документ, который хранился в городских советах, почетный альманах или золотая доска, заключавшая в себе имена видных граждан. Во главе списка стоят *patroni civitatis*, а это — нередко крупные люди в Риме, бывшие магистраты или потом, в императорскую эпоху, люди, близкие к правителю.

В этих крайне распространенных отношениях своего рода вассальной зависимости нам не все ясно. Мы видим главным образом одну сторону: большие щедроты, крупные кормления массы людей, выдачи и подарки, идущие от магнатов, заступничество с их стороны на суде и т.п. Это, видимо, несколько неопределенная оплата услуг и повинностей, как бы особая премия. Можно предполагать, по крайней мере, во многих случаях и более отчетливые, более фиксированные материальные отношения между патроном и его «друзьями»; нередко, например, клиенты так или иначе опирались на кредит крупного человека. Такое положение совершенно ясно там, где вольноотпущенный пускал в оборот известную долю капитала своего господина. Но могли быть более скрытые операции, особенно в связи с пользованием землей. Может быть, клиент приобретал участок при помощи ссуды со стороны патрона или устанавливалась форма временного пользования землей из владений магната, в том и другом случае под условием возврата зависимым человеком земли или части занятого капитала.

На соображения такого рода наводит один обычай, крайне распространенный в конце республики: завещатель отделял большую долю оставляемого в наследство имущества в пользу какого-либо постороннего лица, занимавшего крупное положение. Этот обычай обратился в императорскую эпоху почти в правило завещать значительные части наследств в пользу императора; эти отчисления, в свою очередь, стали правильным крупным источником императорских доходов. Возникает вопрос, откуда произошел такой добровольный налог? В завещаниях, предоставляемых наследователю владения и суммы, обозначались иногда, как блага, полученные *ex uberalitatibus amicorum*. Иногда завещатель обходил своих прямых наследников, детей, и Август, например, в таких случаях сам хлопотал об обеспечении детей умершего из завещанных ему, императору, сумм. Невозможно думать, чтобы все эти великодушные выдачи делались без всякого принудительного мотива. В импера-

торскую эпоху этот мотив заключался в страхе наследователя, что все имущество его может быть конфисковано властителем: большой жертвой в его пользу завещатель надеялся сохранить остальное для семьи. У предшественников императора, республиканских магнатов, была также, может быть, нередко возможность насильственно отобрать наследство клиента: и как раз это правдоподобно для тех случаев, когда имущество завещателя так или иначе опиралось на условное дарение, ссуду, залог и другие виды услуг со стороны крупного патрона. Такое объяснение кажется особенно допустимым по отношению к Горацию. Его владение было результатом милости Мецената, и в оплату за нее он вступил в число клиентов богатого патрона. Впоследствии Гораций счел себя обязанным завещать подаренное ему владение тому лицу, к которому перешли права на него, как на зависимого человека, т.е. Августу.

Надо представить себе общество, в котором все шире и глубже развивается такая иерархия. В кругах, захваченных ее влиянием, неизбежно будет слагаться и своеобразное социально-моральное сознание; общество это выставит свои понятия о долге, добродетели и т.д., которые будут соответствовать такому укладу социального подчинения и совпадут с рамками такой лестницы служения. Нам было бы, конечно, интересно найти обстоятельную формулировку соответствующих понятий, характеристику всего мировоззрения, выработавшегося в кругах римской социальной иерархии. Но если бы мы захотели отыскать краткое выражение типично феодального сознания, нас могла бы удовлетворить одна надпись, где оно наивно и ярко запечатлелось. Это слова, старательно выписанные военным трибуном Кастрицием Кальвом на могильном памятнике, который он поставил одному из своих вольноотпущенных. Патрон, человек военной манеры, называет себя в надгробной надписи «благим господином добрых вольноотпущенных, особенно тех, кто хорошо и добросовестно обрабатывает поля». Он преподает здесь же несколько советов и правил. «Главное дело — быть верным. Ты должен любить господина, чтить родителей и... держать слово». «Слушайте вы меня, сельского обывателя, чуждого школе философов, зато воспитанного природой и опытом». О самом умершем вольноотпущенном, которому поставлен памятник, патрон добавляет: «Я оплакивал его смерть и ставлю ему этот памятник, чтобы все вольноотпущенные хранили верность своим господам»¹.

¹ Cil. XI, 600.

Помимо ясно определившихся вассальных групп, около магнатов можно заметить еще другие, гораздо более широкие круги социально патронированных ими людей. Старые свободные слои населения, городская масса Рима и больших муниципий, были в значительной мере втянуты в социальную иерархию; целый ряд характерных явлений указывает на развитие зависимости множества людей от больших владельческих интересов. Припомним еще раз характерные слова Ливия: большая часть плебса состояла в клиентстве.

Эти явления выступают ярко в политической практике, в ежедневном политическом быту Рима.

Большие политические битвы в народном собрании давались в I веке до Р.Х. при посредстве как бы заранее организованных армий. Что такое были ежегодные выборы должностных лиц? В 60—50 гг., как уверяет биограф Катона Младшего, выборы осуществлялись «или силою оружия и путем ряда убийств, или раздачей денег и покупкой голосов». Последний способ принял самые широкие размеры, а главное, он был введен в правильную систему. Всеобщий подкуп получил особую администрацию, выдвинул особых антрепренеров, целый кодекс правил и приемов.

Мы располагаем чрезвычайно интересным документом, который рисует отношение вождя, политического предпринимателя, к вербуемой им армии, избирателям. Это длинное письмо Квинта Цицерона к его брату, знаменитому Марку, в котором подробно изложены наставления, как надо вести себя и что делать, когда выступаешь кандидатом на крупнейшую политическую должность консула. Это «вернейшее руководство для кандидата» отличается крайним реализмом. В нем обстоятельно перечислены и характеризованы все категории людей, услугами и помощью которых надо заручиться перед избранием. Ведение избирательной кампании, поучает руководство, распадается на два дела: 1) агитацию сторонников кандидата и 2) подготовку народного настроения. Чрезмерная откровенность этих выражений объясняется интимным характером нашего документа. Подробно перечислены в нем и практические средства, между ними особенно публичные угощения.

Что касается первой половины программы, то здесь детальность указаний прямо поразительна. Руководство начинается с магистратов, от которых зависит определение состава голосующих единиц, или подбор избирателей; затем оно переби-

рает группы влиятельных сенаторов и капиталистов, имеющих силу среди своих избирательных округов, городские общины, участвующие в римских голосованиях, корпорации, людей разного звания, кончая вольноотпущенными, вращающихся на бирже и рынке, имеющих связи и многочисленные сношения. Отдельно упомянута городская молодежь. Нужно заручиться поддержкой всех этих людей, крайне важных для агитации: Квинт Цицерон заранее уже называет их усердными и услужливыми. Он советует составить себе полный список всего города, так сказать, политический адрес-календарь: всех кружков и товариществ, общин, землячеств. «Если в каждом из них приобретешь расположение главных лиц, то через них легко будет держать в своих руках и остальную массу». Дальше наставление говорит: «Представь себе в уме и удержи в памяти всю Италию, в ее разделении по трибам; перебери все муниципии, колонии, префектуры, чтобы не осталось ни одного места в стране, в котором бы у тебя не было опоры; расспроси и выследи людей всех округов, познакомься с ними, попроси их, надавай им всяческих уверений, похлопочи, чтобы они стояли за тебя в пределах своей местности и чтобы они были как бы кандидатами твоего дела».

Наконец, руководство останавливается на декоративной стороне агитации. «Необходимо, чтобы ты собирал около себя каждый день множество людей всякого звания, всех возрастов и общественных положений; само количество их должно дать понятие о том авторитете, которым ты пользуешься. Здесь надо различать три разряда лиц: поздравителей, которые постоянно приходят в дом, спутников, провожающих тебя на форум, и наконец, свиту, которая следует за тобою всюду». Эти названия — очевидно технические термины, давно установленные практикой. Вот как следует держать себя с различными группами сторонников: «Тем, кто добровольно записался в твою свиту, старайся засвидетельствовать, что выдающаяся их услуга внушает тебе вечную признательность. Требуй от тех, кто обязан тебе этой службой, чтобы они не отставали от тебя ни на одну пядь, чтобы в тех случаях, когда им что-либо мешает, они по возможности заменяли себя кем-либо из друзей. Для твоего успеха в высшей степени важно, чтобы ты постоянно появлялся среди многочисленной толпы». Таким образом, наличность обширного клиентства, большой свиты: т.е. факт социальный, уже возводится в политическое правило. Если у кого-либо из

кандидатов на высшие должности нет естественной обстановки вассалитета, надо ее искусственно создать, и только тогда обеспечен успех.

Эта обстановка, конечно, стоила больших усилий и больших сумм. Но раз ее удавалось устроить, можно было планомерно достигать крупных результатов.

Вот, например, какого рода «дело» описывает Цицерон в одном из писем в Аттику: «Меммий и Домиций, кандидаты на консульство, заключили с консулами, выходящими в отставку (т.е., в свою очередь, кандидатами на должности наместников провинций), следующий письменный договор. Они обязались, в случае, если будут выбраны, доставить в распоряжение своих предшественников трех авгуров и двух консуляров, которые дадут уверение, что необходимые для раздачи провинций формальности и сенатское постановление все выполнены, что совершенно ложно: если же им невозможно будет сдержать слово, то они выплачивают названным консулам неустойку в 400 000 сестерций». В этом договоре параграф о неустойке явно указывает на то, что в дело вкладывался капитал, посредством которого руководители выборов, консулы, выходящие в отставку, могли совершить правильную покупку большинства голосов. Цицерон «едва решился доверить письму» циническо-торговую сделку между крупнейшими сановниками республики и их приемниками.

Но в том же письме Цицерон сообщает Аттику как о чем-то обычном и нормальном: «Наш дорогой Мессала и его соискатель Домиций были чрезвычайно великодушны в своих щедротах народу. Великая им благодарность, а избрание их обеспечено». Из писем Цицерона к брату Квинту видно, что «щедроты» в этом случае были подкупом. Все 4 кандидата на консульство оказались виновными в подкупе. Дело трудное, говорит Цицерон; приходится выбирать между гибелью людей или падением законов. Но в виду того, что замешан близкий ему Мессала, он хотел, чтобы дело кончилось благополучно и не дошло до суда.

Очень характерна та скандальная избирательная агитация, при посредстве которой в 60 г. прошли в консулы Цезарь и его противник Бибул. Цезарь, не располагая достаточными суммами, соединился с другим кандидатом, Лукцием, человеком мало влиятельным, но очень богатым. Они заключили формальный договор, в силу которого Лукций должен был обещать к выдаче голосующим центуриям большие суммы из своего кармана,

но от имени их обоих, своего и Цезарева. Оптиматы, враждебные Цезарю, не нашли другого средства против этой агитации, как собрать по подписке в своей среде сумму, равную обещанной Цезарем, и поставить ее на избирательную программу своего кандидата Бибула. На этот раз даже Кантон, принципиальный противник подкупов, не мешал «этой раздаче в интересах самой республики».

В последние десятилетия республики было потрачено много усилий на запрещение подкупов. Но эти усилия, в сущности, только выделяют еще более распространенность и неискоренимость самого политического зла. Проведено было несколько законов, которые грозили суровыми наказаниями кандидатам, изблеченным в подкупе: они объявлялись недостойными сидеть в сенате и занимать какую-либо должность. Но всего любопытнее было постановление о денежном взыскании, которому их решили подвергать. По закону 61 года осужденный должен был платить в течение всей своей жизни каждой из 35 триб ежегодную ренту в 3000 сестерций. Таким образом, в наказание за выдачу денег при выборах требовалась другая выдача в те же руки: голосующие могли получить дважды. Во всяком случае, выдача избирателям санкционировалась посредством самого закона о преследовании подкупа. Это произошло потому, что она уже была фиксирована обычаем, сделалась своего рода налогом в пользу гражданства. По выражению Плутарха, «народ не хотел, чтобы у него отнимали приходящееся ему жалованье».

Действительно, можно говорить о жалованье, так как в Риме выработалась такса на должности. Эдильство, например, низшая должность в римской политической карьере, стоило 500 000 сестерций. Такова была сумма, которую согласился выдать избирателям Веррес, чтобы провалить на выборах в эдилы своего врага Цицерона. Такова же была цена трибуната. Это можно заключить из переговоров, которые предшествовали выборам в трибуны в 55 году. Кандидаты на должность пошли на взаимный компромисс. Каждый из них передал в руки Катона, избранного арбитром, залог на сумму в 500 000 сестерций. Было решено, что залог будет потерян для того, кого Кантон признает виновным в подкупе.

За консульство приходилось отдавать огромные суммы. Цицерон отмечает в 54 году, что подкуп работает невероятно, как никогда; на рынке наступил денежный кризис, и процент поднялся вдвое: с 4% до 8%. Таким образом, биржа испытыва-

ла под влиянием раздач и связанных с ними займов серьезные колебания. В другой раз Цицерон называет цифру, которую истратил на выборах каждый из 4 конкурентов: это сумма в миллион сестерций.

О размерах получений из этого источника, о том, как укоренился обычай и какую он составлял необходимую статью дохода для множества людей, можно судить из позднейшей практики императорского периода. Принципс ведь, в сущности, только централизовал и регулировал раздачи в пользу народа, которые слагались раньше из усилий и интриг нескольких владетельных домов, споривших за власть. Эта мотивировка раздач принципса выступает потом совершенно ясно. Август, по собственному признанию, 23 раза давал игры на свой счет вместо сановников, которые либо были в отсутствии, либо не могли найти у себя нужных средств. Еще любопытнее, что в дни общих выборов Август приказывал раздавать гражданам двух триб, которых он был членом по 1000 сестерций каждому, «чтобы им уже не нужно было ставить какие-либо требования другим кандидатам». В этом случае жалованье избирателям фиксировано и официально признано.

Избирательное предприятие имело свою подчиненную администрацию. В упомянутом уже цicerоновском руководстве для кандидата на консульство говорится, что в среде избирательных групп и отделений есть особые мастера дела, ловкие и влиятельные, опытные в политической агитации и пользующиеся весом в известных кругах. Здесь подразумевались настоящие «комиссионеры избирательного дела». Они известны под техническим термином *divisores*. Название происходит от того, что они распределяли между избирателями, голоса которых хотел купить кандидат, полученные от него деньги. Дивизоры выручали при этом немалые барыши. Цицерон напоминает своему корреспонденту об одном дивизоре, хорошо известном в своей трибе, где он «обыкновенно раздавал вам деньги». Этот дивизор, Секст Геренний, оставил, по-видимому, недурное наследство, если сын его, человек без других данных и связей, мог добиться трибунства.

На ремесло дивизора можно было смотреть различно, но политики из крупных семей, во всяком случае, не могли ими брезговать. Сенат грозил суровыми мерами тем должностным лицам, которые будут у себя на дому принимать дивизоров или даже давать им у себя квартиру, следовательно, это было очень

распространено. Обе стороны, заказчики-кандидаты и предприниматели-дивизоры, старались взаимно обеспечить себя: кандидат обыкновенно не желал, чтобы условленная сумма отдавалась им в распоряжение избирателей раньше вотума, дивизоры требовали предъявления суммы для того, чтобы можно было начать операции, тем более, что бывали случаи, когда кандидат не выполнял обещания. Возможен был компромисс; тогда уговаривались положить деньги в качестве депозита у какого-либо богатого доверенного лица; для обозначения такого посредника был также технический термин: *sequestor*.

Иногда могли происходить любопытные столкновения двух избирательных предприятий. Когда Веррос задумал отстранить от эдильской должности Цицерона, он поспешно ночью перед выборами созвал дивизоров и обратился к ним с речью, в которой напоминал, как щедро вознаградил он их во время соискательства на претуру и на последних выборах, консульских и преторских. Он обещал им любую сумму, если только они не допустят Цицерона до избрания. Дивизоры выразили колебание; некоторые стали указывать на отсутствие шансов на успех. Наконец выискался один «из наилучшей школы дивизорского дела», как несколько иронически выражается Цицерон, и, потребовав залога в 500 000 сестерций, обещал провести дело с успехом.

В этой системе вознаграждения избирателей далеко не все можно было так отчетливо зарегистрировать. В «руководстве» Цицерона есть такая фраза: «Никогда мне не приходилось видеть выборов, которые были бы в такой мере опозорены подкупом, чтобы не нашлось хоть несколько центурий, высказавших бескорыстно в пользу приятных им кандидатов»¹. Если даже понимать эти слова буквально, то и тогда они производят безнадёжное впечатление. Но действительность была хуже этой мягкой формулировки. «Бескорыстие» избирателей, в конце концов, относилось главным образом к другой форме раздач, не столь индивидуализированной или же совершавшейся в другое время, не до, а после выборов. Но от политического деятеля она требовала немалых экономических жертв. Характер и размеры этих *liberalitates* римских магнатов были очень различны. Красс взял на себя однажды снабжение бедных граждан хлебом в течение 3 месяцев. Одною из самых обычных форм

¹ Epist. Q.C.C. 14, 57.

были большие публичные обеды, т.е. раздачи натурой. В «руководстве» Цицерона кандидату прямо рекомендуется проявлять благотворительность и устраивать самому или через друзей пиршества во всех участках города и для всех триб. В Риме жаловались, что эти щедрые и частые массовые угощения, в которых так много выбрасывается напоказ, поднимают цену на припасы.

Политика монархических претендентов была, конечно, направлена на то, чтобы превзойти выдачи отдельных магнатов. Цезарь был неистощим на публичные обеды, умел разнообразить их программы и поднимать их цену: поминки по умершей дочери, диктаторство, третье консульство, успешное окончание Испанской войны, — все это сопровождалось огромными угощениями всего гражданства. Август в 9 различных торжественных случаях роздал римским гражданам по 3000 сестерций; по завещанию он оставил народу для раздачи 45 миллионов сестерций.

Так же как правительство республики боролось против подкупов, оно вооружалось и против *liberalitates*. Были постановления, ограничивавшие число людей свиты, «спутников» при кандидатах, было воспрещено давать народу угощения. Но о действительном устранении обычая нельзя было и думать. Цицерон, со свойственным ему благоречием и дипломатически мягкой манерой выражаться, искал лишь пристойной формулы и пришел к такому, в сущности, весьма фривольному, толкованию закона. Его судебный клиент Мурена был обвинен в том, что против постановления сената роздал по всем трибам даровые билеты на зрелища и звал на обеды. В своей защите Цицерон ссылается на то, что кандидат не сам давал эти обеды, а это делали его друзья и близкие. Затем он спрашивает, что же в сущности запретил сенат? Ведь не вообще приглашения на обеды и представление даровых мест? Конечно, нет; но дело в том, что нельзя это делать повсеместно, звать всех попеременно. Наконец, оратор спрашивает, следует ли вообще быть суровым к этому обычаю: народу одна выгода от таких приношений кандидатов. Все это — лишь «выполнение друзьями своих обязанностей, выгоды маленьких людей, служба кандидатов».

Цицерон любит рассуждать на эту тему о взаимных услугах, оказываемых магнатами и народом друг другу. Сам вполне чувствуя себя вошедшим в круг *principes*, говоря «мы» о видных политиках и вместе с тем представителях владельческого клас-

са и противопоставляя им остальную массу под именем *tenues*, он говорит в той же речи по поводу обычая ходить свитой за кандидатом, встречать его знаками сочувствия и т.д.: «Мы должны допустить, чтобы люди, которые полагают на нас всю надежду, также давали нам что-нибудь: они не могут ни защитить нас на суде, ни служить заложниками, ни принимать нас за своим столом; у них ничего нет, кроме своих голосов»¹.

К выдачам правительственных претендентов надо прибавить известные формы общего кормления массы на счет доходов империи и добычи, приносимой завоеваниями. Это особенно раздача хлеба, которая была систематизирована к концу республики. Закон Клодия в 58 г. сделал хлеб даровым и допустил, по-видимому, к получению всех римских граждан, кто только подавал заявление. Число получателей одно время доходило до 320 000 с лишком.

Тяжелый социальный смысл всех этих фактов резко и цинически отметил однажды Цицерон, конечно, не в публичной речи к народу, а в интимном письме. Он назвал эту римскую массу на кормлении у правительственных претендентов «политиканствующим сбродом, как пиявка сосущим казну, жалким и голодным простонародьем».

То, что принимало в Риме грандиозные формы, в десятках и сотнях мелких воспроизведений повторялось в других городах. Местная аристократия, выступавшая на выборах в судебные, административные и полицейские должности, тратилась на выдачу, обеды, увеселения, публичные постройки. Известная доля давалась местному населению тотчас же, другая фигурировала в программе, которую кандидат обещался выполнить. На почве таких обещаний и предварительных подарков шла ожесточенная борьба между кандидатами и между группами избирателей.

Нас поражает теперь роскошество этих трат, изумительная щедрость местных магнатов, но надо иметь в виду оборотную сторону их общественной службы. Ведь эта служба была почти исключительно принадлежностью богатых и землевладельческих классов; а их представители были патроны и сеньоры, державшие массу в разных видах подчинения; свои владельческие выгоды они возмещали системой опеки и развлечения. Вот социальный смысл и социальная цена всех этих бесконечных по-

¹ Cic. P. Murena. 34, 70—71.

жертвований, раздач, обещаний и угождений гражданам со стороны думских и земских депутатов и чиновников. В Риме цель была крупнее, приз выше, и потому несравненно выше и трагичнее, но социальный смысл этих фактов одинаков. Приближаясь к принципату, мы подходим к эпохе установления социальной иерархии, патрональных и вассальных отношений, кормления и эксплуатации масс большими владельческими домами.

Среди них стали возвышаться монархические претенденты. Это были те начальники, которые получили возможность в крупных походах, в долгом управлении провинциями собрать особенно значительные средства и окружить себя целым двором, гвардией и штатом зависимых и обязанных людей. Вращаясь в подобной обстановке, магнат составлял себе своеобразные политические представления. Например, Красс высказывал убеждение, что богатым стоит признавать только того, кто может на свой счет содержать войско. Красс, конечно, разумел себя и свои личные огромные ресурсы. Ему уже не приходило в голову считать армию состоящей на службе народа и государства; она образует частное владение крупнейшего человека в республике.

Подобно армии, и провинция, или группа областей, где долго распоряжался *prīncipes*, обращалась как бы в его княжество. Такое положение занял Помпей в Испании. Отношения помпеянского дома к западной провинции завязались еще в 70-х годах, во время войны с Серторием, когда Помпей вознаграждал примкнувшие к нему города за счет оказавших сопротивление. Тесные отношения с Испанией продолжались и после, когда Помпей управлял провинцией из Рима через своих легатов. Он выстроил для соединения страны с Галлией и Италией ряд дорог, которые сильно подвинули торговое движение провинции. Ему же принадлежит деление Испании на три административные области, которое образовало основу позднейшего императорского управления. Цезарь встретил потом, во время борьбы с помпеянской партией, самое упорное сопротивление именно в Испании; испанские общины крепко стояли за своего императора; и крупнейшей ошибкой или несчастьем Помпея было именно то, что он не захотел или не мог укрепиться в своем западном княжестве, вместо того чтобы с большинством аристократии покинуть Италию и идти на Восток. Еще после окончательного поражения республиканских сил в Африке наследники претендента смогли набрать в Испании среди ме-

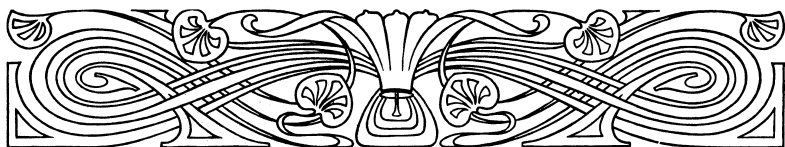
стных римских колонистов и провинциалов новые войска для организации восстания против Цезаревой диктатуры, и эта последняя борьба в Испании, по собственному призыванию Цезаря, досталась ему тяжелее всех других.

Таким же провинциальным княжеством Юлиев сделалась Галлия. После покорения она была обложена ежегодным налогом в 40 миллионов сестерций. Помимо того, Цезарь, вообще поразительно беззастенчивый в своей финансовой политике, беспощадно расхищал в Галлии запасы золота и особенно сокровища в часовнях и храмовых ризницах; в этой стране он нашел неисчерпаемый финансовый источник для своих политических и военных предприятий. В 50-х годах, во время своих северных походов, он поддерживал в Риме на галльские богатства обширную агитацию против сенатского правительства, а вместе с тем уплачивал долги сторонников, раздавал направо и налево деньги, вербуя себе партию, «покупая — как говорит Плутарх — роскошными подарками эдилов, преторов, консулов и их жен». Впоследствии, в столкновении с Помпеем и республиканской партией в 40-х годах, Цезарь содержал на средства своего северного княжества большую армию, которая захватила для него Италию, Испанию и Восток.

Таким образом, на провинциальные средства составлялась еще и обширная римская clientela претендентов. Было бы странно видеть в них после всего этого наследников демократии. Они опирались на ту же самую социальную основу, как и другие *principes*, другие преуспевающие аристократические дома; разница между ними была лишь количественная. Но долгое пребывание отдельных императоров в провинции не только создавало особенно крупную их финансовую силу: вдали от конституционных сдержек и *veto* со стороны коллег и других должностных лиц, вне парламентского контроля сената при слабой только перспективе судебного-политического преследования, они могли развернуть свой огромный дискреционный авторитет и выработать приемы властной администрации. Ни в чем, может быть, этот факт не выступает с такой резкостью, как в долговых указах, которые по временам издавали римские наместники для того чтобы ликвидировать тяжелые обязательства, сложившиеся в результате завоевания и чрезвычайного обложения той или другой провинции. Такое распоряжение, например, делает Лукулл в Азии, где контрибуция, наложенная на провинцию Суллой в размере 20 тысяч талантов, выросла с про-

центами по займам у негоциаторов до 120000; наместник разрубил затянувшийся узел тем, что ввел кредиторов в совладение с должниками на 4 года, в течение которых из доходов с имуществ должны были вычитаться доли долговой суммы. Аналогично распоряжение Цезаря, когда он был пропретором в Испании: должники обязывались к ежегодной уплате кредиторам двух третей своего дохода до тех пор, пока не заполнится вся капитальная сумма долга.

Когда могущественный наместник придвигался дома к диктатуре, от него и в Риме могли ожидать в известных кругах подобного же насильственного решения долгового вопроса. Его административное положение в метрополии, похожее на власть провинциальную, вызывало большие надежды в сторонниках переворота, на программе которых стояла общая ликвидация долгов и расправа с кредиторами. Сулла в этом отношении выручил своих вассалов и обогатил свою свиту и гвардию. Ко всякому новому претенденту теснилась такая же масса чаявших движения воды, готовых заполнить кадры новой службы, составить под его началом новую бюрократию.



6

ПОСЛЕДНЕЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ ДЕМОКРАТИИ

До сих пор очень упорно держится взгляд, что императорство было в Риме демократической и даже социальной монархией. Цезарь и Август все еще слынут за наследников демократической программы. В то же самое время все привыкли слышать уничтожающий приговор над римской демократией, присоединяться к осуждению римских популяров за их программу и тактику. Римский народ конца республики принято изображать в самом черном виде, как недисциплинированную массу, живущую в праздности на счет государства, способную только на беспорядочный протест и мятежи. И тогда выходит, что монархия оказала обществу двойную услугу: она избавила его от зол и опасностей демократического режима, удовлетворив в то же время законные стремления широких слоев населения, выполнив идейное завещание демократии.

Такая постановка кажется нам вдвойне неправильной. Во-первых, она приписывает монархии в Риме такие цели и задачи, которых монархия нигде и никогда не ставила и не выполняла. Монархия — всюду результат и увенчание феодально-крепостного строения общества, а в Риме эта связь между наступлением социальной иерархии и политического омертвления особенно отчетливо видна. Принципат одного вырос из принципата немногих. Во-вторых, суждение об умирающей демократии Рима чрезвычайно односторонне и несправедливо. Это суждение основывается не на фактах, а на произвольной теоретической характеристике, составленной усилиями противников демократии. Нам необходимо более детально изучить программу и тактику римской демократии после сулланского времени. Но, прежде всего, следует дать себе отчет в происхождении неблагоприятных оценок римского народа конца республики.

Нетрудно отыскать те отзывы античных писателей, которые легли в основу суждений новоевропейских ученых. Вот, например, характерная оценка демократии у Цицерона в его трактате по римскому государственному праву. Цицерон — сторонник пассивной республики. Без сомнения, республика составляет всенародное дело. Но народное верховенство — лишь общий принцип, оно должно оставаться в теории, оно допустимо только в качестве фикции. В действительности нет ничего хуже правления «через посредство народа». «Лучше царская власть, чем свободный народ». Настоящая демократия — худший, наиболее испорченный вид правления. Предусматривая, что в этом комментарии найдут противоречие первоначальному определению, *res publica*=*res populi*, Цицерон прибегает к некоторой словесной игре. Надо различать понятия: одно дело — народ, другое — толпа; одно — общественный интерес, другое — общественная тирания, а тирания массы ничем не отличается от тирании одного или немногих лиц. Неограниченное господство народа рисуется Цицерону в чертах социального насилия и переворота: масса казнит по усмотрению, расхищает, завладевает всем, растрчивает все, что ей угодно. Нельзя даже понять, какие факты мог бы привести Цицерон в подтверждение подобного эффекта народоправства, когда же в Риме было что-нибудь похожее на демократический террор? Получается впечатление, что Цицерон просто взял явления сулланской реакции и приписал опалы, казни, конфискации диктатора произволу народной массы, раз уже высказано было теоретическое положение: «Тирания массы ничем не отличается от тирании одного или нескольких лиц».

Очень сильное впечатление оставляла всегда картина, нарисованная Саллюстием в истории заговора Катилины, и ей готовы были придавать тем более значения, что автор сам считается сторонником цезарианской демократии. Объясняя, почему весь плебс в 63 г. увлечен был революционными целями, Саллюстий говорит: «Это понятно... в государстве всегда люди неимущие завидуют благонамеренным гражданам, превозносят злоумышленников, ненавидят все старое, жаждут всякой новизны, из-за недовольства своим положением готовы все опрокинуть, легкомысленно проживают за счет беспорядков и мятежей: бедноте все равно нечего терять. Городская же масса (Рима) по преимуществу отличалась необузданностью. Все те люди, которые где-либо заявили себя дерзкими поступками,

все, кто в развратной жизни утратили отцовские достояния, все те, кого заставили бежать из дому преступления и злодейства, стекались в Рим, как в клоаку. Кто помнил сулланское торжество, когда из рядовых воинов многие поднялись до сенаторского звания, до царского богатства и обстановки, надеялся захватить различные блага тем же путем, только бы добратся до оружия. Наконец, крестьянская молодежь, привыкшая к нужде, к тяжелой наемной работе на полях, привлеченная раздачами из частных и государственных средств, готова была предпочесть городской досуг неблагодарному труду. Всем этим элементам служила пищей общественная болезнь. Поэтому нечего удивляться, если беднота, испорченная нравственно, возбужденная чрезмерными ожиданиями, искала в политике единственного для себя спасения».

В сущности, этой тирады было бы достаточно, чтобы перестать раз навсегда считать Саллюстия демократом. Весь этот проповеднический, обличительный тон свидетельствует о чисто риторическом происхождении характеристики римской массы. Плебейство было глубоко испорчено, и, кроме грубейших материальных интересов, ничего не признавало, — вот вывод патетической речи. Но вслед за тем Саллюстий отмечает в том же народе чувства, стоящие в полном противоречии с развращенностью, жадностью и продажностью, будто бы свойственными плебейской массе. По его словам, увлечение революционными планами, вера в свое дело была так велика у сторонников катилинарного движения, что, несмотря на двукратное приглашение сената, на обещание награды, ни один человек из всей массы принимавших участие в «заговоре», не выдал товарищей, никто не ушел из лагеря Катилины. Очень некстати для себя Саллюстий прибавляет фразу: «Такова была сила болезни, заразой охватившей умы огромного числа граждан». Таким образом, испорченности уже нет, а есть увлечение революцией, которое предполагает, во всяком случае, большой моральный подъем.

У Саллюстия, между прочим, указана необыкновенная притягательность столичных раздач, из-за которых будто бы масса крестьян устремилась в Рим, чтобы жить там в полной праздности. Ту же тему развивает историк междоусобных войн Аппиан. Население Рима и без того было пестро и испорчено смесью различных элементов: «Вольноотпущенные приравнены в правах к гражданам, рабов нельзя отличить по повадке от гос-

под, тем более, что они позволяют себе носить всякую одежду, кроме сенаторской». Но хлебные раздачи, производившиеся в Риме, еще увеличили вредное смешение людей: они стали притягивать в столицу «весь праздный, нищий и беспутный народ из Италии».

На этих заявлениях Саллюстия и Аппиана основываются обычные изображения римского простонародья конца республики. При этом едва ли давали себе труд реально представить, как возможно было полумиллиону населения с семьями существовать на щедрые хотя бы, но все-таки случайные подачки, и вообще, что это был за центр, весь состоявший из каких-то беспечальных лаццарони? Мы видели, что Рим имел значение важного индустриального пункта для ближних итальянских областей. Он должен был заключать в себе массу ремесленников, мелких торговцев, приказчиков, людей, занятых извозом и транспортом, т.е. классов аналогичного положения с бедными слоями современных нам больших городов. Магнаты и денежные короли могли путем раздач и подкупов достигать нужных им решений в народных собраниях, но никогда масса населения не могла быть взята целиком на государственное содержание, никогда из-за хлебного пайка, который один из популяров назовет «пропитанием раба», а другой — «тюремным пайком», не бросали занятий и не бежали в город. Аристократический автор, сообщая нам о бегстве сельской молодежи в город, будто бы от несладкой работы к приятной праздности, не замечает, что, если такое движение происходило, то причиною его было главным образом вытеснение крестьян крупным землевладением, т.е. разорение страны высшими слоями общества.

У Аппиана к вышеприведенному отрывку прибавлено: республиканцы, убившие Цезаря, старались привлечь массу на свою сторону обещанием новых раздач; «они надеялись, что если известная часть народа примкнет к ним и станет одобрять случившееся, то последуют и остальные из-за идеи свободы и вследствие любви к республике. Они воображали, что народ римский все еще тот, каким он был при Бруте, некогда изгнавшем царей; и не понимали они того, что хотят зараз двух противоположных и непримиримых между собою вещей; чтобы люди одновременно любили свободу и поддавались подкупу». Здесь опять отражается взгляд человека высшего класса; аристократия привыкла нанимать себе чернорабочих для разных услуг, между прочим, и революционных, но всегда презира-

ла своих наемников и безразлично относилась к самому предприятию организации массы. Между тем она опять-таки забывала, что все попытки плебеев и их вождей самостоятельно организоваться в политические клубы и союзы встречали самое суровое отношение со стороны правящих классов; а между тем разрушение демократических коллегий, без сомнения, гораздо более содействовало падению республики, чем подкупы, практиковавшиеся магнатами.

С неблагоприятной оценкой массы римского плебейства обыкновенно связывается резкое суждение о его вождях: трибуны конца республики, римские агитаторы и социал-политики обыкновенно изображались пустыми крикунами, продажными исполнителями честолюбивых планов того или другого магната. Таким, например, бесцветным статистом, подставным человеком Красса и Цезаря, и Моммзен, и его противник Нич готовы считать трибуна Сервилия Рулла, автора обширного аграрного законопроекта 63 г. Известная доля влияния здесь может быть отнесена на счет карикатурной характеристики этого трибуна, составленной Цицероном, противником аграрной реформы. Цицерон поднимает на смех мрачного и угловатого радикала, который «будто бы, тотчас же по избрании своем, переменил наружность, тон голоса и манеру держаться, отпустил длинные волосы и бороду. Перестал умываться и облекся в доношенный костюм для того, чтобы и взором, и всей повадкой показать всем и каждому, как сильна трибунская власть и как он грозен для всего государственного строя»¹. Мы увидим дальше, как серьезно было предложение Рулла, и, следовательно, как мало оправдывались личные выходки и насмешки Цицерона. Но от Цицерона остались три речи по одному только предложению Рулла, от самого же Рулла ни одной строчки; положение слишком неравно, и потому доверять характеристикам Цицерона весьма опасно. Надо вообще принять во внимание все искусство, всю хитрость этого политического дебатера, имевшего единственное в своем роде историческое счастье — оставить потомству свои речи в том виде, как он их сам препарировал после произнесения, между тем как голоса его противников безнадежно утрачены.

Цицерон высмеивает также демократические митинги, собираемые трибунами. Прямо он не называет вещей по их име-

¹ Cic.de lege agr. II, 5, 13.

нам. Он осуждает будто бы только крикливых греков, противопоставляя им строгую римскую старину, далекую от развращенности политических споров. «О, если бы мы сохранили светлые обычаи и дисциплину, полученные нами от предков! Не знаю, каким образом и отчего ускользают они из рук наших. Умнейшие и благороднейшие создатели нашего строя не хотели давать места дебатирующим собраниям: для решения плебеев или всего народа был один определенный путь: народу предлагалось, без дебатов, но в строгом разделении на группы по центуриям, трибам, сословиям, классам, возрастам, по заслушании инициаторов проекта, по прошествии законного срока его внесения и последующего чтения — подать голоса за или против. Не то у греков: там все дела в общинах решаются на опрометчивых и увлекающихся собраниях. Уж я не буду говорить о нынешней Греции, давно расстроенной и парализованной своими парламентами, но даже и та великая старинная Греция, блиставшая некогда своим богатством, могуществом, славою, и она погибла именно от этого зла, от неумеренной свободы и необузданности дебатирующих заседаний. Рассаживались точно в театре неопытные люди, ни в чем не осведомленные, невежественные, и результат был тот, что они поднимали ненужные войны, ставили во главе государства беспокойных честолюбцев и изгоняли из общины заслуженных людей»¹.

Может быть, слишком мало обращали внимания на то, что Цицерон здесь почти дословно повторяет декламацию Платона против демократии. Напрасно принимали за чистую монету всю его разрисовку римской старины и пагубного греческого примера; это противоположение воображаемой политической пассивности Древнего Рима и шумных бестолковых собраний новейшего времени и составляет именно фокус, хитрый оборот цicerоновской диалектики. В качестве же реальной оценки римских митингов конца республики картинка Цицерона так же мало стоит, как критика афинской демократии у реакционера-моралиста Платона, послужившая для римского оратора литературным оригиналом.

Но спрашивается, действительно ли мы в такой мере лишены всяких свидетельств об идеях римской демократии конца республики? Пельман в своей «Истории античного коммунизма и социализма» обращает внимание на один весьма своеобраз-

¹ Cic. P. Flacco. VII, 15, 16.

разный источник для суждения о социальной борьбе I в., именно на изображение борьбы патрициев и плебеев у Ливия и Дионисия, передающих воображаемые политические дебаты V и IV вв. до Р.Х., вымышленные речи оптиматских и народных вождей начала республики.

Современная историческая наука все более и более отказывается от мысли установить какие-либо определенные факты или даже общие фазы борьбы патрициев и плебеев. Наиболее скептические исследователи решаются начинать достоверную историю Рима лишь с III в. до Р.Х., а во всей этой обстоятельно переданной истории конфликтов предшествующих столетий готовы видеть лишь политико-исторический роман, сочиненный поколениями конца республики. Все более выясняется, что римская историография находилась в руках политических деятелей, принадлежавших к той или другой партии I в., и что она передала нам в виде картины прошлых веков столкновения современных ей оптиматов и популяров, высших и низших классов, их желания, цели и требования, определяющие круг власти сановников, силу народного верховенства и права личности, компромиссы партий составляют не более как результат публицистической работы, сделанной в эпоху от Гракхов до Цезаря, и притом в интересах различных политических групп, радикалов, реакционеров или реформистов-примирителей.

Но именно при самом скептическом, самом отрицательном отношении к этим данным римской историографии, поскольку они претендуют на верное изображение старины, нам особенно важно воспользоваться ими для изучаемой эпохи конца республики. Мы можем видеть в них отражения и косвенные характеристики идей, проектов, теорий, настроений времени, непосредственно предшествующего установлению принципата. С этой точки зрения вымышленные речи у Ливия и Дионисия получают особый смысл и интерес: в них, может быть, очень близко отразились партийные обращения, публицистические статьи и памфлеты эпохи римских политических бурь.

К сожалению, историк, впервые предложивший воспользоваться в этом смысле воображаемой политической драмой старинной республики, сам придал всему материалу одностороннее освещение. Пельман непременно хочет отыскать в Риме вечно аналогичное современному социализму, формулы классовой борьбы, подобные марксистским, коммунистическим проектам, широкое влияние в политике социальных утопий и т.п. Эти по-

иски ведут к странным преувеличениям и натяжкам. Например, рассказ (у Дионисия) о царе Тулле Гостилии, раздавшем безземельному люду участки из своей земли, Пельман называет социал-демократической легендой, между тем как рассказ имеет в виду только популярную меру властителя, распоряжающегося собственной землей, и говорит о дарении мелких участков в полную собственность. Везде, где Пельман встречает выражение, отмечающее противоположность интересов, столкновение борющихся, вроде: «две общины образовались в республике», — ему кажется несомненным, что налицо формула теории классовой борьбы, что могущественная социалистическая партия, доведенная до отчаяния, идет на разрушение существующего строя, основанного на капиталистических началах. При ближайшем рассмотрении в выражениях о двух общинах в государстве нет ничего другого, кроме обычного заявления партий о взаимной вражде без определения социальной программы. Наконец Пельман берет для иллюстрации коммунистических идей в I в. до Р.Х. — некоторые места, встречаемые у поэтов, где говорится о золотом веке невинности и общего пользования благами природы, и предполагает в них отражение реальных требований, занимавших римский пролетариат и его вождей.

Благодаря такому истолкованию, несколько вырванных мест у Ливия и Дионисия освещены у Пельмана резко и неправильно, а значительная часть социально-политического материала, заключенного в сочинения этих античных историков, напротив, остается совершенно неиспользованной. Если быть осторожнее, если не подставлять заранее новейших формул, выросших на совершенно иной экономической основе, то можно извлечь очень реальную картину идейного движения в среде римской демократии.

Необходима еще одна оговорка. Пельман не различает источников Ливия и Дионисия и рассматривает их изложения, как цельные композиции. А между тем, у обоих античных историков соединены работы предшественников, которые принадлежали к разным партиям, поэтому и у Ливия, и у Дионисия есть места, ярко окрашенные демократическим настроением, и, напротив, есть формулы и изображения, обличающие работу консерваторов и реакционеров. Конечно, лишь в первой группе мы можем искать отражения исчезнувшей радикальной публицистики. В числе анналистов-предшественников Ливия, как

мы знаем, был Лициний Макр, писавший, по-видимому, в 70-х годах I в. С другой стороны, в отрывках Саллюстиевой истории конца республики приведена речь трибуна Лициния Макра к народу, обличающая в нем горячего и талантливого политического оратора. С большим вероятием можем мы допустить, что и те страницы у Ливия, где говорится о страданиях плебеев, о мужестве народа, о дерзости притеснителей, где развиваются требования демократии, принадлежат тому самому деятелю. Если это так, мы находимся в очень счастливом положении: можно выяснить, как смотрел на римскую старину один из видных публицистов демократической партии послесулланской эпохи; или, говоря иначе, можно судить, каковы были политические и социальные теории этой партии, какие она отыскивала и выстраивала прецеденты в истории прошлого, какую она предлагала тактику в современности.

В числе речей, вложенных у Ливия в уста легендарным трибунам, есть одна — речь Канулея (443 г. до Р.Х.), — в которой широко поставлены общие идеи демократии. Ближайший повод речи нельзя назвать политически важным; на очереди вопрос о допущении смешанных браков между патрициями и плебеями, и патетические обращения трибуна не особенно удачно вставлены в контекст. Но для нас эта литературная неслаженность имеет, может быть, особую цену; она представляет гарантию подлинности, непосредственной свежести этого отрывка, заимствованного прямо из публицистики. Трибун жалуется на полное пренебрежение высших классов к народу. Естественное и гражданское равенство совершенно забыто, не признается аристократами. Стоило народному вождю напомнить в сенате о равенстве прав, и поднялся невообразимый шум; ему, представителю неприкосновенного авторитета, пригрозили смертью. Выходит так, что если допустить простолюдина к должностям, государство погибнет, империя разрушится. «Допустить избрание в консулы плебея, это значит в глазах ваших врагов (т.е. консерваторов), выбрать раба или вольноотпущенника. Разве вы не чувствуете, в каком находитесь у них презрении? Если бы они могли, они отняли бы у нас пользование светом Божиим. Их возмущает, что вы дышите, говорите, что вы имеете облик человеческий».

Далее трибун резко критикует теорию расовой или национальной чистоты и исключительности, которая, очевидно, была в ходу во время Макра. Аристократия кичилась своим чистым

происхождением, старалась основать на нем свои политические привилегии и ссылалась на смешение национальных элементов в простом народе, как на доказательство его политической неспособности. В противоположность этому народный оратор выставляет свою историческую теорию. Доказать чистоту крови известных классов общества невозможно. Рим с самых отдаленных времен широко открывал ворота пришельцам и людям всякого звания; между царями даже были чужестранцы и сыновья рабов: знаменитый аристократический род Клавдиев был принят из эмигрантов, со стороны. Замкнутость правительственного слоя есть позднейшее изобретение аристократии. Нет никакого основания отрезать пути людям, выходящим из низших классов, и отрицать за ними дарования, честность и энергию. Но пусть даже правы аристократы в своей расовой гордости; отчего же не внести перемену в политический порядок, исходя из начал здравого смысла?

Переходя к новому рационалистическому способу доказательства, трибун возражает еще на другое учение, выставленное консерваторами: будто бы римская конституция составляет верх политической мудрости и должна поэтому оставаться навеки неизменной. Неужели недопустимо какое новое учреждение, неужели в политическом строе не следует ничего добавлять, даже если признана полезность нововведения, только из-за того, что нет ему precedентов? У оратора противоположный взгляд на развитие римской конституции. «В среде новосложившегося народа многое еще не испробовано». Конституция создавалась постепенно; все ее учреждения представляют последовательную работу, вызванную обстоятельствами и потребностями. «Разве можно сомневаться в том, что в городе, основанном для вечности, власть которого бесконечно растет, должны естественно вырабатываться новые политические и религиозные формы, новые основы права общественного и личного?» Последняя фраза обличает в ораторе современника империалистических успехов; Рим для него уже «вечный город». Но он хочет видеть в росте империи лишь новое важное условие политического прогресса; расширенный Рим должен стать истинно демократическим обществом. Искключительность аристократов, их теория чистоты крови (выражающаяся, между прочим, в запрещении смешанных браков), ведет к ненужному разладу. «Вы сами, — говорит трибун, — разрываете гражданское общество, образуете из одной общины две разные. Отче-

го бы вам не пойти дальше, не запретить плебею быть соседом знатного, ходить с ним по одной дороге, участвовать в одних празднествах, стоять на том же форуме?»).

Кстати, можно заметить, что здесь выражение о двух раздельных общинах в государстве вовсе не имеет того смысла демократической формулы классовой борьбы, какой приписывает ему Пельман: оно служит для характеристики консерваторов, вводящих рознь в гражданское общество, а вовсе не является воинственным кличем со стороны неимущих; напротив, трибун призывает к сближению классов и уверен, что скорее всего оно может быть достигнуто равенством прав.

Речь Канулея заканчивается очень горячим ораторским обращением к народу и предложением держаться определенной тактики против аристократического правительства. Исторический костюм едва удержан в этом заключение; оно проникнуто настроением последнего века республики. «Кому же, наконец, принадлежит верховная власть, народу римскому или вам (аристократы)? Я спрашиваю, разве с изгнанием царей вам досталось господство, и не все ли, наоборот, приобрели равенство и свободу? Нужно, чтобы народ римский получил право издавать самостоятельно законы. Или вы опять хотите, как только мы выставим народу демократический проект, в виде наказания назначить набор войска? И как только я, трибун, начну созывать трибы к подаче голосов, так ты, консул, приведешь к присяге рекрут и отправишь их в лагеря, угрожая народу, угрожая трибуну?» Оратор уверяет, что противники не решатся на такую борьбу; они уже испытали силу пассивного сопротивления народа. «Они еще не раз, граждане, поставят на пробу ваше настроение, но не захотят испытать на себе ваши силы». Плебеи, настаивает трибун, согласятся участвовать в войнах лишь в том случае, если будет проведено равенство прав. «В противном случае, высший класс может сколько угодно провозглашать войну: никто не запишется в армию, никто не возьмется за оружие, никто не будет биться за высокомерных властителей, с которыми нет у нас ни политического, ни гражданского общения».

Речь Канулея производит слишком непосредственное, свежее впечатление, чтобы считать ее риторическим измышлением самого Ливия. Вполне можно допустить, что позднейший историк нашел ее готовой у более раннего анналиста, и это, скорее всего, мог быть Макр. В ней виден политический темперамент

и ораторский талант демократического трибуна, качества, которых не мог отрицать у Макра и сам Цицерон, верховный судья в вопросах красноречия и к тому же крайне нерасположенный к радикальному деятелю.

Ливий не только сохранил нам образчики демократического красноречия и передал его пафос; по его изложению есть возможность также прочитать главные мотивы программы и тактики демократической партии послесулланской эпохи. В конце речи Канулея к народу заключается угроза военной забастовки: никто из массы плебеев не исполнит военной повинности, пока правительство не удовлетворит политических требований народа. Канулей напоминает, что уже два раза аристократия испытала всю тяжесть этого непобедимого тактического приема плебеев. И в самом деле, в историческом изображении первого столетия борьбы патрициев с плебеями мы встречаем очень часто такое решение народа.

Еще не имея вождей в лице трибунов, масса сходится на большой митинг и объясняет, что правители не получают ни одного солдата, пока не будет дарована свобода и личная неприкосновенность; плебеи хотят сражаться лишь за отечество и сограждан, но не за тиранов. Знаменитый уход плебеев на Священную гору тем особенно и страшен, что он составляет вместе с тем отказ народа от военной службы, делающий Рим беззащитным. Плебеи отказываются вступать в ряды войска при самом приближении неприятеля. Они видят в нем мстителя, посланного богами, и радуются тяжелому затруднению, в которое попала аристократия: «Пусть патриции сами идут в военную службу, пусть сами берут оружие; кто получает все выгоды войны, пусть несет и все ее опасности»¹. Однажды плебеи, в среде которых консулы уже успели набрать войско, доводят свой протест до того, что дают себя разбить в сражении. Но вожди народа, трибуны, считают такую форму борьбы невыгодной: вообще протест запоздал, если плебей успел превратиться в легионера; надо организовать систематическое противодействие самому набору.

Настойчивость и определенность этого мотива, столько раз возвращающегося в изложении Ливия, заставляет видеть в нем не литературное измышление, а реальный факт политической жизни того времени, когда мог писать историк-демократ.

¹ Liv. II, 28, 44.

Отказ от военной службы, забастовка рекрутов, срывание набора — вот что энергически рекомендовали вожди демократии в послесулланскую эпоху. Изображая отказ старинных плебеев идти в легионы, в качестве успешного приема для достижения политической свободы, они хотели сказать современникам: вот такая тактика поможет нам вырвать у сенатского правительства; нашей угрозой опрокинуть основы его внешней политики, мы заставим его изменить условия политики внутренней.

Но, спрашивается, рекомендовался ли этот антимиитаризм только как временная тактика, или в нем крылся более глубокий протест по существу, осуждение империалистической политики завоеваний? По этому вопросу Саллюстий заставляет обращаться к народу того самого Лициния Макра, в котором мы предполагаем составителя демократически окрашенной летописи римской старины. Передаваемая Саллюстием речь, может быть, близка к подлиннику, может быть, составлена по записи (из слов Цицерона о характере красноречия Макра можно заключить, что произведения его были в ходу и читались). Но даже если она сочинена Саллюстием, то в основу составитель, вероятно, положил политические взгляды Макра, обстоятельно развитые в его историческом труде.

У Саллюстия Лициний Макр в качестве трибуна обращается к народу вскоре после реставрации Суллы под впечатлением недавней грозной военной монархии и в виду возвышения двух новых военных имен, Красса и Помпея. Он предостерегает массу римского гражданства от надвигающегося нового порядка. «Неужели вы все уже согласились допустить господство немногих лиц, которые в силу своего авторитета, захватили казну, армию, царство и провинции и построили себе из костей ваших несокрушимый оплот? И вы, народная толпа, подобно скоту, отдаете себя в распоряжение, на потеху отдельных господ, после того как с вас все сорвано, что вам оставили предки. Только одно осталось: вы сами своими голосованиями возвышаете над собой людей, которые по-старинному были бы только старшинами, а теперь стали владыками». Domini в приложении к магнатам, это — знакомое нам из Ливия словечко Макра. Характерно это противоположение старинных истинно республиканских praesides и новых подавляющих монархическим авторитетом, лишь фиктивно избранных народа. Макр применяет, очевидно, знакомую политическую формулу, может быть,

им же пущенную в обращение. Судя по этим выражениям, демократическая партия, насколько Макр отражает ее воззрения, не ждала ничего хорошего от императоров.

В дальнейшем ходе речи трибун, нападая на магнатов, разделивших между собою все блага, предлагает народу: «Перестаньте проливать кровь из-за них; пусть они по своему усмотрению распоряжаются командованиями и захватывают должности, пусть добиваются триумфов, пусть, водрузив свои гербы, преследуют Митридата, Сертория и уцелевших изгнанников, но вы себя-то освободите от опасности, не прилагайте усилий, не приносите жертв, которые для вас ничем не вознаграждаются. Разве только, — предостерегает еще раз трибун, — они вздумают внезапно наградить вашу гражданскую службу хлебными раздачами; так ведь этим они лишь оценят свободу каждого из вас в 5 модиев — пропитание не больше тюремного пайка».

В этих словах нечто большее, чем одна только ссылка на средство в виде военной забастовки, которым располагает народ для вынуждения уступок со стороны аристократии. Само устранение колониальных императоров и их предпринимательской политики является важной целью в глазах агитатора. След, мысль речи может быть и так выражена: интересы Италии, интересы народных масс слабо затронуты завоеваниями; но политика расширения включает в себе серьезную опасность для внутреннего строя; приближается самодержавие военных вождей. Поэтому помните, что, выбирая консулов, вы раздаете командования и открываете новые войны, а этим снова и снова усиливаете их авторитет. В согласии с этим предостережением народу, один из демократических вождей легендарной истории выставляет такое требование: «Нужно сровнять с землею все эти консульства и диктатуры, чтобы римский народ мог поднять голову свою»¹.

Пользуясь речами и драматическими картинками Ливия, мы можем восстановить и другие черты, характеризующие задачи и способы борьбы демократической партии. В несколько, правда, неопределенной форме один из агитаторов призывает массу плебеев соединиться и организоваться для борьбы. «Когда же вы сознаете свою силу? Ведь это сознание природа дала даже бессловесным животным. Считите только свои силы, как много вас и как мало противников ваших! Но даже если бы вам при-

¹ Liv. VI, 18.

шлось биться с ними один на один, насколько горячее вы стали бы защищать свою свободу, чем они свое господство. Покажите же, что вы готовы действовать силой, и они сами отступятся от своих притязаний. Вы все вместе должны на что-нибудь решиться, или же, если останетесь разрозненными, вам придется терпеть над собой всякое насилие»¹.

Следы организационных попыток ярко выступают в изображении Ливия. Забывая, что сначала пришлось представить плебеев сбродом случайных элементов, которым надо пройти суровую школу дисциплины для того, чтобы стать народом, Ливий рассказывает дальше о необыкновенном умении народной массы подготовить общий протест, хотя власти не дают ей сходиться на общие публичные собрания. В момент общего недовольства в разных местах города собираются ночью кружки и политические клубы, происходят таинственные заседания корпораций, римский народ как будто разбился на тысячу групп и сходов. Говорить нечего, что в этой картине, столь не подходящей к традиционному облику пассивного, медленно взвешивающего старинного плебейства, следует видеть отражение народных организаций I в. до Р.Х. С другой стороны, Ливий, опять-таки повторяя, вероятно, Макра, отмечает тот самый интерес народа к митингам, к дебатам, клубным совещаниям, в котором Цицерон видел язву своего времени. Плебейские сходы в изображении Ливия полны возгласов, перерывов, отличаются сильнейшим возбуждением и как нельзя более похожи на те, будто бы греческие, собрания, которые осмеивал Цицерон, разумея современную ему римскую практику.

В одном месте у Ливия мы находим нечто вроде формулировки системы демократических элементов римской конституции. Популярны консулы Валерий и Гораций после тирании децемвиров восстанавливают и укрепляют главные исторические приобретения народа. Прежде всего, восстанавливается палладиум гражданской свободы в Риме, закон об апелляции к народу, обеспечивающий неприкосновенность личности и недопустимость казни и телесного наказания для римлян. Легендарным создателем римской свободы приписан также закон, грозивший опалой и смертью тому, кто решится вновь учредить диктатуру, несогласную с гражданской свободой. Другими опорами демократии являются священный авторитет народных вождей-три-

¹ Ibid.

бунов и верховенство народных собраний по трибам, основанных на всеобщем равенстве.

Какое место в идеях и требованиях демократической партии занимали вопросы социальной политики? Пельман думает, что римские пролетарии и их вожди были проникнуты коммунистическими понятиями и добивались чисто революционных целей, главным образом кассации долгов и передела земли. Судя по характеру терминов, по обрывкам аргументации, он признает сильное влияние на римскую демократию утопической литературы социализма. В какой мере верна эта характеристика?

Прежде всего, необходимо разделить вопрос о кассации долгов и вопрос аграрный. Принудительная ликвидация денежных обязательств стояла в программе катилинариев в 63 г. и потом в 48-м и 47 г. в требованиях эпигонов Катилины, Целия Руфа и Долабеллы. И в легендарной истории в картинах столкновений патрициев и плебеев несостоятельные должники занимают также очень важное место: они появляются в страшном и жалком виде, в оковах на кабальном положении у своих кредиторов, они главные свидетели и носители страданий плебейских, они взывают к помощи, из-за них поднимаются восстания, народ уходит из города и грозит основаться на Священной горе, для помощи им учреждаются трибуны и т.п. Но с первого же взгляда видно, что между сторонниками банкрота в I в. до Р.Х. и легендарными пехи нет ничего общего. В сочиненной истории несостоятельные должники — плебеи, крестьяне, в конце республики вопросом о кассации долгов интересуются разоренные нобили, бывшие сулланцы, дожидавшиеся новых опал и конфискаций. Легенда говорит о смягчении старого долгового права, об освобождении кабальных, а не о перевороте в имущественных отношениях. Таким образом, легендарная история не отражает вопроса о должниках I в. Ее мотивы не имеют к тому же ничего общего с коммунизмом.

Очень возможно, что картина множества кабальных внесена в историю старинного Рима совершенно искусственным образом. В греческой и римской историографии замечается вообще воздействие астрологической идеи. Мировой цикл, небесный круг должен повториться на земле. Как там, так и здесь после катастрофы, гибели, гнета, страдания наступает избавление. Начало республики, свободной формы, возникающей после деспотизма, изображается, как наступление нового ве-

ка; оно подобно возрождению после тяжкого несения креста, после тюрьмы и оков; отсюда историку необходимо было поставить на первое место людей в оковах, чтобы усилить символическое противоположение мрака рабства и света свободы. Может быть, историк соединял еще с мыслью о наступлении новой жизни понятие о великом юбилейном сроке, когда, по старому обычаю, объявляли прощение всяких обязательств и долгов, нечто вроде общей индульгенции или амнистии; и это понятие также вело к изображению массы кабальных в оковах, жаждущих момента избавления.

Другое дело — аграрный вопрос в передаче легендарной истории. Здесь отложились гораздо более живые и реальные мотивы последних десятилетий республики. Необходимо анализировать сведения об аграрном законе и аграрной агитации, передаваемые Ливием (и Дионисием), и проверить, между прочим, утверждение Пельмана, будто в них кроется аграрный коммунизм. *Lex agraria* у Ливия появляется много раз в течение борьбы патрициев и плебеев, но всегда это — одинаково жгучий, ярко определенный лозунг. Дело идет не о многих, различных, последовательно связанных между собою предложениях и реформах относительно распределения земли. Появляется только один «аграрный закон», общий, принципиальный, упоминаемый в виде нарицательного имени. Его содержание обыкновенно остается без точного определения; оно предполагается ясным и известным. «Аграрный закон» это — тот яд, по уверению консерваторов, которым трибуны мутят народ. Погибает один из авторов аграрного предложения (С. Кассий), но, с устранением инициатора, аграрный закон сохраняет всю силу и очарование над умами. Эти формы выражения явно указывают на то, что мы имеем дело с отзвуком определенных теорий, с отвлеченной постановкой, развивавшейся в публицистике.

Задачи и идеи, проводимые в этой литературе, зависели от положения дела в аграрном вопросе после крушения реформы Гракхов. Большой запас казенной земли, из которого предполагалось произвести мелкие надель, весь почти, по крайней мере, в Италии, перешел в руки частных собственников. После закона Тория 118 г. владельцы посессий, занятых на территории старого «общественного поля», не позволили бы более трогать вопроса о праве их владения. Они сказали бы тому политику, который решился бы вернуться к принципам Гракхов: «Вы хотите экспроприации, ниспровержения частной собственности, чер-

ного передела». Такая радикальная программа, может быть, и была у восставших в 90 году италиков, но, конечно, послесулланская демократия не имела ни решимости, ни средств на такой оборот действия. Крупнейший аграрный проект этого времени, предложение Сервилия Рулла 63 г., показывает всю ее сдержанность: Рулл предлагает для устройства мелких наделов обширную закупку частновладельческих земель на средства, полученные из провинций.

Однако при всем реальном самоограничении, при всей фактической слабости демократия строила свои аграрные предложения на широкой теоретической основе. Общие начала, которыми она руководилась, ее социально-политические мотивы, даже юридическая аргументация времен 70—60 гг. I в. отразились, между прочим, в речах легендарных политиков V в. Напр., мы встречаемся с формулой: земля, взятая у врагов, должна быть разделена между бедными наивозможно более равными участками, и это на том основании, что справедливость требует наделения землею тех, кто ее приобрел кровью и потом своими. У трибунов — инициаторов старинного аграрного закона существует нечто вроде представления о страховании старости плебеев посредством наделения землей. Встречаются такие выражения: «Трибуны хлопочут об обеспечении старости вашей прочным владением; единственной же прочной основой существования может быть только создание земельной собственности и дома»¹. Эти отчетливые схематические выражения свидетельствуют о наличии социальных теорий, которые развивались в публицистике и ложились в основу политической аргументации демократических деятелей. Можно представить себе, что на митингах ораторы постоянно возвращались к теме о нормальном строе общества, где проведено всеобщее наделение землею, и вся территория раздроблена между равномерными крестьянскими хозяйствами. Теория ссыалась, по-видимому, на естественное право и считала свой идеал осуществленным в первобытном обществе.

Этот мотив, в свою очередь, своеобразно отразился в этнологической литературе того же времени. Описывая в истории Галльской войны аграрный строй германцев, Цезарь останавливается на отсутствии у них частного владения землей. Ежегодно производится общее распределение земли для обработки

¹ Liv. IV, 49.

между родственными группами. Наблюдатель приводит основания, которыми будто бы при этом руководятся вожди некультурного общества: между прочим, раздел земли должен предохранить от захвата крупными людьми латифундий и от вытеснения ими с земли бедняков; раздел земель должен также в корне пресекать возникновение денежной спекуляции, «создающей жестокие взаимные раздоры и враждебные группировки в обществе»; и, наконец, при его помощи достигается спокойное настроение в простом народе, раз он видит, что последнего человека равняют в средствах существования с самым могущественным.

Здесь, прежде всего, крайне любопытно, что римский автор без колебания приписывает полудикарям необычайную социальную предусмотрительность, подставляет к их действиям тонкие социально-политические расчеты и соображения, которые могут возникнуть лишь в борьбе со сложившимся уже неравенством, после массового обезземеливания. Но эта перестановка вполне понятна, если принять во внимание действительное происхождение мотивов равномерного раздела земель, приводимых Цезарем: демократические социал-политики конца республики переносили предлагаемый ими аграрный идеал на отдаленнейшую эпоху в развитии человечества; доказывая его целесообразность, настаивая на том, что закрепление первоначального, аграрного строя предохранило бы от великих зол неравенства, от истребительной силы капитализма, они хотели сказать, что установление аграрного равенства в современности может уничтожить создавшуюся неправду общественных отношений.

Возвращаясь опять к речам и рассуждениям об аграрном законе легендарных трибунов у Ливия, мы могли бы указать в них следы юридической постановки вопроса о возникновении права на владение землей. Кто истинные обладатели земли, из чего вытекает право на надел? У Ливия очень резко противоплагаются *agrarii* и *possessores*. Первые — лично трудящиеся на земле, буквально наши крестьяне, вторые — помещики, хозяева экономий. Права тех и других на землю неодинаковы. Однажды по поводу обсуждения аграрного предложения открывается неожиданная перспектива: если допустить раздел завоеванной земли, то придется скоро отобрать в казну (и разделить) также большую часть земельного имущества знатных, потому что у Рима, выросшего на чужой земле, почти нет территории,

которая не была бы приобретена оружием, и лишь плебеи обладают полной частной собственностью, обеспеченной правильным государственным наделением. Другими словами, если есть закрепленная собственность на землю, так это плебейская, крестьянская; патриции-посессоры сидят на земле оккупированной, т.е. в принципе оставшейся чужою, следовательно, являются узурпаторами.

Оборот доказательства чрезвычайно оригинален. Конечно, в I в. знали, что не все крупное землевладение получилось из оккупации. Демократы нашли возможность, однако, обобщить недавний факт массового превращения оккупации в крупную собственность и сделали из него общее заключение о способе образования крупной собственности. Отсюда получилось нападение приблизительно в такой форме. Давно ли произошла ваша частная собственность? — спрашивают демократы посессоров. Ее, во всяком случае, нельзя равнять с нашей крестьянской. Вы сосредоточили в своих руках землю, добытую общим трудом, общими усилиями. Все имеют одинаковое право на нее; это — право естественное, не отменяемое никаким законом, и оно может быть положено в основу земельной реформы. Демократическая теория не возражает против частной собственности; напротив, она стоит за индивидуальное владение, но лишь такое, где владелец прилагает личный труд, следовательно, за наделение равными мелкими участками.

При таком толковании становится понятен и аграрный закон легенды, как нарицательное, упоминаемый в единственном числе. Это не реальный закон о таких-то экспроприациях, покупках и наделениях землею; это — принцип или основной параграф естественного права, который реформаторы хотят воплотить в реальные формы. *Lex agraria* поэтому почти буквально соответствует тому, что в публицистике, в юридической и социалистической теории XVIII в. называлось *loi agraire*. Самый термин был заимствован французским Просвещением из античного Рима, и таким образом под одним названием встретились два очень похожие понятия. *Loi agraire* также обыкновенно не разъяснялась в деталях, но теоретический смысл требования был ясен и точен. В эпоху развития крупной собственности и разорения крестьянства публицисты демократического направления ставили вопрос о происхождении частной собственности на землю и приходили к формулировке естественного аграрного права, а от него к практическому выводу: приближе-

нием к естественной норме было бы использование всей доступной земли и равное наделение мелкими участками.

Без всякого колебания мы должны признать вместе с Пельманом наличие демократической и в частности аграрной публицистики в последние десятилетия республики и признать также ее влияние на речи, на агитацию политических деятелей. Но мы совершенно отказываемся видеть в этой публицистике коммунистические идеи. Правда «земля — общее достояние, поскольку она отнята у врага общими силами»; но отсюда вытекает только право каждого воина и работника на личный надел. Позднейшие римские демократы, по-видимому, покинули принцип национализации земли, проводившийся Гракхами. Мы уже ничего не слышим более об условном владении, о наследственной аренде участков, выдаваемых из казенной земли. При наделении плебеев предполагается окончательное отведение им земли в полное владение.

Хотя анализ данных, находимых у римских историков, привел нас к другим выводам, чем Пельмана, но мы вполне можем согласиться с немецким историком, что сведения эти крайне важны для характеристики социальной борьбы и в частности демократической программы и тактики послесулланской эпохи. У демократической партии были выдающиеся ораторы и публицисты; вожди ее умели развить широкую и живую агитацию в Риме; их предложения отличались реальным характером и в то же время обнаруживали богатство и смелость социально-политических идей.

И, тем не менее, дело демократии клонилось к упадку. У нас невольно получается, что партия популяров этого времени, располагая превосходным штабом, имела слабую и расстроенную армию. У историка-демократа есть намеки на это положение, когда он говорит, что плебеи (легендарные) плохо слушались своих вождей-трибунов, не вникали в сущность выданных ими требований, оставляли их в самые решительные моменты. И это понятно, так как в составе партии сулланская реакция должна была произвести глубокую перемену. Аппулей Сатурнин и Ливий Друз опирались на массу италиков, на сельские элементы, которые они вызывали в Рим для важных митингов и голосований. Реформы 80-х годов, вводившие италиков в римское гражданство, казалось, могли бы только урегулировать и усилить это участие. Но следом за ними прошли сулланские истребительные войны и конфискации, крайне рас-

строившие и сократившие ряды сельской демократии в Италии. Мы не видим ее участия в реставрации демократических учреждений 70-го года и в важных голосованиях 60-х годов. Трибы нередко совершенно пустуют, будучи представлены менее чем десятком членов. Не существует более правильной организации особого вызова в Рим внестоличных граждан; Сервилий Рулл берет свой аграрный проект, очень важный для италийских крестьян, назад до голосования, очевидно, не будучи в состоянии привлечь в город нужные элементы, и этим способом уравновесить или победить враждебных проекту горожан. Революционеры почти не рассчитывают на возможность собрать сельские элементы в самом Риме: Катилина образует из них отряды на местах через своих агентов, а потом выезжает сам из Рима, чтобы стать во главе аграрной армии. Таким образом, популяры предоставлены силам только городской массы, а мы достаточно видели, в какой мере завербованы были большие группы римской *plebis urbanae* в интересы принципов и денежных сеньоров Рима. Трагизм положения достаточно ясно обрисовывается в знакомой нам речи Лициния Макра, которая может служить для характеристики оппозиции империализму и императорству. Трибун, нападая на магнатов, отмечает их трусость и непоследовательность: «Они откладывают важные для вас, граждане, решения до возвращения Помпея. Этим будто бы защитникам свободы не совестно, что без помощи его одного они не решаются ни простить наносимые им обиды, ни защищать свое право. А я считаю доказанным, что Помпей, этот молодой и уже славный деятель, лучше согласится стать во главе государства с вашего согласия, чем быть союзником их тирании, а прежде всего он будет восстановителем трибунской власти (речь Макра предполагается сказанной до 70 года). Во всяком случае, квириды, раньше каждый в отдельности из вас находил защиту в массе сограждан, а не все в совокупности дожидались поддержки одного; и не нашлось бы такого человека среди смертных, который бы один своим авторитетом мог даровать или вырвать подобные права». Последние слова отличаются некоторым республиканским пафосом; но они относятся к великому прошлому; теперь без поддержки одного из принципов демократия не может ничего добиться, и потому приходится выбирать из двух зол меньшее. Магнаты дожидаются в лице Помпея нового Суллы; они ошибутся, но и популяры, к великому сожалению, должны признать,

что им осталось только ждать всяких благ от того же Помпея. Прошло время, когда демократия могла импонировать своими собственными силами. В 60-х годах разыгрывается последняя драма римской демократии. Она ставит в последний раз крупные задачи; опять между ее фракциями происходит взаимное столкновение, вследствие которого она распадается на свои составные части и сходит со сцены.

Очень трудно разобраться в оттенках оппозиции, в переплетении группировок и личностей за это время. Первоначально около 70 года выделяются, по-видимому, три главные направления оппозиции. Одно, знакомое нам по речи Лициния Макра и отрывкам исторической работы демократа в композиции Ливия, было враждебно империализму и пыталось восстановить демократические силы Италии путем внутренней реформы. Оно опиралось, вероятно, на остатки старых независимых элементов италийского населения, на разрозненные группы крестьян бывших союзнических общин.

Другое направление, напротив, искало выхода и поддержки в широких колониальных предприятиях; сюда принадлежали, главным образом, всадники и их клиентела. Эта группа вошла в 70 году в союз с Помпеем, добивалась отмены сулланской конституции и старалась продвинуть своего императора еще дальше на пути крупных и важных командований. Целый ряд деятелей разного происхождения примыкал к этой группе и искал своего счастья в комбинации с Помпеем: Цицерон, выдвинувшийся в 70 году в процессе против сулланца Верроса, Габиний и Манилий, трибуны 67-го и 66 года, доставившие Помпею командование на море и потом на Востоке, небогатый патриций Кай Юлий Цезарь, породнившийся с плебейским родством Мария и впервые выступивший перед народом в 66 г. с горячей рекомендацией Помпея.

Наконец, третья группа отличалась наибольшей пестротой. В ней был один из крупнейших магнатов, бывший сулланец Красс, который также рассчитывал на восточное командование и не хотел уступать первенства Помпею; был младший Сулла и вообще большое количество сулланцев, успевших разориться или недовольных тем, что их оттеснили другие. Видную роль в этой группе играл, между прочим, бывший консул, выключенный потом из сената и снова начавший политическую карьеру с преторства П. Лентул Сура. Они искали теперь соединения с теми самыми элементами, которыми пренебрегли

или которых преследовало сулланство в 80-х годах: с мелкими ремесленниками и рабочими в Риме, которые группировались в корпорации, с сельским пролетариатом, отчасти даже с людьми, обезземеленными Суллой и сулланской реакцией. Немалый талант нужен был, чтобы сплотить эти разнородные элементы, и такой талант именно нашелся у знаменитого составителя «заговоров» Катилины. Эта группа оппозиции была самой опасной для сенатского правительства. Ее участники собирались, по-видимому, предупредить Помпея, который, казалось, во главе армии и в обладании восточных богатств неминуемо идет к восстановлению сулланской монархии; они думали захватить власть в Риме и в Италии, отеснить всех противников и противопоставить восточному императору свою диктатуру, свое правительство. Но, как уже сказано, направления и оттенки переплетались. Один из самых гибких и неустойчивых политиков, Цезарь, сначала был сторонником Помпея, потом примкнул к революционным сулланцам, участвовал в комбинациях катилинариев и фигурировал на втором месте после посла Красса в списке временного правительства, которому предполагалось вручить неограниченную власть против армии Помпея. Еще четыре года спустя он уже ищет нового сближения с Помпеем и устраивает триумвират с ним и Крассом.

Во взаимном положении всех трех групп оппозиции произошли вообще существенные перемены в течение 60-х годов. Группа, враждебная империализму и представлявшая интересы Италии, попыталась выйти из пассивного состояния, в котором она находилась, и выдвинула смелую задачу: воспользоваться новыми имперскими богатствами, чтобы на основе их восстановить крестьянскую Италию. Такова была тенденция аграрного законопроекта, который можно считать крупнейшим производением демократии за всю эпоху ее существования.

Пятилетие от 63-го до 69 года, от консульства Цицерона до консульства Цезаря, выделяется целой серией аграрных предложений: за проектом Сервилия Рулла идут ротации Флавия, Плотия и самого Цезаря. Все они основаны на одинаковых принципах: покупка земли для наделов и широкое применение средств, доставляемых завоевателями и колониальными владениями. Они представляют возрождение аграрного вопроса, поднятого Гракхами, продолженного Сатурнином и Друзом и отстраненного реакцией, но вместе с тем они носят на себе печать нового империалистического расширения 60-х го-

дов. Во главе этой группы стоит оригинальный, сколько можно судить, проект конца 64 г., принадлежащий трибуну Рулле; остальные — его более и менее ослабленные копии.

В исторической традиции законопроект 64 г. Сервилия Рулла не посчастливилось. О нем не говорят ни историк междоусобных войн, ни биографии Цезаря, Помпея, Цицерона, ни Саллюстий, собравший материал для выяснения обстоятельств, предшествовавших большому заговору Катилины. Все, что мы знаем о личности автора, о содержании проекта и обстановке его внесения, заключается в трех речах Цицерона. Большинство новых историков поддавалось внешнему впечатлению, которое производит молчание источников, и высказывалось пренебрежительно о проекте Рулла и о самой личности, считая его подставной фигурой, за которой строили свои высокополитические планы Цезарь и Красс. Но ближайший анализ даже такой пристрастной и местами карикатурной характеристики, как цicerоновские речи, должен показать богатство и оригинальность замысла трибуна, выбранного на 63 год.

Это был широко задуманный проект финансовой реформы империи в связи с аграрной реставрацией Италии. Основная цель нового закона заключалась собственно в последней реформе, в обширном наделении землею, в создании нового крестьянства. Но старых запасов казенной земли, которые служили материалом для гракховских наделов, почти не имелось в Италии, если не считать остатков *agri publici* в Кампании. Прежние оккупации уже около 50 лет тому назад были превращены в частное владение. Следовательно, старый способ ограничения земельных захватов, производившихся крупными хозяевами, и нарезки наделов из излишков был закрыт. При желании идти закономерным путем, не прибегая к революционной экспроприации, демократам оставалось только предложить покупку земли на общественный счет. Сервилий Рулл самым определенным образом объявил этот новый принцип приобретения земли для наделов; но он также впервые сформулировал задачу использования для аграрной цели новых имперских доходов. В свое время в аграрной реформе Тиберия Гракха азиатские деньги, доставшиеся Риму по наследству пергамского царя, были хорошим подспорьем, но все-таки играли довольно случайную роль. Напротив, весь проект Рулла стоит и падает вместе с новым широким применением колониальной добычи и доходов, иначе говоря, вместе с полной реорганизацией имперских финансов.

Трибун предлагает воспользоваться добычей в ценностях и деньгах, которые поступили вследствие завоеваний последнего двадцатипятилетия, всем, что командиры восточных походов собрали в виде контрибуций или отняли у сопротивлявшихся. Затем должны поступить в продажу приобретенные Римом в завоеванных областях угодья, земли, леса, ловли, заводы, строения и т.п., словом все, что можно было назвать провинциальным имперским *ager publicus*. Из перечисления Цицерона видно, что имелись в виду казенные владения чуть ли не во всех провинциях, в Азии, Вифинии, Ликии и Киликии, в Македонии, Ахайе, Сицилии, наконец, у старого и нового Карфагена, т.е. в Африке и Испании.

Несмотря на большие размеры сумм, которые должны будут получиться от продажи всех этих угодий, проект Рулла предусматривает еще другую крупнейшую статью провинциальных доходов: оброки, пошлины и арендные сборы с подчиненных земель и общин. Трибун предлагает и эту группу объявить принципиально подлежащей продаже и производить самую продажу в известной очереди по списку. Из цicerоновского изложения не видно, в какой форме предполагалась продажа и кто должен был явиться покупателем у государства: вероятно, продажа означала выкуп повинностей, наложенных завоевателем со стороны местного населения. Мы увидим дальше, какие важные перемены обещал этот выкуп во всем строе римской провинциальной администрации.

Для производства всей сложной финансовой операции предлагалось создать особый новый орган с чрезвычайными полномочиями, комиссию децемвиров с преторской властью, выбираемую половиною триб. Децемвиры должны были, прежде всего, подобно гракховским триумвирам, составить опись всей казенной земли в провинциях, решая при этом полномочно спорные вопросы о праве владения и располагая полным авторитетом для возвышения взносов с *ager publicus* в любом размере. Предлагалось как бы сосредоточение управления государственных имуществ в особом ведомстве с выделением его от финансового контроля сената. Децемвиры должны были далее получить в свое распоряжение отдельную кассу; к ним поступала бы вся выручка от продажи государственных имуществ, от выкупа повинностей, от сбора увеличенного налога с пользователей казенной земли.

Та же финансовая комиссия должна была сделаться и землеустроительной. Какие земли должны были поступить в ее владение и распоряжение? Одна группа была предусмотрена уже в законопроекте, именно остатки «общественного поля» в Италии, Кампанский агер и Стеллатский, которые предполагалось изъять из пользования арендаторов и раздать колонистам участки по 10 югеров. Из Кампанского агер должно было, таким образом, получиться до 5000 наделов; но владельцы их составляли бы только небольшой разряд среди новопоселенцев, наилучше устроенный в особенно плодородной области. Далее предполагалось множество других наделений на покупаемых территориях. Децемвирам предоставлялось определить те земли, которые были бы желательно приобрести для устройства крестьянских наделов. Этот параграф проекта как будто свидетельствует в пользу провозглашения принципа принудительного отчуждения земель. Но, с другой стороны, Цицерон говорит, что трибун не решился объявить принудительности и предоставил дело добровольным соглашениям, а это должно будет открыть полный простор злоупотреблениям и взяткам со стороны членов комиссии.

Неясен еще другой важный пункт проекта Рулла, отношение его к сулланским наделам. При всяком приступе к аграрной реформе партии должны были с особенно напряженным вниманием ждать, как отнесется инициатор к большой экспроприации, совершенной всесильным диктатором в интересах своих крупных и мелких вассалов. Будет ли поднят вопрос о правильности этих раздач, совершенных на новом праве, при произвольном изгнании старых владельцев, будет ли сделана попытка восстановить права этих владельцев, или, напротив, экспроприация будет окончательно, юридически закреплена? Положение Рулла в этом смысле было очень затруднительно. Согнанные Суллою владельцы составляли, может быть, главную заботу демократической партии, во всяком случае, они должны были образовать важную категорию в числе вновь наделяемых колонистов. С другой стороны, опасно было затрагивать сулланцев, составлявших значительную силу: демократы не могли решиться предпринять законодательный поход для пересмотра права их владений, полученных в гражданской войне. В то же время многие сулланцы желали отделаться от своих земельных владений, и покупка их участков являлась особенно подходящей, может быть, именно для водворения прежних экс-

проприированных владельцев. В этом смысле, вероятно, и был составлен соответствующий параграф проекта. Для противника открывалось слабое место, и Цицерон дает понять, что трибун, при своей готовности заплатить сулланцам полную сумму стоимости их владений, собирается утвердить в правах владения недавних узурпаторов, собственников, пользующихся наихудшей репутацией. Какое скандальное снисхождение со стороны вождя демократии!

Намеренно ли Цицерон улавливал и преувеличивал некоторые неслаженности и частные противоречия проекта или действительно предложение Рулла заключало в себе недоговоренность? Если даже допустить последнее, то все-таки *lex agraria* 63 г. остается замечательным документом социально-политической мысли римской демократии. Недаром так всполошились противники и недаром выставили они для возрождения своего лучшего оратора, которому, в свою очередь, пришлось поработать над опровержением широкого и сложного проекта, обещавшего реформу чуть ли не всех финансовых, административных и земельных отношении в империи. Возражения Цицерона помогают нам выяснить всю важность предполагавшихся перемен. В свою очередь речи Цицерона об аграрном законе отмечают крупный кризис в его собственной политической карьере; они обнаруживают в то же время глубокий и окончательный разлад между разными группами оппозиции. Надо иметь в виду, что Цицерон, выступивший в политике с 70 года под эгидой Помпея и в интересах денежных капиталистов, считался в рядах партии популяров. В качестве кандидата этой партии он прошел на выборах в конце 64 года, и об этом он сам заявляет в своей речи об аграрном законе, которая была произнесена в первые дни его консульства.

Положение консула, избранника демократии, довольно трудно. Он должен принять наследие своей партии, между прочим, и традиции великих ее основателей, Гракхов; он не может не одобрить в принципе аграрного закона. А между тем он должен, во что бы то ни стало и целиком, отвергнуть проект. Причина как нельзя более ясна: закон Рулла наносит решительный удар всему управлению римских откупщиков, а вместе с тем и авторитету того императора, которого они поддерживали на Востоке. В самом деле, главные статьи государственной аренды будут изъяты из сдачи на откуп и посредством продажи капитализованы; вместо цензора, ведущего аукционы с ком-

паниями откупщиков, в управление государственными имуществами вступит новая, очень деятельная и широко наделенная полномочиями комиссия с собственной кассой и своим большим штатом чиновников. Цицерон ссылается на то, что одних землемеров потребуется децемвирам в количестве 200 ежегодно, не говоря о множестве писцов, курьеров, бухгалтеров, техников. Наконец вместе с выкупом оброков, пошлин и повинностей, которые эксплуатировались до сих пор откупщиками, местное население провинций должно будет освободиться от давления этих посредников и получить самостоятельное управление своими финансами. Цицерон возмущен объявленным в аграрном проекте отчислением в продажу тех угодий, из которых в настоящую минуту извлекают доход откупщики. Устранение этих посредников, доставляющих казне важнейшие взносы подданных, будет, по его мнению, иметь один только результат — полную неустойчивость в денежных делах. И уже одно вероятие такого оборота успело, как он говорит, привести к потрясению кредита на римской бирже.

Еще другой пункт глубоко возмущает Цицерона — именно, дерзкое покушение трибунского проекта на авторитет великого восточного императора Помпея. В самом деле, изумительное, небывалое притязание! Помпей воюет, правда, по поручению народа римского, но ему передано неограниченное право распоряжаться в стратегическом, финансовом, административном отношении, он приобрел громадную добычу, и теперь обыкновенный гражданский магистрат, скорее агитатор, чем властное лицо, осмеливается требовать отчета от крупнейшего *princeps*'а, собирается установить какую-то новую, тоже чисто гражданскую комиссию над провинциями, над новыми колониальными владениями и над самим императором, одолевшим столько царей! Цицерон не находит слов, чтобы выразить свое негодование; он старается высмеять вконец автора проекта и изображает карикатурную картину, как Рулл в качестве трибуна и децемвира приедет в Понт, бывшее царство Митридата, и вызовет к себе Помпея властным приказом: «Прошу принять меры, чтобы прибыть ко мне немедленно в Синоп и привести военные подкрепления, пока я буду производить распродажу тех земель, которые ты приобрел своей работой».

Если и понятны в данном случае чувства Цицерона, столь преданного Помпею, то все-таки остается поразительным, что он решился на такой ораторский эффект перед массой собрав-

шегося на митинге народе. Очевидно, оборот его речи произвел нужное впечатление. Римской толпе показалось тоже смешным притязание трибуна стать выше императора, хотя этот трибун был ее ближайший представитель и уполномоченный. Одно это обстоятельство отмечает падение трибунского авторитета со времени Кая Гракха и Меммия, властно вмешивавшихся в дела провинциального управления и командования. Этого мало; оборот речи у Цицерона показывает, как далеко шагнуло развитие принципата, т.е. преобладание немногих магнатов, выросшее почти вне республиканских учреждений и традиций: не только сам Цицерон привык говорить и действовать, как вассал Помпея, но он не сомневается, что в стоящей перед ним массе достаточно много прямых и косвенных клиентов Помпея, что в целом она, во всяком случае, проникнута сознанием своей зависимости от великого командира.

Но в таком случае и для нас возникает вопрос, какими же средствами Сервилий Рулл надеялся провести свой проект и в особенности, как он рассчитывал подчинить императора своей финансовой и землеустроительной комиссии? Если бы даже он добился голосования, выгодного для аграрного закона, то необходимо было противопоставить силе восточного правителя силу в Италии. Сервилий Рулл был представителем мирной группы среди оппозиции; но одними своими средствами эта группа не могла добиться цели и заставить служить империю Италии; с неизбежностью она должна была или сблизиться с революционерами, или уступить им место. На приближение именно такого поворота вещей есть очень определенные намеки в первой цicerоновской аграрной речи, произнесенной не в народном митинге, а перед сенатом. Цицерону кажется крайне опасной мысль Рулла разделить неподеленный до сих пор Кампанский агег новым поселенцам и создать себе таким образом в Капуе и около нее гвардию приверженцев. Перед народом на митинге Цицерон собирается говорить о том, что нельзя выпускать из рук Кампанию, «первейшую статью общественного достояния, великолепное владение народа римского, житницу и запас для городского хлебоснабжения и для войны». В сенате нет нужды раскрашивать эти декорации, можно быть откровеннее: «Я буду говорить об опасности для благосостояния и свободы. Я спрашиваю вас, останется ли хоть что-нибудь в государстве незахваченным, сохраните ли вы тень независимости и достоинства, когда Рулл и те, кого вы боитесь гораздо более

чем Рулла, окруженные всей массой пролетариев и беспутных людей со всеми своими силами, в обладании золотом и серебром, займут Капую и другие ближние города. Вот чему, отцы сенаторы, я буду сопротивляться резко и непримиримо, и я не потерплю, чтобы в мое консульство выступили со своими планами люди, которые уже давно замышляют ниспровергнуть существующий строй»¹.

Цицерон понимает, конечно, Катилину и его сторонников, которые скоро заставили говорить о себе еще больше. Он еще не знает наверное, есть ли связь между руллантами и катилинариями, но он крайне боится этого союза, угрожающего владельческим классам, и старается найти ему противовес. В этом смысле интересен еще один оборот его речи к народу. Цицерон хорошо понимает, что аграрный проект важен для сельского населения Италии, но довольно безразличен для городского плебса. Надо совсем отвлечь от Рулла горожан; для этого Цицерон и пользуется некоторыми неудачными выражениями трибунской речи. Трибун сказал в сенате, что «городской плебс взял себе слишком много силы в государстве: нужно вычерпать его. Вы видите, он употребил такое слово, как будто он говорит о помойной яме, а не о наилучшем разряде граждан. Слушайте же меня, квириды; держитесь крепко за щедроты, за свободу подачи голосов, за ваше достоинство, за выгоды городской жизни, игры, праздничные дни, старайтесь сохранить обладание всеми этими выгодами; ведь не захотите же вы обменять на высохшие пустыри Сипонтины и болота Сальпинские, полные вредных миазмов, все, что дает вам город, весь этот блеск солнца республики»².

Перед нами одно из великолепных словечек Цицерона, превосходный комплимент слагающейся системе кормления зависимой массы. В речах об аграрном законе мотив этот подробно развит: Цицерон резко противопоставляет интересы столицы и массы крестьян, низших классов Италии. В данное время провинции, военная добыча, казна, в качестве коллективного достояния, служат римскому плебейству, он должно крепко уцепиться за свое владение и не дать уйти всему доходу на мелкие доли для устройства поселенцев. Богатство Рима потеряет всякую цену и смысл, исчезнет бесследно, если осуществить этот

¹ Cic. De leg. agr. I, 7, 22.

² Ibid. II, 26, 70.

идеал общего равенства в обладании небольшими участками. Весьма фривольно позволяет себе Цицерон такое сравнение: «Если бы стали делить Марсово поле и каждому из вас присудили бы те два фута, которые он занимает, стоя в собрании, вы бы предпочли пользоваться всем полем нераздельно, чем иметь в собственности пустяковую частицу». Таких дурных шуток нельзя было бы говорить в лицо крестьянам, нуждающимся в земле, но Цицерон и не видел их перед собою на митинге. В том же отсутствии *agrestes* заключалось и несчастье Рулла. Это было причиной, почему он, в конце концов, должен был взять назад свой проект.

В аграрном законе Рулла нет социалистической идеи. Он повторяет только старинное представление о нормальном строе, при котором преобладает крестьянская собственность и нет безземельных; в этом только и состоит та *dulcedo legis agrariae*, которую историк-аристократ считал ядом, прививаемым народу трибунами. И Цицерон, возражая против отстранения откупщиков из провинций, против расхищения и вычерпывания казны на пользу безземельных, вовсе не сражается с социалистическим призраком. Правда, он в одном месте говорит: «Если комиссия десяти начнет распоряжаться наследством народа римского, это будет значить, что вы согласитесь выбрать еще комиссию ста, которая распорядится частными наследствами. Кто же тогда будет поверенным и защитником народа римского?»¹ Но эти слова не заключают в себе протеста против угрожающей общей экспроприации; это такой же прием, как и плохой каламбур о разделе Марсова поля на квадратные футы.

Эпизод выступления Рулла обыкновенно не занимает видного места в изображениях римской истории. Нам пришлось на нем подробно остановиться, и не потому только, что сам проект выдается богатством и оригинальностью содержания. Вся история внесения, защиты и отвержения закона 63 года крайне любопытна для выяснения группировки римских партий; она сама образует важный кризис партийных отношений. Из трех групп оппозиций, которые были отмечены выше, между первыми двумя существовал союз, заключенный в 70 году. Соединение это было весьма недружным; едва ли миролюбивые популяры, защитники интересов сельского населения Италии, охотно

¹ Cic. De leg. agr. II, 31, 85.

подавали голоса за крупную войну на Востоке и за чрезвычайные полномочия Помпея. Припомнить только речь Лициния Макра и враждебное отношение к войнам у Ливия, где он следует демократу-историку. В лице Сервилия Рулла сторонники аграрной демократии решили теперь взять свою долю из торжествующей политики империализма, которой они вынужденно помогали. Но это значило вооружить против себя своих союзников, денежных людей и их клиентелу.

В лице Цицерона они встретили самый резкий отпор; но, возражая против аграрной реформы, он сам должен был вскрыть реальное содержание своей «популярной программы». Она оказалась консервативной; Цицерон поспешил уверить сенат в том, что он будет энергически защищать существующий порядок; еще немного спустя, и с выступлением катилинариев он устроит знаменитую *concordia ordinum*, картель сенатской аристократии и всадников против революции, сблизит недавних врагов 70 года.

Уходя раз и навсегда из рядов оппозиции, Цицерон успевает ясно очертить и лагерь противников, т.е. двух оставшихся групп оппозиции: за Руллом, говорит он, поднимаются люди, которых «вы боитесь еще больше». Это катилинарии: до крушения Руллова проекта и до разрыва демократов с империалистами они должны были держаться в тени; это время так называемого первого заговора Катилины, т.е. попытки нескольких сулланцев с прибавлением Цезаря пройти на высшие должности и устроить своевременное правительство в Италии. Теперь, когда ожидания и расчеты единомышленников Рулла рушились, значительная часть мирных, вероятно, готова была перейти к крайним, искать выход в насильственном перевороте. Число революционеров должно было возрасти. Вместе с тем они должны были расширить свою организацию и поспешить с осуществлением своих планов.

Таким образом, сложился второй «заговор» Катилины. В сущности, об этом большом движении нам приходится судить по такому же одностороннему источнику, каковы и речи Цицерона в качестве свидетельства о проекте и агитации Рулла: о заговоре Катилины все-таки первый и единственный свидетель — Цицерон в его четырех катилинарных речах. Саллюстий в своей талантливо написанной книжке «о заговоре Катилины» в сущности, молчаливо повторяет характеристики Цицерона.

То, что составляет оригинальное достояние Саллюстия — пессимистическая философия истории с драматическими выпадами на обе стороны, против аристократии и против плебейства, будто бы одинаково проникнутых моральной порчей и гибнущих во взаимном ожесточении, лишь способно ослабить реальные черты изображаемого им движения. В новое время едва ли давали себе ясный отчет в значении того несчастливого для нас обстоятельства, что об одном из крупных общественных явлений конца римской республики сохранилось единственное прямое свидетельство, притом такое неполное и одностороннее. Но мы поможем себе легко представить, в каком затруднении были бы последующие за нами поколения, если бы, например, о движении чартистов они могли судить только по каким-нибудь статьям реакционного журнала или несколькими речам высококонсервативного парламентского оратора.

Кто входил в состав катилинариев и каковы были их цели? Цицерон старается свести все к противоположности благонамеренных, консервативных зажиточных элементов, с одной стороны, а с другой — врагов общества, которые доведены до отчаяния и революции разорением и бедностью. Однако когда дело идет о более точном определении категории всех сочувствующих движению, Цицерон вынужден признать, что дело гораздо сложнее. Перечисляя разряды катилинариев, он на первом же месте называет людей, обладающих земельной собственностью, иногда даже значительной, но попавших в долги и рассчитывающих на революционный банкрот, он спешит сказать им, что их расчет ошибочен: они только потеряют от революции, которая не остановится перед их имуществом; они должны идти заодно с консерваторами и только тогда спасут свои владения. Не безнадежна в его глазах и вторая категория: это тоже обремененные долгами, но предполагающие поправить свои дела политической службой, захватом доходных должностей. И их Цицерон надеялся удержать от присоединения к революционерам: ведь им придется идти в союзе с самыми сомнительными элементами, гладиаторами и т.п., хотя они сами полагают, что им удастся удержать руководящее положение, но их могут оттеснить более отчаянные и анархические союзники. И только после этих двух категорий людей «порядочного общества», Цицерон начинает, уже в другом тоне, перечислять разных *perditi* и *sclerati*, жадных, несытых или разорившихся солдат-сулланцев, увлекающих за собой бедноту из деревень, беспутных прожига-

телей жизни, преступников и, наконец, настоящую гвардию отчаянных сподвижников революционного вождя.

Таким образом, Цицерон должен признать, что в движение захвачены различные слои общества и частью люди его собственного звания; да и в самом деле, кто такой был сам Катилина, или Цетег, или бывший консул Корнелий Лентул, который применял к себе предсказания о господстве в Риме трех Корнелиев, причем первыми двумя, его предшественниками, следовало считать Цинну и Суллу? Любопытно, что и при пересмотре консервативного лагеря у Цицерона повторяется опять то же затруднение: разряды благонамеренных, надежных граждан не так уже отчетливо и хорошо заполнены. За нас (т.е. сенат), говорит он, люди всех классов: всадники после многих лет раздоров опять соединяются с нами (следует прибавить, что этот союз только что устроен Цицероном). За нас эрарные трибуны, влиятельная группа; за нас все мелкое чиновничество, канцелярия казначейства. Затем уже перечисление идет не в таком уверенном тоне. Цицерон силился изобразить напряженное ожидание, в котором стоит перед сенатом масса свободных граждан, между ними самые беднейшие. Вольноотпущенники, у которых что-нибудь есть, «должны» держаться за новую родину свою. Да и рабы, если их положение сколько-нибудь сносно, не одобряют дерзких граждан. Пробовали агитаторы действовать на ремесленников и лавочников, «но ведь этот разряд, пожалуй, более всего любит и ценит покой». Все эти будто бы прочные надежды консула больше похожи на его горячие желания; в его словах сквозит чувство неуверенности при виде мрачно молчаливой толпы, собравшейся кругом сената в ожидании приговора над арестованными заговорщиками. Не много доверия внушает ему и остальная страна; он рассчитывает определенно на «цвет всей Италии», на колонии и муниципии, т.е. правящие слои городов, которые ответят Катилине страшной мстью, «нагромодив по деревням большие могильные курганы». Но мы не видим потом участия муниципий в подавлении восстания; напротив, среди сельского населения видно много людей, готовых активно поддержать революцию в Риме и голосами, и оружием.

Да и вообще всякий раз, когда Цицерону приходится определять движение в целом, он указывает на давнишнюю его подготовку, на затянувшийся общий кризис. Напрасно думать, что участников заговора немного; это зло рассеяно гораздо шире,

чем кажется: оно не только распространилось по всей Италии, но перешло Альпы и, пробираясь тайными путями, захватило уже многие провинции. Сравнивая катилинарное движение со всеми предшествующими социально-политическими волнениями, Цицерон видит в нем самый крупный революционный кризис, какой когда-либо переживал Рим: если предшествующие столкновения могли вести к изменению государственного строя, то теперь дело направлено к разрушению его.

Конечно, в этих характеристиках много преувеличения со стороны человека, занимающего высший пост в республике и всеми силами старающегося поднять свою заслугу спасения отечества. Надо еще прибавить, что речи Цицерона дошли до нас не в оригинальном виде, как они были произнесены, а в той искусной обработке, какую придал им автор *post factum*, успевши многое придумать и потом сознательно иное ослабить, для поучения потомства.

К числу преувеличений Цицерона принадлежит та его формула, будто революционное движение, давно уже создавшее общую неуверенность, лишь случайно созрело и вырвалось именно в его консульство. По-видимому, силы, организация и социальные мотивы катилинариев были довольно слабы до 63 года, до вступления Цицерона в консульство. Цицерон не хочет или не может признать, что на него самого и на его партию в значительной мере падает ответственность за внезапный рост движения: не они ли своим сопротивлением аграрному закону Рулла откинули многих мирных демократов в революцию?

Но еще надо разобраться в том, что такое в действительности была революция, замышлявшаяся в 63 г. Катилиной и его сообщниками, каковы были первоначальные намерения той решительной части оппозиции, которая готовила переворот? Сам Цицерон, а за ним Саллюстий изображают нам Катилину и его сообщников в театральном-ужасном виде какой-то банды потерявших честь и совесть грабителей и убийц, врагов культурного общества, лишенных какой-либо идейной программы. Эта характеристика катилинариев оставалась на долгие века, получила силу неразрушимого изваяния и вошла в литературный и даже школьный обиход новой Европы. Цели заговорщиков сводились будто бы к убийствам в Риме и во всей Италии, террору оптиматов посредством поджога города, истреблению *principes* и возмущению рабов.

Но в странном контрасте с планом такого беспредметного разрушения находится программа, которую Саллюстий вкладывает в уста самого Катилины при изображении одного из собраний. Агитатор обращается ко всем тем, кто отодвинут от дел, разорен, лишен дома, заработка, пропитания вследствие господства олигархии магнатов; он призывает к демократическому перевороту; его слушатели — люди всякого звания, но, во всяком случае, они состоят из недовольных подчиненных положением в республике, лишенных участия в имперских доходах и выгодах. Этих людей масса; непонятно только, зачем Саллюстий заставляет Катилину увести их в глубину своей квартиры, чтобы выслушать это обращение, и какой смысл для заговорщиков, если бы действительно налицо был заговор, имела бы общая агитационная речь.

Как мало вообще для предприятия катилинариев подходит традиционное обозначение заговора, видно из одного характерного места у Цицерона. Немного позднее, защищая Мурену, соперника Катилины на консульских выборах 63 г., обвинявшегося в подкупе, Цицерон вспоминает, как велика была опасность от Катилины; свою оценку он старается подкрепить выражениями из речи агитатора: по его словам, Катилина говорил, обращаясь к своей партии, «что только тот может быть верным защитником страдающих, кто сам несчастен; обездоленные и притесняемые не должны верить обещаниям людей, живущих в благополучии и достатке; если они хотят взять назад то, что у них отнято, и опять наполнить чашу жизни, пусть глядят на него, своего вождя, осталась ли у него хоть кроха владения, и пусть взвесят, на что он способен дерзать: нужно, чтобы тот, кто станет вождем и знаменосцем бедняков, сам был безгранично смел и очень беден»¹.

Как согласить наличность таинственного заговора кучки террористов и подобные агитационные обращения к широким кругам населения? Как представить себе вообще, что с одной стороны приготавлился в величайшем секрете какой-то адский план, и в то же время происходила открыто вербовка сторонников в Этрурии и Апулии, организовался вызов сулланских ветеранов в Рим на голосования? Читая обвинения, выставленные Цицероном, ясно чувствуешь, что доказательств никаких нет в пользу существования террористических замыслов; даже во

¹ Cic. P. Mur. 25, 50.

второй своей речи, после отъезда Катилины из Рима, которого так добивался Цицерон, глава правительства все еще неопределенно ссылается на глухую общую молву, на распространенные страхи. Доказать удастся только наличность переговоров между оставшимися в Риме единомышленниками Катилины и альпийским народом, аллоброгами, которые, по-видимому, примкнули к движению в надежде на объявление общего банкрота в Риме, чтобы ликвидировать свои долги у римских ростовщиков, успевших к ним проникнуть.

Вообще чем больше присматривается мы к реальным подробностям движения 63 г., лишь случайно проскальзывающим у Цицерона, тем менее кажется нам подходящим традиционное название «заговора». В Риме, несомненно, сидят главные организаторы, они рассылают своих агентов в различные концы Италии, у них потом оказывается свое войско в Этрурии, лагерь с запасами. Но значит ли это, что они собирали беспокойные элементы только для того, чтобы в условленную минуту подвести их к Риму и, воспользовавшись этой демонстрацией, осуществить в столице убийства и захваты? Не есть ли вся эта *conjuratio* — миф, разрисованный позднее более детально драматическими чертами с прибавлением обряда смешения крови и мрачного братания сообщников?

Как ни старался потом Цицерон, при обработке катилинских речей для издания, оправдать свое поведение, и в особенности юридическое убийство сторонников Катилины, необходимостью пресечь непосредственно грозивший революционный террор, но фактов все-таки нельзя было сочинить. И он достигает своей препарацией и ретушью только того, что первая речь, сказанная в момент встречи с Катилиной в сенате 7 ноября 63 года, производит впечатление провокации. Цицерон рисует какую-то картину общей паники, виновник которой на виду у всех ходит с поднятой головой и готовит свои ужасные планы. Отчего же консул не арестует его? Ведь сенат уполномочил главу исполнительной власти на чрезвычайные меры. Потому что определенных обвинений нет, не к чему придрать. Цицерону нужны компрометирующие поступки. Если бы сделали хотя бы одно преждевременное покушение! Как досадно ему, что «заговорщики», и в особенности самый выдающийся, столь сдержанны. Как хорошо бы вытеснить их из города, побудить к отъезду, — тогда будут ясны их враждебные намерения! Цицерон как бы говорит, обращаясь к Катилине: «Все рав-

но, планы ваши нам известны, тебя лично выдали, обо всем донесли, момент упущен, отчаивайся, иди на крайность; уезжай, это тебе же выгоднее».

Неясно, что собственно заставило Катилину уехать из Рима, но отъезд его донельзя был желателен Цицерону именно в качестве компрометирующего шага: «Не одолеть бы мне этого хитрого, энергичного, деятельного, талантливого человека, — признается Цицерон потом — если бы от неясных козней в городе я его не толкнул на открытый военный разбой»¹.

Вот это восстание и было самым страшным делом, которого можно было ждать от катилинариев. Но даже из цicerоновских выражений видно, что оно не имело в виду с самого начала, что на этот путь действительно пошли с отчаяния, когда ничего более не осталось. Обыкновенно изображение катилинарного заговора начинают с известной неблагоприятной характеристики даровитого, но в конец испорченного развратника, преступного типа; отсюда заранее получается невыгодный момент для оценки движения. Попробуем отрешиться от личного элемента и начать с самого движения, поскольку оно выясняется из обстановки.

Демократическая партия вносит крупнейший проект реформы. После настойчивой агитации инициатор Рулл берет его назад. Почему? Противник отвлечет от него городских посетителей народного собрания, а сельских, которым задуманная реформа была как раз особенно нужна, привлечь и организовать оказалось очень трудно, если не совсем невозможно. Положение было несколько похоже на 90 год: всадники опять соединились с правящей аристократией против деревенской и мелкоземельческой Италии. Вероятно, часть мирных популяров отчаялась в благоприятном исходе и отступилась от политической борьбы, но другие могли решиться на союз с воинственной группой нобилей, недовольных сулланцев, эмигрантов, с рыцарским пролетариатом, если так можно выразиться. Наиболее деятельные из последней группы, впереди всех Катилина, прежде всего, хотели, как это признает и Цицерон, вытеснить правящую олигархию и занять для себя высшие должности: Катилина упорно каждый год ставил свою кандидатуру в консулы. Союз Катилины, Лентула и др. с демократами мог состоять в том, что первые, партия политического действия, принимали

¹ Cic. Cat. III, 7, 17.

на себя, в случае достижения власти, задачу провести аграрную, финансовую и административную программу 64 г. Демократическая партия должна была поддерживать их на выборах, в свою очередь катилинарии обещали доставить в город свои голосующие батальоны. Цицерон говорит, что на выборах 63 г. все видели Катилину окруженным сулланскими ветеранами, колонистами этрусских городов Арреция и Фэзул, которые бросались в глаза всякому своим грозным и вызывающим видом.

Кто такие были эти вызванные в Рим верные Катилине люди? Были ли они настоящие сподвижники и наделенные землею вассалы всесильного диктатора, пошедшие на зов одного из офицеров своего господина? Цицерон называет в числе приверженцев Катилины промотавшихся стариков. Но едва ли много таких именно ветеранов, едва ли следует верить обычному преувеличению, что сулланские колонисты прожили свои подарки и наделы и теперь искали нового случая поживиться в гражданской войне. Какие они могли быть воины? Самым младшим из тех, кто пошел в 88 г. с Суллою на Восток, было теперь 47—48 лет. Но с требованием земли могли выступить младшие дети сулланских поселенцев; отцы, памятные всем победители 80-х годов, являлись в Рим, чтобы подать голоса за известных им крупных сулланцев вроде Красса и Катилины, они готовы были в случае нужды голосовать по своим трибам и за аграрный закон. Между ними могли найтись недовольные своими участками, готовые их продать или обменять: иных уже успели заменить наследники или покупатели, опасавшиеся пересмотра прав на владение; таких непрочных или неуверенных владетелей принял во внимание Рулл в своем законопроекте, предлагая купить у них земли для новых наделов.

Так или иначе, но в этом сулланском войске, рассаженном по колониям, 20 лет спустя после его устроения были весьма различные элементы; ничего нет удивительного, что вместе с экспроприаторами 80-х годов или с их сыновьями соединились в 60-х годах разные другие аграрные слои, между прочим, и жертвы самой экспроприации. Цицерон говорит, что сулланцы увлекли много деревенских бедняков и всякий мелкий сельский люд.

Может быть, эти обстоятельства помогут нам понять и судьбу законопроекта Рулла. В конце 64 г., тотчас же после консульских выборов, когда еще Цицерон не открыл своей популярной маски, трибун вносит свое аграрное предложение. Он

встречает жестокий отпор со стороны бывших союзников демократии в 70 году. Рулл берет назад закон не потому, что побежден красноречием Цицерона; он откладывает голосование до более удобного момента, т.е. до новых консульских выборов конца 63 года. Расчет состоял в том, что Катилина станет консулом, опираясь на сулланских колонистов; он доставит при помощи той же своей сулланской гвардии нужные голоса для проведения аграрного закона.

В свою очередь, едва ли более воинственные планы вначале могли быть и у Катилины с его ближайшим кружком. Агитация по различным областям Италии должна была доставить ему сплоченную группу сторонников на выборах; агитаторы, может быть, ссылались на предстоящие наделы согласно проекту аграрного закона. Но привести сельского избирателя в Рим было теперь трудно, гораздо труднее, чем во времена Сатурнина; после катастроф 80-х годов его ряды были разрознены; более самостоятельные элементы деревни находились далеко от центра, как, например, крестьяне равнины р. По, но значительная их часть, транспаданцы, еще и не пользовались правами гражданства. Привлечение сельских избирателей на комиции в Рим с неизбежностью должно было получить вид и характер похода, и таким образом рулланцы весьма нечувствительно превращались в катилинариев. Организованные отряды *agrestes* стояли в разных местах, главным образом в ближайшей к Риму Этрурии, чтобы принять участие в нескольких важных собраниях, добиться нового правительственного состава и осуществить главные социальные требования. Без столкновений дело, конечно, не могло бы обойтись так же, как и раньше Сатурнин вынужден был проводить свои законы вооруженной силой крестьян, вызываемых из сельских триб. Но это не значит, чтобы замышлялись систематически убийства, как это старалась доказать противная партия.

Чем меньше надежды оставалось на мирный исход, на проведение реформ, тем более нетерпения должны были проявлять собранные отряды, которые сосредоточились в старом очаге лепидовского восстания, около Фэзул в Этрурии. Их начальник, сулланец Манлий, выпустил воззвание к городской бедноте и нобилиям-революционерам о кассации долгов, но в виду незначительности сил своих не решился подойти к столице. К нему отправился главный организатор движения, Катилина, после того как потерпел новое крушение на выборах 63 года. Его вы-

езд из Рима не был сигналом восстания; он только показывал, что расчеты на организованные голосования в Риме разрушены, что остается то, что сделал в свое время Цинна, отрешенный от консульства и удаленный противниками из Рима: обратиться к поддержке отдельных областей и муниципий Италии. Может быть, такое обращение к муниципиям и сельским общинам Италии было в планах Катилины. Характерно, что он выехал из Рима со знаками консульского достоинства, как будто с целью показать этим, что считает себе избранником истинного большинства, невзирая на неудачу, испытанную на римском форуме. Очень характерно также, что одновременно с появлением Катилины в Этрурии один из его сторонников в Риме, народный трибун Люций Бестия, должен был, согласно уговору, поднять в народном собрании обвинение против консула Цицерона, обличить его в незаконных действиях и сложить на него вину в возбуждении гражданской смуты. Из этого видно, что решительные демократы все еще надеялись, что можно будет остаться на конституционной почве. Судя по дальнейшим действиям Катилины, он имел в виду раскинуть шире военную организацию оппозиционных элементов. Его сторонники вели переговоры с альпийским племенем аллоброгов. Сам он, видимо, рассчитывал пробиться к транспаданцам, и в этом движении именно его задержало войско, посланное сенатом. Если бы Катилине удалось одолеть эту преграду, он ушел бы, вероятно, из Италии и, может быть, подобно Серторию, попытался бы образовать в провинции самостоятельную республику римских эмигрантов: во всяком случае, в той же самой Испании, где так долго держался Серторий, у Катилины еще раньше был союзник в лице наместника Пизона, очень враждебного Помпею.

Катилинарное движение любят изображать в виде анархического в дурном смысле этого слова. Но, несмотря на то, что картина «заговора» вся построена на показаниях злейшего противника, все-таки нельзя окончательно затушевывать в нем черты крупного замысла, приготовление большого переворота. Саллюстий сообщает, что в самый последний момент, когда уже на Катилину надвигались правительственные войска, он отстранил отряды рабов, которые в начале массами стекались к нему; он считал возможным опереться на одни силы заговора и в то же время думал, что его планам совершенно не соответствует смешивать интересы граждан с движением беглых рабов. Это очень характерно: даже и теперь, когда произошел полный раз-

рыв с Римом, все еще катилинарии надеялись на возможность легального политического выхода.

Нам необходимо было разобрать обстоятельства большого политического движения, непосредственно следовавшего за крупнейшим аграрным проектом всей римской истории. Оба они образуют два последние выступления независимых элементов римской демократии, как нам кажется, тесно между собой связанные и по содержанию, и по исходу. Они должны дать материал для суждения о намерениях и средствах демократии и выяснить условия ее окончательного крушения.

Прежде всего, бросается в глаза то обстоятельство, что демократия даже в крайности не идет на общие конституционные перемены, на отмену политических форм или перестановку органов, издавна функционировавших в Риме. Только в литературной риторике можно встретить восклицание в роде приведенного выше: «Надо сровнять с землею все диктатуры и консульства». На практике сторонники переворота несравненно более умеренны; они хотят захватить существующие должности с присущим им авторитетом и сохранить сенат, изменивши лишь его состав. Рулл замышляет не отмену финансового авторитета сената, а создание конкурирующего, вероятно, временного, органа, комиссии децемвиров для проведения своей программы.

Почему демократия терпит неудачу? Почему Рулл отступает в решительный момент, а Катилина не может привести в Рим достаточное число сторонников, чтобы добиться нужных голосований? Ясно, что сельские и муниципальные избиратели недостаточно организованы, или что их организации расстроены; их нет в Риме в нужные моменты, и они не играют политической роли. Одними силами римской массы демократия не может существовать, тем более что интересы *plebis urbanae* расходятся с интересами массы италиков; плебейство Рима, благодаря своим клубам и другим соединениям, оказывает большие услуги в качестве активной, иногда устрашающей силы на выборах, но в законодательстве народного собрания оно обнаруживает односторонность. Итак, демократия гибнет от того, что италийское население мало, недостаточно или вовсе не представлено в народном собрании. Ясно также, что гибель демократии в данном случае означала и скорую гибель республики.

Значит ли это, однако, что республика расстроилась от отсутствия представительного начала, до которого будто бы не додумалось греко-римское общество? Едва ли вообще в представительстве интересов через посредство депутатов можно видеть особое изобретение, которое отличает средневековую и новую Европу от древности. Очень долго и в новой Европе целые сословия вовсе не выбирали представителей, а посылали на собрания всех могущих или желающих явиться лично или в силу должностного положения. Когда всюду было приложено начало представительства, и всюду появились равномерные наслоения первичных, избирающих и окончательных, собственно голосующих собраний, это было только признанием конца самостоятельных сословий, признанием того, что в государстве нет каких-либо преобладающих корпоративных единиц. Депутатство было не изобретено, как особенный фокус политической техники, а явилось в результате равномерного распределения прав в большой сплоченной стране или в группе соединившихся областей и общин. Когда в греко-римской древности намечалось такое соединение на началах равномерности, появлялся и принцип представительства, как, например, в синаодах и синедрионах греческих федераций.

Римские трибы, в качестве голосующих единиц, фактически являлись представительством населения значительных округов; количество голосующих в трибе было безразлично, она могла быть представлена любыми и немногими людьми. Но на развитии триб невыгодно отразились два обстоятельства. Территории триб, вначале компактные и соответствовавшие, вероятно, племенным или родовым группировкам, с расширением римского гражданства стали растягиваться длинными полосами случайного состава или дробиться на прерывающиеся куски. С принятием всех италиков в гражданство в 88 г., карта политических округов Италии стала чрезвычайно пестрой и дробной. Эта дробность, без сомнения, ослабляла самостоятельность и цельность триб; их участники не имели возможности сходиться на предварительные собрания на местах; они встречались лишь в Риме на объединяющих митингах и окончательных голосованиях. Другая невыгода положения муниципалов и крестьян Италии состояла в том, что к их группам, в их трибы прикидывали чисто городские элементы, особенно вольноотпущенных, раз не было установлено минимума для количества участников триб, горожане часто могли оказываться в большинстве

такой-то и такой-то трибы, и количество избирающих и законодательствующих единиц, которые могли бы представить интересы Италии, крайне сокращалось. Понятно, почему вопрос о составе триб, о распределении италиков по всем трибам вместо немногих, о выключении из сельских триб либертинов, т.е. чистых горожан, имел такой жгучий смысл для демократии.

За принятием всей Италии в гражданство, конечно, должна бы была последовать реформа политических округов. Распределение италиков по всем трибам было только первым шагом на этом пути. Почему демократия не поставила в этом отношении определенных требований, например, образования новых компактных триб? Казалось бы, Гракхи и Сатурнин правильным вызовом представителей сельского населения уже подготавливали такую реформу.

Ответ заключается в событиях 80-х годов, в сулланской реакции, которая расстроила только что слагавшуюся общую новоиталийскую организацию и уничтожила наиболее независимые элементы Италии. После этого разгрома беда заключалась не в том, конечно, что притесняемые не могли «додуматься» до представительной системы. Италия, испытывавшая несчастья 82—81 гг., была уже слишком слаба, чтобы добиться правильной защиты своих интересов; она не получила представительства, потому что право представительства заключает в себя, прежде всего, признание реальной силы народа. Выступления Рулла и Катилины были попытками, за отсутствием правильной защиты интересов италийского населения, собрать его силы для крупных решающих актов, которые могли бы поправить его положение, сделать его более жизнеспособным. Но и эти чрезвычайные средства политического возрождения не удались, даже не могли быть доведены до конца. 63 год показал, что удары, нанесенные реакции за 18 лет до того, были непоправимы. Однако он свидетельствовал также об изобретательности и энергии вождей демократии; насколько оригинальны и содержательны были планы Сервилия Рулла, видно из того, что последующие аграрные предложения 61—59 гг., в том числе и предложение Цезаря, были и повторениями проекта 64 года. Опасность, пережитая правящими классами в консульство Цицерона, вызвала, поэтому, весьма сильную реакцию. Неудача демократии и последующая за нею реакция в конце 60-х годов и составляют, вместе взятые, катастрофу республики. На этой

почве и слагается триумвират, настоящее правление самодержавных «династий».

Моммзен любит настаивать на том, что монархия выросла в Риме из демократии. Между монархией и демократией, по его мнению, вообще существует «теснейшее внутренне сродство». Цезарь не тем велик, что добыл себе корону — в этом так же мало цены, как в самой короне, — а тем, что он никогда не упускал из виду своего великого идеала: установить свободную республику под главенством одного лица; этот идеал сохранил его и потом, по достижении монархической власти, от пошлого царизма¹. В виду этого неумеренно благоприятного суждения великого историка Рима о монархии необходимо, как нам кажется, указать на другие ее антецеденты, наделить ее происхождение не из передовой демократии, а из реакционной политики римских олигархов. В этой политике мы вовсе не находим той бестолковщины и жалкого бессилия, которые Моммзен считает характерными признаками идущего к своему концу сословия; напротив, меры сенатской аристократии настойчивы и последовательны, и позднейшая монархия Цезаря и Августа не находит ничего лучшего, как повторить их.

Само собою понятно, что демократия не может функционировать без партийной организации, без дебатирующих митингов и без деятельности политических клубов, мелких политических союзов и группировок, где заранее спланиваются сторонники того или другого направления. Такой политический фундамент необходим для того, чтобы большие общие конституционные собрания не обратились в пустые торжественные и фальшивые парады, похожие на наполеоновские плебисциты. Возрожденная демократия 60-х годов широко практиковала митинги. В речах Цицерона они упоминаются на каждом шагу; выступления перед народом трибунов, консулов и преторов были так часты, что митинги на форуме можно считать явлениями ежегодными. Насколько существенное значение приобрели политические клубы, так называемые коллегии, на выборах и голосованиях, видно из цicerоновского руководства для кандидата в консулы. Коллегии поставлены здесь на первое место при перечислении влиятельных голосующих групп: «Держи в руках список всего города; всех коллегий, окружных и соседских товариществ». Отмечая еще раз важнейшие фак-

¹ Моммзен Т. Римская история, т. III, кн. 5, гл. 6.

торы при выборах, руководство называет опять, рядом с классом капиталистов и муниципиями, коллегии. Слишком занятая личностями и драматическими эпизодами, римская историография, повествующая о конце римской республики, забывает сообщить нам о факте крайне важном, который лишь случайно дошел до нас в школьном комментарии к речам Цицерона. Во время движения катилинариев сенат, напуганный агитацией политических клубов, принял против них очень решительную меру: все союзы, которые признавались враждебными существующему государственному строю, были запрещены и закрыты. Это распоряжение можно назвать шагом к умерщвлению широкой политической жизни в Риме; и в этом смысле мера сената является одной из подготовительных ступеней консервативной монархии.

Демократия временно вернула себе важное право свободы политических коалиций. В 58 г., когда цезарианцы опять стеснили сенат, трибун Клодий восстановил запрещенные аристократическим правительством союзы, организовал в городе дружины пролетариев и рабов и применял их в интересах Цезаря, как вооруженную силу против сената. В волнениях начала 40-х годов, во время борьбы Цезаря с республиканцами коллегии, вероятно, играли не малую роль. Когда Цезарь вернулся в Рим после неслыханных триумфов над согражданами, во главе порабощенных нобилей и богато вознагражденных солдат, он бесцеремонно отделался от своих старых демократических союзников, повторивши меру, принятую сенатом во время движения катилинариев: политические клубы были еще раз и навсегда закрыты. Так окончилась их роль в столице. Катастрофа коллегий представляет вообще момент падения демократических учреждений; одновременно с закрытием политических союзов и под влиянием этого факта неизбежно должна была потерять значение и деятельность народных собраний.

Закрывая оппозиционные клубы и союзы, правящие слои общества пытались окружить себя особой вооруженной охраной. В консульство Цицерона впервые появляется такая белая гвардия в Риме: всадники, благодарные своему излюбленному человеку за устройство союза с сенатом против демократической опасности, отряжают на защиту консула и высшего правительственного совета молодежь своего сословия. Эти вооруженные отряды, составленные из сыновей банкиров, ростовщиков и откупщиков, стерегут дом Цицерона в момент мнимого на него

покушения, сопровождают консула при всяком его выходе, наконец, они образуют грозную стражу вокруг храма Юпитера Статора, где созван был сенат в день того заседания, когда Цицерон угрожающей речью старался заставить Катилину уйти из города и получить, наконец, повод для принятия энергических мер против революционеров. Положение дел в этот день, 7 ноября 63 г., вообще очень характерно, и при ближайшем анализе не остается сомнения, кто же собственно играл в это время агрессивную роль: так называемые анархисты или правительство. В самом деле, на одной стороне, мы видим самое большее — таинственные нераскрытые замыслы; на другой — оружие, патрули, угрозы. Цицерон очень много говорил в этот день о панике, которую нагнал на мирных граждан Катилина; но никакая риторика не может скрыть того простого и несомненного факта, что в действительности под страхом смерти был не Цицерон и не консервативные сенаторы, а Катилина, который должен был направляться в заседание курии сквозь строй вооруженной золотой молодежи Рима.

Раз вступив на путь уstraшений гражданства вооруженными отрядами, правящая аристократия продолжала и далее применять это средство. В следующем, 62 году, когда подчиненный агент Помпея, Метелл Непот, в качестве народного трибуна и при поддержке демократической партии, предложил вознаграждать ветеранов Помпея земельными наделами, другой трибун, Порций Канон, известный защитник аристократической республики и верховенства сената, бросился на коллегу с вооруженной бандой, прогнал его из народного собрания и расстроил комиции. В консульство Цезаря и позднее партия популяров в свою очередь стала собирать боевые дружины, чтобы терроризировать сенат, причем особенную известность приобрели отряды цезарианца Клодия.

Еще одну своеобразную меру усвоила себе консервативная партия. В свое время К. Гракх, организуя силы демократии, установил новый вид выдач из имперского бюджета, в виде закупки для столичного населения дешевого хлеба. Консерваторы косились на эту трату и в момент своего торжества при Сулле отменили раздачу хлеба. Теперь они нашли нужным пойти на ту же самую финансовую жертву, чтобы приобрести путем кормления приверженность низших слоев Рима. Инициатором нового фрументарного закона был один из вождей консервативной партии, М. Порций Катон.

Мы видели, что уже в 70 году, при заключении компромисса между генералами республики и откупщиками, собственно демократические элементы были слабы. Усилиями даровитых, богатых замыслами, энергичных вождей своих демократия пыталась в 60-х годах снова подняться. Разгром 63 года подорвал ее силы окончательно. Она уже стала неспособна на большие законодательные решения; ее разрозненные остатки годились лишь для того, чтобы в руках отдельных *principes*, вроде Цезаря, служить орудием беспорядков в столице и бойкота сенатского правительства.



ПОДГОТОВКА ПРИНЦИПАТА

Едва ли найдется другой исторический факт, который в такой мере привлекал внимание философствующей мысли историков, как падение римской республики и замена ее монархией императоров.

В более ранние эпохи европейского политического развития в связи с истолкованием этого факта возникал спор о преимуществах одной политической формы над другою. Для монархиста сама катастрофа служила лучшим аргументом; в глазах республиканца это была только смена «величия» «падением» — результат моральной порчи общества, неспособного сохранить вольности, естественно осужденного на политическое рабство. Более сложный вид приняла общая проблема в XIX в. Историк соглашался принять, что известные фатальные условия осуждали на гибель всякую республику античного мира; он искал поэтому тех органических отличий античной жизни от новоевропейской, которые могли бы объяснить неизбежность подобной политической катастрофы. Затем он искал утешения и спрашивал, не была ли гибель республики, при всем ее трагизме для местного общества, тем не менее, явлением благотворным для более широких кругов и народных групп, поскольку оно определило дальнейший ход общей человеческой культуры?

Поставленный таким образом вопрос заключает в себе уже известное предрешение. Его постановка обнаруживает наличие определенного философского мировоззрения и в особенности одной идеи, которая многим из нас кажется уже чем-то весьма чуждым, именно идеи телеологической. Тот, кто разделяет веру в планомерность исторической жизни и исторического развития, думает, что в судьбах человеческих осуществляются некоторые высшие таинственные цели; ценность тех или других общественных форм или деяний определяется их соот-

ветствием этим целям; значение руководящих личностей также соразмеряется тем обстоятельством, насколько они поняли планы, проводимые великой мировой движущей силой, и насколько сумели приспособить к ним свою деятельность. Принимая совершившееся за должное согласно мировым планам, историк констатирует, что римская республика не могла разрешить таких-то задач, поставленных ей историей: она не нашла пригодной и справедливой формы для объединения мира Средиземного моря, объединения, в свою очередь нужного для того, чтобы сложилась современная Европа,— и в этом осуждение республики. Империалистическая монархия сумела понять и исполнить эту цель, и потому она стоит выше.

В применении к отдельным деятелям получается тот же способ оценки. Помпей не взял короны, которая лежала у его ног, Цезарь шел к ней сознательно и без колебаний; ясно, что один был близорук или лишен здравого смысла и смелости, другой именно и является великим провиденциальным человеком. Брут и Кассий, убившие его, прегрешили, прежде всего, против исторического закона, потому что пытались бороться с неизбежным. Заслуга Цезаря в том, что он остановил на несколько столетий движение северных варваров и дал, таким образом, простор распространению эллинской культуры, которая иначе была бы задавлена прежде, чем стать достоянием Европы, и т.п.

Мы склонны рассуждать иначе, или, по крайней мере, привыкаем понемногу к иной постановке вопросов. Без сомнения, люди в своей деятельности ставят цели, и притом, по мере того, как развивается политическая жизнь, их цели становятся все более широкими и отчетливыми, но они ничего не имеют общего с таинственными планами будущих судеб человечества. Они определяются жизненными интересами больших общественных групп, их насущными нуждами, зависят от их умения разбираться в настоящем, от запаса усвоенных привычек и традиций, от степени приспособляемости к совершающимся переменам. Забота о далеком потомстве, о том, что скажет потом история, входит лишь ничтожной долей, если только вообще входит, в соображения участников общественных движений. История образует потом равнодействующую из столкновения различных усилий и борющихся направлений; но конечно всегда у всякой группы людей впереди будет защита своих желаний, интересов и идей, и едва ли кто-нибудь руководится мыс-

лью найти тот средний путь, который может получиться в конечном результате исторического процесса. Если это верно для нас, то, конечно, надо предположить такие же психические мотивы и у предшествующих нам поколений. В Италии и Риме защитники и противники республики не могли интересоваться отдаленными последствиями совершающихся перемен. Цезарь не думал о предстоящем облегчении участи римских подданных или о том, что нужно открыть широкий простор для выхода из Италии взаимно истребляющих друг друга групп гражданства. Его противники вовсе не думали о спасении для потомства идеи старинной римской конституции. На той и другой стороне бились за более или менее верно понятые жизненные требования своих партий, классовых и других группировок, бились до тех пор, пока хватало организации сил, и бились теми приемами, с теми программами, какие выработала предшествующая партийная жизнь.

Надо признать, что и раньше, при господстве телеологической идеи, историки не забывали ставить вопросы в этом последнем смысле. Они старались выяснить отношение новых форм и их устроителей к более ранней истории Рима, к политической и социальной борьбе периода республики. Тонкий юрист и блестящий писатель, Моммзен, не обошедший своим исследованием ни одной стороны истории античного Рима, дал нам необыкновенно яркую социально-политическую формулу возникновения монархии. Этот строй представляется Моммзену неизбежным результатом двух течений, соединяющихся вместе: огромного военно-административного расширения империи и внутреннего развития демократических начал. Новые властители Рима вступили одновременно неограниченными государями посторонних колониальных владений империи и единственными представителями интересов низших классов в самом Риме: император есть, прежде всего, главный проконсул плюс народный трибун.

Римская империя, в качестве политического строя составляет монархически организованную демократию — вот основная мысль Моммзена. Раз Древний мир не выработал представительных форм и республика оставалась неподвижным господством одного города над массой народа, для спасения демократии был только один выход: она должна была отдаться, передать руководство единственному неограниченному в своей воле вождю. То, что историку казалось фатально необхо-

димым, вместе с тем составляло и предмет горячей его симпатии. Цезарь, которого он считал вождем римской демократии и создателем римской монархии, был в его глазах величайшим политическим деятелем так же, как он казался сверхчеловеком для средневековых императоров, ставивших первого римского монарха на вершине пути человеческого развития. Цезарь для Моммзена — совершенная личность, гармонически примиряющая противоположности человеческого существа, мощную творческую волю и всепроникающую силу разума; исполненный республиканских идеалов, он рожден быть царем; римлянин во всей глубине своей натуры, он в то же время призван примирить и воссоединить греческую и римскую культуру. В концепции Моммзена вся римская история образует лишь великий подготовительный процесс для того, чтобы создать фигуру и дело Цезаря. Историк даже невольно удваивает своего героя: в качестве предшественника и прообраза Цезаря появляется у него Кай Гракх, и горячий трибун превращен в первого демократического монарха Рима. У Цезаря, по Моммзену, была одна мечта: возродить римское общество, разьедаемое бесплодной борьбой партии, и основать свободную общину, руководимую волей одного лица. Достигнув своей цели, Цезарь создал управление, несравненно более отвечающее исконным римским принципам, чем тирания республиканского сената.

Правда, в своей позднейшей работе, в систематической характеристике государственного права Рима, Моммзен как бы поправляет и дополняет тот взгляд на империю, который был выражен в его «Римской истории». Здесь объяснено, что империя в окончательном своем виде, в форме Августовского принцепита, была компромиссом со старыми республиканскими и аристократическими силами. Моммзен придумал для этой смешанной промежуточной формы особый термин — диархии, стараясь обозначить, таким образом, конституционное разделение властей между императором и сенатом. Но характерно, что Моммзен считает эту норму политической ошибкой, за которую потом расплатилась империя; будучи актом лицемерия или неуверенности своего основателя Августа, диархия образует, в глазах историка, лишь жалкий политический выродок. Таким образом, на темной тени этой невыгодной оценки принцепата Августа опять выступает одобрение гениальной, цельной и творческой работе Цезаря.

Моммзеновский Цезарь принадлежит собственно 50-м годам XIX в. Вся историко-политическая философия, выраженная в нем, объясняется европейскими, в частности германскими условиями того времени: борьбой с сословно-реакционными направлениями и жадой национального объединения во что бы то ни стало. После крушения республиканской демократии в революциях 1848 г., средние классы и примыкавшие к ним круги интеллигенции надеялись найти выход в популярной монархии. Хотя Европа так и не увидела у себя демократических монархов, но из этих надежд выросло очень яркое и настойчивое национально-либеральное построение истории; мало того, оно нашло себе сочувствие далеко за пределами непосредственно заинтересованных общественных слоев и намного пережило свою эпоху.

В свое время с резкой критикой против Моммзена выступил его несчастливый соперник Нич, который, при несравненно большем критицизме и научной осторожности, не обладал литературным блеском и политической уверенностью своего противника: в то время как все европейское общество читало с увлечением яркие модернизированные страницы моммзеновской истории Рима, Нич излагал свой предмет в тесной аудитории слушателей-специалистов, и лишь после его смерти более широкие круги получили возможность по изданию сжатых и неполных студенческих записей судить о концепциях Нича.

В конце рецензии Нича на Моммзена, написанной еще в 1857 г., стоят замечательные слова: «Несмотря на книгу Моммзена история республики остается тем, чем она всегда была: энергическим протестом против культа государственных людей, спасителей общества, и доказательством той мощи, которой может достигнуть простая община граждан, готовых на всякие жертвы». Снимая с основателя монархии популярное сияние, которое нарисовал вокруг его головы Моммзен, Нич однако не перестает считать Цезаря сверхчеловеческой личностью, только наделяет его отрицательными качествами, превращает из бога-спасителя в демона-разрушителя. «Ни одна республика не пережила такой развязки, как римская, но и ни в одной республике элементы оппозиции не воплотились в столь гениально безнравственной личности (как Цезарь)». И Нич набрасывает карьеру политического перебежчика, демагога без принципов, участника отвратительных заговоров, безграничного в мотовстве, неистощимо гибкого, одаренного стальной

энергией и свободным от всякой морали, от всякой идеальной цели, пролагавшего дорогу великим диктаторам истории, Кромвелю и Наполеону. И даже допуская, что «гению дано божественное право мечом проводить в жизнь свои спасительные планы», Нич все же хочет оттенить глубокое и серьезное различие «между обгаренным кровью победителем революции и демоническим вольнодумцем, который сперва бросает горящую головню в распадающееся государство, чтобы потом из развалин старого создать свое, новое устройство».

Таким образом, в одном отношении оба противника, Нич и Моммзен, стоят на одной почве. Оба придают чрезмерное значение крупной личности. И у Моммзена, и у Нича разрушение республики и создание монархии являются задолго задуманными, систематически выполненными предприятиями одного лица, в котором, как в фокусе, соединились лучшие или, напротив, худшие черты предшествующего развития общества. В этом смысле обе концепции, и Моммзена, и Нича, одинаково далеки от нас, поскольку мы перестали верить в творческую силу отдельных людей, называть ли их спасителями или разрушителями общества. Но у Нича есть нечто большее, чем простая антитеза Моммзену, простое обращение в отрицательную величину моммзеновской положительной. Моммзен изображает как бы великую историческую тяжбу между Цезарем и республиканской аристократией; решение истории целиком в пользу первого, и потому все здоровое, что были в римских традициях, находит в нем выражение свое, все новое и прочное идет от него; аристократия и республика — а это одно и то же для Моммзена — выставляют лишь тупость, вялость в лице Помпея, двоедушие в лице Цицерона или карикатурное донкихотство в лице Катона. Нич признает в Цезаре крупного стратега, дипломата и администратора, но в деле внутреннего политического устройства отдает предпочтение его сопернику, Помпею, которого так принизил Моммзен. Сдержанность Помпея, его двукратное отречение от монархической власти и его отвращение к военной диктатуре Нич приписывает не трусости, а совестливости политика, желавшего быть вождем аристократии, но не господином над ней. В самой аристократии римской Нич видит жизнеспособные элементы; в последние десятилетия республики независимая Италия возлагала на нее свои надежды и собиралась вокруг нее, чтобы защититься от экспроприации, грозившей со стороны солдат и варваров, приведенных из провинции Цеза-

рем. Если у Моммзена именно деятельность Цезаря образует центральную линию развития римской истории, то у Нича, напротив, он стоит в стороне, как нарушитель традиций; в судебном процессе истории приговор произнесен против него.

Не входя пока в существо взглядов Нича, заметим, что поскольку дело касается сравнения Цезаря и Помпея, Нич ближе, чем Моммзен, к суждению самих древних. Любопытная вещь: несмотря на факт решительной победы Цезаря над Помпеем и помпеянами, несмотря на то, что первая династия пошла от Цезаря и официально насаждаемый монархизм мог быть только цезарианским, несмотря на все это, в литературе даже императорского периода остались ясные следы особого почитания Помпея и признания его дела более справедливым, чем дело Цезаря; во всяком случае, нигде нет ничего похожего на противоположение посредственности и гения; соперники рассматриваются, как равносильные, одинаково даровитые претенденты, а их различная судьба представляется результатом случайного распределения счастья. У Аппиана, вероятно, пользовавшегося характеристиками современников, есть любопытная оценка Помпея, в которой можно найти большую часть того, что приписывается обыкновенно Цезарю. У Помпея было больше военных сил, он обладал дипломатическим талантом, популярностью и умением обращаться с народом, он соединял авторитет и мягкость. Данные эти приведены античным писателем для того, чтобы показать, что раз уже обнаружилась неизбежность монархии, Помпей, по общему признанию, располагал большими шансами стать монархом.

Нельзя не заметить, что культ Цезаря, последним представителем которого является Моммзен, возник весьма поздно и сложился, главным образом, в Средние века: его содержание тогда было, разумеется, совершенно иным, чем в XIX в.: из Данте мы видим, что на воображение могущественно действовала аналогия с Христом, что наибольшее впечатление производила смерть Цезаря и его апофеоз. В европейской публицистике XVII—XVIII вв., проникнутой консервативно-республиканским оттенком, Цезарь не пользовался симпатией. Возрождение цезарианского культа в XIX в. связано с тем своеобразным политическим самообманом, который выразился в наполеонизме и бисмаркианстве и который состоит в заимствовании у демократии ее принципа и отвержении ее существа. Призрачность этой комбинации легко раскрыть, подвергнув ее построения анализу

социальной истории. Иерархическая вершина в политическом строе показывает или живучесть общественной иерархии, или ее новообразование. С расширением начал равенства и автономии всякие формы единовластия становятся и принципиально, и фактически ненужными. Новый цезаризм или старается спасти некоторые традиционные преимущества, например, в Пруссии примирить общество с привилегиями феодального дворянства, вождем которого был и остался король, или, как во Франции наполеонизм, он искал способов продвинуть к господству новую общественную группу в виде закрепленных кадров бюрократии, окружая ее главу священным авторитетом.

Ту же проверку, какую мы предъявляем к модернизованному цезарианству, мы можем приложить и к историческому Цезарю. Нам известно расположение партий в послесулланскую эпоху и знаком наклон социального движения в римской жизни. Дело шло к падению независимых демократических элементов общества, а вследствие этого к разрушению республиканского строя. Монархия уже раз появилась в лице Суллы, в качестве орудия и символа реакции. Если бы диктатура Цезаря действительно могла быть признана демократичной, в его деятельности следовало бы искать сопротивления вышеописанному общественному процессу. Но, прежде всего, не преувеличиваем ли мы до крайности силу и влияние отдельных личностей, если мы предполагаем у них способность идти наперекор общественным течениям? Политический деятель ищет союзников своей участи и, в конце концов, более или менее искусно приспосабливается к наличным средствам. Эти средства даны в существующих организациях, и создать здесь ничего нельзя, можно только более или менее ярко формулировать усвоенную программу,

Армия, сильная своей корпоративностью, предприимчивость римских капиталистов, золото завоеванных провинций, нанятые при его помощи дружины на римском форуме, жаждущий службы средний и мелкий нобилитет — вот средства, которыми располагал Цезарь, к которым надо было суметь приспособиться. Но теми же силами должен был оперировать или, вернее сказать, от тех же сил зависел и его противник. И даже еще конечный военный успех Цезаря не решает, кто из них был ближе к вырабатываемому в Риме политическому строю. Политические симпатии, очень распространенные в консервативных кругах римского общества начала императорского пе-

риода, и вышеприведенные суждения о том, кому вернее было сделаться первым династом Рима, говорят в этом смысле не в пользу Цезаря. Необходимо, однако, более детально войти в изучение обстоятельств агонии римской республики, чтобы проверить наши общие соображения.

Прежде всего, важно определить, из кого состояли борющиеся стороны, кто были сторонники и противники новых политических порядков около 60 года. Моммзен нередко противопоставляет сенат и триумвиров, аристократию и властителей, являющихся в то же время главами популярной партии. Но сенат не является цельной правительственной группой. Благодаря тому, что он заполнялся магистратами, выходившими из прямых выборов, там были люди всех партий. В 63 году в сенате сидели Катилина, Лентул и многие из сторонников переворота; Манилий и Габиний, а также Цицерон до 63 года представляли в сенате главным образом интересы всадников, нередко расходившиеся с интересами массы нобилитета. Сенат вовсе не заключал в себе компактной группы, которая бы стояла целиком против плебейства; в нем самом разыгрывались все те споры, которыми полны были в это время Рим и Италия.

Еще и в другом смысле сенат не представлял однородной массы: в этой корпорации 600 приблизительно человек, настоящую силу имели два десятка крупных магнатов, остальные составляли их родство или их свиты. Между магнатами не было полной солидарности интересов. Лукулл, первый император Востока, был естественным врагом своего более счастливого преемника Помпея; не мог поладить с Помпеем и бывший его коллега по войне с морской державой пиратов, Метелл, покоритель Крита, считавший свою задачу не менее трудной, но не получивший и малой доли того триумфа и политического веса, которые выпали на долю Помпея. Размежевать интересы и круг влияния между всеми претендентами на колониальные войны и наместничества не представлялось возможности. Внешние условия заставляли в отдельных более важных случаях предоставлять главнокомандующему *imperium maius*, т.е. количество военных сил и круг власти, более значительный, чем у обыкновенных консулов, ставить главного императора над несколькими областями и несколькими наместниками. Но тогда он выступал вне конкурса, отделялся из рядов остальных *principes*; и вот это обстоятельство объединяло против него остальных, тогда получалась у представителей магнатства солидность, основ-

ным мотивом которой была не политическая программа, а отрицательное отношение к *принсепс*’у, пытавшемуся выделиться из их среды. Это был, конечно, весьма слабый логический и моральный аргумент против монархии, но довольно сильная фактическая преграда для ее установления.

Но, помимо того, разнь в среду магнатов вносили соображения внутренней политики. Демократическая партия грозила своей аграрной программой, волновались италийские муниципии, опасно было по временам организованное столичное плебейство. Не могла ли помочь против революции чрезвычайная власть военного императора? Воюя в Азии, Помпей не упускал из виду внутренних отношений в Италии и в конце 63 г., когда еще не было сломлено движение катилинариев, прислал в Рим одного из своих легатов, Метелла Непота, с чрезвычайным поручением, рассчитанным на влияние охранительных мотивов в среде аристократии: Метелл сделал в сенате предложение поручить победителю Азии подавление италийской революции вооруженной силой. На этот раз магнаты не согласились повторить комбинацию 83—82 гг. и создать своими руками второго Суллу. Сам Помпей прибыл в Италию год спустя, осенью 62 г., — слишком поздно, чтобы иметь основание удержать под оружием свое войско, так как катилинарное движение уже было расстроено. Помпей отпустил солдат по домам, а сам с небольшой скромной свитой отправился в Рим.

Моммзен по этому поводу смеется над недогадливостью или трусостью Помпея, безрассудно отказавшегося от верховной власти, которую давала ему сама судьба. Нич хвалил его за лояльность, за чисто гражданское, республиканское самоотречение. Скорее всего, здесь сказалось осторожность и спокойный расчет. Тот же самый Помпей за 9 лет до того (в 71 г.) подошел к Риму с войском и добивался своей цели, консульства, угрозой внешнего давления; но тогда в союзе с ним была демократическая партия, которая требовала переворота. В 62 г. демократия была сломлена: после того, как она превратилась в восстание катилинариев, немыслимо было императору компрометировать себя союзом с нею. Удержать войско при себе, объявить новую сулланскую диктатуру значило бы вызвать страх новой экспроприации во всем составе владельческих классов, поднять против себя большую часть Италии, не только крупных собственников, но и господствующие слои в муниципиях.

Помпей надеялся занять первенствующее место в правительственном составе, не прибегая к такому рискованному обороту.

Положение вещей в 62 г. показывало вместе с тем, что при всем влиянии, которое мог приобрести отдельный *princeps*, он не в силах был перевесить коалицию других магнатов. То же испытание сделал раньше Помпея Красс, хотя при своем колоссальном богатстве он и мог снарядить на свои средства целое войско. Из этих затруднений, стоявших на дороге преуспевающих *princeps*, и возникла своеобразная комбинация перехода к монархии в Риме — триумvirаты, союзы немногих династов, которые монополизировали себе государственные средства и политическое влияние. Трое сосредоточивали то, что не в силах был соединить в своих руках один. Цезаря можно считать до известной степени изобретателем этой формы, хотя она была отчасти подсказана невольной комбинацией Красса и Помпея в 71 г., соединившихся против остального магнатства.

Только телеологический взгляд может привести к заключению, что Цезарь заранее, уже в 60 году, имел в виду стать монархом в Риме, и именно с этой целью вошел во временную коалицию с могущественными соперниками, которые должны были пригодиться ему в качестве моста к собственной единой власти. Весь в долгу, побывавши в разных партиях, сильно заподозренный в соучастии с катилинариями, Цезарь в 62—60 гг. не мог мечтать ни о чем лучшем, как о комбинации с крупнейшими магнатами республики. Цель союза также представлялась весьма реальной. Консульство стало в Риме уже давно ступенью к провинциальному наместничеству. Но консервативная группа в сенате не соглашалась на присуждение Цезарю провинции. Ближайшей его задачей было именно добыть себе при помощи союза с бывшим восточным императором и с богатым человеком Рима и Италии провинцию или начальство в колониальной войне. В этом определенном смысле Цезарь и является инициатором некоторой новой политической формы, и в этом отношении Цезарю принадлежит более активная роль, чем двум другим триумвирам. Он постепенно перетянул их к своим планам, и на свидании в Лукке в 56 г., когда союз 60 года был вновь скреплен, уговор касался, главным образом, распределения важных областей и командований. В 56 г. Цезарь удержал за собой обе Галлии, Красс взял предмет своих старинных желаний, области крайнего Востока и войну с парфянами, и даже Помпей, более всего озабоченный сохранени-

ем своего авторитета в центре, решил принять на себя управление Испанией.

Триумvirаты были, главным образом, разделителями империи: крупнейшие люди политического мира выделяли себя от ревнивого контроля своих коллег в сенате и разделяли по своему усмотрению сферы господства в сложной колониальной державе Рима. Но не следует преувеличивать предусмотрительности основателя первого триумvirата: ни выбор Галлии с его стороны, ни решение сблизиться именно с данными личностями не являются его задолго задуманными, тонко рассчитанными ходами. Вначале Цезаря, по-видимому, занимал более Восток и, может быть, особенно Египет. Народное собрание присудило ему в качестве провинции Галлию Предальпийскую, которая не представляла поводов для выдающейся кампании. Заальпийская Галлия, где потом сложилась блестящая военная карьера Цезаря, освободилась для него лишь случайно среди его консульства, вследствие внезапной смерти назначенного туда наместником Метелла Целера. Союз трех лиц также нельзя считать чем-то заранее твердо установленным. Цезарь вел очень настойчивые переговоры с Цицероном и очень желал сближения с ним; если бы они удались, союз состоял бы, может быть, из четырех лиц. Это обстоятельство характеризует вместе с тем безразличие Цезаря к политическим и социальным программам: если он был в 60 году, как хочет этого Моммзен, главою демократической партии, то спрашивается, как мог он поладить с самым видным оплотом консерватизма?

Еще одна черта выступает в комбинации 60 года, придуманной Цезарем. Эта особенность, хорошо замеченная и современниками, может быть названа политикой родственно-династических связей. Цезарь предполагал скрепить брачными соединениями не только ближайший круг союзников, но еще несколько влиятельных фамилий. Сам он женился на дочери Кальпурния Пизона, намеченного в консулы на 58 год; за Помпея он выдал свою дочь Юлию, для чего надо было устроить развод с помолвленным за нее Сервилием Цепионом. Разводы не представляли в Риме особых затруднений; но Цезарь не хотел портить отношений и с Цепионом; поэтому ему было предложено вступить в брак с дочерью Помпея.

Родственно-династическая политика в кругу старинных семей составляет и потом особенность цезарианства. Август продолжал близкие отношения с Кальпурниями Пизонами, пород-

нился с Клавдиями Марцеллами и Клавдиями Неронами, а его преемники — с Домициями Агенобарбами. Между несколькими влиятельными *principes* получалась как бы круговая порука; они заключали браки в своей архивысокой среде наподобие европейских коронованных особ Нового времени, замыкались от обыкновенных смертных и соединяли вместе несколько очень крупных состояний, застраховывали этим свое материальное положение.

Так образовался в Риме союз претендентов. Каждый из них располагал между сенаторами магистратами и в качестве легатов по особым делам немалым числом клиентов и сторонников, которых старался продвинуть на видные места. Помпей выдвигал генералов Восточной войны, Афрания и Габиния, Цезарь — демагогов Лабиена и Клодия, Красс — двух своих сыновей и т.д. Создался тесный политический трест, поднимавшийся над республиканскими учреждениями.

Кто были противники триумvirата и как реагировали они на союз? Организованной консервативной партии в собственном смысле в это время незаметно. В сенате имелись группы лиц, так или иначе не расположенных к союзу или к отдельным триумвирам: Лукулл, непримиримый враг Помпея с тех пор, как должен был уступить ему Восточную войну. Цицерон, *pater patriae* 63 г. спаситель общества, устроитель *concordiae ordinum*, претендовавший сам на первую роль. Архибогатый Домиций Агенобарб из рода, блиставшего во второй половине II в. вместе с Металлами, которые теперь уже не представляли фамилно-политического единства. Порций Катон, непримиримый республиканец и принципиальный защитник неподвижности конституции. Бибул из другой линии вельможных Кальпурниев, муж сестры Катона, как будто поставивший себе неперменной целью оппонировать Цезарю по всему протяжении его политической карьеры, его коллега в эдильстве, преторстве и консульстве. Два Скрибония Куриона, отец и сын, оба талантливые публицисты. Старинный род Марцеллов, гордившийся своим предком, соперником Ганнибала, очень преданный республике, как это показали консулы 56-го, 51-го и 50 гг., Лентул Марцеллин, Марк и Кай Марцеллы, очень решительные, задорные, но малоспособные люди. Очень трудно заметить в этом высокоаристократическом кругу определенную программу; по-видимому, им не приходило в голову попытаться организовать Италию, войти в соглашения с муниципиями полуострова. Но они распола-

гали литературными силами, враждебными династам: на стороне республики был Катулл, преследовавший потом «императора единственного» (Цезаря) своими эпиграммами, и Варрон, написавший в начал Цезарева консульства памфлет под заглавием «чудовище о трех головах». Оба они принадлежали к литературному кружку, который соединял, кроме того, Цицерона, обоих Курионов, а также Кальва и Фурия Бибакула, двух писателей, которые вместе с Катуллом представляли оппозицию италийских муниципий.

Но этого было мало для успешного сопротивления династам. Их противники не умели выставить ни программы, ни даже определенной тактики. В последних столкновениях республики с надвигающейся монархией нас поражает некая упрямая беспомощность консерваторов, способных искать защиты в какой-нибудь конституционной формальности в то время, как противоположная партия, не стесняясь подкапывалась под основы политического порядка. В этом смысле характерно поведение консула 59 г. Бибула, которого консерваторы выставили противником Цезарю, тогда как Цезарь встретил в сенате сопротивление своему аграрному закону, он решил не созывать более сената и проводить законодательные меры исключительно через народное собрание. Коллега Бибул попытался однажды явиться со своим протестом в среду организованного Цезарем вооруженного плебисцита на форуме, но был сброшен с трибун, причем разломали и знаки его достоинства, розги ликторов. Бибул после этого отказался от всякого сопротивления даже фактически сложил свой авторитет: он объявил всю оставшуюся часть года праздниками, т.е. днями, не допускающими деловых дебатов, и успокоился на этом; ему сообщили о состоявшихся решениях комиций. Он ограничился ссылкой на их незаконность с формально-религиозной точки зрения; по собственному признанию, он принимался «наблюдать небо, как только Цезарь созывал народ». В то же самое время Бибул не решался собирать сенат для протеста против Цезаревых плебисцитов. Конституционный обычай требовал обоюдного согласия консулов на созыв сената; но тактика Цезаря именно состояла в том, чтобы обходиться без сената; и Бибул, упираясь опять в формальность, счел себя свободным от дальнейших протестов, в течение остальной части года заседаний сената не было, но консервативные сенаторы сходились на частные совещания в доме Бибула.

Каковы были отношения общественных классов в консульство Цезаря, и на чем основывается его успех в то время, когда он еще не располагал армией? В 60-х годах денежный капитал римского всадничества шел от успеха к успеху. Но аграрно-финансовый проект Рулла и движение катилинариев грозили вырвать из их рук большую часть колониальных богатств. Это заставило компании, державшие в руках финансовое управление, искать союза с крупными землевладельцами, сидевшими в высшем правительственном совете; в результате получилась знаменитая *concordia ordinum*, устройением которой так гордился Цицерон. Была ли речь о каких-либо новых финансовых уступках всадникам, когда они отдавали в распоряжение сената свою корпоративную организацию и прислали консулу гвардию своей молодежи, мы не знаем. Но очень скоро требования откупщиков обнаружились, грозя опрокинуть только что устроенный картель консервативных групп. Всадники настаивали на крупной скидке с откупной суммы, которую они обязаны были вносить по финансовому управлению азиатских провинций, частью вновь завоеванных Помпеем, частью закрепленных его походами. Сам завоеватель, всем обязанный откупщикам, в свое время продвинутый ими на свой чрезвычайный пост, не был теперь расположен к уступкам денежному капиталу; он привык неограниченно распоряжаться в восточных областях, фиксировал взносы их и организовал финансовое управление; он, вероятно, считал свою долю в пополнении римской казны восточными богатствами достаточно крупной, чтобы поставить правительство в более независимое положение относительно всадников.

Иначе взглянул на дело Цезарь, которому и для выбора в консулы, и для получения наместничества в высшей степени важен был союз с откупщиками. Он обещал и заставил сенат принять потребованную ими скидку в размере трети всей откупной суммы. Очень правдоподобно, что благодарные публиканы вознаградили самого Цезаря и его сторонников акциями своих восточных финансовых предприятий. Цицерон называет потом *partes*, акции, полученные в это время цезарианцем Ватинием, *carissimas*, т.е. поднявшимися до высшей цены: это повышение, по всей вероятности, находилось в прямой связи с большим успехом, одержанным публиканами в 59 году. С понижением главного расхода, они могли выдавать участникам опе-

раций более значительные дивиденды, а отсюда поднималась и цена *partes*.

С другой стороны, средства публиканов нужны были Цезарю для того, чтобы оплачивать организацию плебисцитов в течение своего консульства. В комициях, созывавшихся Цезарем в 59 г., господствовало полное единодушие, какого никогда раньше не бывало в народных собраниях; причем любопытно также, что городское плебейство без возражений голосовало за аграрный закон, весьма похожий на тот, который предлагал и взял обратно четыре года тому назад Сервилий Рулл. Это единодушие станет более понятным, если обратить внимание на одну подробность: среди голосующих было много вооруженных. Цезарианские голосования не были свободными: они происходили под сильным давлением известного рода террора, может быть, даже предварительно руководители устраивали нужный им состав собрания, загораживая доступ менее надежным в их глазах элементам. В следующем году организация сделала еще шаг вперед или, по крайней мере, она обнаружила свои приемы: Клодиевы вооруженные дружины, античный *Tammanuhall*, по выражению новейшего историка, господствовали на форуме и на улицах и делали невозможной правильную политическую жизнь: эта римская команда Цезаря, продолжавшая демагогию его консульства, между тем как он сам воевал на далекой окраине, стоила ему немалых денег. В начале Галльской войны Цезарь не мог достать много золота из своей провинции; лишь позднее добрался он до ее сокровищ. Оставались все те же римские кредиторы, давнишним клиентом которых состоял Цезарь. С большим основанием можно сказать, что и тот формальный демократизм, который выражался в цезарианских плебисцитах, и то кулачное право, которое систематизировали цезарианцы, было оплачено капиталами римских откупщиков. Они дали, по-видимому, и главный материал для вооруженных дружин в лице многочисленных рабов, служивших в канцеляриях и отделениях их торговых и денежных предприятий.

Другим союзником триумвиров были ветераны Помпея. Когда набирали солдат в походы 60-х годов, им едва ли могли пообещать земельные наделы вроде тех, которые получили сулланцы. У всех еще в памяти была сулланская экспроприация, и насколько раздражало италийских землевладельцев всякое упоминание о вторжении этого элемента, показывает то обстоя-

тельство, что Цицерон сделал из снисхождения Рулла к сулланцам чуть ли не главный пункт нападения на его аграрный законопроект. Ввиду этого солдаты Помпея были менее притязательны при своем возвращении, чем сулланцы за 20 лет до них. Но, с другой стороны, император не мог оставить своих военных товарищей без надела, без страхования их старости. Помпей надеялся получить земельные раздачи для своих солдат конституционным путем, с согласия сената. Но его соперники и завистники в сенате, только что избавившиеся от страха его военной диктатуры, никоим образом не могли допустить, чтобы он сохранил около себя хорошо устроенную, преданную ему гвардию. Поэтому проекты трибунов Флавия и Плотия, имевшие в виду помпеевских солдат, не достигли успеха. При заключении уговора между тремя династиями в 60 г. Цезарь, по всей вероятности, обещал провести наделы для азиатских ветеранов Помпея. В свое консульство он выступил с аграрными проектами.

К сожалению, сведения об этих проектах крайне неясны, и особенно у Диона Кассия, писавшего в поздний период императорского самодержавия, затуманены цезарефильской тенденцией. Все было хорошо в предложениях Цезаря: предполагаемые наделы не стоили бы государственной казне никаких новых трат, наделение безземельных должно было положить конец анархии и вечным беспорядкам, обезлюдевшая Италия опять бы заселилась. Ввиду этого никто из консерваторов по существу не мог ничего возразить против нового аграрного закона, тем более, что он нисколько не задевал интересов аристократии; лишь втайне сенат боялся громадной популярности, которую приобретет Цезарь у народа этим законом. В суждениях Диона Кассия есть одна черта, более всего обличающая писателя и сановника самой глухой поры самодержавного порядка; это — мысль, что очень полезно городских революционеров присадить к полевой работе и что будто бы Цезарь руководился полицейским соображением и желал удалить беспокойные элементы города в деревню. По-видимому, подобные высылки городских бродяг практиковались позднейшими римскими префектами (градоначальниками), и отсюда Дион Кассий заимствовал свое общее объяснение, столь далекое от реальных условий конца республики, когда на землю было так много настоящих претендентов среди сельского населения Италии. Что же касается Цезаря, то он менее всего мог думать об удалении

из города беспокойной бедноты, если бы даже перевод ее в деревню имел какой-нибудь практический смысл: ведь это была самая драгоценная опора его противосенатской политики.

Сквозь странную оценку Диона Кассия все-таки можно различить основные линии аграрных проектов Цезаря: раздача остатков *agri publici* в Италии, а именно наделение (до 20 000 колонистов по Аппиану) из Кампанского поля; приобретение территории для прочих наделов путем покупки частновладельческих земель, применение с этой целью новых финансовых средств, добытых недавней Восточной войной. Все это — черты, хорошо нам знакомые по законопроекту Сервилия Рулла. Демократия выработала в 60-х годах необыкновенно отчетливую программу; Цезарю оставалось воспроизвести ее в точности. Только одну лишнюю против Рулла подробность передает нам Аппиан: по закону Цезаря предполагалось давать при наделах преимущество отцам троих детей. Впрочем, и эта деталь могла быть в прежних проектах демократии: по речи Цицерона видно, что закон, предложенный Руллом, был очень обстоятелен, а с другой стороны, передача Цицерона была весьма неполна и односторонняя и наверно опускала много подробностей.

В принципе, будучи повторением рулловского проекта, закон Цезаря, без сомнения, имел более специальное назначение. Демократия 60-х годов предполагала широкое наделение в Италии и провинциях собственно крестьянских элементов; сулланские ветераны имелись в виду не в качестве колонистов, а в качестве продавцов земли. Помпеевских солдат тогда совсем не хотели принимать во внимание, напротив, наделы, должны были носить антипомпеянский характер. Демократический проект направлен был к осуществлению полной противоположности той военно-ленной системе, которая начинается с Суллы. Наоборот, проект Цезаря был возвращением к военным наделам: первое место в числе колонистов хотели предоставить бывшим солдатам азиатской войны. Это было осуществлением тех требований, которые поставил Помпей сенату при своем возвращении; Цезарь исполнял одно из главных условий уговора триумвиров 60 года.

В виду этого консульство Цезаря и нельзя считать за какой-либо успех демократии, хотя бы даже кратковременный. Один из претендентов, представитель династической политики, искусно пользуется готовой демократической программой и про-

водит при ее помощи военные наделы в интересах своего ближайшего союзника. Ничего не выиграла и политическая жизнь в Риме. О привлечении италиков в народное собрание, о регулировании участия в трибах граждан, живущих в отдаленных муниципиях, мы ничего не слышим, а только такие меры и могли бы создать опору для демократии, вернуть ее к положению, которое она занимала в середине 80-х годов. Напротив, комиции в консульство Цезаря носят по преимуществу односторонний столичный характер. Консул обходится без сената, потому что встретил в нем консервативную оппозицию; но устраняя вовсе парламентарный ход суждений, он сокращает этим дебаты и в народном собрании, сводя последнее на машинальные плебисциты. Республиканская политика продолжает замирать; после консульства Цезаря демократия не поднялась выше уровня, на который свел ее разгром 63 г.: она скорее существует в виде литературной традиции, но не живой силы.

Но претендент добился своего: передал ему важное командование на сравнительно большой срок в 5 лет; он получил довольно крупное войско (5 легионов) и не малое число подчиненных начальников (10 пропреторов) в свое распоряжение. Цезарь выводил себя надолго из партийных отношений и счетов в Риме. Но у него в Риме оставался союзник, которому он оказал большие услуги и который гарантировал ему обладание северной провинцией и связанные с ней предприятия.

Историки всегда считали покорение Галлии важным моментом в образовании империи и нового политического строя, но расходились в оценке этого крупнейшего колониального завоевания. Моммзен изображает нам, как Цезарь, которому оппонировали мелкие политические дрызги вконец развращенной столицы, едет в 58 г. на север, чтобы отдалиться, наконец, истинной серьезной работе. Не следует думать, говорит он, что «галльская война была только местом военных упражнений, где Цезарь готовил себя и свои легионы к предстоящей гражданской войне: такая мысль была бы больше, чем ошибкой, она составляет кощунство против мощно веющего в истории святого духа». Цезарь выполнил великую спасительную цель своими галльскими походами. С севера непрерывно грозило германское нашествие: спокойствие Рима и Италии можно было обеспечить только поставивши в Галлии плотину этому страшному потоку. Но заслуга Цезаря еще выше. Италия стала тесна для ее граждан, и от того разрушалось государство и общество; Цезаря вела за

Альпы гениальная идея, грандиозная надежда: эта идея состояла в том, чтобы «приобрести своим согражданам новую безграничную родину и во второй раз возродить государство, поставить его на великую широкую основу».

Недалеко от этого суждения ушел и Нич, как мы видели, склонный в Цезаре видеть скорее черты разрушителя. Он думает, что Галльская война внесла в деятельность Цезаря оздоровляющее начало. «Здесь впервые при встрече с простыми варварскими отношениями, сказала сила его гения; лишь когда он приступил к разрешению целого ряда колоссальных военных задач, стали развиваться высокие стороны его характера, его сила и энергия».

В сравнении с Моммзеном и Ничем, поднимающими колониальную войну на степень благодетельной этической катастрофы общества, которая перерождает вместе с тем и его величайшего представителя, суждение новейшего историка, Ферреро, гораздо более реалистично.

Прежде всего, Ферреро напоминает, что Цезарь, развертывая широкие предприятия в Галлии, за Рейном и за морем в Британии, вовсе не ушел от мелочной и низменной интриганской борьбы, которая происходила в столице. Напротив, он стал доставлять новые богатые средства политическому подкупу и политическому скандалу, он получил возможность организовать их в неслыханных до того времени размерах. Из награбленного в Галлии золота давались ссуды задолжавшим сенаторам, сыпались подарки господам и клиентам, даже рабам, которые имели влияние на своих патронов. Светоний не скрывает от нас нисколько, каков был круг людей, теснившихся к щедрым подачкам колониального императора: все, кто находился под судом, кто запутался в долгах, промотавшаяся молодежь и т.п., если только преступления и долги не превосходили всякие меры, все подобные элементы находили в Цезаре лучшую защиту и покровительство; а тем, кому помочь было невозможно, он говорил открыто: «Вам нужна гражданская война». Из тех же неисчерпаемых запасов храмовых и других сокровищ Галлии Цезарь угощал римский народ и забавлял его играми, расширяя все больше и больше количество праздничных дней, возводил крупные общественные постройки в Риме и других городах, открывал крупные гладиаторские школы, закупал виллы, дворцы, поместья в разных частях Италии, нанимал отряды дружинников, которыми так искусно управлял

Клодий; из Галлии направлялась массой живая добыча, рабы, которых Цезарь рассылал по провинциям и дарил тысячами вассальным царькам восточных областей. Кругом наживались его подчиненные генералы, пользуясь предоставленным им простором: как пример, интересно, что Лабием выстроил в Пицене целый город на свои средства. Таким образом, Цезарь стоит во главе и в центре грандиозной аферы римского грюндерства, торговли должностями, проституирования республиканских учреждений.

Никакой высокой миссии не выполнял он и в самой Галлии. Мотивом завоевания вовсе не служила мысль об открытии спасительного выхода для избыточного населения Италии или об отстранении опасности, грозившей культуре. Война внушена обычными соображениями колониального завоевателя: расчетом на громадную добычу и на возможность привлечения свободных военных сил покоряемой народности, пропадающих даром вследствие ее раздробленности, желанием образовать независимую провинциальную державу вне стеснительного контроля конституционных органов метрополии. И война ведется со всею беспощадностью, холодной жестокостью, цинизмом конквистадора, с высоты своей культурности презирающего варваров. В отношении к ним нет ни закона, ни гуманности, есть только право сильного, только устрашительные экзекуции. Галлы, в глазах Цезаря, — не нация, не культура, а только сырой материал для организаций, придуманных пришельцами высшей породы, и всякая попытка неповиновения с их стороны подавляется в потоках крови. На глазах легионов он велит избить розгами до смерти Гутуатра, вождя карнутов; всем, кто взят в плен при капитуляции Укселлодуна, отрубают руки. Для галлов и для германцев не существует международного права. Племена узипетов и тенктеров переходят Рейн и просят у римлян места для поселения; Цезарь затягивает с ними переговоры, приглашает вождей в свой лагерь и в то время как лишенная предводительства масса доверчиво дожидается решения, бросает на них своих солдат и производит жестокую бойню. Случай этот настолько превзошел обычные проявления жестокого военного права римлян, что в сенате было высказано резкое осуждение главнокомандующему Галльской войны, а главный оратор оппозиции Катон предложил выдать Цезаря оскорбленным германцам.

В частности, Галльская война характеризуется еще одним явлением. Едва ли когда-нибудь захват людей и работоторговля

доходили до таких широких и беспощадных размеров. Отправляя пленников массами в метрополию и к союзным князьям, Цезарь старался оставить себе наиболее пригодные элементы. Светоний, не упускающий реалистических моментов для характеристики первого римского монарха, сообщает нам, что наряду с дорогими вещами, до которых так жаден был Цезарь, жемчугами, самоцветами, камнями, художественной мебелью и т.п., он особенно ценил красивых и хорошо воспитанных рабов; за них он готов был платить сколько угодно, но потом так стыдился этих неумеренных денежных выдач, что запрещал вписывать их в расчетные книги. Устройство больших блестящих игр в Риме всегда входило в политику Цезаря; гладиаторские бои по преимуществу развивались по его инициативе, и он держал, между прочим, большую школу гладиаторов в Капуе. Ферреро считает весьма правдоподобным, что капуанские гладиаторы Цезаря набирались из галльских пленников. Вообще, благодаря Северной войне Цезарь сделался одним из крупнейших рабовладельцев Италии; его можно считать также организатором самых утонченных форм эксплуатации рабского труда и дисциплинирования невольничьих масс. Светоний приводит случаи необычайной строгости и мелочной требовательности Цезаря, как он приказал заковать раба, подавшего за столом не тот хлеб, и казнить вольноотпущенного за связь с дамой всаднического звания. Подобные черты обличают в Цезаре чисто римского хозяина самой глухой поры массового рабовладения, в этих вопросах совершенно чуждого какого-либо налета греческой гуманной культуры.

Отметив все подобные факты, Ферреро несколько неожиданно отдает дань прежней манере характеристики Цезаря. Покоритель Галлии все-таки, в его глазах, «фатальный человек» европейской истории, бессознательное орудие, которым судьба воспользовалась для великого дела. Завоевание Галлии и разрушение старинной ее аристократии было таким же благотворным делом, как и уничтожение старинных учреждений Италии, потому что лишь этот страшный опустошительный поток смыл преграды для установления великого единства империи. Цезарь довершил гибель старого кельтического мира, который загораживал греко-латинской культуре дорогу на Европейский континент, где она черпнула сил для чудесного возрождения. Заговорами своей молодости и гражданской войной он ускори падение старых римских учреждений, которое затянулось

на целое столетие и наполнило безурядицей Италию и страны империи. Но эта общая формула висит случайным придатком в яркой картине, набросанной Ферреро, и кажется чем-то вроде старого школьного воспоминания.

Реалистическая оценка завоеваний Галлии, конечно, расходится с рассказом о тех же событиях самого Цезаря, изложенным в автобиографических «Комментариях о Галльской войне». Но было бы очень опрометчиво принимать эту книгу за объективный источник и считать ее простоту и деловитость за искренность, свойственную гениальному воину-пионеру культуры. Написанные в 51 году, в момент усиления оппозиции цезарианской политики, Комментарии представляют очень тенденциозный оправдательный документ. С помощью искусного размещения цифр, иногда весьма малодостоверных, завоевание Галлии изображено в виде борьбы кучки римлян с несметными полчищами варваров, тогда как в действительности Цезарь располагал очень крупными силами и никогда не имел перед собою противника в перевешивающем количестве. Неудачи по возможности скрыты или сглажены, успехи преувеличены. Автор упоминает о сокровищах при галльских храмах, но об их разграблении, конечно, умалчивает. Завоевание Галлии представлено результатом необходимости: галлы вынуждают Цезаря своими вызывающими поступками к враждебным действиям; их автономные стремления изображены в виде проявлений неблагодарности и возмущений против благодетельного режима римлян.

Без сомнения, с точки зрения военного и административного успеха, завоевания Галлии — одно из самых крупных и удачных предприятий всех времен. Но историки обыкновенно слишком быстро переходили к мысли о позднейших и непроизвольных результатах завоевания Галлии, сосредоточивая свое внимание на проникновении в эту страну латинского языка, форм быта, римской администрации и христианской церкви, вследствие этого они мало останавливались на непосредственных мотивах и способах осуществления величайшей колониальной войны, какую только вели римляне.

Наш исторический опыт позволяет нам отыскать к ней подходящие сравнения: таковы завоевания испанцами Мексики и Перу и покорение англичанами Ост-Индии. В особенности много аналогий представляют первые шаги английского империализма в XVII в. Там и здесь завоеванию предшествуют в

раздробленной богатой стране попытки объединения, исходящие от посторонней силы: в Индии от моголов, в Галлии от германцев и смешанных с ними воинственных пограничных племен, гельветов и белгов. Первые объединители расчищают пути последнему, который располагает высшей техникой и находит опору в культуре своей метрополии. Он пользуется также движениями более размельченными: в отдельных территориях местные вожди добиваются княжеского положения; завоеватель поддерживает этих вождей, заключает с ними союз, осыпает их титулами, помогает совладать с местной оппозицией, медиатизирует в их пользу других местных *principes*, но требует от них известной доли вассалитета и через их посредство гарантирует себе повиновение в кругу их новосозданной власти. Очень своеобразна во всех этих случаях роль церкви и духовенства: в Индии — браманство, в Галлии — друидизм, в Византии, покоряемой турками, православие были своего рода национальными объединяющими организациями, но они не мешали постороннему завоевателю; напротив, они как бы заключали с ним молчаливое соглашение, и обе силы разделяли мирно сферы своего покорения: крутые приемы Цезаря относительно галлов, обращение с ними, как с варварами, вне всяких ограничений, налагаемых правом и человечностью, бессовестная нажива за счет их священных и всяких других сбережений, напоминают как страшных испанских конквистадоров XVI в. Писарро и Альмагро, так и неумолимо жестоких англичан, Коейва с Гастингсом в Ост-Индии XVIII в.

Римское военное право было очень тяжело вообще. Но если где и кем-либо оно было доведено до высшей степени гнета, так это Цезарем в Галлии. Покорение этой страны и последующее управление ею выделяются от тех форм и приемов, которые применялись римлянами в восточных завоеваниях. После приобретения обширных азиатских областей даже могущественный Помпей должен был дать отчет сенату в своих административных распоряжениях, в области, возвращенные им или вновь отвоеванные, стали опять посылать очередных наместников, подлежащих в Риме контролю, или, по крайней мере, возможности жалобы на них в политические суды. Определяя взнос с покоренной области, Рим предоставлял ее отдельным общинам разложить между собой приходящиеся доли; это распределение было основой позднейшего местного земского представительства, союзного собрания области. Ничего по-

добного не было при завоевании Галлии и долгое время после. Никогда, кроме реляции о победах, сенат — о комициях нечего и говорить — не слышал от Цезаря никакого отчета, ни о расходовании сумм, ни о новых вербовках легионов, ни об административном устройении области, ни о налагаемых на ее население повинностях. С самого начала Галлия была личным владением, княжеством Цезаря и потом, оставаясь непрерывно в руках цезарианцев, до окончательного торжества Августа, она так и не успела сделаться составной частью погибающей республики. Податная система, введенная Цезарем в Галлии, особенно ярко отражает новый чисто бюрократический порядок: завоеватель определял постоянный взнос для каждой отдельной общины и устранял всякие соглашения между ними, разрывал всякие союзы.

В известном смысле, конечно, от Цезаря и от завоевания Галлии можно вести начало Римской империи, именно если под империей разуместь громадную военно-бюрократическую систему.

До Галльской войны правительство метрополии через своих генералов и наместников производило большие экспроприации в покоренных странах, увеличивало достояние народа римского, его «общественное поле», произвольными отчуждениями, налагало контрибуции и подати, поручая их эксплуатацию частным банкам и торговым компаниям. Злоупотребления при этом могли быть так велики, как только вообще они бывают при спешных военных поставках, при больших военных успехах и при господстве откупной системы. Но раз существовала политическая жизнь в центре, т.е. соперничество партий и публичность, ничто не могло укрыться от внимания общества: процессы наместников шли без конца, и если многие из них кончались несправедливо в ту или другую сторону, т.е. если осуждали добросовестного бескорыстного наместника, неугодного откупщикам, или, напротив, оправдывали заведомого взяточника, сумевшего поделиться с финансовыми королями, то все же публика узнавала все обстоятельства, и моральный приговор общественного мнения произносился без колебания. У наместника всегда впереди был риск процесса, а в какой мере придавали значение общественному суду, показывают заботы Цицерона, в качестве проконсула Киликии, старавшегося распространить в Риме обстоятельные сведения о своем провинциальном управлении. Напротив того, при завоевании Галлии

и потом, в войнах, ведомых династами и их родством, все обстоятельства и условия присоединения, экспроприации в устройство области были покрыты непроницаемой завесой. Никто в Риме не мог узнать о том, что решалось в штабе, в дворцовом совете секретарей и подначальных командиров колониального владыки.

Существует очень твердо установившееся представление, будто бы провинции, измученные беспорядочным и хищным республиканским управлением, которое трактовало их в качестве бесправной добычи, вздохнули свободно под рукой императоров и подчиненных им чиновников, стоявших выше узкого национализма. Если присмотреться ближе, то предубеждение в пользу римской бюрократии опирается только на одно внешнее сопоставление: из эпохи республиканской до нас доносится шум процессов и резкая полемика партий, тогда как потом все молчит и скрывается в тиши канцелярий. Но доказательства от молчания вообще довольно слабы, а здесь в особенности. Ведь нам не придет в голову считать, что порядок, при котором раскрылись злоупотребления Панамы, хуже, чем устройство стран, где общество даже не знает о расхищениях, производимых бюрократией, где виновным оказывается тот, кто решился заговорить о них публично. Но, помимо таких отвлеченных соображений, мы имеем и более реальные данные, чтобы судить о новом порядке управления, которому предстояло установиться при императорах. Первый опыт его представляет именно хозяйничанье среди галльских «варваров» Цезаря, которого так любят изображать гуманным космополитом, озабоченным широким распространением всечеловеческой эллинской культуры.

Появление новых форм провинциального управления есть вместе с тем начало падения крупных компаний откупщиков. Возникновение галльской войны составляет их последний успех, она начата не только при их содействии, но и в значительной мере по их инициативе: и та же галльская война образует кризис их финансово-политического влияния. Компании возросли главным образом на пользовании большими африканскими и восточными доменами; со сравнительно часто сменявшимися наместниками они составляли более прочный и постоянный элемент администрации. Обстоятельства изменились, когда Цезарь завоевал собственное княжество: в Галлии не отделили больших угодий в «достояние римского народа»; правитель оставался в стране непрерывно долгие годы, и финансовое

управление собственно состояло в том, что от подчиненных групп, народностей и общин требовалось доставка определенных взносов, а легаты римского властителя присылались для взыскания и, если нужно, для экзекуции. Денежные люди, поставщики, конечно, нужны были Цезарю при его больших передвижениях, для снабжения его отдаленных лагерей, при возведении его крупных технических сооружений, флота, мостов и окопов. Но такая деятельность сводила их на степень интендантства при войске; она не давала им основания составлять большие самоуправляющиеся общества, *societates*. И тип капиталистов, и размах их деятельности здесь должен был стать мельче. Одновременно с этим, вероятно, началось также сокращение доходов богатых азиатских компаний. Их крупные дивиденды были результатом своего рода первого воинственного натиска на вновь приобретенные страны. За чрезвычайными контрибуциями, за сильным напряжением платежных средств, должен был последовать отлив, реакция; долги и недоимки тяготели над населением и понижали его активные платежи. Во всех этих обстоятельствах можно видеть причину упадка высшего слоя всадничества, к концу 50-х годов мы все менее слышим об операциях и влиянии *societatos publicanorum*.

Этот факт образует также важное условие в падении республиканской жизни. Публиканам нужны были большие народные собрания; пользуясь ими как противовесом сенату, добывали они себе финансовые заказы в провинциях и организовали доходные войны. Им важно было соблюдать конституционные формы; им необходимо было поддерживать в комициях большую клиентелу, оплачивать выборную агитацию. С ослаблением средств, корпоративности и самостоятельности публиканов все это стало исчезать. В конце 60-х годов расстраивается аграрная демократия после своего неудачного выступления при Рулле и Катилине. Немного лет спустя распадается и другая фракция большой составной партии популяров, ее правое крыло, которое образовывала денежная аристократия и ее клиентела. В конце 50-х годов Цицерон уже не мог бы найти в комициях того состава слушателей, перед которыми в 67 г. он развивал выгоды Восточной войны и посылки на Восток Помпея. Партийная жизнь в Риме испытала новый урон. От старой демократии остались только обрывки: на митинги и в комиции собирались мелкие городские элементы, большею частью притянутые в круги интересов немногих *principes*, из среды которых

в свою очередь пытались выделиться триумвиры. Поэтому в 50-х годах мы не слышим более о каких-либо крупных политических и социальных программах. Новейшие историки обычно называют цезарианцев демократами, противников триумвирата — консерваторами. Но с этими названиями трудно связать реальное содержание. Цезарианцы, по-видимому, имеют перевес от 58—52 гг., но решительно ни в чем не видно их демократизма: они даже не настаивают на проведении аграрного закона, предложенного Цезарем в 59 г.

Триумвират, как мы видели, был занят, главным образом, распределением колониальных командований и фиксацией за династами посторонних владений, ускользавших от контроля конституционных органов. Уже этим наносился крупнейший удар всей конституционной жизни Рима: самые важные области были выделены от правильной очереди, бывшие консулы не находили себе применения, у сената изъято было ведение финансовых и административных вопросов в большей части империи. Народному собранию также нечего было утверждать. Но этого мало: властители, не имея возможности подчинить себе старый центральный правительственный орган, старались терроризировать его, устранить всякую возможность правильных дебатов, фактически упразднить его. В этом отношении у Цезаря был очень искусный агент, Клодий, трибун 58 г., организатор вооруженных банд, способных расстроить любое собрание. Современников крайне изумляла фривольная терпимость Цезаря, который приблизил к себе одного из самых развращенных людей Рима, скандальным образом опозорившего его собственный дом и семью. В 62 г. в преторство Цезаря Клодий, переодетый арфисткой, пробрался к жене Цезаря (Помпее) во время праздника богини Вона Деа, от которого строжайше были выключены мужчины. История вызвала крупный процесс в Риме, причем Цезарь, немедленно разведшийся с женой, держал себя так, как будто дело его не касалось. Но Клодий был очень нужный человек, и в свою очередь он знал себе цену: исполняя услуги для колониального императора, он позволял себе и самостоятельные уличные предприятия и даже не стеснялся досажать другому династу, оставшемуся в Риме, Помпею. Моммзен считает Клодия с его бандами вооруженных рабов и гладиаторов дикой карикатурной анархией, в которую выродилась демократия вследствие ухода Цезаря, единственно умевшего ее дисциплинировать: «В силу изумительного совпадения в те же го-

ды, когда Цезарь создавал по ту сторону Альп великое дело на веки веков, в Риме разыгрывалась одна из самых сумасшедших буффонад, которые когда-либо воспроизводились на подмостках всемирной истории»¹. С этой характеристикой можно согласиться: разгон всех собраний и заседаний с помощью вооруженного сброда, осада граждан в их домах, погромы на улицах — весь этот аппарат Клодия имеет мало общего с политикой. Но по этому же самому он не имеет ничего общего с демократией; с другой стороны, никак нельзя отделить Цезаря от Клодия; это были теснейшие союзники, причем один работал для другого: Цезарь присылал погромщикам обильные средства, а они поддерживали фактическое управление центрального правительства.

Ближайшей целью Цезаря перед отъездом в провинцию было удалить из Рима самых видных защитников конституционной республики. Катона отправили на Кипр, чтобы ликвидировать дела местного царька и присоединить остров в качестве провинции. С Цицероном поступили несравненно резче. Клодий провел закон, осуждавший на изгнание всякого, кто без суда казнил римских граждан, предложив применить его немедленно к виновнику юридического убийства, совершенного в 63 г. над сообщниками Катилины. Сенат, терроризированный Клодием, выдал Цицерона. Консул 58 г., Пизон, тесть Цезаря, и Габиний, вассал Помпея, согласились на изгнание Цицерона ценою большой услуги, оказанной им Клодием, который устроил каждому по провинции, Пизону — Македонию и Грецию, Габинию — Сирию. Затем Клодий приказал конфисковать имущество Цицерона и сломать его дом на Палатинском холме.

Необузданное цезарианство, подкапывавшееся под основы конституционной жизни Рима, вызвало против себя своеобразную реакцию, нечто вроде запоздалого возврата аристократии к республиканизму. Эта реакция впервые ярко выразилась по поводу амнистии и возвращения Цицерона. Менее чем через год после изгнания настроение уже изменилось. Как ни справедливо было осуждение Цицерона, который в 63 г. нарушил римский закон о неприкосновенности личности, в нем видели теперь жертву династов. Сенат осыпал множеством петиций, в которых выражалось желание вернуть заслуженного деятеля республики из ссылки; очень многие из них исходи-

¹ Моммзен Т. Римская история. Т. III, гл. 8.

ли от муниципий Италии, и это одно показывает, что опасность новой военной диктатуры проникли в обширные круги населения. Обращения были так многочисленны и настоятельны, что в Риме противники триумвиров нашли возможным созвать большой общеиталийский митинг. Сам консул 57 года Лентул Спинтер присоединился официально к этому движению и взял на себя председательство в собрании. Митинг, на котором воти- ровали возвращение Цицерона, собрал, может быть, в послед- ний раз представителей всей страны.

Оппозиция триумвирам нарастала все более и выразилась также ясно в выборах консульских и преторских 56 г. Особен- но консул 56 года Лентул Марцеллин был резким и принципи- альным противником династов. Она сказала также по вопро- су о представлении Помпею чрезвычайных полномочий в сто- лице для устройства хлебоснабжения. Осенью 57 г. Помпей, ссылаясь на высокие хлебные цены и беспокойное состояние римского населения, предложил сенату отдать в его руки вер- ховный надзор за хлебной торговлей во всей империи; с этою целью ему должны были представить право неограниченного распоряжения римской казной, войсками и флотом, а также об- щее начальство над провинциальными наместниками.

Дело хлебоснабжения столицы, несомненно, требовало из- вестной централизации, особенно после закона Клодия 58 г., сильно расширившего число получателей дарового месячно- го пайка, и в видах собственной безопасности сенат готов был предоставить Помпею заведование новой отраслью управле- ния, составившей потом одну из важнейших функций принци- пата. Но сенат был далек от того, чтобы предоставить триум- виру всю полноту желанной власти; ему не дали ни распоряже- ния казной, ни команды над легионами и флотом, ни *imperium maius*. Ограничились только передачей Помпею крупных сумм для закупки хлеба на столицу и предоставлением ему верхов- ного авторитета по всем провинциям на 5 лет во всех делах хлебной торговли и хлебоснабжения. Для того чтобы соблюсти конституционный характер за своим решением, сенат отдал его на утверждение народа.

Помпей ошибся в своих ожиданиях еще раз, так же, как в 63 г., когда он рассчитывал на поднесение ему диктатуры для подавления революции. Аристократия снова встревожилась при первом появлении этого призрака и поспешила обрезать все средства, которые могли вести к единоличной верховной

власти. Помпей мог теперьшний раз пожалеть о своем внеконституционном союзе с Цезарем. Не лучше ли было, опираясь на свои большие связи, искать более обычных и закономерных путей к обеспечению своего влияния? Т.е. снова добиваться консульства, потом получить провинцию или большое командование? На ту же дорогу поворачивал, по-видимому, и его старый соперник Красс, с которым Помпей проходил свое первое консульство 70 года.

Для Цезаря такой поворот двух союзников к нормальному политическому соискательству должен был казаться очень невыгодным. В 60 году они разделили между собою сферы влияния в империи по взаимному соглашению и заставили главные политические органы республики санкционировать свое интимное решение. Срок наместничества Цезаря истекал в 54 г., между тем как его союзники собирались, вступивши в консульство на 55 год, открыть себе на последующие годы важные административные и военные посты и утвердить их правильными избраниями и сенатскими постановлениями. Они грозили, таким образом, покинуть его самого на произвол судьбы, оставить на виду в его неконституционной роли. Мастер династической политики, создатель «чудовища о трех головах» сумел сберечь и утвердить свое произведение. Цезарь нашел возможность убедить колеблющихся союзников своих в том, что им нужно действовать сообща. Лучшим аргументом служило то обстоятельство, что у него было более войска, чем у других. Произошло знаменитое свидание триумвиров весною 56 г. в Лукке, на территории Предальпийской Галлии, составлявшей наместничество Цезаря, в той ее окраине, которая занимала ближайшее положение к Риму. Красс и Помпей приехали к своему неофициальному коллеге, и каждый из трех привез со своей стороны сторонников, вассалов и клиентов. Съезд можно было назвать блистательным. Тут были наместники, между прочим, проконсул Испании, тот самый Метелл Непот, который в качестве трибуна 63 г. предлагал диктатуру Помпея, и пропретор Сардинии Аппий Клавдий; должностных лиц было так много, что при них набралось 120 ликторов. Сенаторов насчитывали более 200 человек. Эти цифры показывают, как далеко зашло развитие политического вассалитета и как трудно было организоваться противникам триумвиров.

На съезде Цезарь вновь уговорился с Помпеем и Крассом о разделении власти на последующие годы. Он соглашался на их

консульство и на получение ими провинций с командованием войсками: Помпей предполагал взять себе Испанию, поле своей прежней деятельности, Красс — Сирию, а в действительности войну с парфянами, завоевание богатого Междуречья. Важным условием для них являлось то обстоятельство, что они выговорили себе право набрать новые легионы для своих провинций и держать их в готовности в Италии, сколько покажется нужным. В свою очередь, Цезарь заявил притязание на сохранение Галлии еще в течение 5 лет; ему нужно было увеличить свои легионы до десяти и заставить сенат принять их содержание на счет казны. Вероятно, в этом смысле три сенатора и указали программу действий съехавшимся в Лукку своим политическим вассалам. В том, что будет получено согласие народного собрания, через которое должно было пройти утверждение всех этих крупных военных и административных перестановок, они не сомневались.

В смысле развития принципата полуофициальный съезд 56 г. является более важным, чем тайный уговор 60 года. Крупнейшие *principes* разделили между собою самые важные области колониальной державы, монополизировали в своих руках чуть не все войска и вдобавок еще получили возможность держать в страхе Рим и Италию. Весьма понятно, что в сенате оппозиция сокращалась все более и более, число подчинившихся, число новых сторонников того или другого из триумвиров все возрастало. Во второй половине 56 г. в Риме все прошло так, как нужно было триумвирам и как они уговорились в Лукке. Сенат принял задним числом на счет казны легионы, которые вновь самовольно набрал Цезарь. За ним были утверждены обе Галлии, кандидатуры на консульство 55 г. и последующие командования были признаны за Помпеем и Крассом. Решения относительно провинций даже не проводились вовсе через сенат; триумвиры ограничились обращением к комициям, где в пользу Цезаря говорили Помпей и Красс, в пользу их самих — цезарианский трибун Требоний. В вопросах военной администрации триумвиры распоряжались по усмотрению: они менялись легионами, уступали их друг другу. Помпей, набравши дополнительные легионы для Испании, остался сам в Италии, он ограничился посылкой в провинцию приказов своим легионам, а вновь набранным солдатам дал отпуск. Триумвиры и их сторонники отправлялись в походы без извещения о том сената: так повел Красс свою кампанию против парфян, помпеянец Га-

биний двинулся из Сирии в Египет для восстановления Птолемея Авлета и удовлетворения банкира Рабирия, а тесть Цезаря Пизон производил грабительские набеги на фракийцев. Сенат не составлял более правительства италийской республики. За временем его бойкота и вынужденного молчания в 59—57 гг. последовал теперь период покорного согласия на меры, какие угодно было триумвирам представить на его обсуждение. Его роль стала совещательной.

Но если оппозиция была бессильна фактически, она все же громко заявляла себя. На выборах 56 г. Красс и Помпей прошли лишь с большим трудом и с применением насилия. На выборах 55 г. прошли два самых резких представителя оппозиции — Домиций Агенобарб в консулы и Катон в преторы. На выборах 54 г. оппозиции удалось доказать подкуп со стороны триумвиров, и они отказались от своих кандидатов. Эти неудачи тем более замечательны, что Цезарь и Помпей всякий раз отпускали своих солдат в Рим на время выборов, чтобы через их посредство оказывать давление на комиции. Оппозиция обнаруживалась также в судах: предприимчивый Габиний был не только притянут к обвинению за свой самовольный поход в Египет, но и осужден *majestatis*, т.е. за государственное преступление, называвшееся «оскорблением величества народа римского». Представители оппозиции говорили по временам вещи, очень обидные для династов. В 56 г. поднялись в сенате дебаты по поводу изменнического и варварского обращения Цезаря с узипетами и тенктерами; Катон предложил выдать германцам проконсула, оскорбившего честное имя римское. На одном митинге Лентул Марцеллин посоветовал народу поспешить воспользоваться свободой слова, пока ее не отняли монархи.

Еще резче, чем в Риме, звучала оппозиция в Италии. Об этом мы можем судить только по эпиграммам Катулла, так как большая часть литературной полемики до нас не дошла. «Нисколько я не жажду твоей милости, Цезарь, и дела мне нет до того, хорош ты или дурен», — заявил поэт в своем сатирическом походе против нового династа и его придворных. Катулл был родом из Кремоны и принадлежал, по-видимому, к муниципальной аристократии, т.е. владельческому слою, который можно назвать средним сравнительно с магнатством и финансовой олигархией Рима. В его нападках на «императора единственного» (Цезаря), на неразлучных «тестя и зятя» (Цезаря и Помпея) и на подчиненных им искателей военного счастья слышится

раздражение мирных кругов зажиточного класса против легких способов наживы на окраинах, против бесконтрольного ограбления варваров, против всех этих шумных авантюр, торжества над новыми неизвестными народами, которое дает потом незаслуженный почет и богатство случайным людям. В этих протестах мы еще не улавливаем страха перед возможным вторжением цезаревых солдат в Италию, перед новой экспроприацией в пользу военных элементов. По-видимому, опасения такого рода стали появляться позднее, но недоверчивое отношение владельческих слоев Италии к цезарианской аванюре на севере достаточно засвидетельствовано.

Цезарианские средства для сокрушения оппозиции по-прежнему состояли в расстройстве правильной политической жизни, в учинении политических скандалов, дискредитировании конституционных учреждений, в разных уличных тревогах. Самым обычным видом скандала было нарушение порядка выборов, и если дело шло об устранении кандидатов оппозиции, имевших за себя большинство, то Клодиевы дружинники старались вынуждать отсрочку выборов и тянуть так называемые «междущарствия», т.е. пятидневные сроки управления временных председателей выборных комиций, а, следовательно, приучать Рим обходиться без обычной администрации и без своих вековых, ежегодно сменяемых глав исполнительной власти. Смута так затянулась в конце 54 г., что консулов на 53 год не успели выбрать, и новый год начался без консулов. Еще хуже было положение в начале 52 г. Противник Клодия, организатор вооруженных банд на службе оппозиции, Милон, при встрече с ним недалеко от Рима убил своего врага. Дружинники Клодия собрались для того чтобы торжественно похоронить своего вождя, отнесли тело в курию и зажгли здание сенатских заседаний, точно огромный костер, в виде жертвы своего мщения.

В этом состязании респектабельной оппозиции аристократических республиканцев с героями уличных погромов первые опять должны были вспомнить о консервативной диктатуре, как выходе из затруднений и спасении от вечного осадного положения. Таким образом, монархия пододвинулась до известной степени с двух сторон. Императоры вышли сами из среды аристократии: с приобретением огромных сторонних владений представители нобилитета не могли удержать в своем кругу равенства, правильной очереди, не могли более ревниво следить за равномерной сменой власти и полномочий. Глав-

нокомандующий в крупной войне, устроитель новой доходной области, окруженный штатом подчиненных генералов, чиновников, поставщиков, вновь приобретенных клиентов среди покоренных, естественно перевешивал своим авторитетом все остальные фамилии правящего класса. Сулла, Помпей, Цезарь приобрели верховное положение благодаря захвату вновь или возвращению важнейших для империи областей — Азии, Испании, Сирии и Галлии; Август завершил установление монархии, завладев последней большой вотчиной колониальной державы, Египтом. Многие представители правящего класса в виду такого положения вещей заранее покидали мысль о самостоятельной карьере, которая становилась невозможной, и переходили на службу колониальных владык; легаты главных *principes*, Габиний, Афраний и Петрей у Помпея, Кассий у Красса в войне против парфян, Лабиен и Децим Брут у Цезаря, не достигнув еще ни одной из крупных республиканских должностей, были, однако, важнее и влиятельнее тех аристократов, которые давали себе труд правильно проходить все должности вплоть до провинциального наместничества. Цицерон соображает, что служебная карьера его младшего брата Квинта несколько затянулась; после своего вынужденного примирения с триумвирами он не находит ничего лучшего для Квинта, как рекомендовать его Цезарю в качестве легата для галльских походов. Без сомнения, у многих нобилей в это время являлся вопрос: нельзя ли вместе с неизбежным наступлением новой политической формы сохранить за собой пути служебной карьеры, привычные привилегии, доходы, притекающие из колониальных владений? Обратно, нет ли возможности ввести генералиссимусов и князей больших посторонних вотчин в конституцию, примирить их новую власть сколько возможно со старыми формами?

Итак, в высших слоях римского общества совершился некоторый поворот в пользу монархии или вернее монархического президентства, которое представляли себе в виде закономерной конституционной формы. Насколько в среде аристократии предусматривалась неизбежность или даже желательность некоторого монархического добавления к действующему римскому строю, можно видеть из политических мечтаний Цицерона, изложенных в книге *de republica*, которая вышла в 52 году.

Диалог *de republica* по своему внешнему виду представляет историческое изложение и в большей своей части занят характеристикой отдаленных времен жизни Рима, в действитель-

ности это — теоретический трактат по государственному праву. Цель книги, как очень определенно говорит сам автор, та же, что у Платона — нарисовать идеальный политический строй. Старинный Рим доставлял для этого лишь подходящие краски; анализ его учреждений давал целый ряд удобных поводов для важных теоретических заключений. О действительном сравнении Цицероновского диалога с «Политией» Платона, конечно, не может быть речи: изображение Цицерона кажется сухим, бледным, лишенным конкретности в сравнении с яркой реалистической утопией Платона. Нам важно только отметить одно принципиальное различие между ними. Платон занят, главным образом, построением социальных отношений; в его идеальной картине политический строй — нечто производное, само собою вытекающее из общественных порядков, и все дело именно в установлении социальной нормы. Цицерон, напротив, нисколько не колеблется и не задумывается над определением нормального строя общества. Он занят только отысканием наилучшего, наиболее прочного политического порядка, который бы годился для охраны имеющихся общественных отношений от всяческого потрясения. Поэтому в трактате не описываются социальные нормы. Лишь по нескольким намекам, которые вследствие этого очень ценны, мы можем судить о том, что автор считает само собою разумеющимся. В третьей книге диалога речь идет о применении справедливости в политике, о построении правового государства. Согласно известной греческой теории, наилучшим обеспечением права может служить разумное смешение трех основных политических элементов — монархического, аристократического и демократического. Цицерон повторяет положения этой теории, но в своем объяснении очень характерно отклоняется от оригинала. Греки говорят о равновесии политических органов, Цицерон поворачивает на сцепление общественных элементов: «Если есть взаимное уважение, если человек почитает человека, а одно сословие уважает другое, тогда принимая во внимание, что никто не может положиться на свои индивидуальные силы, образуется как бы договор между народом и могущественными людьми; на его основе слагается тот превосходный государственный строй, который можно назвать солидарным»¹. Совершенно неожиданно мы отнесены далеко от идей греческого государст-

¹ Cic. De rep. III, 13, 23.

венного права, римский публицист изобразил нам близкий ему сеньориальный порядок — римскую сословную иерархию.

О том же нормальном строе общества есть намек еще в другом месте диалога. Изображается царь Ромул, образцовый монарх, Цицерон готов признать единоличную власть в принципе здоровым политическим фактором. Но для того, чтобы придать ей характер закономерный и укрепить ее, по мнению Цицерона, Ромул должен был дать всем крупным людям выдающийся авторитет, ради этого Ромул расписал простой народ клиентами по домам знатных, а это, в свою очередь, имело важные и полезные последствия.

Что такое истинная политическая свобода? — спрашивает Цицерон. никоим образом она не состоит в абсолютном равенстве, так как нельзя ни уравнивать имущества — это будет несправедливо, ни признавать равными дарования людей — этого не допустит природа. Свобода образует лишь равенство в правах, но это равенство фактически обнаруживает разделение в государстве двух классов, одного, до известной степени активного, другого — пассивного: «(народ) голосует, дает полномочия, должности, его запрашивают, домогаются его расположения, но, в сущности, он раздает лишь то, что и помимо его желания раздавалось бы, и, во всяком случае, отдает то, чем сам не владеет: ведь (простые) граждане лишены участия в полномочных должностях, государственном совете, судебных комиссиях: все это доступно лишь старинным фамилиям и капиталистам»¹.

Как нельзя более ясно, что именно Цицерон считает «естественным» порядком общества. Для него вопрос состоит только в том, какими способами наилучше сохранить нормальные общественные отношения. Цицерон давно ушел из партии популяров, отрекся от демократической программы. Он видит в демократических движениях только опасность для общественного спокойствия. Нет ничего хуже, как предоставлять массе чрезмерную свободу. «В своей крайности вольность сама превращает свободный народ в рабов». Из корня народного своеволия как бы непосредственно и сама собою вырастает тирания. Цицерону кажется необходимым ограничить, отеснить подальше слишком разнуздавшийся народный элемент. Но этого мало; он желал бы также ради общественного спокойст-

¹ Cic. De rep. II, 1, 31, 32—47, 49.

вия усилить принцип единоличной власти. В идеальной форме государства, представляющей соединение трех основных принципов, «должен быть элемент выдающийся и царский, другая доля должна быть по достоинству отведена авторитету знатных, а известные стороны предоставлены суждению и воле массы».

Что крайне любопытно в этом определении, Цицерон не стесняется несколько термина *regale*; монархический элемент в государстве кажется ему естественным и полезным; поэтому он, не затрудняясь, рекомендует, в качестве наилучшего строя, старинный порядок легендарной царской эпохи. Царская власть вполне соединима и с конституционной жизнью. В заключение вышеприведенного места встречается и термин «конституция», почти в его новоевропейском смысле. «Эта конституция, — говорит Цицерон о соединении трех форм, — во-первых, в высокой мере соответствует справедливости, вне которой общество свободных людей не может долго жить, во-вторых, она обладает устойчивостью».

Надо, однако, иметь в виду, что желательный в глазах Цицерона царь — не династ, не одна-единственная фамилия, господствующая по праву наследства, а так сказать, пожизненный выборный президент. Публицист одобряет принцип царской власти, постоянство авторитета в известных руках, но не ее обычную форму, наследственную монархию. «Если сравнить чистые, несмешанные типы, то не только нет основания порицать монархический строй, но я уверен, что следует его поставить несравненно выше других». И это потому, что непрерывная власть одного лица способна наиболее обеспечить спокойствие, благосостояние и справедливое равенство между гражданами. «Нечего и толковать, что это, как я уже сказал, превосходный строй; но в нем есть склонность превращаться в самый гибельный (тиранию)». Между тем в старинном римском государстве, управлявшемся царями, по мнению Цицерона, имелся как раз корректив против этого зла, имелось вполне действительное предохранительное средство: цари были выборные. Этого не доглядел мудрый законодатель Спарты Ликург, а римляне, хоть и неразвитой народ, напротив, поняли, что царь должен обладать личными достоинствами, а не родовитостью. То же самое доказательство политического ума римского народа Цицерон видит и в учреждении «междущарей». Смысл римского *interregnum*'а в том, что государство не может обходиться

ся без царя, но что и царь не должен засиживаться во власти, а обязан очищать, если нужно, место более достойному.

Такого-то авторитетного, выбираемого на большой срок или пожизненно, но в случае нужды подлежащего смене конституционного государя желает видеть Цицерон в современном ему Риме. Должен явиться идеальный устроитель государства и спаситель общества. Книга *de republica* заканчивается пророческим сновидением Сципиона Африканского Младшего, главного персонажа в диалоге. Все общество взывает к нему: «На тебя устремят свои взоры сенат, все благомыслящие граждане, все союзники и латины; ты будешь единой опорой спасения государства,— словом, необходимо, чтобы ты в качестве диктатора устроил республику»¹.

Но почему так нужен обществу президент республики? Совершенно ясно, что он требуется не для внешнего представительства, не для ведения международной политики. Говоря о значении старинной римской диктатуры, Цицерон указывает ее смысл на войне: тот самый верховный народ, который на форуме кассирует решения начальников, «во время похода повинуется своему командиру, безусловно, как царю: спасти жизнь тут важнее, чем сберечь вольность». Но не эта сторона диктатуры или выборной монархии занимает Цицерона. Конституционный государь важен ему в качестве высшего охранителя закона, судьи и истолкователя права. Это — истинно царственная функция, ее чистейшим типом был царь Нума, который воспроизвел в своей деятельности идеал древних греческих царей. Цицерону представляется во главе государства человек высшей юридической школы, знаток законов, просвещенный в греческой литературе, обладающий легкой и изящной речью, беспристрастный и спокойно-рассудительный. Это, пожалуй, несколько чересчур личный идеализированный портрет автора, который готов представить себя самого президентом республики. Но, читая его книгу, можно выделить личный суетный элемент. Мысль остается весьма определенная. Представитель высшей власти рисуется Цицерону не военным, а гражданским сановником. Избегая терминов «царь», «диктатор», Цицерон придумывает для него особый титул «ректора». Избранный главою республики во внимание к своим огромным знаниям и опыту, ректор государства должен быть освобожден от непосредственной

¹ Cic. *De rep.* VI, 9 ssq.

практики, личных аудиенций и переписки, в качестве высшего управляющего, он лишь будет указывать ход управления в республике. Если в качестве ректора республика приобретет правителя с глубоким политическим пониманием, он будет играть роль как бы земного Провидения.

Как ни беден трактат Цицерона в смысле оригинальных политических идей, как ни слаб он в теоретическом обосновании своих положений, но он очень характерен для оценки настроений в среде высшего общественного слоя в Риме; рассуждения Цицерона представляют важный симптом совершающегося превращения политических понятий. В среде *principes* и, вероятно, также среднего нобилитета многие мирились с наступающей монархией, может быть, даже искали в ней социальной опоры, но в то же время группы правящих фамилий были озабочены тем, чтобы так или иначе ограничить ее конституционными формами, ввести ее в рамки существующего политического обычая.

Интересна еще одна черта в этих поисках нового строя, который мог бы соединить неизбежный факт политической перемены с верностью исконным принципам. Монархическое президенство должно наступить после долгих веков господства коллегиального порядка, который особенно выражался в частой смене должностных лиц, в фактическом верховенстве сената. Неужели оно явится в виде заимствования обычаев раболопного Востока? Конечно, нет; надо найти прецеденты в самой римской истории. И вот Цицерон старается открыть их в царском периоде Рима. Разумеется, не надо останавливаться на последних царях, превративших свое правление в тиранию. Устроителями идеального государства были первые, образцовые цари, первоначальная форма римского устройства была наилучшей. Впоследствии при Августе, когда всячески старались дать монархии историческое оправдание и нарядить ее в республиканский костюм, в ходу была официальная формула «возвращение к первоначальному строю республики». Августовская формула внушена была не одним только учено-археологическим интересом. Она отвечала наметившемуся раньше, еще во времена цицероновского диалога, стремлению примирить аристократию с монархией и найти для этого примирения исторический прецедент.

Одновременно с выходом книги Цицерона, в Риме можно наблюдать практические попытки введения единолично-

го президентства. Наиболее подходящим считал себя для этой роли Помпей. Напрасно, Моммзен, оттеняя все, что окружает сияющую фигуру Цезаря, изобразил Помпея «угловатым образцовым солдатом» без малейшего политического понимания, жадным до власти и трусливо убегающим от неизбежно с ней связанных титулов. То обстоятельство, что большинство нобилей последовало за ним в 49 г., когда началась гражданская война, и что масса их еще раньше готова была к нему примкнуть, показывает, что в нем видели представителя определенной программы. Его сдержанность в 71-м и 62 г. обнаруживает в нем только политика консервативной складки, не расположенного резко врываться в сложившиеся традиционные отношения. Правда, своим сближением с Цезарем в 60 г., еще более скрепленным в 56 г., Помпей отклонялся от этого пути и вступал на почву династических внеконституционных соглашений. Но, тем не менее, он оставался всякий раз в Риме и старался сохранить правильные отношения к сенату. Примыкая к триумвирату, Помпей, однако, не входил в существо триумвиральной политики, затеянной Цезарем, в дележ колониальных войн и предприятий. Его занимала, по-видимому, мысль о приобретении первенства в центре, о руководящей роли в среде постоянного старинного правительства Рима. Новый более широкий авторитет он и желал получить не иначе, как из рук сената. Для этого существовали и подходящие формы, свои политические прецеденты.

Такой формой была передача очередному сановнику чрезвычайного полномочия в критический момент, совершавшаяся посредством формулы объявления «отечества в опасности». Правда, демократическая партия, будучи враждебна всякой диктатуре, не признавала конституционной правильности и за этой сенатской диктатурой. Другой формой, которая не нарушала гражданского порядка в метрополии и также выходила из уполномочения сената, было *imperium maius*, т.е. передача одному лицу соединенной власти над несколькими областями и наместниками. Таково было положение Помпея на Востоке в 66—62 годах, а позднее, во время последней борьбы за республику в 43—42 гг. положение Брута и Кассия в тех же восточных областях. Характерной чертой *imperium maius* было то, что в провинциях создавался большой военный авторитет, между тем как в Риме и Италии отношения между полномочным лицом и органами гражданской власти не изменялись. При этом

можно было соблюсти территориальную раздельность гражданского и военного порядка, внешним образом связанных в формуле *domi militiaeque*. Раздельность состояла в том, что солдаты не должны были стоять и собираться сплоченными группами на почве Италии. Набор и запись солдат производились на Капитолии, но вслед за этим они распускались по домам и должны были соединяться в армейские корпуса в одном из пунктов, непосредственно прилегавших к границе гражданской территории, в Аримине, Пизе или Брундизии, точно так же обратно, при возвращении из похода они должны опять собраться на триумф.

Если можно говорить о политической программе Помпея, то она, по-видимому, направлена была к тому, чтобы воспользоваться вышеописанными формами и обратить их в постоянные учреждения: Помпей хотел, сохраняя в Риме гражданское положение, входя в сенатскую корпорацию, быть постоянным обладателем *imperii majoris*, постоянным общим императором. В 57 г. он сделал первую попытку в этом направлении, потребовав себе вместе с *imperium maius* для всего государства заведование поставкой хлеба в столице. Большинство в сенате относится еще недоверчиво к триумвиру; ему дали проконсульскую власть на 5 лет, но лишь в качестве *imperium aequum*, т.е. на равных условиях с другими наместниками.

Через 5 лет настроение изменилось, большинство в сенате уже само, по-видимому, обращается к программе Помпея. Он сам все более и более сближается с консервативными кругами. Непрерывные политические скандалы, учинявшиеся цезарианцами в 54-м и 53 г., заставили сенатское большинство искать опоры в Помпее. В начале 52 г. за невозможностью провести правильные консульские выборы, было издано *senatus consultum ultimum* с поручением Помпею набрать в Италии солдат для подавления беспорядков. Сенат принял на себя содержание его легионов. Носитель чрезвычайного авторитета был приглашен в город. Оставаясь проконсулом (Испании), он принял консульство «без коллеги», т.е. стал единственным главою исполнительной власти в центре, сохраняя свое положение в провинции. Это совершенно необычное для римских традиций соединение командования в колонии и президентства в центре приблизило Помпея к его цели. Казалось, можно будет ввести выросшее в колониях императорство в конституционный порядок.

Третье консульство Помпея (52 г.) обнаруживает в нем вполне определенно сторонника консервативного магнатства. В нем не видно более триумвира. Он старается более всего о том, чтобы оградить высшие фамилии в их фактических преимуществах, нарушенных триумвиратом, и прежде всего, регулировать очереди на замещение высших должностей и наместничеств. Эту цель имело постановление сената 53 г., отданное теперь на утверждение народа: бывшие консулы и преторы могут отправляться в провинции только спустя пять лет после окончания своей должности в столице. При прежнем порядке посылки проконсула в провинцию вслед за его консульством, кандидат, выступая на комициях, большею частью агитировал также в расчете на определенную провинцию, и подкуп давал ему две вещи зараз — высшую должность в столице и наместничество. Промежуток в пятилетний срок значил, что народ вообще устраняется от распределения провинций; оно переходит в руки сената. Городские должности должны были вообще утратить свое значение; таким способом надеялись сократить и подкупы, которые возросли до непомерности. Подкупы вообще сильно беспокоили аристократию. Против них был издан специальный закон и даже с обратным действием на несколько лет назад. Рядом с этим была принята мера, которая должна была обеспечить частую смену наместников и не давала им засиживаться в провинциях: Помпеев *lex de juremaqistatuum* запрещал лицу, находящемуся в отлучке, ставить свою кандидатуру на консульство. Таким образом, нельзя было более низывать непрерывную цепь служебных полномочий; всюду намечены были сроки и перерывы, которые открывали простор многим коллегам и конкурентам.

После нескольких лет беспокойства и столкновений с политикой триумвиров, консерваторы находились в воинственном настроении; они хотели возмездия противникам. Это видно из прибавки к закону о подкупе, требовавшей применения его ко всем случаям за 18 последних лет, где удастся доказать злоупотребление. Помпей пошел навстречу репрессиям, которых так желала аристократия: он пожертвовал даже одним из своих близких сторонников, Габинием, и допустил его осуждение за поход в Египет, который в свое время был, конечно, предпринят не без согласия триумвиров. Помпей пересмотрел лично списки присяжных, вычеркнул ненадежных людей и заполнил вновь лицами определенного направления мысли. Что-

бы поставить судей вне страха от столичной толпы, которая в последнее время часто терроризировала сенат и судебные комиссии, Помпей стал окружать заседания вооруженными отрядами своих солдат

Разрыв Помпея с триумвиральной политикой носил совершенно явный характер. Закон *de iuremagistratu* был прямо направлен против Цезаря, который еще раньше уговорился поставить свою кандидатуру на консульство, не покидая провинции. Проводя свой закон, Помпей не выговорил никакого изъятия для Цезаря. Следовательно, он хотел превратить своего могущественного коллегу в частного человека и оборвать его полномочное положение в Галлии? Без сомнения, этот разрыв союза (после смерти Красса в 53 г. триумвират обратился в дуумвират) объясняется критическим положением Цезаря 52 г. Вся Галлия была охвачена восстанием, и руководителем движения был опасный своей энергией и искусством арвернский принцепс Верцингеторикс. Все, чего Цезарь достиг с 58 г., было поставлено под вопрос. Галльские инсургенты рассчитывали на политические затруднения, переживаемые цезарианцами в метрополии; в свою очередь Цезарь не мог вмешаться в итальянские дела.

В 52—50 гг. союз претендентов заменился принципатом одного. Триумвиры в 60—59 гг. приняли несколько пунктов демократической программы и потом, хотя в слабой степени, продолжали как будто бы традиции партии популяров. *Principes* 52—50 гг. Помпей решительно стал на сторону консерваторов, так называемых «лучших» или просто «благонамеренных людей», по терминологии, применяемой Цицероном. С такой формой единоличной власти, в свою очередь, готова была мириться значительная часть аристократии.

В понятиях последующей эпохи можно найти одно указание на то, что руководящее положение Помпея как бы создало прецедент политической системы, которую в известных кругах считали приблизительно нормальной. Об этом свидетельствует живучесть помпеянской традиции, удержавшейся надолго, несмотря на исчезновение помпеянских претендентов. Симпатия к памяти Помпея составляет характерное направление в среде аристократии. При дворе Августа помпеянство выражалось довольно открыто: историк Ливий не стеснялся высказывать его. Первый брак Августа со Скрибонией был устроен с расчетом привлечь помпеянские круги. Молодого Тиберия, будуще-

го императора, окружали помпеянцы. Усвоивши примирительную политику, озабоченный соблюдением разных конституционных фикций, Август старался воспользоваться в своих видах и помпеянством; он готов был принять Помпея в число своих политических предков и ввести его имя в свою династию. Этот расчет характерно отражается в погребальных процессиях императорского дома. В числе изображений замечательных людей Рима, выводимых в качестве предшественников государя, несли на видном месте фигуру Помпея.

Еще более знали бы мы об этих направлениях, если бы могли восстановить ту традицию о катастрофе республики, о последних гражданских войнах, которая ходила в первое время августовского принципата. В своем непосредственном виде она не дошла до нас, и особенно жаль, что не сохранились Ливиевы характеристики. Впоследствии она была закрыта в литературе цезарианскими изображениями; но она оказала решительное влияние на историографию первого столетия императорского периода, и следы этого воздействия мы еще можем отметить. Нечего и говорить о таком оппозиционном писателе, как Лукан, который оплакивал гибель республики в своей «Форсалии», отождествлял ее с поражением Помпея. Люди более спокойного направления, например, Сенека и Квинтилиан, без колебания признавали, что в столкновении 49 года право было на стороне Помпея. Офицер эпохи императора Тиберия, Веллей Патеркул, писавший около 30 г. по Р.Х., т.е. 80 лет спустя после изображаемых событий, находил, что дело Помпея было справедливее, а Цезарь имел за себя лишь перевес силы; все убежденные люди, кому дорога была традиция, должны были стать на сторону Помпея, все осторожные и практические — на сторону Цезаря. Точно так же у Плиния Помпей поставлен гораздо выше Цезаря, и его отзыв о Цезаре вообще холоден: можно думать, что на этой характеристике отразилось влияние известного историка и археолога Варрона, написавшего биографию Помпея.

В биографии Цезаря Плутарх говорит несколько неопределенно, что, под влиянием непрерывных политических скандалов и уличных погромов в Риме стало широко распространяться убеждение в неизбежности монархии: были люди, которые решались утверждать, что единственным лекарством для спасения республики является единоличная власть, но что для применения этого средства нужно найти наиболее мягкого врача и

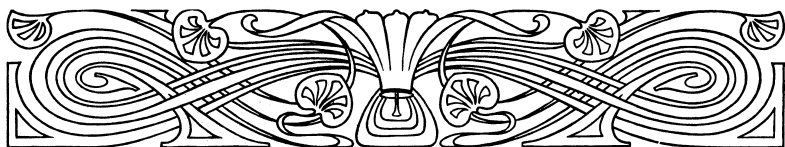
его уже слушаться, причем разумели Помпея. К числу этих людей принадлежал, по-видимому, и Цицерон, судя по его замечанию в интимном письме к одному из близких людей. Теоретик консервативной республики только что рекомендовал в своей книге монархическое добавление к римской конституции. Он отправляется на сравнительно долгий срок наместником в Киликию и перед отъездом ведет с Помпеем, который стоит на вершине своего влияния и авторитета, продолжительные разговоры на общие политические темы; Цицерон выносит убеждение, что конституция не будет нарушена, что, напротив, она найдет в Помпее своего защитника. Судя по одной правильно возвращающейся формальности, Помпей очень заботливо избегал нарушения политических традиций. В качестве проконсула и представителя военной власти, *imperium*, он, по старине, не мог входить внутрь священной городской черты, в пределах которой действовали лишь гражданские авторитеты. Поэтому он либо отсутствовал в заседаниях сената, если они созывались внутри померия, либо, раз его присутствие было необходимо, сенат сходилась в одном из храмов, находившихся вне городской черты.

Несомненно, что в республике устанавливалась какая-то новая форма, во всяком случае, новое соотношение властей. Последовательные непримиримые республиканцы в роде Катона или Марцелла не могли принципиально одобрить ее. Катон говорил потом, что в случае победы Цезаря он кончит самоубийством, в случае торжества Помпея уйдет в изгнание. Но фактически и они допускали ее, как меньшее из двух зол. Тот же Катон был инициатором диктатуры Помпея в 52 г., предложивши только для смягчения внешнего вида облечь ее в форму консульства без коллеги, — формулу, в конце концов, тоже небывалую и неконституционную. Расчет этой партии непримиримых состоял в том, что взаимная борьба между претендентами ослабит обоих противников и придется на пользу старинному устройству.

В Италии, хотя и лишенной фактически представительства своих интересов, политическая перемена, происходившая в Риме, была замечена. Нашлись весьма обширные слои населения, которые приветствовали принципат Помпея. В 50 г. он опасно заболел. Выздоровление его сопровождалось во многих муниципиях, особенно Южной Италии, торжественными молебствиями. Веллей Патеркул называет их молениями за здра-

вие первого из всех граждан. Стоит отметить, что эта форма чествования, несколько уже напоминающая восточные обычаи преклонения перед носителями власти, возникла по инициативе неаполитанских греков. При проезде Помпея из Брундизия в Рим ему были во многих местах устроены горячие оvationи. Кто были эти люди, сочувствовавшие правительству Помпея, и на чем основывались симпатии? Может быть, владельческие слои уже теперь опасались нашествия «нового Бренна», как звали Цезаря после его галльских завоеваний и новых экспроприации в пользу участников Галльской войны; может быть, знали о союзе между северным императором и теми беспокойными элементами в Риме и в остальной стране, которым он обещал гражданскую войну.

В 49 г. близкий к своему утверждению консервативный принципат Помпея был опрокинут его старым союзником по триумвирату, который вовсе не расположен был играть подчиненную роль при единственном принципсе. «Стоит только сойти на второе место, и нет ничего легче, как потом попасть на последнее». Такие слова или подобные им приписывали Цезарю около этого времени.



ПАДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ

Политический принципат одного лица, обозначившийся так ясно в конце 50-х годов I в., был результатом и выражением социальной иерархии, которую вырабатывала жизнь Рима и Италии после большого болезненного кризиса 80-х годов. И тот, и другой из этих тесно между собой связанных фактов уже составлял уклон республики, увлекал за собою падение ее учреждений и нравов. Автономные коллегии, независимые клубы, свобода слова в больших дебатирующих собраниях, равенство звания перед судом и одинаковая для всех свобода личности,— все это не могло уцелеть в обществе, сложившемся по рангам опеки и подчинения. Политический порядок, нормальный для этого общества, направлялся как бы неизбежно к уничтожению автономных, демократических форм, и уже короткая диктатура Помпея в 52 г. показала, например, как мало остается от независимости судей, «охраняемых» верховной властью.

Но совершенно так же, как широкая политическая жизнь не вводится сразу одним почерком пера, подписавшего манифест свободы, так точно и обратно, старинная республиканская традиция всей жизни не вычеркивается двумя-тремя декретами новой власти. Остаются обычаи, понятия, привычки, которые нелегко выкинуть и которым должны подчиняться сами властители. Они не могут, в конце концов, уйти от привычного контроля общества, отказаться от всякой отчетности перед ним. Как магнат должен обращаться за советом и одобрением к клиентам, бывшим независимым людям, в свое время составлявшим автономные общины равных, так и главный принципс не может закрываться от массы народа, помня, что это та самая масса, которая, по выражению Макра, прежде выбирала только старост, а не владык. Он должен сохранить за ней право коллективных петиций и жалоб, он обязан публично защищать

и объяснять свои действия и распоряжения, как красноречиво свидетельствует известный застывший ораторский, совсем не повелительный, жест императорских статуй. Он не может превратить в канцелярские отделения и исполнительные чины представителей старого служилого класса, из среды которых он вышел сам, хотя они и вынуждены искать в нем опоры; он не может уйти из их парламента, стать вне старинной коллегии.

А главное: нельзя истребить старинное почтенное имя Республики, нельзя властителю называться царем. И это вовсе не смешная претензия фактически пригнетенных людей. Те новоевропейцы, которые смеялись над республиканской традицией, сохраняющейся в школе, суде и литературе императорского периода, показали этим только, что сами не избавились от некоторых феодально-крепостнических привычек и идей Средневековья. Соответствием к царю, *rex* или *dominus*, ведь было по понятиям тогдашнего римского гражданина — *servus*, подданные, т.е. рабами, а не гражданами были в его глазах обыватели восточных деспотий. Не надо забывать, что «римское гражданство» заключало в себе не только материальные выгоды, но и моральное достоинство, в свою очередь закрепленное республиканской традицией: оно, между прочим, означало свободу от телесного наказания, а властям ставило преграду к смертной казни. Если в Европе XX в. есть множество людей, еще недостаточно почувствовавших это право элементарной телесной свободы, то из этого не следует, чтобы в римском обществе 2000 лет тому назад не было реального сознания важности такого права. Культура идет неровным шагом, и кое в чем эти древние, жившие так грубо и неуютно, будут, пожалуй, впереди нас. Наивная политическая вера в Риме утверждала, что был «народолюбец» Валерий, раз навсегда закрепивший неприкосновенность личности римского гражданина, предоставив осужденным на смерть обращаться к народу за амнистией. Хорошо известны были также старые законы трех Порциев, воспрещавшие пытки, истязания и вообще телесные наказания по отношению к римским гражданам.

Таким образом, пять веков республиканской жизни налагали на вновь образующийся режим известные ограничения. Эти ограничения ясно выступают потом в строе Августовской эпохи; но они обозначались уже в Помпеевском принципате. В промежутке стоит катастрофа колоссальных междоусобных войн 40-х годов, которые отклонили на некоторое время уста-

новление принципата. Они были только разрушительным течением, которое вышло от элементов, выросших в колониальных войнах. Их вождем и главным выразителем и был Цезарь. В своем торжестве над гражданским обществом они занесли в Италию чуждую ей политико-религиозную черту в виде восточного «царства» с его апофеозом. Но в смысле социальных отношений они не дали ничего нового: императоры совершали экспроприации в пользу армии и выдавали лены за счет местного населения; оно ответило им на это жестокой реакцией, что заставило младшего Цезаря, несмотря на то, что он был вознесен теми же разбушевавшимися военными элементами, пойти на компромисс со старой Италией и вернуться на политические пути более осторожного предшественника, опрокинутого старшим Цезарем.

Таков краткий остов событий 40-х и 30-х годов I века. Необходимо, однако, войти более детально в столкновения этой эпохи, чтобы выяснить распределение общественных сил.

Какие условия привели к так называемой второй гражданской войне 49—45 гг.? Что вызвало столкновение 49 г. между Цезарем и Помпеем, принявшее вид борьбы за и против республики? В самой Италии было мало горючего материала. Нельзя было бы указать теперь на что-либо подобное тем двум большим враждующим группам общества, которые стояли лицом к лицу в 80-х гг. и еще раз готовы были столкнуться в 63 г. Италия была теперь не та, что в эпоху существования независимых сельских общин или вскоре после их разгрома, когда можно было еще рассчитывать на возвращение эмигрантов 80-х гг. и на новое соединение разрозненных остатков старого союзничества. Владельцы послесулланской эпохи, усиливавшиеся при помощи скупок земли магнаты и многочисленные средние помещики, в среде которых были сулланские и помпеянские ленники, устроились крепко, внесли новую хозяйственную энергию, приспособили себе рабочие руки и вовсе не желали уступать свое положение. Судьба аграрного проекта Рулла и движения катилинариев показала, что организовать остатки крестьянства в Италии уже нет возможности; все, что не было истреблено сулланцами, жалось к стороне. *Rustici* были разрознены и большую часть рассеяны в качестве арендаторов или батраков, при новых экономиях, магнатских фермах и пустошах. Ферреро необыкновенно живо изобразил нам сельскохозяйственный подъем этой новой помещицкой Италии, интерес владельцев к

интенсивным культурам, к прививкам новых растений, к укреплению сельских вилл, к усилению вывоза своих продуктов и открытию новых рынков. Владельческий слой с интересом следил за внешними завоеваниями, особенно, если они обещали новые выгодные торговые конъюнктуры. Но в нем самом осталось мало воинственности. Как нельзя более ясно обнаружилось это, когда, уже почти в виду грозящего нашествия Цезаря, Помпей, по поручению сената, стал набирать войско «для защиты отечества»: в Италии почти никто не хотел записываться в легионы. В смысле военной защиты изменился самый вид страны. Во время Союзнической войны она была полна крепостей; всякая горная деревня представляла укрепление. С тех пор многие стены были скрыты победителями 80-х годов, другие были заброшены. О размельченной войне, о цепком отстаивании отдельных территорий теперь не могло быть и речи; в 49 г. Цезарь без препятствий прошел всю Италию и легко заставил сдаться корпус Домиция Агенобарба, изолированный в Корфинии, одном из немногих укрепленных пунктов, оставшихся к этому времени.

В Италии Цезаря ждали только те, кому он пообещал «гражданскую войну». Война, начавшаяся в 49 г., была вызвана исключительно притязаниями колониального императора и его войска; она не оправдывалась никакими социальными или политическими программами. Это были счета претендентов, из которых один находил себя обиженным со стороны старого своего союзника. Остается еще неясным, в какой мере Цезарь зависел от своей армии, где кончается в нем инициатор всех предприятий и начинается искусный истолкователь решений или желаний тех организованных военных элементов, которые толкали его вперед так же, как и Суллу. В ходе войны эта зависимость выступает чем дальше, тем яснее. Армия иногда прямо парализует все планы вождя, если он с ней не согласен, и тут ясно видно, какая это большая и самостоятельная сила. Очень трудно определить, каковы были виды и требования офицеров и солдат вначале; руководящие мотивы, может быть, даже состоявшиеся решения остаются для нас совершенно закрытыми благодаря быстрым, отчетливым и успешным движениям предводителя. Позднейшая традиция опирается, главным образом, на сведения, заимствованные из записок Цезаря или реляций его ближайших сторонников, и военные массы, как будто пассивные, по-прежнему остаются в тени. Изредка только в каком-

нибудь противоречивом представлении двух источников мелькнет разница между официальными формами цезарианской историографии и затушеванной ими действительностью.

В 1-й книге истории гражданской войны 40-х годов, составленной, вероятно, еще самим Цезарем, драматичный момент окончательного разрыва галльского императора с правительством республики изображен с явною целью убедить читателя, что на одной стороне было право, законность и сдержка, на другой — произвол и насилие. Перейдя Рубикон, Цезарь созывает верных солдат 13-го легиона и в горячей речи молит их защитить его достоинство и поправленные права народных трибунов, бежавших к нему после того как их интерцессия в пользу Цезаря в сенате была отвергнута. Трибуны присутствуют на военном митинге, и Цезарь говорит солдатам главным образом о великом историческом значении священного авторитета народных защитников, сравнивает данный момент с эпохой Гракхов, Сатурнина и Суллы. Конечно, подобную речь приходится признать за слишком резкий и неправдоподобный вымысел составителя. Но что было сказано в действительности?

У Светония картина иная: Цезарь плачет, раздирает одежду, напоминает о личной присяге солдат; затем он сыплет обещаниями. «Распространилось, между прочим, мнение, что он всем солдатам обещал звание всадников; но это была ошибка. Дело в том, что в ораторском увлечении он очень часто поднимал наперстный палец левой руки, как бы желая сказать, что пожертвует всем достоянием вплоть до своего кольца для награждения тех, кто станет на его защиту; задние ряды слушателей, которым были видны жесты, но не слышна речь, приняли за формальное обещание нечто такое, что им только почудилось, а молва разнесла, что Цезарь каждому обещал всадническое «кольцо и доход в 400 000 сестерциев»¹. Этот рассказ также требует поправки; немислимо, чтобы участники военной сродки были так наивны, и чтобы их уговор с вождем о будущей награде носил такой спешный и неясный характер. Но остается ценное указание на крупный торг, решающий начало гражданской войны. В дальнейшем ее развитии уговор должен был возобновляться, и обещания награды все возрастали, пока не превратились в огромный план новой экспроприации чуть не всей Италии, осуществленный наследниками Цезаря.

¹ Svet. Caes. 23

Вопрос о том, на чьей стороне было право при возникновении второй гражданской войны, вызвал в Новое время большую ученую литературу. Невольно хочется сказать, что в данном случае выяснение юридической стороны дела было большой потерей энергии, если только не видеть в таком выяснении практического упражнения в римском государственном праве. Допустим, что сенатское правительство не имело законных оснований отказать Цезарю в продолжении его полномочий и в то же время оставлять аналогичный авторитет за Помпеем. Но сколько бы ни был Цезарь обижен сенатом сравнительно со своим прежним коллегой, объявление с его стороны войны в 49 г. все-таки остается государственным переворотом, возмущением против старинной римской конституции, совершенно таким же актом произвола генерала и его армии, как и поход Суллы на Рим в 88 г. Ссылка на естественную самозащиту и на исключительное право великой личности, конечно, уже будет отказом от юридической точки зрения. Если, однако, вопрос о праве в данном случае мало имеет значения для нашей оценки, то из этого не вытекает, чтобы соблюдение легальности и фикций представляло мало цены для Цезаря и цезарианцев. Напротив, их главные шансы с той поры, как наметилось единовластное положение Помпея, состояли в защите закона и традиции, в применении конституционных правил. И в этом отношении надо отдать справедливость искусству Цезаря, и особенно его нового агента в Риме, трибуна Куриона Младшего, публициста враждебной партии, которого Цезарь приобрел ценою крупного подкупа.

Продолжительное наместничество Цезаря в Галлии держалось на двух последовательных частных уговорах, 60-го и 56 г. Официальный акт, утверждавший последний уговор, определял сроком истечения полномочий, по-видимому, 51 год. Между тем произошли два события, очень испортившие положение Цезаря: гибель третьего союзника — Красса в парфянской войне (53 г.) и смерть Цезаревой дочери Юлии, скреплявшей его с Помпеем. Было очень трудно устроить новый уговор и новый съезд наподобие луккского. Цезарь еще раз попробовал свое любимое средство и выставил проект перекрестных браков, предлагая Помпею в жены свою племянницу Октавию, которую еще предварительно нужно было развести с Марцеллом, а себе выпрашивая дочь Помпея, уже обещанную сыну Суллы, Фаусту. Но предложения эти были отвергнуты, в Галлии началось вос-

стание. Помпей занял в Риме диктаторское положение. Цезарю приходилось подумать о другом пути: искать нового утверждения в провинциальном командовании путем возобновления консульства. Но так как вся суть заключалась в том, чтобы сохранить непрерывность власти и не быть вынужденным покинуть провинцию и войско, то Цезарь уговорился с Помпеем о выставлении кандидатуры без обязательства являться лично в Рим; это право заочного избрания было даже особенно выгодно в силу плебисцита, одобренного всеми десятью трибунами. Скоро, однако, прошел закон Помпея, который требовал личного появления кандидата на выборах: правда, в ответ на беспокойные замечания цезарианцев, Помпей заявил, что «забыл» упомянуть о привилегии Цезаря, и потом велел прибавить ее в виде исключения на медной гравированной доске закона. Однако появилась другая угроза в виде закона того же Помпея о необходимости пятилетнего промежутка между окончанием консульства и посылкой в провинцию. Можно было утверждать, что этот закон отметил вышеупомянутый плебисцит.

Так или иначе, враги надеялись добраться до Цезаря и заставить его сложить свое командование. Консул 51 г., Марк Марцелл, заявил открыто о необходимости во имя блага республики заменить Цезаря другим наместником, и раз война была окончена и мир обеспечен, распустить его армию. Ссылаясь на закон Помпея, Марцелл отрицал за Цезарем право выставлять заочно свою кандидатуру на консульство. В сенате несколько раз поднималось дело о передаче провинции Галлии другому наместнику, и Цезаря спасало пока то обстоятельство, что его старый союзник не решался выступить против него открыто. Помпею очень хотелось, чтобы вопрос был решен помимо него сенатом, но это было, в свою очередь, невозможно, потому что различные уговоры, мена и взаимное передвижение легионов связывали его лично с Цезарем, и сенат поневоле обращался к нему. Между тем затяжка была, в свою очередь, невыгодна для Цезаря. Если действительно срок Цезарева наместничества в Галлии истекал еще в 51 г., то удерживать провинцию в 50 г. уже было незаконно с его стороны. Следовало исправить дело как можно скорее новым народным избранием, попробовать все средства, какие только давала конституция, чтобы сохранить полномочия и войско.

В этом смысле новый агент Цезаря в Риме, трибун Курион, занял очень выгодную позицию. Заявляя себя нейтральным в

споре претендентов, он предложил устранить вообще чрезвычайные полномочия, как явление, опасное для республики; если Цезарь незаконно затягивает свое наместничество, то в такой же мере незаконно и положение Помпея, начальствующего в Испании и живущего в Риме; пусть оба они сложат проконсульскую власть и возвращаются в частную жизнь или выступают соискателями на должности одинаково с другими. Предложение Куриона было неуязвимо в конституционном смысле и ставило консерваторов в безвыходное положение: приходилось признаться, что для защиты республики от возможной диктатуры одного они передавали фактическую диктатуру другому. Это затруднение ярко сказалось в знаменитом сенатском голосовании осенью 50 г. Председательствовавший в заседании консул Кай Марцелл поставил намеренно два отдельных вопроса: следует ли послать Цезарю преемника? Следует ли отнять у Помпея полномочия? На первый вопрос большинство ответило утвердительно, на второй — отрицательно. Но трибун имел, в свою очередь, право поставить вопрос на голосование. Курион соединил оба спорные предложения и спросил сенат: «Следует ли обоим проконсулам зараз отказаться от своего авторитета?» Но этот раз результат получился совершенно иной. Только 22 сенатора признали возможным сохранить власть за обоими; огромное большинство, 370 человек, высказалось во имя прекращения спора за Куриона. Закрывая это бурное и полное драматических оборотов заседание, консул с досадой сказал: «Радуйтесь своей победе и получайте в Цезаре владыку!»

Результат голосования, однако, в такой мере не соответствовал желаниям большинства, что постановление сената не было приведено в исполнение. Напротив, консул Марцелл, опираясь на слухи о приближении из-за Альп армии Цезаря, решил действовать помимо колебавшегося сената и по своей инициативе передал Помпею военные полномочия в Италии с правом набора солдат. Курион еще раз протестовал против военной диктатуры Помпея, потребовал, чтобы консулы запретили ему набирать солдат в Италии и бежал затем в лагерь Цезаря, чтобы найти там защиту республики.

Конечно, не эта игра в конституционную лояльность собственно дала перевес Цезарю. Официальная политика Куриона была только искусным ходом для принципиального ослабления противника. Но у него и у других сторонников Цезаря, особенно Целия Руфа, была еще другая, скрытая агитация, на-

правленная к составлению партии мятежа против сенатского правительства и его полуофициального главы, Помпея. Партия эта образовалась из очень различных элементов, так или иначе недовольных положением. Прежде всего, из целого ряда лиц, удаленных из сената. Консервативное магнатство, сознавая свою возрастающую силу, решило избавиться от сочленов, так или иначе оскорблявших аристократическую среду, особенно тех, кто вышел из низкого звания и навязан был сенату отчасти еще сулланством. Уступая этому желанию, цензор 50 г. Аппий Клавдий вычеркнул из сенатского списка множество лиц, главным образом вольноотпущенных, между выключенными был будущий историк Саллюстий Крисп, которого Милон подверг у себя домашней расправе, заставши его со своей женой; впоследствии Саллюстий поправил свои дела службой у Цезаря, сделался претором и наместником Африки. Все лица, удаленные таким способом из сената, становились естественными союзниками Цезаря. Другую категорию цезарианцев составили банкроты и запутавшиеся должники, рассчитывавшие на хорошую смуту, которая дала бы им не только возможность уйти от своих обязательств, но еще поживиться за счет кредиторов. Они, по-видимому, собирались в угрожающем количестве; сенат уже нашел нужным в виде уступки им декретировать общую редукцию долгов; но, как показывает программа революционеров 48 г., должники шли гораздо дальше в своих требованиях и добивались провозглашения полной ликвидации. С большим успехом могла действовать цезарианская агитация также среди низших классов населения, давать обещания сельским батракам и рабам в поместьях и бедноте в самом Риме.

Очень скоро мы встретимся с одним требованием революционеров, которое поражает своим отчетливым реализмом, именно с требованием скидки годовой платы за мелкие квартиры. Оно напоминает, прежде всего, те тяжелые условия жизни в столичных наемных помещениях, которые создавались благодаря спекуляции домами, вследствие чего квартирный вопрос в Риме стал политическим и получил особенно острый характер. Затем выступление мелких квартирнанимателей в качестве не только определенного имущественного разряда, но и некоторого союза указывает на их организованную сплоченность, которая в свою очередь возникла на почве своеобразных жилищных условий в римских *domus ipsulde*. Только при наличии подобной организации и можно объяснить себе возникновение тако-

го точного параграфа в программе ликвидации долгов. Однако приостановка платежей за квартиры не могла впервые сложиться среди самих волнений; мы имеем все основания думать, что она была раньше обещана агентами Цезаря и фигурировала в числе разных благ, которых должна была ждать масса от популярного диктатора в случае победы революции.

Состав цезарианской революции получался такой же пестрый и избирался из тех же элементов, что и катилинарии 63 г.: и там, на верхней ступени, стояли скинутые с высоты должностные лица, а на нижней — разоренные, безземельные и бездомные люди, беглые рабы. Очень трудно выделить историю партийных и классовых отношений за время междоусобной войны. Все внимание античных авторов сосредоточено на сложных операциях армий и флотов, развертывающихся во всех странах империи, на драматических перипетиях борьбы и громадных катастрофах, и за ними следуют современные историки. Даже в новейшем сочинении Ферреро, который придает большое значение экономическим и социальным вопросам, отдел, охватывающий события 49—45 гг., озаглавлен: «*Bellum civile*, война в Испании, Фареал, Клеопатра, триумфы Цезаря». Между тем, в борьбе претендентов за президентство затронуты были очень существенные материальные интересы различных общественных слоев. Их столкновение вовсе не вплетается только случайными эпизодами во внешнюю борьбу. Они оказываются потом главным решающим ее фактором.

Огромное большинство сенаторов, т.е. землевладельцев Италии, были крайне не расположены к войне. Это выразилось очень ярко в поведении идейного вождя консерваторов, Цицерона, в его усилиях сохранить нейтральность до последней степени, в его последовательных свиданиях и разговорах сначала с Помпеем, потом с Цезарем, причем он обоих старался удерживать от решительных действий. Тем не менее, большинство сената, следуя за военными движениями Помпея, покинуло Рим и Италию, свои дома и виллы, заменило свою привольную обстановку превратностями лагерной жизни, составляло до известной степени добровольную эмиграцию в восточные области. Как объяснить это противоречие?

Без сомнения, спешный отъезд значительной части крупных землевладельцев из Италии объясняется одним условием, которое они должны были очень резко чувствовать: агитация цезарианцев направлена была, между прочим, на рабо-

чих, как свободных, так особенно рабов, занятых в виллах, и теперь, с приближением армии Цезаря, они, вероятно, местами заняли угрожающее положение; ехать в свои поместья было бы для поссессоров весьма опасно. Не менее опасно было оставаться и в Риме, где низшие классы были возбуждены появлением галльских легионов. Насколько соображения рабовладельческих помещиков влияли на ход военных операций, видно из эпизода Домиция под Корфинием. Кичливый аристократ задержался здесь против приказа главнокомандующего, Помпея, и погубил этим свой отряд, по-видимому, вследствие того, что уступил желаниям многих поссессоров, опасавшихся за судьбу своих вилл в случае ухода солдат.

Однако поведение Цезаря весной 49 г. было чрезвычайно осторожно. Он никоим образом не хотел раздражать владельческие классы, беспокоить муниципии; он старался привлечь по возможности большее число колеблющихся сенаторов. Под влиянием его мягкой политики мнение Цицерона резко меняется. Еще в конце января, когда все ждали нападения Цезаря на Рим, он пишет: «Эта гражданская война возникла не из раздоров между гражданами, а из дерзости одного преступного гражданина; но у него военная сила, он увлек многих широкими обещаниями, у него самого разгоралась жажда на достояние всех и каждого... Столица отдана ему без защиты со всеми своими богатствами; в его глазах Рим не отечество, а военная добыча. Все, кто стоит за порядок и закон, ушли, и Цезарю не удастся осуществить ничего похожего даже на конституционную фикцию»¹. Через два месяца Цицерон говорит почти противоположное. Приходится констатировать возвращение многих сенаторов в Рим. Но особенно поразительна перемена в Италии: муниципии, так недавно еще приветствовавшие Помпея, переходят на сторону Цезаря; точно так же простой народ в деревнях. Цицерон должен признать, что между чувствами населения к тому и другому из противников есть разница: Помпея продолжают бояться, Цезаря успели полюбить.

В это время Цезарь, прошедший беспрепятственно вдоль всего восточного берега Италии, заставивший капитулировать корпус Домиция Агенобарба, после напрасной попытки добиться под Брундизием мирных условий у Помпея, повернул назад к Риму, в котором он не был в течение 9 лет.

¹ Cic. Ad. Att. VII, 13a.

На дороге произошло свидание с Цицероном, которого Цезарь очень желал привлечь в заседания сената, чтобы окружить себя настоящим законным правительством. Цицерон, однако, не согласился ехать в Рим; он настойчиво высказался за прекращение военных действий. Сам Цезарь не внушил ему никакого враждебного чувства; но его свита и антураж до последней степени не понравились Цицерону. Он потом несколько раз возвращался к характеристике этих клиентов и доверенных Цезаря, сподвижников грабительской войны в провинции, кутил и мотов, которые добрались до управления республикой, тогда как они не умеют управляться со своими собственными делами и в два месяца способны растратить любое частное состояние.

В Риме Цезарь пытался некоторое время угодить всем. С большими усилиями он собирал около себя остатки высшего общественного слоя и восстановил подобие сената. В то же время на многолюдном митинге он обещал народу раздачу хлеба и награду в 300 сестерций на человека. Популярность Цезаря, однако, очень скоро кончилась. Для исполнения денежных обещаний не было средств; мало того, озабоченный экспедицией в Испанию против помпеянцев, Цезарь заявил притязание на неприкосновенный капитал казны и послал солдат взломать затворы кассы. Одни из трибунов, Люций Метелл, решился заступить им дорогу. Тогда Цезарь явился сам на место и пригрозил трибуну смертью. Ограбление казны и оскорбление, нанесенное священной особе защитника народа, произвело в Риме очень дурное впечатление. Даже римская беднота, в глазах Цицерона последние, погибшие люди, была возмущена приемами императора, привыкшего деспотически распоряжаться в провинции и явившегося теперь со своей командой в республиканский город.

Цезарь уезжал в Испанию среди большого раздражения римлян. Оно еще усилилось вследствие тяжелых материальных затруднений, переживавшихся метрополией. Само бегство большей части землевладельцев составляло уже порядочный экономический кризис. Мы должны представить себе остановку сельскохозяйственных работ во многих местах Италии на весенний и летний сезон 49 г. И это обстоятельство, и страх предстоящей конфискации повели к быстрому обесценению замли. Но те же условия вызвали и падение кредита; деньги исчезли с рынка, обладатели наличности старались их припрятать. Владельцы недвижимости и торговцы не могли достать ссуды. Кре-

диторы, наоборот, резко настаивали на долговых взысканиях; залого, служившие обеспечением долгов, выдавались назад и вместо них требовали уплаты полной суммы в деньгах.

Но гражданская война шла полным ходом. Завоеватели Галлии принесли с собой порядки военного управления; о соблюдении конституции мало думали. Цезарианцы Кассий Лонгин и Марк Антоний, продолжая считаться трибунами, т.е. савновниками, тесно ограниченными городской чертой, получили важные командования, один над Испанией, после поражения там помпеянцев, другой над Италией, М. Эмилий Лепид нашел удобным объявить Цезаря в его отсутствие диктатором. Возвратившись из Испании, где капитулировали 5 легионов Помпея, Цезарь воспользовался диктатурой, чтобы обеспечить себе консульство на 48 г. и раздать важнейшие должности своим близким: бывшему агитатору Целию, Требонию, выдающемуся офицеру Галльской войны, Педию, своему племяннику. Неизбежно Цезарь должен был заняться и экономическим вопросом. Хотя он вовсе не намерен был становиться во главе тех групп, которые ожидали социального переворота, однако число недовольных, расстроенных кризисом, было так велико, что диктатор не мог их обойти. Составитель соответствующих глав книги о гражданской войне — сам Цезарь или один из его сторонников, работавший по его запискам — говорит, что надо было покончить с общим криком о банкроте, который «обыкновенно следует за войной и гражданской смутой», — замечание весьма циничное в устах виновника смуты.

Цезарь предложил компромисс между кредиторами и должниками, как бы частичный банкрот наподобие тех мер, которые практиковались в греческих общинах Востока и, между прочим, были применены Лукуллом после кризиса, вызванного войной с Митридатом. Особые посредники должны были заняться оценкой имуществ, находившихся в залоге или предлагаемых в обеспечение займов. Было объявлено обязательным принимать их по цене, какую они имели до смуты. Уплаченные по долговым обязательствам проценты вычитались из суммы долга. Любопытно, что о последней мере, которая уже подходила к смыслу *tabulae novae* и задевала интересы капиталистов, составитель истории второй гражданской войны считал более выгодным и тактичным умолчать; мы узнаем о ней по другим источникам.

Мера, введенная Цезарем осенью 49 г., была не только попыткой примирить с собой людей, расстроенных кризисом,

но она вместе с тем служила отчасти выполнением программы, обещанной, по крайней мере, одной группе приставшей к нему оппозиции, той именно, которая ждала хорошей смуты, чтобы поправить свои дела. Но уже довольно ясно обозначилось, что диктатура Цезаря не будет демократичной. По этому поводу Дион Кассий сообщает любопытную подробность. «Когда (после издания рапортов об оценке имуществ и расплате долгов) народ осмелился и выступил с требованием, чтобы рабам было позволено подавать жалобы на господ, Цезарь решительно и торжественно отказал в этом; он объявил, что призывает на свою голову погибель, если хоть когда-либо поверит рабу в его жалобе на господина»¹. Сведение Диона интересно еще в одном отношении, оно еще лишний раз подтверждает близость интересов между беднейшими слоями свободного населения и рабами.

Если историки, увлекавшиеся империализмом, за блеском побед Цезаря и торжеством монархического начала оставляли в тени одновременные социальные смуты в Риме и Италии и трактовали их как эпизод, на минуту досадно прерывающий грандиозную военно-политическую карьеру сверхчеловека, то совершенно иначе должна взглянуть на них социальная история, сложившаяся под впечатлением массовых движений XIX и XX вв.; она не может следовать за перспективами, которые внушены совершенно чуждым ей мировоззрением. Для нее тяжелый социальный кризис в Риме 49—47 гг. вовсе не образует вставной случай гражданской войны и представляет больший интерес, чем операции при Фарсале или нильские приключения Цезаря и Клеопатры.

Наши источники, хотя и очень сжаты по данному вопросу, позволяют заключать, что одновременно с походами, осадами и битвами, совершавшимися в колониях, в метрополии происходили крупные и болезненные события. Они составляют важный поворот в политической карьере самого Цезаря. Долгое время союзник римской демократической оппозиции, он расстается теперь с ее более решительными и крайними группами. В свою очередь, их представители пытаются идти своими путями; и в социально-политическом отношении разница между цезарианством и помпеянством начинает стираться. Это видно из событий, последовавших за компромиссом 49 г.

¹ Dion. 41, 38

С отъездом Цезаря из Рима на Восток все, кто был недоволен, нашли защитника своих интересов в лице горячего цезарианца, претора 48 г. Целия Руфа. Целий резко разошелся со своим коллегой, другим претором Требонием, и заявил, что будет принимать апелляции против решений арбитров, долговых судей-оценщиков, которых установил Цезарь. Затем он предложил принудительную уплату долгов в капитальную сумму без процентов. Наконец он выступил с революционной программой, требуя банкротства и прощения годовой платы за квартиры. Но в Риме Целию быстро преградили путь: Сервилий, коллега Цезаря в консульстве, по соглашению с тем обрывком сената, который оставался в Риме, отрешил революционного претора от должности и изгнал его с трибуны в народном собрании. Целий должен был бежать и искать соединений с помпеевцем Милоном. По-видимому, Целий не стоял одиноко в своей попытке, как ни старается это доказать тенденциозный цезарианец — составитель истории второй гражданской войны. По другим известиям видно, что четыре трибуна 48 г. выступили с оппозицией Цезарю, обвиняя его в монархических замыслах: их также изгнали из Рима.

Целий и Милон пытались повторить в Италии то, что готовил Катилина в 63 г.: поднять низшие классы в деревнях и муниципиях с целью, по-видимому, подступить к Риму и соединиться с пролетариями в стенах столицы. Их мятежная армия состояла из знакомых элементов: они набирали сельских рабочих, вербовали воинственных пастухов в Южной Италии, собирали отряды гладиаторов и освобождали из эргастулов скованных рабов; снова среди восставших беднейшие свободные элементы соединялись с рабами.

Движение, особенно сильное на юге Италии, потерпело неудачу. Целий и Милон были убиты, их отряды, вероятно, рассеялись. Но еще в следующем 47 г., во время египетской авантюры Цезаря, в Риме совершаются бурные происшествия, показывающие, что социальные затруднения далеко не кончились.

В течение всего 48 г. Цезаря не было в Риме. За неудачной осадой лагеря и запасных магазинов Помпея в Диррахии последовало в августе решительное поражение помпеевцев при Фарсале, затем бегство и смерть Помпея на берегу Египта. Помимо потери вождя, консервативные республиканцы понесли и другие крупные утраты: при Фарсале был убит Домиций Агенобарб, один из Лентулов погиб вместе с Помпеем в Египте.

те, другой скоро после того; Марк Мерцелл, консул 51 г., отказался от политической жизни и ушел в изгнание на Митиле-ну. Некоторые влиятельные помпеянцы сдались Цезарю и перешли к нему на службу, между ними Марк Брут и Кай Кассий, начальник помпеянской морской эскадры. Официально просил теперь у Цезаря пощады и Цицерон, который во время Испанской войны вышел из своего нейтрального положения и уехал в лагерь Помпея.

Осенью 48 г. разгром помпеянцев казался полным. Военные элементы цезарианской партии не считали более нужным стесняться. Антоний, замещавший Цезаря в Италии, всюду появлялся с мечом на боку, в сопровождении солдат. Какие-то угодливые сорванцы сбросили статуи прежних властителей, Суллы и Помпея. Оставшаяся в Риме часть сената, наполовину цезарианцы, наполовину терроризованные военщиной, поспешили декретировать Цезарю неограниченные полномочия. Он получил свободу действий против помпеянцев, право объявлять войну и заключать мир помимо участия сената и народа, право на занятие консульской должности в течение 5 лет, право выставлять на всех других выборах своих кандидатов, т.е. фактическое замещение должностей по усмотрению, право раздачи наместничеств и, наконец, все преимущества трибунской власти. Все эти частности были как бы повторены и упразднены передачей Цезарю диктатуры во второй раз. Эта диктатура, вероятно, была скопирована с сулланской: ее установили на неопределенный срок и окрестили именем *rei publicae constituendae causa*.

Но сам диктатор был далеко от столицы. Одно время, когда его держали в осаде александрийские греки, в Риме не имели о нем никаких известий. Когда Цезарь совладал с восстанием в Египте и посадил на престол свою союзницу и неофициальную жену Клеопатру, начался поход в Азии против сына Митридата. Лишь в сентябре 47 г. после двухлетнего почти отсутствия появился Цезарь опять в Риме. В течение трех лет с начала междоусобной войны конституционная жизнь была в полном расстройстве. С марта 49 г. по август 48 г. действовали два сената, один на Востоке, другой под давлением цезарианского гарнизона в Риме; в то время как при Помпее консулами и на 48 г. оставались избранники 49 г., в Риме были выбраны на 48 г. свои консулы, Цезарь и Сервий Исаурик. Консульство перебивалось диктатурой. Но в непрерывной цепи нарушений политического порядка, 47 год выдается как наиболее анархический.

Магистраты в Риме вовсе не были выбраны на этот год; в городе не было представителей гражданской исполнительной власти. Революционная группа могла испробовать программу переворота без тех препятствий, которые еще недавно встретил Целий Руф.

Главою движения выступает цезарианский трибун Корнелий Долабелла, зять Цицерона, патриций старинного рода. Долабелла возобновил требования Целия Руфа. По-видимому, партия, на которую он опирался в самом Риме, была лучше организована. Сенат решил объявить отечество в опасности, но ни это решение, ни противодействие коллег Долабеллы, других трибунов, не имели успеха. Масса сторонников Долабеллы собралась на форуме для голосования его предложений и загромодила баррикадами все улицы, которые вели к центральной площади. Противникам социальной революции пришлось искать помощи у начальника военных сил: незадолго перед тем прибыл в Рим помощник диктатора, Антоний, с легионами, которые до тех пор были заняты на Востоке. Антоний повел своих солдат против баррикад и лишь с большим трудом взял их: из числа защищавшихся около 800 человек погибло в бою; тех, кто сдавался, Антоний велел сбрасывать с Тарпейской скалы. Партия Долабеллы не была, однако, вполне побеждена. Новейший историк замечает, что спокойствие в Риме водворилось, как только Цезарь прибыл с Востока, «точно по мановению волшебника». Большой вопрос еще, однако, в чем состояло это волшебство. Во-первых, Цезарь не решился преследовать участников восстания и дал Долабелле и другим полную амнистию. Напротив, Антоний впал в немилость и был отстранен от своей должности. Во-вторых, Цезарь принял на свой счет одну из мер, обещанных Долабеллой: в силу *lex Julia de mercedibusnabitationum* annuіs скинута была годовая квартирная плата со всех помещений, стоивших менее 2000 сестерций в Риме и менее 500 сестерций в остальной Италии.

Едва ли можно считать развязку, приданную делу Цезарем, выражением силы нового правительства. Скорее мы получаем впечатление большой растерянности Цезаря и его колебания между различными группами, от помощи которых зависела его победа. Невозможно было оттолкнуть от себя те слои римского населения, которые в конце 50-х годов были привлечены агитацией Куриона и Целия. Но в то же время нарастали требования военных элементов, так ярко представленных в это вре-

мя фигурой разгульного, полудикого, чуждого всякой политической сдержки Антония. Без сомнения, Цезарь старался найти им противовес и с этой целью искал сближения с высшими слоями общества; иначе трудно объяснить чрезвычайно мягкое отношение Цезаря к помпеянкам, сдавшимся после Фарсала, больше того, стремление его опереться на них, дать им видное положение, как например Марку Бруту или Кассию. В свою очередь это движение, навстречу консервативным элементам, раздражало две другие партии, военную и демократическую.

Чем дальше, однако, тем более Цезарь должен был уступать своим военным сподвижникам и вместе с тем самому войску. Собственно говоря, легионы, завоевавшие Цезарю Галлию, вовсе не рассчитывали на гражданскую войну. Они готовились к отпуску и государственной пенсии, когда их вождь, претендент на президентство, представил им, что правительство в Риме не хочет давать им добровольно законной награды и что ее придется взять силой. Эта перспектива заставила их пойти с ним в Италию. Но уже теперь Цезарь вынужден был надбавить обещания, как это видно из его речи на военном митинге в Аримине в январе 49 г.

Через два месяца Италия занята без битвы, но вождь все еще не удовлетворен: сенат ускользнул от него, все провинции и море остались в руках противника, и Цезарь в Брундизии почти на виду у врага опять развивает программу обещаний и будущих раздач, чтобы склонить солдат на новые усилия, на новые трудные походы в колониальных землях. Первая кампания, однако, вовсе не направляется прямо на главный центр помпеянцев в Греции и Македонии, а потому-то отвлекает цезарианскую армию назад в Испанию. Операции в Испании в 49 г. оказались продолжительными и трудными и не дали никаких выгод солдатам. Между тем, они служили только вступлением; Цезарь готовил войска к отправке в Африку, Иллирию и Грецию.

В результате Цезарь встретился в конце 49 г. с крупным мятежом нескольких легионов, собранных под Плаценцией. Солдаты поставили на вид начальникам, что война затягивается без надежды на окончание и что они не получают обещанного им в Брундизии донатива в 5 мин на человека. Цезарианский автор истории второй гражданской войны ни единым словом не упоминает об этом эпизоде. Зато из Диона Кассия и Аппиана мы узнаем любопытные подробности о том, какими приемами умирляли мятеж в армии, хотя и тут многое остается недоска-

занным. Прежде всего, нужно появление самого главнокомандующего: Цезарь покидает осаду Массилии и быстро направляется к инсургентам. Производится расследование о виновниках смуты, но в то же время командир созывает митинги в лагере, ведет переговоры с солдатами и объясняет им свои планы. Затем разыгрывается сцена, очевидно подготовленная раньше: Цезарь объявляет, что нарушение присяги будет жестоко наказано; в том легионе, от которого пошла смута, будет казнен каждый десятый; военные трибуны, которым только что приходилось выдерживать натиск мятежников, выступают ходатаями за них и молят на коленях о прощении. Цезарь сокращает число осужденных на казнь до 12 человек всего и устраивает таким образом, чтобы под жребий попали как раз самые видные зачинщики; остальным он дает полный отпуск, но они сами просят обратного принятия на службу.

Наши историки очень ясно выделяют одну сторону в умирении, именно приемы Цезаря, направленные к тому, чтобы расстроить организации солдат: главные агитаторы войска схвачены и убиты, прежний состав легионов раскассирован. Но это не значит, чтобы солдат вновь принимали без всяких условий и обещаний со стороны командира, хотя об этом не говорит ни Дион, ни Аппиан. Без сомнения, при новом найме состоялся и новый уговор, и обещанные награды были еще раз повышены. Затем последовала главная кампания междоусобной войны, Диррахий и Фарсал, полный и несомненный разгром врага после множества передвижений, осад, штурмов, превратностей всякого рода; и все еще не видно было конца, так как в главной войне — в глазах солдат войне с республиканским сенатом — нечувствительно присоединилась экспедиция в Египет, *bellum Alexandrinum*, и еще экспедиция в Малую Азию против Фарнака, сына Митридата, завершившаяся знаменитой депешей Цезаря: «Пришел, увидел, победил». Перед всяким решительным шагом Цезарь был вынужден повторять свои обещания и еще повышать их: перед Фарсалом он уже объявил «неограниченные» награды, на случай похода в Африку против помпеянцев еще новые донативы, также сверх всякой меры.

Но деньги не выплачивались, солдат продолжали держать под оружием. Лучшие из них, самые испытанные, уже двенадцать лет несли службу у Цезаря. Предприятия его становились совершенно непонятными: ведь того сената, который объявил его в опале и этим отказался от награждения его солдат, уже

не существовало, в Риме был теперь другой сенат, вполне послушный Цезарю, сам командир располагал финансами Востока, конфискованным имуществом Помпея и других побежденных и убитых магнатов. Счастливому кондотьеру, состоявшему почти неоплатным должником своих солдат, пора было, наконец, рассчитываться с ними. Но он заключал как бы новые и новые займы, выдавал новые обязательства своим соучастникам по разграблению республики. Армия вознесла его на самый верх власти, сделала его неограниченным правителем Рима. Но чем грандиознее становился его авторитет над мирным гражданством, тем больше росла его зависимость от своих солдат.

Летом 47 г., одновременно с социальной революцией Долабеллы в Риме, все легионы, стоявшие на Западе, были почти в открытом возмущении против Цезаря. Испанский консул прогнал своего начальника, Кассия Лонгина, и завел сношения с республиканцами, которые опять в угрожающем количестве сосредоточились в Африке под руководством Катона, Метелла Сципиона, тестя Помпеева, Лабiena и старых приверженцев Помпея, Афрания, Петрея и Вара. Отряды, стоявшие в Италии, бывшие победители при Фарсале, не хотели слушаться своего командира Антония, и этим объясняется, почему после поражения Долабеллы на форуме Антоний все-таки не мог с ним сладить. Солдаты жаловались, что до сих пор не исполняются обещания, данные им перед Фарсалом, и угрожающе требовали отставки. Цезарь находился еще в Азии и прислал им предписание идти из Кампании через Сицилию в Африку, но они отказались повиноваться и прогнали передавшего приказ П. Суллу. По возвращении с Востока Цезарю, как мы видели, удалось успокоить демократические элементы в Риме. Но солдаты не поддавались: Цезарь послал к ним претора Саллюстия Крипса с обещанием прибавить к прежним «неограниченным» донативам еще по 1000 денариев на человека. Однако было поздно, и солдаты ничему не хотели верить; Саллюстий едва спасся от их ярости; они убили двух бывших преторов, Коскония и Гальбу, и вместо того, чтобы идти в Африку, двинулись на Рим.

Этот солдатский бунт был гораздо серьезнее первого, разразившегося в Плаценции. Наши источники, к сожалению, очень неясно передают ход переговоров и уступок, благодаря которым Цезарь вышел из опасного кризиса; это происходит оттого, что они ставят в центр гениальную изворотливость властелина армии. Как будто чего-нибудь можно было достигнуть

внезапной холодностью тона и заменой обычного «товарищи» сухим «квириты»! Нам следует обратить больше внимания на реальные условия, на основании которых Цезарь помирился на этот раз с легионами. Во-первых, на Марсовом поле в Риме, где происходил главный военный митинг в 47 г., не было ничего похожего на расследование и наказание виновных. Цезарь беспрекословно признал правоту солдат и согласился немедленно выдать всем желающим отставку, денежный подарок и земельный надел. Трудно выяснить, многие ли воспользовались предоставленным им правом. Может быть, Цезарь был рад отделаться этим способом от наиболее усталых и недовольных элементов. Без сомнения, самый ловкий шаг состоял в том, что он опять раскассировал мятежные легионы и расстроил их товарищеские организации: Цезарь объявил, что возьмет в Африку только добровольцев, т.е. предложил новый уговор, новый наем и размещение в новых военных кадрах. Опять, однако, пришлось много пообещать; Аппиан говорит, что теперь многие пожалели, зачем отказывались раньше от выгодного африканского похода, и горячо просили взять их с собою. Другими словами, император связал себя новой программой «неограниченных» выдач. Мятеж 47 г. вызвал в Цезаре необыкновенное раздражение против агитаторов, действовавших в войске. Но он не решился предпринять что-либо открыто против них. Зато были приняты всяческие меры, чтобы избавиться от них: многих расставили на опасные посты, где легче всего было погибнуть. Дион Кассий уверяет, что Цезарь систематически истреблял вожakov легионарных движений, заставляя своих людей среди битвы приканчивать их сзади. И все-таки войско, взятое в Африку, было крайне ненадежно. Цезарь поспешил поэтому, вслед за победой при Талсе над Метеллом Сципионом и над царем нумидийским Юбой, распустить старых солдат по домам, чтобы не дожидаться опять нового их мятежа в Италии.

Легионы, бунтовавшие с 48 г. в Испании, так и не вернулись в повиновение Цезарю: они примкнули к спасшимся от избиения в Африке беглецам, Лабиеву, Вару и сыновьям Помпея и еще раз, в 45 г., жестоко бились против Цезаря. Дисциплина в войске совершенно расшаталась. Со времени африканского похода командир уже не в силах был сдерживать победоносных солдат своих; они никому не давали пощады при сдаче, истребляли беглецов, грабили лагеря и запасы.

Таким образом, военная громада, помогавшая соорудить единоличную власть, становилась все более неподатливой и грозной для самого вождя. Он выдал солдатам после Талса из добычи, взятой с побежденных римских граждан, совершенно небывалые донативы: простым солдатам по 5 и 6 тысяч денариев (20 000 и 24 000 сестерциев), центурионам вдвое больше, военным трибунам и префектам вчетверо. Он раздал и продолжал раздавать военным, почти вплоть до нижних чинов, всевозможные должности. Число понтификов, преторов, квесторов было увеличено, и все эти должности заполнялись людьми недавней военной карьеры; бывшие командиры отрядов, под названием префектов в количестве 8, были назначены полицейскими приставами городских частей Рима, — явление совершенно небывалое и резко нарушавшее традиции, в силу которых в пределах столицы могли распоряжаться только выборные гражданские власти. Множество центурионов, т.е. унтер-офицеров, было посажено в сенат. Цезарь вообще трактовал сенат не как политическое учреждение: сенат стал местом пенсионирования, а звание сенатора превратилось в знак отличия, которого добились с успехом подозрительные лица, в свое время изгнанные отсюда, или мелкие карьеристы вроде, например, профессиональных гадалек.

Наконец, обозначились признаки самого обидного и тяжелого для гражданского общества проявления торжества военных; открылась экспроприация владельцев в пользу награждаемых солдат, и начался тот самый переворот, которого так боялись в Италии со времени Суллы. Цезарь несколько раз торжественно повторял принципы аграрного наделения, положенные в основу закона 59 г., уверяя, что нигде не будут ни малейше затронуты интересы землевладельцев, что наделы ветеранам будут или выдаваться из казенной земли или покупаться у частных лиц при справедливом и полном их вознаграждении. Вначале он даже, по-видимому, старался селить военных колонистов разрозненно, чтобы устранить их корпоративность и не пугать окружающее население. Но потом он отказался от всех этих ограничений. Наделения военными ленами пошли тем же ходом, как при Сулле. Частных владельцев начали сгонять и отбирать у них участки без вознаграждения. Колонистов помещали сплоченными группами, чтобы держать в страхе окружающее, экспроприированное в их пользу население. В стране их звали гвардией тирана, севшего в центре.

На все легла печать дерзкого торжества завоевателей. В первый раз в 46 г. император со своими солдатами держал триумф над гражданами, побежденными в междоусобии. Правда, официально значились торжества побед над галлами, Египтом, Понтом и нумидийцами. Но последний, африканский, триумф был явным торжеством над помпеянами: Цезарь велел сделать для процессии карикатурные изображения погибших в Африке Метелла Сципиона и Катона. В 45 г., когда Цезарь триумфировал над последними врагами, разбитыми в Испании при Мунде, торжество над согражданами уже ничем не было прикрито. В Риме народ был оскорблен этими сценами, но Цезарь больше считался с настроением своей ближайшей свиты.

Военные чувствовали себя господами положения. Когда Цезарь выбрасывал какую-нибудь блестящую подачку массе граждан, устраивал, например, общественный обед, среди солдат поднимался шум, и они негодовали, зачем добытые при их помощи суммы тратятся не на них. По всей вероятности во внимание к ревлившей жадности солдат Цезарь сократил главную выдачу римской бедноте: число получателей хлебного пайка сведено было с 320 000 до 150 000, и таким образом трата казны уменьшилась более чем вдвое. Среди всяких льстивых титулов и чрезмерных почестей, поднесенных Цезарю терроризованным сенатом, выдается возведение его в сан наследственного императора: это было выражением чисто милитаристских понятий, совершенно чуждых традициям гражданской республики; военные как будто бы хотели увенчать и упрочить этим титулом свое собственное господство в Риме и Италии.

Ввиду всего этого правительство Цезаря в 46-м и 45 г. никоим образом нельзя признать сильным. Номинально в Риме повелевал абсолютный монарх, которому предложили ходить в царской одежде и царских сапожках, носить венец, именоваться полубогом, сидеть на золотом табурете, возить в процессиях собственную статую, сделанную из слоновой кости; он мог обходиться в важнейших случаях государственной жизни без одобрения сената и народа, мог назначать почти на все должности. В действительности же он зависел и от тех беспокойных корпораций, в которые превратились легионы, и от штаба своих военных фаворитов; между ними он вынужден был распределять должности, и они составляли по большей части его тесный совет. На вершине своего успеха Цезарь был в странном

положении: у него не осталось никакой опоры против того самого элемента, который дал ему победу.

Все более и более отклонялся он от своих старых союзников, демократов. В последний раз он сделал уступку римским, пролетариям в 47 г. Но затем пошли репрессии. Новый полицейский режим, с его городскими префектами, заимствованными из Александрии, был несовместим с существованием независимых политических клубов и союзов, и Цезарь повторил меру, принятую в 63 г консервативным сенатом: он закрыл большую часть коллегий, оказавших ему неоценимые услуги в 50-х годах и еще раз игравших такую важную роль в социальных волнениях 48-го и 47 г. В то же время, как мы видели, сокращена была также раздача хлеба столичному населению. Крестьянству, сельской демократии, также нечего было ждать от цезарианства после его перехода к экспроприации Италии для устройства военных ленов.

От старой программы партии популяров остались только слабые воспоминания. Они, может быть, отразились в двух *epistolae ad Caesarem senem de re publica*, приписывавшихся обыкновенно историку Саллюстию. Есть мнение, что это все не проекты или советы, действительно поданные Цезарю во время его диктатуры, а только литературные упражнения на тему о социальных реформах в монархии, написанные, пожалуй, даже в более позднее время. Знатоки Саллюстиева стиля и историко-моралистической манеры, может быть, согласятся признать «Письма к Цезарю» подлинными произведениями автора Югуртинской войны и заговора Катилины: между прочим, в них повторяется знакомая нам из исторических его работ враждебная оценка износившейся и политически негодной римской аристократии. Пельман в своей «Истории античного коммунизма» идет гораздо дальше: он находит в «Письмах» отзвуки классовой борьбы, объявленной в свое время демократической партией, и вместе с тем предложения социального переустройства в духе демократии. Но, кажется, что это одна из самых неудачных попыток современного историка констатировать существование социалистической программы в Риме. В «Письмах к Цезарю» повторяется лишь несколько раз с однообразием, свойственным моралистическим прописям, фраза: «Отними у денег силу и почет, которыми они окружены в обществе» Встречаются и вариации. Например: «Пусть исчезнут роскошь, виллы, картины, блестящая обстановка, кутежи, пусть

погибнет все это зло вместе с тем значением, которым пользуются деньги». Или: «Надо устранить на будущее время ростовщика, чтобы всякий из нас был независим в своем имущественном положении. Простейший путь к этому состоит в том, чтобы общественная власть служила не кредитору, а народу». Или автор предостерегает Рим от участи государств, погибших от жадности и роскоши и т.п. Трудно понять, что предложил бы он на практике для «сокращения силы денег», да это и не интересно; так бедна его социальная мысль, если только можно назвать ее социальной.

Несколько более отчетливо рассуждает он в политических вопросах. Хорошо было бы, по его мнению, открыть свободный доступ к должностям людей всякого звания и состояния. Особенно важно было бы демократизировать суды, в противоположность реакционной перемене, проведенной не так давно (в 52 г.) Помпеем. Автор не верит, по-видимому, в политический смысл народа, выступающего в комициях, этот старинный республиканский орган почти не существует для него. Зато большое значение он придает сенату. Необходимы, однако, в высшем совещательном учреждении две реформы: увеличение его состава и установление тайной подачи голосов для того, чтобы обеспечить независимость мнений сенаторов.

Это было слишком скромно для «восстановления республики», которого в свое время могли ожидать от старого союзника демократов. В сущности, от прежней программы популяров в «Письмах» только и осталась демократизация суда. Но характерно, что Цезарь именно в этом пункте проявил консерватизм. *Lex Julia judiciaria* удержал высокий ценз для состава присяжных. Закон Цезаря пошел даже дальше последней реформы Помпея в реакционном смысле: в 52 г. еще была сохранена третья категория присяжных из числа *tribune aerarii*; теперь ее устранили и решили составлять список только из двух высших классов, сенаторов и всадников. Цезарь явно поворачивал на сближение с высшими слоями общества. Он опять приложил все усилия, чтобы привлечь первейшего оратора и публициста консервативных республиканцев Цицерона, и был в восторге от появления своего старинного противника в сенате и от возвращения старика, почти отчаявшегося и ушедшего в частную жизнь, к публичной деятельности адвоката. Вопреки предостережениям своих старых приверженцев и в борьбе с ревнивым недоброжелательством своих военных фаворитов, Цезарь

мирился со всеми помпеянцами, готовыми положить оружие. Какое-то непонятное чувство влекло диктатора к Марку Бруту, несмотря на всем известный упорный, недоступно-мрачный республиканизм убеждений последнего.

Это были со стороны Цезаря отчаянные запоздалые попытки избавиться от давления грозы военщины, которую он сам воспитал и привел в Италию. По всей вероятности, те же соображения заставили Цезаря задумать и организовать странный поход на Восток против парфян, который был оборван его смертью. Как в 47 г. единственным средством избавиться от мятежников в войске было — увлечь его в поход, так и теперь, только в несравненно более грандиозной мере, единственным выходом и спасением от господства военных элементов оставалась большая экспедиция, в которой можно было бы занять их, удалить из центра и частью избавиться от них. Но, по не менее странному противоречию психического характера, Цезарь, этот умнейший рационалист, связывал с парфянским походом расчеты на упрочение своей неограниченной власти магическим словечком гех, заставлял рыться в старых ведовских книгах и выискивать доказательства, что восточных врагов может победить только царь. Он и сделался первой жертвой «царского безумия» которое находили потом у его более или менее слабоумных или сумасшедших преемников.

Цезарю было в начале 44 г. не более 57 лет — возраст, в котором многие выдающиеся римляне, Марий, Сулла, Помпей, Цицерон, сохраняли полную физическую и умственную силу. Но у него, по-видимому, быстро наступила после необыкновенного напряжения преждевременная старость, померкла ясность ума, появилась повышенная чувствительность, и болезненные аффекты истощили окончательно подточенную раньше энергию. Досадной должна была уже казаться его поклонникам поздняя страсть императора к египетской царице, сделанные во имя нее несообразности, которые чуть не оборвали самым жалким образом его необычайно счастливую военно-политическую карьеру. И увлечение не кончалось: Клеопатра уже два раза приезжала в Рим с маленьким Цезарионом, и было похоже, что Цезарь хочет повенчаться с восточной царицей. Безумствовал старик и потому, что египтянка превосходила всех римских дам своим кокетством, и потому, что от нее имелся единственный мужской потомок. В Риме называли трибуна, который должен был вслед за отъездом Цезаря на Восток про-

тив парфян, провозгласить закон, в силу которого главе государства позволялось брать себе любое число жен для произведения детей. Если это была насмешка, то она попадала в самое место пойманного эротизмом и династическими заботами диктатора.

У римлян со времени Суллы заметно было какое-то влечение к Востоку: его формам жизни, обстановке, религиозным обрядам и понятиям. У Цезаря эта черта выступает с особенной силой и более всего после посещения Египта и Сирии. Известна его симпатия к иудейству, выразившаяся в привилегированном положении, которое было дано иудейской общине в Риме. Но особенное впечатление произвели на него, по-видимому, формы придворного этикета Птолемеев, выработанный ими по старым вавилонским и египетским образцам апофеоз и культ мертвых и живых царей, а также бдительная административно-политическая организация Александрии. Угощая по-царски Клеопатру в Риме, привыкши не вставать перед всем сенатом, видя свою статую среди изображений старинных царей, Цезарь начал чувствовать себя в сонме коронованных особ лучезарного Востока. И у него вырывались неосторожные выражения вроде: «Республика — пустое слово без смысла и содержания»; «Сулла показал своим отречением от диктатуры незнание политической азбуки»; «Со мной должны говорить теперь почтительно и принимать мои слова за закон».

Если у отдаленных посторонних поколений старческое безумие Цезаря вызывает досаду, то у живых свидетелей в Риме оно вызывало негодование. Когда Антоний публично поднес Цезарю корону, а Цезарь отклонил ее, из среды народа понеслись громкие рукоплескания; нет сомнения, что за минуту перед тем толпа шикала. Когда проносили по цирку в торжественной процессии статую императора из слоновой кости, ее встречали гробовым молчанием.

Это отношение массы римлян к символам и аппарату монархии объясняет решимость заговорщиков-республиканцев, собравшихся в сентябре 15 марта 44 г., чтобы убить Цезаря. В их расчеты входило не только устранение самого деспота, но и та особенная торжественная обстановка, в которой должна была произойти как бы публичная казнь именем народной свободы, великого преступника, который на нее покусился. Поэтому местом убийства была выбрана курия, самое священное место старинной поруганной Цезарем республики. Таким же призывом к

демократическим чувствам и традициям римского народа была устроенная заговорщиками вслед за убийством Цезаря процессия, в которой несли высоко над головами шапку свободы.

Почему Брут и Кассий с товарищами встретили так мало сочувствия в столице? Какие интересы представляли они и кто были их противники в Италии, которым они так скоро вынуждены были уступить? У римской массы и теперь, как перед смертью Цезаря, оставалась только свобода рукоплескать и шикать. Никаких самостоятельных решений комиции не могли предпринимать: собрания уже потому превращались в послушные парады, что их созывали либо под охраной военной гвардии Цезаря или даже исключительно заполняли солдатами. В момент смерти Цезаря Рим был переполнен ветеранами его походов; ленники императора дожидались отвода в колонии на присужденные им наделы. Момент напоминает как нельзя более похороны первого военного монарха Суллы, когда грозные его сотоварищи и слуги, сошедшись со всех концов Италии, заставили республиканские власти совершить апофеоз их вождя. Созывая большой народный митинг для оправдания дела заговорщиков, Брут находился в положении трагикомическом. У него была прекрасная речь о разграблении Италии Цезарем и его воинством, о возмутительной экспроприации гражданского общества в пользу военных, но он был вынужден говорить ее перед собранием, где преобладали именно эти военные элементы, доказывать им в глаза их беззакония. Отсюда в высшей степени неожиданное заключение этой речи: вместо того чтобы призывать народ к борьбе с гвардией тирана, Брут кончает приглашением, обращенным к ветеранам урегулировать и узаконить свои владения, опирающиеся на экспроприацию, он обещает все сохранить за ними, но лишь на условии примирения с экспроприированными и полного их вознаграждения.

Речь Брута не могла быть особенно утешительна и для изгнанных владельцев, если только они присутствовали на митинге; большим вопросом было еще, где республиканцы достанут средства для вознаграждения пострадавших. Что же касается ветеранов, то для них речь Брута была очень неприятна. Следовательно, их владения находятся под вопросом, и причина этой внезапной непрочности — смерть вождя? А убившие его сенаторы не только ничего не обещают им, напротив, со своими обещаниями адресуются к их врагам, поднимают у экспроприированных надежды на мщение?

Обыкновенно неудачу республиканцев в столице приписывают тому, что они не сумели воспрепятствовать опубликованию Цезарева завещания: когда народ узнал, что ему отписаны покойным диктатором подарки и пользование садами, и в особенности как только открылось, что убийца Децим Брут назначен в завещании одним из ближайших наследников убитого, негодованию не стало меры, и заговорщики должны были бежать из Рима и Италии. Совсем не эти чувства, конечно, решили дальнейший ход дела, а главное, не настроение римской безоружной массы было важно: решили самые определенные соображения Цезаревых солдат, которым предстояло выбрать себе из наследников Цезаря того, кто лучше всего способен был удовлетворить их. Впереди всех оказался первый фаворит Антоний, успевший завладеть главными суммами Цезарева имущества; позже явился со своими притязаниями усыновленный Цезарем внучатый племянник его, Октавий, дед которого был содержателем ссудной кассы в муниципии, а отец извлекал в Риме выгоду из ремесла дивизора в комициях. То обстоятельство, что Октавий назвался, согласно завещанию диктатора, Цезарем, само по себе едва ли очень тронуло легионы. Но в связи с произведенными им раздачами из собственного имущества и из ссуды, данной Педием, другим племянником Цезаря, имя заключало в себе программу обещаний. Октавиан (т.е. бывший Октавий) становился претендентом.

Республиканцы могли рассчитывать только на тот же самый военный материал для борьбы, но что они способны были обещать? Брут возвестил с самого начала защиту интересов Италии. Оставались только колониальные владения в качестве материала для вознаграждения легионов. Вот почему руководителям заговора 15 марта 44 г. пришлось избрать тот же путь, к которому прибег и Помпей, т.е. направиться в провинции Востока для организации защиты республики с финансовой стороны.



ВОЕННЫЙ ИМПЕРИАЛИЗМ

Империя была завоевана массой солдат, которых в течение нескольких десятилетий высылала Италия. Теперь, в эпоху перевеса цезарианцев, Италия снова испытала всю тяжесть последствий своего внешнего расширения. Цезарь и его наследники опирались на элементы, взращенные огромными предприятими в колониальных владениях и чуждые гражданскому обществу Италии; в пользу своих военных ленников они начали и собирались докончить небывалые по размерам и произвольности конфискации.

Целый год после смерти Цезаря, с весны 44 г. до весны 43 г., проходит без столкновений, но в крайне запутанных переговорах и соглашениях вождей, перестановках командований и передвижениях легионов. Смысл сложных комбинаций очень прост и однообразен. Смерть диктатора возбудила надежды на восстановление республики у оппозиции с Цицероном во главе. Вне Рима за республику старались поднять военные силы Марк Брут и Кассий на Востоке, Децим Брут в Италии. В Риме Цицерону удалось привлечь на сторону республики умеренных цезарианцев, назначенных на 43 г. консулами, Гирция и Пансу. Но все дело состояло в том, чтобы иметь на своей стороне легионы. И вот новые претенденты, Антоний и Октавиан, с одной стороны, республиканцы, с другой, ведут спор о привлечении и объединении драгоценного воинского материала, оставленного диктатором.

В событиях 44—40 гг. еще более чем в войнах Цезаря, выступает решающая роль легионов. Четырехлетие, следующее за его смертью, представляет высшую точку в развитии военного парламентаризма, корпоративности и политического влияния солдат. Вожди являются нередко простыми исполнителями их постановлений и не раз подчиняются выработанным двумя войсками компромиссам.

Чтобы понять эту роль легионов, необходимо, прежде всего, принять во внимание количественные силы солдат, в руках которых находились в то время судьбы значительной части культурного мира. Таких военных громад не выставляло предшествующее время. Не было ничего подобного и в позднейшей империи: число ее легионов было гораздо меньше, и они стояли притом по границам, а не во внутренних областях. Осенью 43 г. после гибели Децима Брута, в момент образования второго триумvirата, у Октавиана было 10 легионов, у Антония с Лепидом 18, в это время Брут и Кассий успели сосредоточить на Востоке 20 легионов. Это составляло более 280 000 человек (считая по 6000 в легионе); в это время сын Помпея, Секст, уже собирал значительные морские силы между Африкой и Италией. После победы над Брутом и Кассием триумвиры соединили со своими армиями значительные остатки республиканских войск, которые перешли к ним, и отпустили по домам 28 легионов, оставив себе: Октавиан — 5, Антоний — 6 легионов. Но уже через год, в 41 г., для так называемой Перузинской войны, т.е. для подавления великого италийского восстания, Октавиану пришлось набирать новые силы; по окончании этой войны Октавиан располагал 40 легионами, в то время как на Востоке у Антония было свое, по всей вероятности, немалое войско. В 30-х годах накопление военных масс продолжается. После победы над Секстом Помпеем, державшим несколько лет в своих руках Сицилию и западную часть Средиземного моря, у Октавиана оказалось 45 легионов (более 250 000 человек тяжеловооруженных), 25 000 конницы, 40 000 легковооруженных. От разрушенной им морской державы Секста Помпея он удержал 600 военных кораблей, не считая массы транспортных судов. Но это была только половина военных сил Римской империи. Антоний из своего восточного царства двинул в середине 30-х годов против парфян 60 000 регулярной пехоты, 10 000 испанской и кельтской конницы и 30 000 восточных союзников; это было самое крупное римское войско, которое когда-либо появлялось на Востоке. Тот же Антоний выставил перед решительным столкновением своим с Октавианом, при Акции, до 30 легионов и 800 кораблей. Соответственно непомерному накоплению сухопутных сил в это время растут и морские. Со времени разрушения Помпеем морской державы пиратов в 67 г. и до битвы при Акции количество кораблей военного флота поднялось с 300 до 1100.

Эти внушительные и грозные массы было очень трудно удовлетворять в смысле материального вознаграждения. Никогда солдат не был так требователен, никогда в такой мере не торговался с вербовщиками и с самим крупным военным предпринимателем, главнокомандующим. Никогда так сильно не был выражен в войске дух наемничества. В момент ссоры с Октавианом в 44 г. Антоний предлагает Цезаревым ветеранам, переправляющимся из Македонии, по 100 денариев каждому в виде задатка, если они вступят на службу к нему. Солдаты встречают предложение смехом: дело в том, что Октавиан уже обещал в пять раз больше — 500 денариев. После соглашения с Антонием и заключения триумвирата Октавиан идет на Рим и обещает каждому солдату, который за ним последует, 10 000 сестерциев в качестве окончательной денежной награды. В продолжительной и трудной войне с республиканцами на Востоке цена награды солдатам подымается вдвое: триумвиры обещают каждому ветерану при возвращении 5000 денариев (20 000 сестерциев).

Весьма естественно, что под влиянием соперничества претендентов, которые наперерыв старались привлечь к себе испытанные уже легионы, самостоятельность и корпоративность как солдат, так и офицеров развивалась еще более чем это было в войсках Суллы, Помпея и даже Цезаря. Проявления этой самостоятельности часто ставили вождей в большие затруднения. В 44 г. Антоний и Октавиан наперерыв обращались к готовым легионам, уже служившим при Цезаре, а также к ветеранам, поселенным на земле или назначенным к отправке в колонии. Особенно важны были для обоих те 5 легионов, которые Цезарь отправил на Восток для парфянской войны. Антоний в качестве консула выписал их из Македонии; но прежде, чем они успели высадиться в Брундизии, среди них появились агенты Октавиана. Мы узнаем тут любопытную подробность: в среде солдат вращается множество прокламаций, где сопоставлена скупость Антония и щедрость младшего Цезаря. Антоний, правда, прибегает к самым суровым мерам, велит схватить агитаторов; но уже положиться на македонские легионы нет возможности. И он оставляет большую часть их на восточном берегу Италии, а к Риму берет с собою один пятый легион. Этот легион — особенный, в свое время Цезарь набрал его исключительно из галлов, и со стороны варваров, составлявших его, нечего было опасаться какого-либо соприкосновения с гражданскими элементами. Октавиан, не упуская из виду других

македонских легионов, тем временем обращается к ветеранам седьмого и восьмого легионов, поселенным в Кампании. Колонисты готовы приняться за старое солдатское ремесло, и вслед за Октавианом, предлагающим свои услуги сенату и Цицерону, идут в Рим. Здесь на митинге они, однако, узнают, что им придется биться против своих старых товарищей, находящихся в войске Антония; многих это останавливает, и часть ветеранов возвращается домой. Снова в войске Антония начинается отпадение. Знаменитый в походах Цезаря Марсов легион отделяется от других, занимает свой особый лагерь недалеко от Рима, привлекает еще 4-й легион на свою сторону и заводит переговоры с октавианцами. Тогда Антонию остается только поскорее обещать остальным еще не отправшим легионам те самые награды, какие Октавиан обязался выдать своему войску.

Лучшие легионы, оставшиеся от Цезаря, и часть ветеранов-поселенцев разделились, таким образом, почти поровну, одни на стороне Антония, другие на стороне Октавиана. Сенат ставит октавианцев под начальство обоих консулов 43 г., Гирция и Пансы, и поручает им высвободить Децима Брута, осажденного в Мутине Антонием. Происходит необычайно кровопролитное сражение около Мутины при Forum Callorum.

Здесь во всей силе выступает корпоративность легионов; сражение ведется без вмешательства командиров, по плану, установленному самими солдатами. Марсов легион из октавианского войска окружен двумя другими антонианскими, своими недавними товарищами по Македонии, с которыми он разошелся уже в Италии, те и другие собираются решить вопрос чести — кого считать изменником — как на дуэли, но без пощады и до последнего дыхания. Они сражаются не за дело начальников, а за свое собственное.

Личный опыт солдат заменяет всякие приказы. Солдатская организация сама быстро решает выставить друг против друга преторианцев, гвардию Антония и Октавия; дуэль должна быть на равных условиях. Новичков удаляют, чтобы они не мешали бою испытанных. Решено устранить всякие возгласы, крики поощрения или угрозы; враги-товарищи знают друг друга, знают безошибочно всю науку битвы и считают достойным себя только молчаливо-мрачную рукопашную, в которой нет ни одного стога, павших тотчас же бесшумно уносят из рядов. Вся гвардия более слабой стороны, октавианской, падает до единого человека; остальные бьются до полного изнеможения; обе сторо-

ны отступают медленно с угрожающим видом; только к вечеру октавианцам удастся решить битву в свою пользу благодаря внезапному наступлению свежего легиона, того самого 4-го, который ушел с марсианами из войска Антония.

Если здесь легионы показали себя вполне самостоятельными в тактике, то они проявили затем решительность в стратегии и дипломатии. На первый взгляд, положение Антония было отчаянное: он был побежден войском Октавиана, а освободившийся вследствие этого Децим Брут начал преследовать его на пути отступления в Галлию. Но эти сражения на севере Италии еще не решали дела, пока неясно было, на чью сторону перейдут 12 легионов, стоявших на западе, в Галлии и Испании, и разделенных между тремя командирами — Лепидом, Мунацием Плавком и Азинием Поллионом. Приблизившись к лагерю Лепида, Антоний заводит с начальником конфиденциально переговоры, но солдаты Лепида ускоряют решение. Они не хотят взаимных столкновений и стоят за объединение всех цезарианских отрядов. Отстранив офицеров, лепидианцы строят понтонный мост на другую сторону реки для беспрепятственного сношения с антонианцами, братаются со своими старыми товарищами и ночью впускают Антония в середину своего лагеря к палатке главнокомандующего. Лепиду остается только подчиниться, и он присоединяет к Антонию свои 7 легионов. Таким образом, командир вынужден был отказаться в повиновении гражданскому правительству в Риме.

Лепид сообщил об этом сенату в очень любопытных выражениях, которые заставляют чувствовать, кому теперь принадлежит верховенство: «... Я в самый короткий срок доказал бы свое искреннее намерение послужить республике, если бы судьба не опрокинула моего решения: дело в том, что все войско произвело возмущение, по-своему определило способы, какими правильнее будет охранить мир и целостность гражданского общества и, чтобы сказать правду, вынудило меня пожалеть о жизни массы римских граждан»¹.

В это же время войско Октавиана объявило свою волю сенату уже непосредственно. Победившие Антония легионы, Марсов и 4-й, отказались от союза с Децимом Брутом; они не приняли присланного от сената денежного подарка и не допустили сенатскую комиссию десяти распределить деньги. В свою

¹ Cic. Ad famil. X, 35.

очередь, они прислали в сенат центурионов требовать для своего 20-летнего начальника Октавиана консульства (консулы Гирций и Панса оба погибли в сражениях под Мутином). Ввиду некоторых колебаний в сенате, выступил глава делегации, центурион Корнелий, и грубо сказал, доставая из-под плаща свой меч: «Вот кто сделает его консулом, если не сделаете вы». Наконец произошло то, чего настойчиво хотели все отряды раздробившейся между 6 командирами цезарианской армии. Легионы Лепида, Поллиона, Планка, солдаты, покинувшие Децима Брута, и войска Антония и Октавиана соединились в Бононии под начальством двух последних и потребовали движения на Рим и расправы над гражданским правительством, которое осмелилось потревожить их и еще раз выставить вопрос их господства в стране. Их притязания были теперь еще более приподняты сравнительно с моментом последних триумфов Цезаря; но это была та самая военная громада, которая стала слагаться в его галльских походах и разрослась в бесконечной почти гражданской войне 49—45 гг.

Что могло этому противопоставить сенатское правительство в Риме с Цицероном во главе? Весною 44 г., во время замешательства цезарианцев и недолгой агитации в Риме заговорщиков-республиканцев, Италия не трогалась. Слишком сильно было впечатление Цезаревых побед, слишком близко у городов находились поселенные им батальоны. Брут и Кассий вынуждены были удалиться на Восток, несмотря на определенные симпатии, которые выразили им многие муниципии. Но вот страшные ветераны приходят в движение, поселенные уже легионы поднимаются из Кампании; другие, возвратившись из похода на Восток, маршируют вдоль всего полуострова от Брундизия; цезарианские солдаты становятся угрожающими лагерями, притягивают рекрутов и сами быстро воспитывают их в своей тактике, наконец, дают зрелище жестокой товарищеской дуэли под Мутиной. Вся Италия видела это полудикое и в то же время организованное государство в государстве, испытала его постой и поборы. Наконец, сомнения не оставалось, обещания вождей, их задатки могли быть только вступлением к предстоящей грандиозной экспроприации, которая должна была оставить в тени все раздачи Цезаря. В стране, давно лишенной общей организации, готовился протест. Но у италиков не было объединяющего центра.

Римский сенат в 44 г. был не похож на тот, который за 5 лет до того требовал к ответу Цезаря. Магнатов независимо от положения в нем почти не было, лучшие элементы нобилитета ушли к Бруту и Кассию на Восток; преобладали люди, всем обязанные Цезарю, частью совершенно ничтожные креатуры его или помпеянцы, вынужденные стать его вассалами. Остатки аристократии смешались с людьми новой службы. Для всех единственным путем карьеры стало назначение на должность волею диктатора. Характерные последствия этого положения обнаружились ярко в сенатских дебатах, возникших вслед за смертью Цезаря, о законности изданных им актов. Республиканцы, в принципе, готовы были признать их тираническими, но в то же время оказалось выгодным утвердить эти акты прежде всего в интересах самих заговорщиков, так как многих Цезарь уже назначил на важные посты, и в случае уничтожения его назначений кандидатам пришлось бы осудить себя на отказ от публичной деятельности или, по крайней мере, подвергнуться риску новых выборов. И если все-таки собрание людей, большею частью заурядных и привыкших подчиняться, осмелилось поднять борьбу против цезарианства, то в этой решимости надо видеть заслуги великого римского оратора, который сумел оживить последние искры независимости в высших слоях римского общества и придать моральное величие погибающей республике.

Старая конституционная жизнь Рима отходила в вечность вовсе не бесславно. Если республика и свобода для Цезаря были бессодержательными словами, то за них сумели умереть Катон, Брут и Кассий, и сам Цезарь должен был признать, что самоубийство Катона, не желавшего оставаться в живых при торжестве тирании, нельзя уравновесить никакой победой. Та же борьба за политическую свободу окружила примиряющим светом старческую голову Цицерона и преобразила перед смертью этого податливого, нестойкого, уклончивого политика, этого изворотливого и часто неискреннего оратора в трибуна республиканского типа. Цицерон был тонко чувствующей и восприимчивой натурой, глубоко культурным человеком, совершенно чуждым милитаризму всех учеников и преемников Суллы. Но смелости и определенности у него было мало. Его жизнь прошла в компромиссах, в сближениях с сильными данного момента. Он был демократом, насколько это требовалось для приобретения патронажа Помпея и союза с откупщиками. Войдя эти-

ми путями в круг магнатов, бывший адвокат, уроженец глухого городка, пробивший себе дорогу своим талантам, искал дружбы со всеми, интересного досуга и спокойного влияния. Но его уважение к закону и конституции, его чуткость к праву не позволяли ему мириться с узурпаторами и насильниками. И как ни покаялся Цицерон в своем противодействии Цезарю, после того как расстроил ссылкой 58 г. свои нервы, он все-таки не мог превратиться в преданного монархиста: он предпочел уйти в частную жизнь, в писательство, стать толкователем греческой культуры и философии для римского общества. Республике с гибелью Помпея, Домиция, Катона пришел конец, это был свершившийся факт; он, Цицерон, не согласен был петь гимн новому порядку. Заговорщики 44 г., зная мягкость Цицерона, не решились втянуть его в свои планы. Но они открыли ему глаза: если у республики еще есть такие защитники, не все пропало, возможно возрождение. И старик вспомнил все лучшее, чем он жил, соединил в энергическом порыве свои убеждения, свой опыт и силу красноречия, и эта пестрая, морально смутная жизнь украсилась и преобразилась силой трагического конца.

Цицерон был неузнаваем в последний год своей жизни. Он проявил необыкновенную подвижность и находчивость; не занимая никакой официальной должности, он руководил вооружениями, вел корреспонденцию с командирами легионов, поддерживал сношения с муниципиями; в сенате он фактически направлял дебаты своими предложениями; следом за обсуждением в курии он спешил на митинг и старался мотивировать только что принятое решение перед обширной аудиторией. В своем ораторском пафосе он умел найти звуки призыва к последней борьбе. Шестая филиппика его кончается словами: «Мы переживаем критический момент. Борьба идет за свободу. Вам нужно победить, квириды, и я верю, что мы добьемся победы нашим единодушием и преданностью делу, иначе все, что угодно, но не рабство. Другие народы могут сносить неволю, римский народ может быть только свободным».

Организаторской деятельностью Цицерону удалось добиться немалых результатов. Многие представители класса всадников внесли пожертвования в пользу сената против Антония; фабриканты и поставщики не брали денег за доставленные припасы; оружейники в Риме работали даром. Многие города в Италии стали восстанавливать заброшенные старые стены, воо-

ружаться и кредитовать суммы для возведения укреплений. Целый ряд общин, по инициативе города Фирма, предложил сенату ссуды. Марруцинские горцы объявили, что будут считать бесчестными тех, кто не пойдет в войско для защиты сената. Но Италия не могла теперь противопоставить врагу своей собственной военной организации, как в войне 90 г. Приходилось обращаться все к тем же готовым легионам, а это значило обещать им земельные награды, которыми уже взяли их цезарианские претенденты. Но из добровольных пожертвований не составилось даже суммы, необходимой для уплаты задатков солдатам; и сенату осталось только принять предложение Октавиана, набиравшего войско из частных средств своих и предполагавшего отбить династическое наследство у Антония.

Осенью 44 г. руководимый Цицероном сенат возлагал надежды на междоусобие претендентов, но в следующем году Октавиан изменил сенату, и претенденты объединились в грозную уничтожающую силу. Положение Рима было отчаянное. Регулярное войско сената состояло из легиона, оставленного в городе Пансой, и двух легионов, выписанных из Африки. Призвали всех способных носить оружие, но, конечно, это не имело никакого значения в сравнении с обученными и организованными военными корпорациями, которые пододвигались к столице. В заключение все три легиона, сосредоточенные в городе, «пренебрегая приказами своих начальников», отправили делегатов к Октавиану и передались ему целиком.

Таким образом, возникавший протест Италии был задавлен в самом начале. Три главных командира, Антоний, Октавий, Лепид, волею легионов вынужденные помириться между собою, вступили в обладание метрополией и разделили между собою западные провинции. Посредством фикции закона, проведенного трибуном Тицием, они оформили свою власть на 5 лет вперед и назвался он *tres viri respublicae conctituedae*. По странной иронии слов, эти «устроители республики» ставили первую целью уничтожение республиканской партии, собравшейся на Востоке под руководством Брута и Кассия. Старые Цезаревы легионы, стянутые на Западе, согласились на эту последнюю кампанию; они не могли быть уверены в своих наградах и владениях, пока существовала партия, которая ставила гражданскую власть выше военной и не допускала экспроприации Италии. Снова триумвиры, собираясь на войну, должны были дать в этом смысле самые определенные обещания

военным массам: для колоний были отписаны земли 18 городов Италии, между которыми были Капуя, Беневент, Венузия, Нуцерия, Аримин, Вибон, Регий.

Необходимо было, однако, уже теперь выдать солдатам задатки; также важно было собрать суммы для военных операций, предстоявших на Востоке. Этой цели должны были послужить опальные списки, а для составления их нашли очень выгодную вывеску: наказание убийц Цезаря. Автора «закона о преследовании убийц Цезаря», новоизбранный консул Педий, племянник Цезаря, назвал имена 17 выдающихся людей Рима, которые были предложены триумвирами к казни; но в ту же ночь потрясенный ужасом, охватившим население, он умер от удара. У Антония и Октавиана: оказались более крепкие нервы. Они занесли в *talulae proscriptionis* сначала 130, потом еще 150 человек. В списке впереди стояли имена близких родственников всех командиров, Лепида, самого Антония, Планка и Поллиона; в число врагов Цезаря Антоний поспешил занести Цицерона, и убийцы настигли его 7 декабря 43 г.

Что Цицерона следует причислить к последним борцам за гибнущее великое дело, это чувствовали хорошо ближайшие к нему поколения. Одно из любопытнейших свидетельств в этом смысле мы находим у второстепенного писателя императорской эпохи, Веллея Патеркула, офицера, составившего очерк преимущественно внешней истории Рима. Веллей пишет при Тиберии среди укрепившегося монархического порядка; у него нет республиканских иллюзий, но есть уважение к великому прошлому свободной когда-то страны. Среди его сжатых деловых строк мы находим неожиданно такое отступление по поводу проскрипций Антония и Октавиана в 43 г.: «Самым позорным делом этой поры было то, что Цезарь (Октавиан) согласился объявить в опале Цицерона, что Цицерон вообще был поставлен на список осужденных. Преступным актом Антоний отрубил ту голову, которая служила гласом общества; никто не стал на защиту человека, в течение долгих лет бывшего защитой республики и отдельных граждан. Но ты ничего не добился, Антоний, — и я должен, нарушая свой рассказ, сказать это и дать выход глубокому негодованию — повторяю я, ничего ты не добился, поставив цену за убийство этой светлой головы и этих небесных уст и присудив к смерти человека, который был великим консулом и оберегателем республики. Отнял ты у Цицерона немного: беспокойные дни, старость и жизнь, которая при

твоим царствованием была бы гораздо хуже, чем смерть под твоей опалой; славу же дел и речей его ты не только не уничтожил, а еще возвеличил. Он живет и будет жить в памяти всех веков; и пока останется неврежденным то соединение элементов, созданных судьбой или провидением, которое он, чуть ли не единственный из римлян, понял своим умом и осветил своим талантом и красноречием, до тех пор будет неразлучным спутником Рима цicerоновское слово; и все потомство будет удивляться его речам, направленным против тебя, и проклинать твой поступок; скорее исчезнет со света род человеческий, чем имя этого человека»¹.

В прокламации триумвиры говорили о великом Цезаре, о государственной необходимости, о своей умеренности в казнях, но признавались, что должны сделать уступку жажде мщения, которую горит оскорбленное цереубийцами войско. Они объявили смерть не только опальным, но и всем, кто будет их укрывать или каким-нибудь образом помогать им.

Началась резня, которая по своей систематической настойчивости далеко превзошла Сулловы проскрипции и убийства. Историк междоусобных войн, при своей склонности к драматизму, не мог не рассказать потомству наиболее трогательных или, напротив, отталкивающих эпизодов гибели от свирепствующей гидры военной реакции. Он приводит случай подлой выдачи опальных домашними, женами, братьями, сыновьями, которым хотелось скорее добраться до наследства; приводит примеры верности родственников и друзей, скрывавших опального с опасностью для своей жизни, случаи самопожертвования и жажды неразлучной смерти вместе с осужденными; самые различные характеры, самые разнообразные коллизии выступают перед нами; страшный разрез точно обнажает сразу человеческое общество с его слабостями и великими чертами духа. Кто успел предупредить рыщущих всюду убийц, центурионов и солдат, кончает самоубийством. Между самоубийцами оказался герой великой Союзнической войны 90 г. самнит Стаций, каким-то чудом уцелевший среди всех превратностей своей несчастной родины. Голова восьмидесятилетнего старика понадобилась триумвирам, потому что у него было порядочное состояние. Но Стаций ушел от своей судьбы и кончил наподобие своих старых товарищей, погибавших на самодельных ко-

¹ Vell. II, 66.

страх, чтобы не достаться врагу: он открыл свой дворец рабам и соседям на разграбление; раскидал толпе на улицу все драгоценности, зажег опустелое здание и сгорел в нем сам.

В проскрипциях 43 г. жестоко пострадала старинная аристократия; погибло около 300 сенаторов. Результаты этой резни, крупнейшей в римской истории, вместе с гибелью в 42 г. республиканских семей, бежавших к Бруту и Кассию, выражаются особенно ясно в полном исчезновении ко времени империи целого ряда фамилий, игравших роль в последние два века республики. Исследователь истории сената, Виллемс, сравнивает состав его в два момента, которые, в сущности, отстоят один от другого только на 25 лет; он рассматривает сенат 55-го и 29 г., но в промежутке как раз приходится вторая и третья гражданские войны, а также систематические убийства, совершенные триумвирами. Если принять во внимание неполноту и отрывочность сведений, результаты будут довольно резки: из 52 фамилий, замеченных под 55 годом, остались к 29 г. 30; из 22 пропавших 18 вовсе исчезли, 4 сошли на низший ранг.

В опалах и убийствах сильно был захвачен также класс всадников. Аппиан насчитывает число убитых из их среды до 2000. Множество лиц, совершенно неизвестных в политической жизни, попали в списки исключительно из-за своего богатства; проскрипции были самым откровенным видом конфискации и средством финансового вымогательства.

Но прямой цели своей опалы не достигли. Триумвирам удалось собрать лишь слабые суммы этим путем. Поэтому к проскрипциям примыкает ряд финансовых и административных мер триумвиров, приравнявших Италию к завоеванным колониальным землям. Метрополия, не платившая податей более 120 лет, была обложена целю сетью налогов. Все землевладельцы Италии, граждане, иностранцы, вольноотпущенные, духовенство, кто имел более 400 000 сестерциев имущества, должны были подвергнуться оценке и обложению соответственно доходу; при этом сумма в размере годового дохода взималась тотчас же, и еще вперед 2%. С земель потребовали половины годового дохода. С владельцев домов и квартиронанимателей взят был особый налог в размере годовой наемной платы. Между прочим, было условие, которое очень характерно приравнивало систему обложения полной экспроприации: триумвиры предлагали собственникам уступать 2/3 своих владений взамен уплаты всяких сборов.

Представители высшего класса должны были доставить еще особые дополнительные средства. На счет сенаторов отнесли починку тех дорог, которые нужны были для передвижения войск. Особо было обложено рабовладение, как один из видов капитала. Владельцы рабов должны были заплатить по 100 сестерциев за человека и поставить из рабов известное число матросов. Если сенаторы не имели нужного количества рабов, то должны были покупать их, чтобы уступать затем правительству. Большую услугу вымогательству оказало установление нового культа. Убитый диктатор был возведен в степень божества, он стал *Divus Julius*; день его рождения объявили публичным праздником. Все должны были надевать в этот день лавровые венки; уклоняющимся грозило проклятие богов Юлия Цезаря и Юпитера. Но для богатых людей было предусмотрено особое наказание: сенаторы и их сыновья платили в случае нарушения нового религиозного предписания 100 000 сестерциев. Всякое выражение симпатий к республике облагалось большим штрафом. Октавиан узнал, что жители города Нурсии поставили своим согражданам, убитым под Мутиной, памятник с надписью: «Павшим за свободу». Немедленно нурсийцы были наказаны огромной пеней, и так как они не могли выплатить ее, то были изгнаны из города своего.

Всего этого оказалось мало. Триумвиры высчитали сумму, необходимую для ведения войны, в 200 миллионов сестерциев. Для покрытия недостачи они еще изобрели небывалый сбор: был составлен список 1400 самых знатных и богатых женщин Рима; они должны были представить к оценке свое имущество и заплатить на военные издержки, сколько потребует правительство. Но это решение вызвало жестокую бурю в городе, и триумвиры не могли его провести. Римские матроны оказались смелее мужчин; они двинулись длинной процессией на форум, где сидели триумвиры; для выражения протеста они выбрали из своей среды Гортензию, дочь знаменитого оратора Гортензия Гортала. В замечательной речи, которая впоследствии была издана и много читалась, Гортензия говорила, что и без того женщины пострадали от опал, от гибели близких людей. По обычаю предков, женщины не обязаны платить, так как они не принимают участия в политической жизни. Триумвиры хотели разогнать просительниц и кликнули своих ликторов. Но народ поднял шум и помешал полицейским. Пришлось уступить: в список облагаемых были внесены только 400 богатейших женщин, и с них была взята десятая часть по оценке.

Все эти сборы составляли больше чем военную контрибуцию с завоеванной страны («военнопленной» называет Италию историк гражданских войн). Вдобавок солдаты были расставлены на постой по городам и кормились всю зиму за счет населения. Триумвиры торопились взять, что можно, не откладывая до момента окончательного торжества над республиканцами. Уже приступила к делу земельная комиссия, назначенная для отвода обещанных солдатами территорий. Но пока для непосредственного удовлетворения солдат их посылали грабить имения опальных или тех, кто до известного срока не отрекся определеннейше от республиканской партии; офицерам отдавали имения проскриптов по дешевой цене или даром; раздавали всякие доходные должности, между прочим жреческие.

Гражданская война 42 г. между триумвирами и республиканцами была одной из самых крупных войн древности вообще: противники пододвинули к городу Филиппы в Македонии с каждой стороны по 20 легионов. Брут и Кассий соединили под своим начальством главным образом старые Цезаревы легионы, перехваченные ими на Востоке; это говорит в пользу их искусства как организаторов, тем более, что солдаты остались им верны до конца. Но материал был тот же самый у цезарианцев, что у последних защитников республики. Историк междоусобных войн, выросший в глухую пору монархического режима, объясняет читателю, что лозунги не имели уже большого значения: «Брут и Кассий выставили на знамени так же, как раньше Помпей, что борьба идет не за их личное господство, а за народовластие, — слово звучное, но какая в нем цена!»¹ Историк прав в том смысле, что едва ли солдаты в войске Брута и Кассия ценили республику больше, чем армия триумвиров.

На той и на другой стороне легионы действуют очень самовольно. Первое сражение при Филиппи начато солдатами Кассия вопреки прямым приказам начальника, и загадочная смерть самого Кассия в момент, когда его достигала весть о победе коллеги на другом крыле, объясняется, может быть, отчаянием командира ввиду полного неповиновения и дезорганизации войска. И второе сражение при Филиппи через 20 дней произошло против желания Брута, теперь уже единственного главнокомандующего соединенной армией. Как можно понять, решение было принято не в высшем военном совете, не шта-

¹ App. IV, 133.

бом армии, а самими солдатами. Брут сказал, будто бы в этот момент характерные слова: «Мы не командиры более, а исполнители команды!»¹

Без сомнения, в интересах республиканской армии было избегать сражения: в руках Брута и Кассия было море и свободный подвоз припасов с Востока, тогда как триумвиры были изолированы на Балканском полуострове; их войску грозил голод. Еще немного времени, и позади них, может быть, стала бы подниматься Италия, запоздавшая в следующем году со своим восстанием. К стратегической ошибке, допущенной два раза вождями, бессильными овладеть армией, прибавилась одна из тех тактических случайностей, которая превращает небольшой уклон битвы в решительное поражение — и дело республики погибло раньше, чем допускали это в мысли ее последние борцы. Новый ряд героических смертей мрачно оттенил торжество «раздробителей Италии». Брут повторил смерть Катона, своего тестя, служившего ему великим примером для подражания. Сын Катона во время отступления снял шлем, чтобы быть узнанным, и бросился на мечи врагов. Сестра его, жена Брута, Порция, узнав о смерти брата и мужа, проглотила горящие головни.

Катастрофа республиканцев в 42 г. жестоко отразилась на Италии. Перед походом на Восток там и сям уже поднимался протест против триумвиров. Города, территории которых были предназначены к отдаче земли ветеранам, заявили, что не хотят устройства сплошных колоний; они предлагали распределить солдат по всей Италии врозь и установить подлежащие конфискации области по жребию. В иных местах, особенно на юге, владельцы земель, отписанных ветеранам, соединялись вместе для отпора или переходили к Сексту Помпею, последнему сыну претендента, спасшемуся в Испании от цезарианской резни и завладевшему теперь Сицилией. Триумвирам пришлось даже вычеркнуть из первоначального списка восемнадцать общин, предназначенных к конфискации, два города в Южной Италии, Регию и Вибон, за то, что они обещали помощь против Помпея.

Но в 42 г. после окончательной победы над республиканцами, триумвиры стали проводить конфискации без всяких ограничений. Приняв в свое подданство часть солдат сдавшейся республиканской армии, они решили отпустить по домам 28 ле-

¹ App. IV, 124.

гионов с 170 000 ветеранов. Антоний остался на Востоке, чтобы собрать суммы, необходимые для вознаграждения экспроприированных итальянских владельцев. Но деньги не прибывали, а ветеранов поселяли в имениях, где к ним переходил инвентарь и рабы и откуда выгонялись владельцы. Территории, отписанной от 16 городов, оказалось слишком мало для устройства огромного количества колонистов; стали захватывать всюду земли общин и скоро оказалось, что во всей Италии нет земельной собственности, кроме военных ленов, которая могла бы считаться безопасной от экспроприации. Для довершения сходства с завоеванной землей, Италия была разделена на военные округа; устроители колоний в чине легатов с преторскою властью распоряжались в качестве военных наместников. Само их назначение составляло тяжкое нарушение старинной конституции: метрополия знала лишь самоуправляющиеся города под верховным руководством сената, была свободна от постоя и подчинения военным комиссарам. Для людей, окружающих триумвиров, открывался ряд новых наместнических должностей в самой метрополии.

Кризис 43—42 гг. лег мрачной тяжестью на Италию. Во многих местах страна не возделывалась. Между солдатами и прежними владельцами, которые не хотели уступать, происходили кровопролитные стычки. Среди военной анархии оживало также и обострялось много старых счетов между остальными собственниками, между представителями враждующих городских партий, которые примыкали к той или другой стороне, к сенату или претендентам. Помимо столкновений между посессорами и ветеранами, разыгрывалась борьба и между самими посессорами, — борьба, полная неожиданных оборотов. Поэт Вергилий потерял свое наследственное поместье в Северной Италии. Оно, вероятно, было немало по размерам, судя по тому, что на нем поселили 60 ветеранов. В то же время друг его Корнелий Галл был назначен собирать с городов контрибуцию. Несколько раньше магистрат города Мантуи, собирая суммы в пользу сената против претендентов, забрал у некоторых владельцев, между прочим, у известного юриста Альфена Вара, в виде залога, стада для того, чтобы вынудить взносы. От бескормицы захваченный скот большею частью погиб на глазах владельцев. С наступлением торжества триумвиров Вар был назначен одним из руководителей дела земельных раздач в Северную Италию; озлобленный против своих сограждан, мантуанцев, он распоря-

дился присоединить к кремонтской территории, предназначенной для ветеранов, еще и мантуанское поле, хотя оно вовсе не предполагалось к разделу.

Для литературной истории эпохи любопытен тот факт, что четыре выдающихся поэта этого времени, прославленные имена золотого века, тяжело пострадали в кризисе. Это были Гораций, Вергилий, Тибулл и Проперций; последние двое принадлежали к классу всадников. Вергилий, Тибулл и Проперций лишились своих земельных владений. Вергилий даже два раза. Впервые, когда раздавались наделы ветеранам после битвы при Филиппи. Ему удалось, однако, исходатайствовать у Октавиана возвращение своего наследственного имения; Вергилий заплатил поэмой «Буколики», где прославлялся новый режим. Но в новом междоусобии, которое поднялось через год, в так называемой Перузинской войне, Вергилий опять потерял имение и на этот раз едва спасся от мечей озлобленных солдат. В дальнейшей судьбе этих литературных деятелей, в тенденции их поведения, кризис сыграл решительную роль: лишенные земли и крова, утратившие самостоятельное положение, они стали в зависимость от нового порядка вещей, перейдя на содержание новых властителей, Мецената и Октавиана-Августа.

После битвы при Филиппи триумвиры разделили между собою провинции и признали друг за другом полный суверенитет во внешних сношениях. Октавиан должен был взять на себя устройство колоний ветеранов в Италии. Навстречу ему поднималось жестокое недовольство во всей стране. Во главе протестующих стал консул 41 г. Люций Антоний, брат триумвира Марка. Люций Антоний объяснял свое поведение тем, что его глубоко взволновал вид массы людей, заполнявших храмы, улицы и площади Рима, которые доведены были до нищенской суммы грабежом и насилием триумвиров.

Тяжелое состояние Италии осложнялось еще тем, что у ее ворот, в Сицилии и прилегающих водах, образовалась морская держава пиратов под руководством Секста Помпея. Флот Помпея запирал подвоз съестных припасов в Италию и расстраивал вообще купеческое движение. Разбойничьи суда, руководимые большею частью беглыми из Италии рабами, нападали на западные берега и опустошали их. Организация защиты с суши была сопряжена с новыми стеснениями для местного населения Италии, особенно сельского. Охранные отряды и разъезжавшие по стране патрули отбирали у обывателей все, что им

встречалось. Вероятно, было немало людей, которые покидали недвижимость и, захватив сбережения, пытались незаметно пробраться к менее опасным мелким восточным гаваням, чтобы затем эмигрировать в более спокойные области на Востоке. Раскопки открыли несколько кладов, зарытых в землю во время междоусобий 41 г. Один из них, найденный недалеко от долины р. Вультурна, весь состоит из золотой монеты, наполняющей тонкую терракотовую вазу: возможно, что его зарыл беглец, отчаявшийся добраться до восточного берега.

Все эти обстоятельства помогают понять, почему вокруг Люция Антония собралось так много сторонников и почему он сначала имел успех против Октавиана, За него стояло множество сенаторов и всадников, но сопротивление было организовано главным образом муниципиями.

Октавиан находился в большом затруднении. Уже при первых проявлениях недовольства он должен был пойти на уступки, на компромисс с владельческими группами; из числа земель, подлежащих отобранию и раздаче солдатам, он изъяс владения сенаторов. От экспроприации в пользу ветеранов были также освобождены мелкие владельцы, наделы которых были ниже нормы, отводимой военным колонистам. Кроме того, были облегчены налоги: почти совсем был отменен сбор с наемных помещений. Наконец, Октавиан пытался привлечь на свою сторону беднейшее население Рима и Италии, повторив одну из мер, принятых в свое время диктатором Цезарем: он скинул годовую плату нанимателям мелких квартир ценою до 2000 сестерциев в Риме, до 500 в остальной Италии.

Но волнения продолжались. Люций Антоний пытался опереться на свой авторитет в качестве консула против чрезвычайной власти Октавиана, как триумвира. Однако он апеллировал к тем же военным силам, что и триумvir: он окружил себя особой гвардией и обратился за поддержкой к ветеранам своего брата. По этому поводу обнаружился опять выработавшийся в войске парламентаризм. Солдаты-колонисты могли опасаться, что вражда главных командиров поведет к полному крушению всего дела раздачи земель. Их ближайшие начальники, офицеры, в качестве третейского суда, сошлись на особое собрание в Теане Силицине и предложили компромисс. Это была обстоятельная программа, в которой ветераны, обеспечивая свои интересы, указывали вместе с тем ряд средств, чтобы не доводить гражданское общество Италии до крайности. Они ставили триум-

вирам известные условия, ограничивали их режим: триумвиры обязуются уступить мирному управлению гражданских сановников, консулов, но и консул должен отпустить свою гвардию; ни той, ни другой стороне не позволено более производить набор в Италии. Наконец, солдаты распорядились урегулировать отношения между триумвирами: какие легионы, принадлежащие одному, должны быть уступлены другому и т.п.

Октавиан, в свою очередь, обратился к посредничеству военных. Два легиона ветеранов, служивших еще при Цезаре, а потом при Антонии, отправили в Рим депутатов, чтобы устроить соглашение. Этот «сенат в сапогах», по выражению консула Люция Антония, сошелся торжественно на Капитолии и потребовал предъявления письменного текста договора, заключенного между триумвирами Марком Антонием и Октавианом после победы при Филиппи. После дебатов солдаты утвердили договор и отдали протокол собрания на хранение весталкам, как это делалось с важнейшими государственными актами. Затем солдаты решили потребовать личного свидания между противниками, Октавианом и Люцием Антонием, и заключили угрозой поднять оружие против того, кто не подчинится их третьейскому приговору и не явится. Октавиан согласился держаться уговора и прибыл на съезд, назначенный солдатами в Габиях. Но противники не решились приехать, и дело расстроилось.

Солдаты считали себя господами положения, и это сказывалось во всех мелочах. На одном театральном представлении в Риме, где присутствовал Октавиан, один солдат, придя несколько поздно, не нашел себе места; он прошел, не стесняясь, на почетные скамьи всадников и сел там. В театре стали шуметь, и Октавиан удалил солдата через ликтора. Солдаты выразили в свою очередь неудовольствие. Они окружили Октавиана и потребовали, чтобы он выдал удаленного товарища, которого они считали убитым. Хотя солдата вернули невредимым, тем не менее, на другой день состоялась сходка, на которую позвали императора. Октавиан заставил себя ждать; солдаты начали громко бранить его, а когда один центурион стал призывать их к почтительности в отношении начальника, забросали его камнями, убили и кинули на дороге, где должен был идти Октавиан.

Несмотря на уступки, сделанные самими военными, восстание нельзя было остановить. Оно получило по традиции имя Перузинской войны из-за центрального и наиболее трагического своего эпизода. В этрусском городе Перузии запер-

ся консул Люций Антоний вместе со многими римскими сенаторами и всадниками. Перевес регулярных войск был на стороне Октавиана, и городские ополчения восставших не могли с ними справиться. После долгой осады Люций Антоний, наконец, капитулировал. Страшной памятью осталась развязка. Консул был отпущен на свободу, но Октавиан велел ради угождения своим солдатам, схватить 300 видных и богатых граждан; они были казнены у алтарей Divi Julii обоготворенного отца императора.

Два легиона, стоявшие на юге Италии, окруженные войсками Октавиана, сдались и согласились перейти на службу к триумвиру. Одним из последних сенаторов, пытавшихся организовать сопротивление, был претор 41 г. Тиберий Клавдий Нерон, первый муж будущей жены Октавиана, Ливин, и отец будущего императора Тиберия, в марте 44 г. голосовавший в пользу убийц Цезаря, Брута и Кассия. Он успел ускользнуть из Перузии и собрал в Кампании отряд, в который вступили большею частью лишенные земли и прогнанные владельцы. Но город, в котором он укрепился, не захотел биться, когда подошли войска Октавиана, и отряд, собранный Нероном, рассеялся.

Несмотря на эту новую победу военного элемента, правительство триумвиров должно было войти в соглашение итальянской оппозицией. Самый последовательный мститель Цезаря, исполнитель самой беспощадной экспроприации Октавиан, чтобы спасти свое положение, должен был сблизиться со старыми владельческими слоями, и эта перемена была, прежде всего, внушена необходимостью борьбы с претендентом первой династии Секстом Помпеем.

Во время Перузинской войны Помпей жестоко стеснил блокадой Италию. К концу 41 г. в Риме от недостатка продовольствия начался голод: народ грабил дома, где предполагались хлебные и другие запасы. Центром морской державы Помпея была Сицилия; в его распоряжении был крупный флот. Его сила состоялась из различных элементов, выброшенных с почвы Италии долгами смутами, политическими и социальными столкновениями. Здесь собрались, прежде всего, те опальные 43 года, которым удалось бежать, затем собственники, ограбленные в пользу солдат, и все, кто спасся после поражения республиканцев при Филиппи и от перузинских избиений. Но рядом с этими группами в итальянской эмиграции, собравшейся у Секста Помпея, особенно заметное место заняли рабы, бежавшие из

имений и от своих господ. Какими массами убегали рабы, видно из того факта, что в Риме назначались молебны весталок для предотвращения этого бедствия. Рабы и вольноотпущенные образовали главную силу Помпея: из них и был составлен флот; во главе эскадр находились греки, вольноотпущенники, рабы, бежавшие из имений его отца после их конфискации. Веллей Патеркул передает характерное название, которое дали Сексту Помпею: «Вольноотпущенный своих вольноотпущенников, раб своих рабов». Это преобладание рабов, и притом элемента чужестранного, придает особый характер недолговечному государству Помпея и вместе с тем оттеняет с социальной стороны его борьбу с триумвирами, державшими Италию в своих руках. Помпей импонировал Италии своими рабскими массами: он держал в страхе рабовладельческие классы в метрополии.

В самой борьбе можно отметить несколько моментов, выделяющих ее характерную социальную черту. В начале войны с Помпеем Октавиан, нуждаясь в деньгах, пытался ввести налог на рабовладельцев и на наследство. В результате получилось страшное раздражение: статуи триумвиров были разбиты, указы о налогах сорваны, самого Октавиана едва не побили камнями. Эти происшествия ясно указывали триумвиру на его ошибку и необходимость держаться союза с владельческими классами.

Весьма характерны условия, на которых установилось в 39 г. перемирие между Октавианом и Помпеем; они дают возможность взглянуть на социальное настроение момента. Правитель Италии купил ее безопасность, восстановление подвоза хлеба и торгового движения ценою весьма крупного подарка Помпею и обещания ему важных должностей. Далее были определены условия, при которых могли возвращаться эмигранты. Сторонники Помпея получили право свободного въезда, опальным обещали возвратить четверть потерянных ими земельных владений. Свободным людям во флоте Помпея были обещаны те же награды, что и ветеранам триумвиров. Наконец, составлен был ряд условий, касавшихся рабов. Помпей обязался не принимать более беглых рабов, но в то же время и рабовладельцы Италии сделали важную уступку: всем рабам, служившим в его флоте, была гарантирована свобода.

Уступки эти были вынужденны затруднительным положением Октавиана. Когда три года спустя в 36 г. ему удалось разгромить морскую державу Помпея, вопрос о рабах получил

иное разрешение. Обещания, данные беглым рабам, состоявшим во флоте и вообще на службе у Помпея, остались неисполненными. Около 30 000 рабов были схвачены и отданы прежним владельцам для расправы и наказания. Это обстоятельство Октавиан считал весьма важным и ставил себе в большую заслугу, как видно из его политической автобиографии, сохранившейся в Анкирской надписи. Очень характерно, что в этом обдуманном политическом документе борьба с Секстом Помпеем названа «войной с рабами, бежавшими от своих господ и поднявшими оружие против государства». Несомненно, что в основе был резкий социальный конфликт. Победители не довольствовались личным мщением врагам. Наказывали представителей всего класса вообще. В числе пленных оказалось около 6000 рабов, владельцы которых не могли быть установлены; рабов этих развезли для казни по местам, откуда они ушли. Таким образом, Октавиан искал в Италии сближения с рабовладельческими состоятельными классами.

Наши источники не отмечают общих условий поворота политики, начинающегося приблизительно с середины 30-х годов. Нечувствительно передают они перемену в личности самого Октавиана. Светоний в биографии Августа изображает нам как бы двух разных людей в два разных периода жизни. Сначала это отталкивающая фигура, человек исключительно поглощенный своими династическими делами, холодно-жестокый, политически-бесчестный, неблагодарный ко всем, кто с ним сталкивается, почти злодей, лишенный всяких идеальных порывов молодости. Сохранились ясные воспоминания о той ненависти, которую вызывал к себе худосочный, болезненный, боязливый и бессердечный наследник блестящего, подвижного и по временам отчаянно храброго диктатора; когда после поражения республиканцев при Филиппи захватили в плен всех, кто не успел кончить самоубийством, в числе закованных в цепи оказался один из старых друзей и поклонников Катона, его alter ego Фавоний. Пленники с Фавонием во главе сговорились, как им встретить победителей: они демонстративно приветствовали Антония императором и осыпали Октавиана ругательствами и проклятиями. В последующую пору жизни Октавиан, как нарочно еще спрятанный под другим именем, Августа, выступает с совершенно другими чертами. Это человек необыкновенно сдержанный, доступный и терпимый, совершенство любезной дипломатии, мягко-осторожный страж конституционных

традиций, популярный правитель, умеющий скрывать и маскировать свои чувства, чтобы только поддерживать всех кругом себя в хорошем расположении.

Любители историко-психологических проблем неизменно ломали голову над истолкованием этой метаморфозы. Допускали перерождение личности, психологическое чудо. Представляли себе Октавиана-Августа виртуозом лицемерия, всю жизнь игравшим искусную роль, смотря по обстоятельствам. Принимали за основу его характера пассивность и во всех его действиях и поступках готовы были видеть направляющую руку более значительных людей, чем он сам, его жены Ливии, его военного коллеги Агриппы. Новейший историк «Августа и его времени» Гардтгаузен, очень увлеченный своим героем, который в его глазах представляет столь дорогую почему-то многим немецким ученым «властительную натуру» не признает никакой внутренней перемены личности: Октавиан с самых молодых лет идет сознательно неуклонным шагом к своей великой цели — единовластию. С холодным ясным умом, никогда не увлекавшийся, он одинаково верен себе во все эпохи жизни, при всех положениях. Сделавшись из тиранического триумвирата конституционным принцепсом, он вовсе не стал мягче и терпимее; и потом, на вершине успехов, он был способен на всякий акт произвола и жестокости; но подобные приемы «стали ему более не нужны»; Август выбирал, согласно указаниям своего безошибочного внутреннего регулятора, всякий раз то, что было практичнее.

Нам опять приходится отметить по этому поводу склонность большинства историков к преувеличению активной роли личности. Как легко забывается в приложении к историческим сюжетам ежедневный опыт, обнаруживающий в отдельных людях только исполнителей и в лучшем случае истолкователей больших групповых классов и партийных требований и течений! И разве не достаточно еще останется за личностью, если мы признаем в ней умение приспосабливаться к сильным общественным течениям или к сложившимся общественным организациям? Что касается Октавиана-Августа, его умение прислушиваться и приспосабливаться к обстоятельствам, людям и партиям было весьма значительно. В этом смысле очень своеобразно уже первое выступление его в политике. В пору крайнего возбуждения милитаризма, среди угловато-солдатских фигур и мастеров чуть не гладиаторской тактики, каковы были

люди Цезаревой школы, появляется этот наследник большого имени, правда, легитимированный, но зато лишенный самого важного шанса, военных талантов. Характерно, что в самые решительные минуты военных драм, при Филиппи или во время нападения на Сицилию и столкновения с Секстом Помпеем, Октавиан болен, прикован к одру, все равно, подлинно или фиктивно. Однако он умеет поладить с непокорными военными массами, удовлетворить их самолюбие и их материальные притязания, умеет примириться с легионарным парламентаризмом, и это дает ему возможность стать одним из властителей чисто военного режима триумвиров. В то же время полное торжество военного начала доводит гражданское общество Италии до крайнего, отчаянного раздражения: надо наладить компромисс между единственно возможной опорой власти, которую представляли военные ленники, и протестующей страной, которая не хочет допускать полной экспроприации в пользу этих ленников. И опять нашлись нужные дипломатические данные в несимпатичной замкнутой натуре, опять сказалась ее административная податливость. Дерзкое нарушение традиций заменилось почти преувеличенным к ним вниманием, и мало того, главный актер этого превращения постарался потом уверить всех, что с самого начала у него была единственная цель — «восстановление республики».

Нам необходимо более детально проследить ход перемены, приведший от диктатуры и триумвирата к принципату.

Самым характерным явлением триумвиральной эпохи можно считать договоры между военными властителями. Их приходится пять в промежуток 6 лет, от 43-го до 37 года. Они начинаются договором в Бононии в ноябре 43 г. между Антонием, Октавианом и Лепидом, в котором решено было устроить триумвират на 5 лет, извлечь из политического мщенья финансовые средства, вознаградить солдат за счет лучших областей Италии и распределить между собой провинции. Через год, осенью 42 г., Антоний и Октавиан после победы над республиканцами, возобновили свой первый договор с некоторыми изменениями относительно распределения провинций. После Перузинской войны в 40 г. потребовалось опять соглашение между триумвирами, так как оппозиция консула Люция Антония расшатала добрые отношения между Октавианом и Марком Антонием. Еще через год, в 39 г., властитель морей, Секст Помпей, потребовал, в свою очередь, допущения в союз. На мысу Мизенском у бе-

регов Кампании состоялось свидание, на которое триумвиры приехали из Рима, а Помпей на кораблях из Сицилии. В ответ на его обещание снять блокаду Италии ему было гарантировано консульство и обладание Сицилией, Сардинией и Пелопоннесом на 5 лет. Этот договор было решено отдать для прочности на хранение весталкам. Через два года Антоний и Октавиан нашли возможность нарушить Мизенский трактат. Они съехались весною 37 г. в Таренте, решили объявить Помпею войну и обменялись военными силами: Антоний обязался поставить корабли для борьбы с сицилийской морской державой, а Октавиан прислал ему легионы для похода на парфян. Здесь же было решено возобновить триумвират еще на 6 лет, от 37 до 31 г.

Все эти трактаты заключались помимо участия старых республиканских органов, сената и народа. Правда, учреждение триумвирата в 43 г. и его возобновление в 37 г. были облачены в форму трибунского закона, но эта фикция служила только официальной печатью. Трактаты и по форме своей, и по содержанию были полным разрывом с политическими традициями республики. В то же время они составляли подражание актам первых триумвиров, Цезаря, Помпея и Красса, с тою только разницей, что частные и секретные соглашения они заменяли официальными параграфами. Главным пунктом уговора всякий раз являлось распределение провинций. Триумвиры 43 г. ушли в этом отношении дальше своих предшественников: они формально дробили империю в финансах, администрации и далее в смысле международных отношений. Общей государственной кассы с 43 г., по-видимому, не существовало; если Октавиан должен был устроить ветеранов в Италии на средства, собранные с восточных областей, то подобная уплата была бы лишь результатом, так сказать, частного векселя, выданного Антонием под обеспечение конфискованных им восточных областей. За каждым из властителей было признано полное верховенство в своих областях и право свободно заключать любые трактаты и союзы. Обыкновенно уговаривались также относительно права набора солдат в Италии и обменивались легионами, повторяя опять-таки соглашения Цезаря и Помпея.

В 60 г. в Риме и в 56 г. в Лукке претенденты уговорились относительно замещения консульства на ближайшие годы; они ставили на очередь, между прочим, и собственные кандидатуры. Им ни в первый, ни во второй раз не удалось целиком провести список всех намеченных кандидатов. Претенденты второ-

го триумvirата повторили те же уговоры, но в более широких размерах, публично и с полной уверенностью в успехе. В 43 г. и в 39 г. они определили кандидатов на несколько лет вперед; во втором случае был выработан список на 9 лет, от 38 до 31 г. Сами триумвиры уже не придавали значения личному замещению консульства; они приберегали эту должность для своих подчиненных; избрания превращались в рекомендации назначенных чиновников публике. Для того чтобы сделать консульство доступным большему числу лиц, в 39 г. было решено записать на каждый год вместо 2 консулов по несколько пар их. Это показывает, что консульство потеряло реальное значение и превратилось в чин, сделалось краткосрочной ступенью для приобретения последующей командировки в провинцию или даже в один из новых военных округов, на которые разбилась Италия. То же случилось с другими должностями преторов, квесторов и эдилов. В 39 г. перебивало в должности преторов 67 человек. Некоторые занимали претуру не более одного дня и уступали по требованию триумвиров свое место другим.

Мы присутствуем здесь при расцвете бюрократии и притом довольно бурном. Мелкий нобилитет давно уже добивался расширения служебных кадров и высвобождения их от стеснительных условий народных выборов. Сулла первый открыл некоторый выход этим стремлениям, увеличив число низших должностей, но оставив порядок выборов. Бюрократия двинулась дальше при Помпее и Цезаре, которые в своих крупных провинциальных предприятиях создали ряд вассальных командований и поручений. Триумвиры возвели новую службу по назначению в систему. Можно с уверенностью принять, что раздробленные между несколькими парами консульства и однодневные претуры были просто формами покупки должностей в канцеляриях властителей. По тем же мотивам бюрократизировали триумвиры и сенат. В 39 г. они произвели *lectio senatus* и заполнили его своими подчиненными, причем посадили солдат, провинциалов, вольноотпущенных и даже «по ошибке» нескольких рабов.

Стоит отметить еще одну черту трактатов 43—37 гг., в которой выступает династическая забота, знакомая нам уже из соглашений первых триумвиров. Уговор скрепляют всякий раз каким-нибудь браком, а если некого женить, то обручением малолетних. В Бононии 43 г. сами солдаты потребовали брака Октавиана с падчерицей Антония, Клодией. После ссоры в Брун-

дизии в 40 г. Октавиан скрепил мир с Антонием выдачей за него замуж своей сестры Октавии. В 39 г. появляются те же средства для примирения триумвира с Помпеем. Октавиан женится на Скрибонии, дочери выдающегося помпеянца Скрибония Либона, и обручает своего племянника, мальчика Марцелла, с маленькой дочерью Секста Помпея. Наконец, в Таренте (37 г.) в расчете обеспечить мир на продолжительный срок, обручили двухлетних детей, дочь Октавиана Юлию и сына Антония Антиллу, и уже, кстати, помолвили дочь Антония с крупным магнатом помпеянской партии Домицием Агенобарбом (сыном), помирившимся с триумвирами.

Весь этот военно-бюрократический режим, сложившийся в период наибольшего преобладания притязаний войска, с 36 г. как будто приостанавливается и идет назад.

Командиры сами ищут опоры против своих армий. Чуть ли не каждый поход заканчивается большим волнением в войске. После победы над Секстом Помпеем Октавиану пришлось опять выдержать столкновение со своими солдатами; они потребовали повторения наград, полученных вслед за торжеством над республиканцами при Филиппах. При всем желании удовлетворить их Октавиан не решается снова испытать терпение итальянских землевладельцев. Он отпускает до 20 000 ветеранов, но обещает лишь одной части их отвод земель в самой Италии. В какой мере необходимо было это примирение с владельческими классами Италии, видно из факторов последующего времени. Шесть лет спустя, после победы над Антонием при Акции, понадобилось опять огромное вознаграждение ветеранам, служившим в войне за возвращение Риму Востока. Желая поместить их в Италии, но не решаясь нарезать новые надель в метрополии и совершать новые конфискации, Октавиан согнал с мест бывших ветеранов Антония, поселенных в Бононии, Капуе, Равенне и других городах, перевел их в провинциальные поселения в Южной Галлии, Сицилии, Македонии и Эпире, а на их опустевшие надель в Италии поместил новых поселенцев. С 36 г. изменился также характер конфискаций в Италии: землю перестали отбирать без вознаграждения, ее начали опять покупать согласно закону 59 г. Этот факт Август счел нужным поместить и в свою политическую автобиографию с обычным преувеличением: «Я сделал это первый, и я был в этом отношении единственным из всех, кто до сих пор устраивал колонии в Италии и в провинциях». Там же сооб-

щены и цифры, которые на это были назначены: в Италии 600 миллионов сестерциев, в провинциях — 260 миллионов. Мы уже видели попытки Октавиана сблизиться с рабовладельцами. В 30-х гг. был также уменьшен налог на рабовладение.

Вместе с тем, по-видимому, стали возвращаться и прежние административные порядки в Италии. Вместо военных комиссаров устройство военных колоний стали поручать местным людям; они являлись в виде временных администраторов, а с завершением земельных наделов должны были опять возвращаться нормальные порядки муниципального управления, и авторитет переходил в руки очередных должностных лиц. Среди насилий, совершавшихся колонистами при занятии наделов, процвело по всей Италии грабительство и распространились разбойничьи шайки. Октавиан принял энергические меры, чтобы перехватить их и восстановить спокойствие. Благодарные муниципии записали его в число своих богов-покровителей.

Октавиан придавал значение торжественному заявлению перемены политики. Возвратившись из сицилийской кампании против Помпея, он развил перед народом принципиальную программу. Прежде всего, предполагалось вернуть очередным республиканским сановникам их авторитет в городских делах Рима. Затем правитель делал вид, что собирается отменить исключительные законы и положения: он велел сжечь различные «акты, служившие документами гражданских войн», и обещал позаботиться о восстановлении старой конституции, как только вернется его коллега Антоний из парфянского похода; при этом Октавиан выражал уверенность, что Антоний также согласится сложить чрезвычайную власть «ввиду прекращения смуты». В этом смысле Октавиан послал потом приглашение Антонию.

Характерна еще одна символическая мелочь этого момента как бы политического покаяния триумвира, в свои ранние годы обагрившегося кровью граждан. Октавиан просил у народа титула трибуна в знак своего сближения с гражданством. И народ, «горячо приветствуя его, передал ему авторитет бессменного трибунства, как бы приглашая этим сложить с себя прежнюю (чрезвычайную) власть». Конечно, нельзя без улыбки читать рассказ об этих взаимных комплиментах. Но под игрой терминов крылся и реальный смысл. Наследник Цезаря, фактически диктатор, вовсе не лицемерил, выражая такое настойчивое желание перейти к гражданским порядкам.

Сдавшись в 49 г. без боя, Италия оказала потом в 43 и 41 гг. сильное сопротивление военному правительству, которое привнесло новые административные приемы из провинций и колониальных войн. Ее владельческие классы, защищая свои интересы, бились за свои земли, за самоуправление, за гражданский порядок. Италия собралась в 43 г. вокруг старого своего правительства и организовалась по старым политическим единицам, муниципиям. Наследник Цезаря утвердился в метрополии лишь ценой ряда уступок, которые он сделал прежнему порядку и старым владельческим классам. Эти уступки были отчасти указаны войной с государством эмигрантов и рабов. Еще более проявилась их необходимость вследствие беспомощного положения командиров против той военной громады, которой они были обязаны возвышением.

Обещая сложить триумвират, принимая чисто гражданский титул трибуна, Октавиан поворачивал на путь конституционных традиций. Это означало удаление из Италии военного элемента и военно-колониальных форм администрации; сохранение республиканской и муниципальной магистратуры; сохранение финансовых привилегий и неприкосновенности земельных владений метрополии.

Расширение Римской империи оказало существенное влияние на порядки метрополии. Но она настойчиво боролась против империализма, против новых форм, которые возникли в колониальном владении, и военные начальники, приходившие как бы в качестве иностранных владетелей, утвердились в Италии лишь благодаря известному компромиссу. Но та же самая борьба за строй Италии имела решающее значение для посторонних колониальных владений, она завершила торжество римского империализма извне.

В гражданских войнах 40-х годов можно отметить любопытный факт разделения западных и восточных областей империи. Между тем как главная сила династов, Помпея, Цезаря, а потом Октавиана и Антония, держится на Западе, в Галлии и Испании, превращенных в личные княжества, республиканцы два раза, в 49—48 гг. и в 43—42 гг., ищут опоры в восточных областях. Если в первых можно было набрать больше военного материала, то вторые были несравненно богаче финансовыми средствами; из-за них-то республиканская оппозиция два раза должна была покидать свою настоящую почву, Италию, предоставлять ее врагу, колониальным императорам и, оставаясь вне

связи с преданным старому строю итальянским населением, оперировать в чужой среде.

Администрация восточных областей притом существенно отличалась от западных: она сохранила на себе все следы первого завоевания и старой системы республики, которая состояла в том, чтобы попеременно с непосредственными владениями приобретать союзников и вассалов. Между тем как на Западе преобладали сплошные территории однообразного управления, Восток представлял гораздо более пеструю картину. Самостоятельные или полусамостоятельные области и общины врезывались здесь в наместничества и составляли значительные доли восточных стран, вошедших в круг римского господства: так, например, лишь половина всей Греции находилась в непосредственном управлении Рима и считалась областью Ахайей; другая половина состояла из территорий свободных городов, Афин, Спарты, Дельф и других, считавшихся римскими союзниками — по договору или с доброго согласия Рима.

Еще меньшая доля Малоазийского полуострова входила в состав римских провинций в настоящем смысле этого слова: таковыми были на северо-западе территории двух прежних греческих царств, Пергама и Вифинии, доставшихся Риму по завещаниям, и на юго-восточном берегу узкая полоса Киликии. Большая часть Малой Азии составлялась на юго-западе из свободных городов Ликий, к которым надо отнести и купеческую республику Родос, а главным образом, из вассальных княжеств полуварварских племен в середине и на востоке, между которыми самые крупные были Галатия и Каппадокия. Эти княжества составляли окраину империи на границе с большим парфянским государством. Далее к югу на окраине вновь приобретенной провинции Сирии опять лежало вассальное государство иудеев. Наконец, пояс этих зависимых владений замыкал на юге Египет, начиная с 60-х годов состоявший в вассалитете от Рима, если не по договору, то фактически.

Для всей этой большой группы восточных областей империи обширные военные действия 40-х и 30-х годов имели важные результаты: Восток должен был расплачиваться и доставлять средства в борьбе сначала республиканцев против триумвиров, а потом Антония с Октавианом. Области и города подвергались чрезвычайной финансовой эксплуатации, доводившей иногда облагаемых до полного истощения; последнее, в свою очередь, приближало окончательную политическую ка-

тастрофу для вассалов и вызывало обращение в непосредственных подданных Рима.

В войне 43—42 гг. оба врага один за другим в короткий срок собрали огромные суммы с одних и тех же областей и общин. Сначала Брут и Кассий совершили большие финансовые объезды, чтобы составить фонд для ведения войны в пользу республики. Они потребовали со всех городов и племен азиатского полуострова десятикратной суммы их правильных годовых взносов. Если принять, что денежный транспорт, переданный Бруту наместником Азии Аппулеем, и составлявший 16 000 талантов, равнялся сбору податей с римской провинции (около $\frac{1}{3}$ полуострова Малая Азия), то с одного этого края республиканские вожди должны были получить 160 000 талантов (что по цене серебра приблизительно равняется нашим 240 миллионам). Много собрали также с Сирии: одна Иудея уплатила около 700 талантов.

Взыскивались эти суммы с полной беспощадностью настоящего завоевания. В Тарсе община обратила в монету драгоценности и сбережения в своих храмах и выпуталась только тем, что продала в рабство часть своих граждан. Но финансовый погром приводил также к военным экзекуциям над независимыми общинами и владельцами вопреки всем союзным договорам, какие существовали между мелкими государствами и Римом. С каппадокийского царька Ариобарзана нечего было больше взять после того, как доходы с его владений ушли на уплату по требованиям римских негоциаторов. Но Кассий казнил самого владетельного князя за то, что он пытался остаться нейтральным в столкновении римских партий, и поместил в его дворце и в домах частных лиц римский гарнизон. Еще более пострадали свободные города Ликии, а особенно купеческая республика Родоса, не согласившаяся дать добровольную ссуду на ведение войны против триумвиров. Римляне вступали на территории свободных общин, брали приступом города и ломали стены их. При взятии столицы Родоса Кассий, правда, запретил солдатам грабить город, но лишь для того, чтобы тем полнее провести самому общую конфискацию. Лица, стоявшие во главе управления, были частью казнены, частью высланы. Вся государственная казна, сбережения и доходы храмов, имущества опальных составили добычу в размере 8500 талантов. После этой катастрофы Родос уже не мог оправиться; республика сохранила номинально титул свободной общины, но фактически она уже не много значила.

После поражения республиканцев при Филлипи наступила очередь триумвиров. Антоний обязался добыть на Востоке средства для покрытия денежных выдач, обещанных ветеранам. Снова римляне обложили области и общины Азии контрибуциями, которые равнялись по размеру суммам, только что заплаченным Бруту и Кассию; их противники также требовали взносов за 10 лет вперед. Однако они уже сознавали затруднения: ввиду этого они согласились скинуть одну десятую и продолжили самый срок уплаты на два года. Вся сумма, которую собрали с азиатских городов и князей, равнялась 200 000 талантов (300 млн. сер.). Потом в течение 10 лет Азия должна была заплатить еще две большие контрибуции: одну — вторгшимся в провинцию парфянам, среди которых действовал римский эмигрант Лабиен, сын замечательного сподвижника, а потом непримиримого противника Цезарева; другую — на снаряжение военных сил Антония в последней борьбе его с Октавианом в конце 30-х годов.

Восточные провинции должны были, таким образом, попеременно поддерживать боровшиеся между собою римские партии и соперничавших претендентов: как раз те смуты, среди которых возникал новый политический строй в метрополии, усиленно поглощали провинциальные средства. Совершалось как бы второе завоевание богатых колониальных владений. Для целого ряда земель и общин оно придвигало ближе момент их полного подчинения империи. В этом отношении оно завершало империалистическое направление римской политики, сменившее более старинную консервативную систему союзов и расширявшее все более, ради интересов римского капитала, круг непосредственных владений империи.

На примере Галатии видна связь между финансовым истощением страны и гибелью ее самостоятельности. При Цезаре владетель галатский, царек Дейотар, лишился части владений. По смерти диктатора он пытался вернуть потерянное, и с этой целью передал Фульвии, жене триумвира Антония, сумму в 10 миллионов сестерциев. Без сомнения, он должен был попасть в руки римских кредиторов и открыть им пути к доходам своей земли. Вскоре после присоединения Востока, составлявшего в течение 10 лет круг господства Антония, Октавиан уничтожил самостоятельное галатское царство и обратил его в провинцию.

Война 32—31 гг. между триумвирами Октавианом и Антонием (Лепид еще раньше был устранен Октавианом из сою-

за властителей) была новым торжеством империализма. Антоний после поражения республиканцев при Филиппи захватил в сферу своего владения Восток и восточные предприятия, особенно войну с парфянами. Он очень скоро утвердился в Египте при дворце Клеопатры. При этом Антоний не только повторил романтическую историю своего учителя, Цезаря. Птолемево царство, до которого римляне добирались уже в течение полувека, составило настоящую финансовую и военную опору его государства. На египетские средства Антоний снарядил поход на парфян, а потом экспедицию против Октавиана в момент их решительного столкновения; в его флоте в 31 г. в битве при Акции египетские корабли составляли лучшую часть. Но, достигнув той цели, которая занимала многих римлян, Помпея, Красса, Цезаря, Габиния, Рабирия, Антоний оторвался от метрополии, почти превратился сам в египетского царя: во всяком случае, детям Клеопатры он начал отписывать римские провинции, между прочим, важную Сирию. Вместо присоединения Египта к империи, стоявшего в программе внешней политики Рима с 80-х годов, произошло раздробление империи в интересах Египта.

Египтомания чуть не погубила в свое время Цезаря. Она стоила потери власти и жизни Антонию. Октавиан не мог найти лучшего мотива для объявления Антонию патриотической войны во имя восстановления целостности империи.

Столкновение между властителями в 32 г. осложнилось внутренним конфликтом в Риме. Все, кто были в оппозиции Октавиану, объявили себя за Антония. При этом очень любопытна выставленная оппозицией политическая вывеска. Антонианец консул Созий предложил 1 января 32 г. в сенате: 1) вознаградить Антония за ущерб, который он потерпел при захвате Октавианом доли Лепида, и 2) восстановить республику. Последний лозунг мы видим по очереди на знамени обеих партий. В 36 г. Октавиан выставил его в качестве успокоительного средства для населения Италии и обещал подействовать в смысле уничтожения чрезвычайной власти триумвиров на Антония. Теперь, наперекор ему самому, противники грозили проектом восстановления республики. Реальный смысл этого призыва мы уже видели. Он означал целый ряд уступок метрополии, задавленной и измученной господством военного элемента. Властители наперерыв старались уверить Италию в своей готовности повернуть на этот путь уступок. Своей «республиканской» про-

граммой антонианцы доставили Октавиану большие затруднения. Но Антоний в свою очередь испортил их работу, настояв на неразлучности своей с Клеопатрой, в пользу которой совершалось раздробление империи.

После победы при Акции в 31 г. Октавиан получил возможность доставить римскому империализму и ту крупнейшую добычу, которой он так давно добивался — государство Птолемеев в Нильской долине. Присоединенный в 30 г. Египет образовал важнейшую опору новой императорской династии.

Отношения элементов империалистических и староконституционных в римском государстве представляли довольно сложную и спутанную сеть. Самый факт роста внешних владений и усиление империи вызвали крупные столкновения и смуты в метрополии; эти смуты, эта борьба римских партий еще усиливали развитие империализма. В то же время поднялась крупная реакция, которая ограничила притязания римских претендентов, выступавших в качестве военных начальников и колониальных владетелей; дерзкая диктатура Цезаря в орнаментовке восточно-греческих деспотий должна была смириться до гибкого и уклончивого, одетого в фикцию старинной римской республиканской конституции, принципата Октавиана-Августа.

В этих результатах отразилось воздействие общественного строя Рима и Италии. Но общество, которое определило формы политических отношений, изменилось в своем характере и настроении под влиянием самой борьбы. Если в столкновениях резко выражается защита известных интересов и принципов, то несомненно, что в них также разрушается значительная доля этих интересов и принципов. Борьба выбрасывает, уничтожает, стирает как раз самые энергичные и независимые элементы общества; людям следующего подрастающего поколения становятся малопонятны те задачи и требования, которые ставили их отцы и предшественники.

В этом смысле между настроением общества, современного первому триумvirату, и общества эпохи битвы при Акции заметная разница. Она ярко отражается в литературе того и другого времени. Литературные силы 50-х годов, современники Цезаря и Помпея, Катулл, Цицерон, Варрон, Корнелий Непот, стояли на стороне республики. Цезарь напрасно добивался у них сочувствия и литературной поддержки. Писатели сами были членами больших именитых домов или находились с ними в тесной связи: они отражали те черты независимости, которые

можно было найти в среде аристократии. Гордая мысль бьется в скептицизме Лукреция, в его религиозном индифферентизме и культе разума: он хочет избавить людей от предрассудков, от страха перед неизвестным, поднять к свободе дух человеческий.

Другие настроения отразились в поэтической литературе 30—20-х годов. Мы слышим, прежде всего, смирившихся граждан, которые спешат уйти в частную жизнь и довольны, что ушли от бурь политики. Гораций, правда, вспоминает, как он «нехорошо бросил свой щит» на поле битвы при Филиппах; но только для того, чтобы выразить свой страх перед всякой новой смутой, чтобы благословить наступившее общественное спокойствие, чтобы присоветовать своим друзьям отречься от политики и забыть ее со всеми опасностями и тяготами, которые она несет. Есть, правда, для него что-то возвышенное в оставленной борьбе: «Там доблесть погибла, и неукротимые гордецы поверглись лицом в прах». Гораций представляет себе, как историк гражданских войн будет изображать смерть великих вождей республики и общее порабощение, которому не поддался только один непреклонный дух Катона.

Но вместе с этими грозными и крупными людьми исчезли и времена героических порывов, — вот что хочет сказать один из уцелевших и смирившихся борцов. Живо стоят перед его глазами ужасы «братоубийственной войны, слепое безумство ожесточившихся граждан; у зверей, волков и львов, нет такой злобы к своим, не забываются в такой мере кровные и племенные связи». Самая страшная картина, какую знает Вергилий, это народное волнение, дикие порывы «презренной толпы». Исполненный антинародных чувств, в качестве представителя поэтической клиентелы он хочет укрыться под опекой и охраной патриархального правителя, дающего народу законы, заботящегося о его благополучии.

Оба писателя сходятся в жажде социальной тишины, в прославлении досуга, политического покоя, который наступил с прекращением гражданской смуты. «Бог даровал нам праздник». Этот культ данного момента в связи с желанием забыть беспокойную старину хорошо выразил сжато на языке своем Тацит, характеризуя настроение первых лет августовского периода: хватались за ближайшую действительность вместо того, чтобы держаться традиций, защита которых предъявляла человеку такие тяжелые требования и несла в себе столько опасностей.

На почве такого сознания может возникнуть своеобразная проповедь невысокой морали. Классическое выражение ее дал Гораций в своих правилах «золотой середины», которую он, между прочим, рекомендовал Мурене, запоздалому политическому агитатору, пытавшемуся составить заговор на жизнь Августа: «Не пускайся в открытое море, но берегись также скалы и камней у берега... Помни, что чем больше дерево, тем страшнее ему вихрь, чем выше башня, тем больше грозит ей падение... В несчастье надейся, в счастье беспокойся: все меняется... Когда ветер попутный чересчур вздует наши паруса, лучше спустим их поскорее».

В послании к своему патрону Меценату Гораций заявляет свое презрение к «тысячеголовому зверю», народу римскому; он не пойдет за общим кликом: «Граждане, граждане, прежде всего, обогащайтесь; сначала капитал, потом добродетель». Ему надоело слышать: «Делай дела честным путем, если возможно: но раз ты не похлопочешь составить себе состояние какими бы то ни было средствами, не будешь сидеть в первых рядах театра!» Нет, его девиз: «Бодрым и свободным духом встречать грубые толчки судьбы». В другой раз он опять нападает на культ золотого тельца, «царя-капитала», который доставляет человеку жену, приданое, друзей и кредит, возводит его в высшее звание и заставляет верить всех в красоту, красноречие и прочие достоинства его обладателя. Все это элементарно благородно, но Гораций не замечает, что своим учением о золотой середине, отстранившим высокие порывы и суживающим смелые кругозоры, он лишил себя права протестовать против дальнейшего понижения общественной морали, против разнуздывающейся пошлости и цинизма; нельзя безнаказанно славить покойный досуг и возможность удаления от общественных задач, которые возьмет на себя некое земное провидение, «страж человечества», как выражается Гораций об Августе: тому, кто объявил упраздненными всякие общественные обязанности, не спасти человека в его достоинстве, у него нет оружия против торжества низменных инстинктов.

У этих отрекшихся граждан, у этих неустанных панегиристов социального мира равнодушие или даже отвращение к внутренней политике соединяется с воинственным патриотизмом во внешних делах. Неверной рукой старается Гораций начертить пропись любви к отечеству, т.е. главным образом к широте и необъятности его границ. Повидимому, эти наставления

весьма далеки от его интимных вкусов, и он берет на себя полу-вынужденно несвойственное характеру поручение в интересах двора, под охраной которого он укрылся. То он пытается представить блеск побед над врагами в виде искупления преступной внутренней распри: «Если бы можно было перековать отупевшее в резне граждан оружие и очистить его истреблением парфян и арабов!» То поэт-скептик принимает на себя еще более неблагоприятную задачу и напоминает, что римляне, дважды побитые парфянами, пострадали за свое бесчестие, за пренебрежение к святыням, которые лежат заброшенные и в развалинах. Тот страх, от которого Лукреций надеялся навсегда избавить дух человеческий, еще не обуял, вероятно, Горация, но он уже повторяет чужие слова в этом направлении, он, лично свободный, уже служит выразителем религиозно-реакционных идей, идущих об руку с политическим падением. Как бы то ни было, Гораций отдает дань империализму и возносит римское оружие, «дошедшее до последних пределов мира, где на одном конце яростно пышет полуденный огонь, а на другом стоит вечный туман и дождь»

Еще сильнее этот мотив звучит у Вергилия. Известно классическое место в «Энеиде» о всемирной миссии римлян — покорить весь свет, дать всем народам мудрые и справедливые законы, щадить послушных и смирять непокорных. От Юпитера троянцы узнают о своих великих потомках, римлянах: «Им не будет поставлено ни предела, ни срока господства... бесконечную власть я даю им».

Но воинственный патриотизм, увлечение «величием государства» есть не только равнодушие к внутренней политике, а гораздо больше — прямая реакционная идея. Огромное здание империи представляется Вергилию храмом; в середине храма стоит государь, Цезарь. Народные столкновения, свободная игра сил в республике не имеют для Вергилия ничего привлекательного. Желая нарисовать картину наилучшего государственного порядка, он изображает мудрого, благодетельного и беспристрастного единого правителя и законодателя; знатные и народ, окружающие его, не имеют самостоятельной силы, они пассивно и почтительно подчиняются ему.

Близок также к этим мыслям переживший героическую пору борьбы за республику Гораций. Поэт «ненавидит непросвященный народ и держится от него подальше». В обращении к римской молодежи, которой больше всего внушается мысль о

военных подвигах, Гораций напоминает, что истинная доблесть не преклоняется перед народной любовью. Цезарь Август тем и велик, что, оставаясь несокрушимо упорным в своих замыслах, он презирует безумные требования волнующихся граждан. «Величайший принципс» стоит «стражем общества», и граждане знают, что их спокойствию ничего не грозит более. Он держит великую тяжесть на своих плечах, один следит за тысячью дел; его забота — оберечь Италию своим мечом, поднять нравы, разработать законы.

Выражения и формулы литературы, современной установлению принципата, дают нам некоторую возможность судить о настроениях общества, которое пережило тяжелый кризис 49—36 гг. и встречало победителя при Акции, вернувшего Риму Восток и располагавшего всеми военными и главными финансовыми силами империи. Конечно, вышеназванные писатели в значительной мере — вынужденные защитники, подчиненные орудия пропаганды нового строя и далеко не объективные показатели общественных чувств, но все же они служат свидетельством общего падения гражданских мотивов, наступления консервативной эры.

Это не значило, однако, чтобы колониальный император мог произвольно распоряжаться в среде общественного порядка метрополии. Этот порядок достаточно показал свою устойчивость в предшествующей борьбе; существовали обширные круги, которые именно с республиканской точки зрения оценивали близкое прошлое, культивировали его традиции и сообразно с ними представляли себе всю историю Рима; и с этими настроениями также должен был считаться «страж общества».



ПЕРВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ ПРИНЦИПАТА АВГУСТА

Большинство исследователей подходило к определению строя императорского Рима, отправляясь от политической терминологии эпохи Августа и сравнивая ее с конституционным языком предшествующего времени. Нередко этим способом добивались отчетливых и интересных систематических построений. Так, например, юридический ум Моммзена фиксировал внимание на словах *tribunicia potestate* в титуле главы государства и выстроил теорию демократической монархии. Мы должны признаться, что при таком порядке изучения не чувствовали бы под собою прочной почвы, не могли бы дать себе отчета в перспективе, в пропорции явлений. Политическая сфера образует собою в значительной мере область условных знаков, своего рода символику. Участники событий, современники, знают цену и реальную силу, скрытую под каждым знаком; на политическом языке они говорят между собою посредством сокращений, потому что понимают друг друга с полуслова. Этот внутренний смысл терминов скоро исчезает. Посторонний читает в старой политической книге времен отшлифованные, схематизированные программы; в их сухих и благозвучных формулах лишь неясно чувствуются интересы, в свое время захваченные в борьбу.

Другое дело, если бы нам удалось выяснить сначала секциальный фундамент, характеризующий эпоху, классовое деление общества, группировку интересов, потребностей и понятий в его среде, наклон в движении его групп. Тогда, позади бледных схем и отвлеченных чертежей политической символики у нас станут конкретные образы. Самые явления политической борьбы и политического устройства получают; для нас новый смысл при другой постановке. Ведь если мы; признаем, что политические группировки и отношения сложились под влиянием ус-

ловий владения и организации труда, условий имущественного обмена и имущественных столкновений, профессиональных и образовательных связей и соперничеств и т.п., то мы можем читать в политических терминах черты социального их происхождения и, следовательно, пользоваться ими, как новыми фактами для иллюстрации общественных отношений, которые в них продолжают и получают своеобразное преломление.

Много раз выставлялось утверждение, что Римская империя, в качестве демократической монархии, сломила господство высших классов и принялась за работу великой и спасительной нивелировки народностей и общественных слоев. Более близкое знакомство с социальной историей эпохи заставляет отказаться от этого взгляда. Мы видели, какой наклон приняло общественное развитие последнего века республики; далее мы заметили, как новая политическая сила, образовавшаяся в условиях самой империи, пришедшая из провинций, должна была приспособиться к общественному порядку, сложившемуся в метрополии. Изучение социальной истории Рима в период, предшествующий утверждению принципата, было для нас чрезвычайно важно. Оно указало путь, по которому нам следует идти в определении и оценке нового политического строя, сложившегося в Риме. Формулировка этого строя полна республиканской терминологии. Мы не можем ее рассматривать только как фикцию, как дипломатическую уступку привычкам общественной памяти. Мы должны искать в ее основе более сильный и реальный общественный факт. В этом факте мы заранее можем предполагать консервативный смысл и направление.

Ни один современный римский писатель не оставил нам характеристики строя, сложившегося при Октавиане-Августе. Единственное общее изображение, каким мы вообще располагаем для выяснения первых шагов развития принципата, принадлежит Диону Кассию, политическому деятелю и историку начала III в. Дион писал два с половиной столетия спустя после установления принципата, когда и в общественном строе, и в администрации, и в политических понятиях произошли большие перемены и многие учреждения августовской эпохи потеряли реальный смысл. Дион подробно и добросовестно передает факты, но дает им своими комментариями и вставками неправильное освещение. Он смотрит сквозь призму бюрократической монархии; конституционные формы, выраженные в республиканских терминах, в очереди и смене магистратур, ему

непонятны. Дион склонен, поэтому, изображать все колебания, особенно первого десятилетия принципата, все политические комбинации 20-х годов в виде хитрой игры императора; другая сторона, сенат, с которым он делится фиктивно, частью запугана, частью запуталась в сетях его политической тактики. Проводится фактически абсолютная монархия, правда, не сразу, но посредством мозаического подбора кусков.

Возникновение самой идеи монархического режима у Диона представлено в виде драматического диалога двух друзей Октавиана — Агриппы и Мецената, которых он выслушивает, чтобы принять наилучший совет. Агриппа говорит в пользу восстановления республики, Меценат — в смысле утверждения монархии. Надо признать объективность монархиста Диона: речь Агриппы, составленная автором по сочинениям выдающихся греческих и римских публицистов, гораздо лучше. Она выдвигает не только принципиальное превосходство республики, справедливость ее общечеловеческих начал равенства и свободы, но и ее большую устойчивость: свободные граждане в самоуправляющейся стране больше заинтересованы в ее судьбах, более способны на патриотические жертвы, чем подданные деспота. Сравнительно с этим доводы монархиста Мецената слабы. Между прочим, нельзя не улыбнуться, встретив в речи, вложенной в его уста, мотив, который в наше время, за неимением других, приводили в пользу самодержавия как лучшей формы в разноплеменном государстве. Империя Рима чрезвычайно разрослась и по количеству населения, и по территориальным размерам. Население необыкновенно пестро и различно по своему происхождению, по взглядам, обычаям, потребностям и влечениям. Очень трудно стало им управлять, и лучше взять кормило в руки одному человеку. Монархист мало останавливается, впрочем, на благе подданных. Он, главным образом, имеет в виду интерес правителя, сохранение престижа власти и опасность, которой подвергается обладатель верховенства, если вздумает что-либо уступить. Вторая половина речи Мецената не имеет принципиального характера: он изображает, предвосхищая последующие события, административные учреждения августовского времени. Один совет выдается в конце речи: фактический государь не должен никоим образом парадировать со своею властью, обвешивать себя ее мишурой, раздражать публику досадными символами деспотизма и обожествления своего авторитета.

Обстоятельно выслушав своих советчиков и поблагодарив их за добрые чувства к нему, Октавиан у Диона дает предпочтение мыслям и плану Мецената, но «не приводит всего в исполнение сразу, опасаясь, что если приняться за быструю коренную перемену человеческих порядков, многое может быть опрокинуто». «Поэтому одно он сделал тотчас, другое позже, третье предоставил преемникам, надеясь, что время возьмет свое и вещи сами придут в нужное положение»¹.

Итак, правитель поставил ясную цель и только вооружился терпением для ее постепенного проведения. В этом духе излагается у Диона ход дел в решительный момент соглашения 27 г. Главное стремление Октавиана в том, чтобы создать и укрепить монархию, но он хочет сделать это с доброго согласия людей, чтобы никоим образом не казалось, что она им навязана. В сенате он разыгрывает по всем правилам искусства сцену добровольного отречения. В своей речи он указывает, что в его распоряжении все военные и финансовые силы, что у него неоспоримое господство; но он, тем не менее, слагает власть. Между сенаторами одни понимают хитрость его, другие нет, одни верят его искренности, другие боятся уловки. Но все вынуждены сойтись на одной просьбе — чтобы он сохранил единовластие. Октавиан будто бы поневоле соглашается принять самодержавную власть. Желая, однако, сохранить популярность и казаться другом народа, он берет на себя верховное наблюдение за всеми делами. Только ради своего удобства он не хочет принимать администрацию всех подчиненных «народов» и делить провинции между собою и сенатом. Сенату отдаются мирные внутренние области, которыми приятнее управлять. Но и это только маскировка истинных замыслов всесильного: император берет незамиренные окраины для того, чтобы сохранить за собою всю воинскую силу империи и обезоружить сенат.

Интересное изображение Диона страдает, таким образом, одним важным недостатком. В нем нет реальных мотивов, которые направляли современников изображаемых событий. Для кого же, спрашивается, первоклассный, единственный в своем роде политический актер играл свою великолепную феерию и какие чувства при этом он в действительности испытывал, а с другой стороны, отчего публика была так недогадлива, что приняла пьесу за правду? И у нас возникает сомнение, все ли

¹ Dion. 53, 11, 12.

так уж гладко и обдуманно прошло, как это бывает на парадном спектакле.

Ввиду неудовлетворительности дионовского изображения, для нас получает особенное значение один памятник, который, правда, в смысле политической характеристики, в высшей степени односторонен и пристрастен, но зато важен тем, что в нем высказывается современник и главный участник событий, развивая конституционную теорию, рассчитанную на самое широкое, публичное распространение. Этот документ — политическое завещание Августа, его личный отчет в своей деятельности, известный нам из большой Анкирской надписи.

Длинная памятная доска, дошедшая до нас целиком, представляет одну из многих официальных копий, поставленных по городам империи и воспроизводящих надпись, которая по приказу Августа была помещена на медном щите перед его мавзолеем в Риме. Памятник носит летописную форму и называется *Res gestae divi Augusti*. Но типичные черты изображения «жизни и деятельности», которых он держится, не мешают ему быть очень обдуманным политическим комментарием ко всей организации Октавиана-Августа. Обработка его, конечно, тенденциозна, но сама тенденция важна для нас потому, что она показывает, с какими понятиями общества вынуждено было считаться правительство.

Августова политическая автобиография настойчиво дает определенную конституционную формулу. Все изложение имеет целью представить, что правитель остался вполне в рамках традиции, в пределах действовавших раньше учреждений, что он был как нельзя дальше от мысли поставить свою власть на какое-либо чрезвычайное место. Властное положение его в государстве представлено в виде ряда точно очерченных полномочий, которые были в свое время на определенные сроки даны ему со стороны сената или народа государем и по принципу, и фактически оставался все время народ со своим сенатом — вот основное конституционное понятие, проведенное в Анкирской надписи. Даже в тех случаях, когда народ готов был отказаться от верховенства и передать чрезвычайный авторитет одному лицу, сам Октавиан-Август не мог допустить такого нарушения нормальных политических отношений. В своей автобиографии Август особенно настаивает на том, что решительно отступил перед крайне важным предложением такого рода, хотя оно исходило из того же высшего политического источни-

ка. «Я не принял диктатуры, которую мне как непосредственно, так и в моем отсутствии представляли сенат и народ»¹. Этими словами Август как бы отрекается от наследия и титула своего предшественника, обоготворенного Цезаря, осуждает косвенно его политическое дело.

То же самое предложение, хотя и под другим именем, делалось Августу трижды. Он отклонял его всякий раз по тому же самому мотиву. «В консульства Виниция и Лукреция, потом двух Лентулов и, наконец, Фабия Максима и Туберона, по взаимному соглашению сената и народа римского, мне хотели передать единоличную высшую власть под видом оберегателя законов и обычаев, но я не хотел принимать какую бы то ни было власть, противную традициям старины. Все, что в это время сенат хотел передать в мое ведение, я исполнил в качестве трибуна. Ради той же цели я пять раз принимал на себя трибунство по требованию сената».

Напротив, все, что не выходило за пределы действующей римской конституции, Октавиан-Август принимал и исполнял по поручению верховных органов, сената и народа. «Девятнадцати лет от роду я собрал войско по собственному почину и на свои частные средства и, опираясь на него, освободил республику от господства заговорщиков. За это сенат, в силу почетного для меня постановления, принял меня в свою среду, при консулах Гирции и Пансе, дал мне место, равное консульскому, с правом подачи голоса, и военное командование. Он поручил мне также, в качестве претора, вместе с консулами принять крайние меры для охраны государственного порядка. Народ в том же году выбрал меня консулом (так как оба консула пали в битве) и назначил триумвиром для устройства республики»². Список исполненных и сложенных поручений, а также отечений замыкается ссылкой на то сравнительно скромное постоянное положение, которое Август занимал в течение 40 лет, до того дня, когда написал эти слова, — положение первооголующего сенатора³.

К приведенной части политической автобиографии Августа примыкает по смыслу отделенная от нее многими главами заключительная характеристика. Здесь все слова подобраны с

¹ Mon. Anc. 5.

² Mon. Anc. 1.

³ Mon. Anc. 7.

чрезвычайной осмотрительностью. «После того, как я прекратил междоусобную войну и занял с общего согласия верховное положение, я передал государство из своих рук в распоряжение сената и народа римского»¹.

В этой фразе заключена сжатая конституционная характеристика пятилетия от 32-го до 27 г. до Р.Х. Собственно говоря, в первой ее половине Август покрывает благозвучной формулой государственный переворот довольно резкого характера. В начале 32 г. происходит столкновение двух бывших союзников, триумвиров Октавиана и Антония. Гражданские сановники, консулы, оказываются на стороне Антония. Чтобы воспрепятствовать их агитации в сенате, Октавиан переступает с вооруженным отрядом померий, старую черту вольного города, в пределах которой, по конституционной традиции, не допускалось действие военных властей, затем входит в сенат с солдатами и занимает место между консулами. Военная демонстрация вынуждает сенат к ряду постановлений, в силу которых у Антония отняли *imperium*, объявили его самого врагом отечества, а Октавиана спасителем. Последовала общенародная присяга. Первым принес клятву верности Октавиану сенат, за ним «народ римский», наконец войско и провинции.

В глазах Октавиана эта присяга (упомянутая в другом месте Анкирской надписи) санкционировала задним числом переворот 32 г., тот произвольный захват власти, который был им совершен. В своем всенародном отчете он пошел еще дальше и представил *coup d'état* чуть ли не как исполнение воли общества, во всяком случае, как нечто согласное с желанием всех: *per consensum universorum potitus rerum omnium*. Во второй половине фразы Август понимает уже другой момент, а именно важный акт 27 г. Этот акт выступает в документе в виде восстановления законного порядка после неизбежной временной узурпации. Но события пяти лет стянуты в один момент; смысл заключительных действий распространен назад на весь период; в толковании составителя автобиографии влиятельнейший гражданин только для того и воспользовался в критическую минуту чрезвычайным авторитетом, чтобы по миновании опасности передать опять государю-народу высшее распоряжение.

Последняя фраза общей политической характеристики особенно поразительна по своей нарочито скромной формулиров-

¹ Mon. Anc. 25.

ке. «После этого я стал выдаваться над всем достоинством положения, но не имел в распоряжении большей власти, чем мои коллеги по должностям»¹.

Документы нигде не останавливаются на особых конститутивных актах, которыми был бы закреплен новый строй и точно определено положение постоянного правителя. Для него нет определенного титула, его деятельность не объединена вообще в ясно очерченный круг. Столько-то раз автор биографии был консулом, такой-то год он облечен трибунской властью, столько-то вывел колоний, выдал на публичные нужды столько-то сумм. Все это мог бы изобразить на своем мавзолее республиканский сановник старого времени; можно даже предполагать подобные летописи при родословных древах в атриях триумфаторов и императоров из среды аристократии. В конце биографии Август ссылается на вещественные доказательства почестей, которые даровал ему народ и сенат. «За эту заслугу мою (возвращение авторитета народу и сенату в 27 г.) я получил в силу постановления сената имя Августа; косяки дверей моего дома были перевиты лавром во время публичного торжества, над входом был укреплен гражданский венок, а в Юлиевой курии помещен золотой щит, который был мне дарован сенатом и народом римским за доблесть, мягкость, справедливость и благочестие, что и подтверждает надпись на щите...» «В тринадцатое консульство мое сенат, класс всадников и весь народ римский дали мне имя отца отечества и решили, чтобы это имя было изображено у меня во входной зале, в курии, и на Августовой площади под конным изваянием, которое в силу сенатус-консульства мне здесь поставлено»². Автор и предлагает потомству прочитать по этим республиканским украшениям о его заслугах.

Если бы у нас был только один этот документ для суждения о правлении Августа, из него можно было бы почти сделать заключение, что, по исполнении таких-то и таких-то актов и поручений, авторитетнейший человек в республике отказался от власти и стал в ряды остальных граждан. Факт установления нового строя и постоянной императорской власти совершенно не отмечен в политической автобиографии: для нее он не существует.

¹ Mon. Anc. 34.

² Mon. Anc. 34, 35.

Таким образом, для изображения фактической стороны дела трудно найти источник, более стирающий и замалчивающий реальный ход вещей, чем Анкирская надпись. Но в то же время для общей оценки положения чрезвычайно важна вся эта искусственная группировка, все эти фикции, все формулы лоялизма, политического самоотречения, которые так характеризуют отчет Августа и так хорошо схвачены в двух словах Сенекой: «Государь спрятался в одежду республики». Если бы налицо были одни словесные предрассудки общества, только одни тени отвлеченных учреждений прошлого, перед ними не было нужды так старательно склоняться. Все эти формы указывают лишь на то, что совершился компромисс со значительными реальными силами. Как прошел этот компромисс в частности, в какие он облекся политические детали? Если для выяснения их Анкирская надпись отказывается служить, то она дает важное общее указание: она позволяет заключить, что крупных решительных конституционных актов, похожих на провозглашение или пересмотр конституций в новоевропейской истории, не происходило в правление Октавиана-Августа. Медленным ходом утверждались частные прерогативы и закреплялись существующие отношения. Лишь впоследствии, в перспективе такие акты, как соглашение 27 года, представляются нам более резкими поворотными моментами, так как в нашей мысли с ними невольно связывается ряд дальнейших последствий.

В руководящих указаниях автобиографии Августа мы нашли общий комментарий ко всей группе политических уговоров и комбинаций, из которых сложился принципат в своем первоначальном виде. Нам следует перейти к отдельным моментам развития нового политического строя.

Успехи Октавиана в войне 32—30 годов были очень крупны. У него не было более соперника в императорстве; он снова вернул Италии владения на Востоке и приобрел в свое полное распоряжение богатую вотчину Египет. Под впечатлением этих фактов население Рима и сенат присудили ему выдающийся триумф и религиозные почести. Весь народ, сенаторы и весталки должны были в день его возвращения в Рим выйти ему навстречу и идти перед его колесницей. Имя триумфатора было внесено наряду с именами богов в общую молитву за благоденствие народа римского. День его рождения был объявлен ежегодным праздником.

Это чрезмерное преклонение перед вторым Цезарем не должно нас вводить в заблуждение. Было бы ошибкой, если бы мы заключили отсюда, так же, как это делает Дион, что в последующих соглашениях договаривающиеся стороны были совершенно неравны, что у императора была вся сила и что контр-агент мог только принимать, но отнюдь не ставить требования. Не следует преувеличивать исключительно могущество Октавиана в этот момент. Дело в том, что главный начальник всех военных сил находился на другой день после победы в большом затруднении.

Он отпустил отслуживших солдат своей армии и войск противника, но не дал им обещанного вознаграждения; отряды других солдат были разосланы в виде гарнизонов или отправлены на родину. В армии было, вероятно, сознание, что с прекращением гражданских войн значение военного элемента должно будет неизбежно пасть. Солдаты попытались поэтому, пока еще составляли сплоченную массу, воспользоваться выработавшимися в их среде политическими формами и выставили, как и раньше, в 41 г., в 37 г., широкую программу требований. Меценат, замещавший Октавиана в администрации Италии, и Агриппа, командир возвращавшихся в Италию войск, не в силах были справиться с протестом. Пришлось спешно зимой через бурное море вызвать в Италию самого Октавиана. Он пригласил к себе в Брундизий членов сената и представителей всаднического класса, очевидно, чтобы иметь опору в гражданских элементах против взбунтовавшихся военных. К нему явились ораторы недовольных солдат и добились присуждения военным тех же самых наград и подарков, какие были выданы после предшествующих гражданских войн. Но обещания эти было трудно выполнить. Октавиан должен был предложить к продаже имения свои и своих близких. Только поступление огромной египетской добычи дало ему нужные средства, чтобы удовлетворить солдат.

Восстание 30 г. — очень яркий и характерный эпизод. Оно показало еще раз, что императору надо искать поддержки в гражданском порядке и гражданском обществе против того самого элемента, при помощи которого сложилась его сила. В отношениях между императором и армией должна была произойти перемена, если он хотел сохранить свое положение. Вслед за этим военные силы империи были значительно сокращены. Главная масса войска перешла из центральных областей в по-

границные. Эти важные фактические изменения, освободившие общество и правительство принципата от милитаризма последних двух десятилетий республики (40-х и 30-х годов I в. до Р.Х.), сопровождались также отчетливой принципиальной формулировкой. Светоний передает характерную подробность, из которой видно, что Октавиан настойчиво старался стереть следы зависимости от военного элемента, в которой находились крупные вожди в эпоху смут. «После замирения страны, — рассказывает биограф, — он уже не позволял себе ни в обращениях на сходках, ни в приказах звать солдат своими военными товарищами; они стали для него просто военнослужащие. Он не позволял также своим детям и родственникам применять к солдатам прежнее почетное имя, так как полагал, что такое ухаживание за ними не отвечает ни военной дисциплине, ни наступившему мирному положению, ни достоинству собственной его власти»¹.

Эта тенденция получила ясное выражение и в политической автобиографии Августа. В описании правительственного положения принцепса выдвинуты занимавшиеся им гражданские старореспубликанские должности; изображение дел Августа должно было показать, что наступила эра мира.

Необходимо отметить этот наклон императорской власти в сторону гражданского порядка. У Октавиана были большие основания идти на уступки, искать поддержки известных общественных слоев и в соглашении с ними устанавливать новый порядок. Как ни шумны были проявления почета и преданности после побед и завоеваний 30 г., мы должны отделять от них существо дела, отношения реальных интересов. Обе договаривающиеся стороны уступали и искали взаимных ограничений. В 29 г. сенат и магистраты принесли присягу на верность актам Октавиана: эта присяга возобновлялась с тех пор ежегодно 1 января. В том же году сенат приветствовал Октавиана императором. Дион Кассий по этому поводу поясняет: «Я говорю не о том звании, которое по-старинному давалось иным вождям за победы, потому что в этом смысле Цезарь (т.е. Октавиан) не раз и раньше, не раз и потом принимал (почетное имя императора) за определенные заслуги всего до 21 раза, я имею в виду титул, который стал служить к обозначению власти в том смысле, как он уже раньше был присужден Цезарю, его отцу и впослед-

¹ Svet. Aug. 25

ствии потомкам его самого»¹. Таким образом, с этого момента императорство становится непрерывным и признанным за династией высшим военным авторитетом.

Если Октавиану было всего важнее оформить свою военную власть, то служебная аристократия и стоявшие за нею общественные слои были заинтересованы в обеспечении своего классового и корпоративного положения. Эта цель была в значительной мере осуществлена в 28 г. Октавиан и Агриппа получили полномочия префектуры нравов, т.е. прерогативы цензоров. Первым делом цензуры было составление списка сенаторов. Октавиан и Агриппа воспользовались своим положением для основательного пересмотра сената и очищения его состава.

Сенат состоял в это время приблизительно из 1000 человек. Этот непомерный состав получился, главным образом, вследствие неразборчивых назначений Цезаря и триумвиров. Парламентское ведение дел было затруднено; вместе с тем, в среде новых членов было много лиц, которых не желали видеть с собою рядом представители старинных служебных фамилий. Под страхом насильственного выключения Октавиан предложил выйти в отставку тем, кто сам признает себя недостойным или не вправе сидеть в сенате. Пятьдесят сенаторов сами отказались от своих мест. Затем составители списка вычеркнули еще 150, между ними сторонников Антония или Брута. В числе удаленных были ставленники Цезаря, проведенные в сенат Антонием по завещанию диктатора: в насмешку их прозвали харонитами и орцинами, т.е. назначенными с того света; это прозвище «творении Ада» обыкновенно носили рабы, которых освобождали по смерти господ, в силу завещания.

Можно ли видеть в *lectio senatus*, произведенной в 28 г., акт произвола со стороны властителя, новое торжество единоличного начала над старым республиканским органом? Едва ли. В политической автобиографии Август упоминает о трех *lectiones senatus*, которые выпали на его долю в качестве актов, исполненных республиканским сановником. После *lectio* 18 г. состав сената еще уменьшился и был доведен до прежнего числа 600 членов. Таким образом, он стал малочисленнее и однороднее, чем был при Цезаре и при триумвирах. Результат был только благоприятен для авторитета сената, так как в

¹ Dion. 51, 29.

нем могли возобновиться правильные дебаты, загроможенные при Цезаре вследствие чрезмерного многолюдства, пестроты и сбродности его состава.

Производившиеся Августом пересмотры сенаторских списков не имели, сколько можно судить, в виду истребить в высшем совете оппозицию, по крайней мере, этим способом не удавалось устранять оппозиционеров, тем более, что сенат и сам принимал участие в вопросах приглашения и удаления членов. В 18 г. известный своими республиканскими убеждениями знаменитый юрист Антистий Лабен настоял на введении в сенат бывшего триумвира, обиженного Октавианом в свое время Эмилия Лепида²¹. Пересмотры списков сената вовсе не были направлены против старого земледельческого класса, напротив, скорее они должны были гарантировать ему преобладание. Впоследствии в 18 г. был установлен ценз для вступления в сенат — в размере 800 000 сестерциев. Через пять лет он был повышен до 1 200 000 сестерциев. Для ограничения социальных привилегий сенаторского класса был проведен закон, воспрещавший сенаторам мезальянсы в виде браков с вольноотпущенными.

Не все представители старинных сенаторских фамилий могли удовлетворить требованиям ценза. Но им не давали спуститься ниже своего традиционного общественного положения. Посредством щедрых подарков Октавиан-Август старался дать разорившимся нобилем возможность подняться до требуемой имущественной границы. Это черта любопытная и важная. Властитель искал сближения со старыми фамилиями. По временам его старания привлечь представителя того или другого выдающегося рода к службе были похожи на ухаживание. Тацит рассказывает в «Анналах», что Август настойчиво умолял одного из Кальпурниев Пизонов принять консульство. По-видимому, ему казалось важным делом притянуть большого сеньора, который держался в стороне. В расчете на сближение с аристократическими родами устраивались и браки в императорской семье. В числе родства Октавиана-Августа и его близких мы встречаем Домициев Агенобарбов, затем Юлиев Силанов, Эмилиев Лепидов, Антониев, Клавдиев Неронов и Клавдиев Марцеллов, Валериев Мессалл. Все это высокоаристократические имена.

Установление родственных связей между остатками магнатства и императорским домом свидетельствует еще об одном

важном факте. Конечно, роднились только с теми аристократами, которые сохранили крупные состояния. Богатство магнатов, главным образом, заключалось в земельных владениях, виллах, плантациях и экономиях. Одна из вышеприведенных фамилий, Домиции Агенобарбы, хорошо известна нам в качестве крупнейших земельных сеньеров. Антониям принадлежали, вероятно, большие имения в северной части Италии, если судить по тому, что жители Бононии все находились у них в клиентеле.

Картина распределения земли в Италии между классами едва ли очень существенно изменилась, несмотря на бури гражданских войн и проскрипций. От наделения военных ленников очень пострадали муниципии и землевладельцы средней руки. Выбиты были также иные крупные земельные сеньеры; так, например, распался тот громадный комплекс земель, который был в руках Помпея. Но общий тип латифундии несколько не ослабел, напротив, его преобладание еще более закрепилось. В среде крупных землевладельцев появился новый сеньер, император. Он старался закрепить браками свое имущественное положение; вместе с тем он вступал в определенную социальную группу и обращался как бы в главу высшего общественного класса, становился предводителем землевладельческого сентерата. Эти социальные связи получили политическое выражение, когда властитель разделил правление вместе с сенатом, собиравшим в себе, прежде всего, представителей крупного землевладения.

Социально-политическое предводительство императора среди земельных князей отразилось, между прочим, в одной детали устройства сената в 28 г. По старинному обычаю лицо, поставленное цензорами во главе сенатского списка, объявлялось первоголосующим сенатором и сохраняло это звание пожизненно. Обыкновенно первым сенатором и становился один из цензоров, как старейший по службе. Агриппа, товарищ Октавиана по составлению ценза, предоставил ему этот старинный почетный республиканский титул. Впоследствии самым обычным обозначением римского государя было имя *princeps*'a. Взялось ли оно от титула *princeps senatus*, составляет ли оно его сокращение, как думают некоторые? В автобиографии Августа встречаются оба выражения. Но в греческом тексте Анкирской надписи эти термины различно переданы: первое — первое по почету положения, второе — вождь, главный начальник. Если в греческой передаче между ними могла исчезнуть всякая бли-

зость, то из этого, по-видимому, следует, что не придавали значения сходству оригинальных выражений. Тем не менее, какая-то связь между ними есть

Термины *princeps*, *principes* так же, как *princeps senatus*, принадлежат республиканской эпохе. Прежде чем получить политическое значение, они служили в качестве бытовых названий. Так звали крупнейших сенаторов в республике. Это имя перешло на колониальных завоевателей и императоров, которые поднялись из среды магнатства и образовали то, что Дион называет «династиями», т.е. преобладающими домами, и, наконец, на того единственного обладателя половины имперских территорий, который стал впереди всех других. В этом смысле имя *princeps* применяет писатель, близкий ко времени Августа, мало рефлектирующий, наивный и скорее склонный передавать ходячие формулы и понятия, Веллей Патеркул. В его глазах первый принцепс с исключительным положением в государстве был Помпей. «Цезарь добыл себе принципат оружием», — говорит он дальше. В этом же смысле и Август сам выражается в своей автобиографии: когда я занимал руководящее положение.

Но в имени принцепса остался еще известный социально-аристократический оттенок. Зваться принцепсом по преимуществу звучало приблизительно так же, как в XVIII в. быть первым сенатором, первым дворянином в своем государстве. Тот же самый Веллей Патеркул называет крупнейших аристократов в сенате одним именем с государем и изображает *princeps* 'а во главе других *principes*. «Первые люди в государстве (*principes*), выдающиеся триумфами и занимавшие самые почетные должности, были записаны в сенат по предложению первейшего (*princeps*) для украшения города».

Нам пришлось остановиться несколько дольше на *lectio senatus* 28 г. и рассмотреть это «очищение» сената в связи с общей социально-политической тенденцией Октавиана-Августа. Только на этой основе мы можем оценить все значение последующего акта 27 г. Нам легче будет в этом соглашении различить две стороны: во-первых, дележ, размежевание императора с аристократией, и, во-вторых, их союзную комбинацию, взаимное дополнение двух общественных сил.

С внешней стороны события января 727 г. от основания Рима (27 г. до Р.Х.) представляют собой ряд драматических сцен, без сомнения, подготовленных и условленных заранее.

Это обстоятельство, однако, не отнимает у них политического смысла так же, как современная присяга государя на верность конституции имеет важное принципиальное значение, хотя и прodelывается с заранее обдуманньми театральньми эффектами. В один из первых дней 727 г. Октавиан отправился в курию: он объявил, что отмищение его отца, Цезаря, совершилось, и что мир восстановлен; он может теперь отказаться от тягостей правления и отдаться покою, который он заслужил своими победами, ввиду этого он и передает власть сенату. Этот момент отчетливо отмечен и в политической автобиографии Августа. Конечно, это отречение было лишь фикцией, оно было лишь введением, предварительной формальностью для нового обеспечения власти. На этом моменте, на этой части предложения в политической фразе нельзя останавливаться. Лишь в позднейшей традиции могла получиться от такой неправильной остановки мысли романтико-идиллическая картина, которую Светоний выразил словами: он замышлял восстановление республики.

Сенат просил Октавиана сохранить власть и, получив его согласие продолжить полномочия императора, оформил их поновому. Важность акта 727 г. от основания Рима как будто хотели особенно отметить переименованием Октавиана в Августа (по-гречески буквально «Благословенный»). Символика имен, унаследованная от старинного тотемизма, сохранила у римлян большое значение в аристократической среде; замена имени была необходима при усыновлении, вступлении в другой род; позднее старая символическая мысль нашла себе выражение в обычае менять имя при христианском крещении. В основе, по-видимому, лежит убеждение, что человеческая жизнь разлагается на циклы и при вступлении в известные период или возрасты испытывает глубокое перерождение. В данном случае замена родового имени отвлеченным должна была, вероятно, означать, что первый человек в государстве вступает в новую эру, новый период своего существования. Может быть, есть еще другое, более общее объяснение перемены имени. В 20-х гг. в римском обществе распространяется мысль о предстоящем наступлении мирового юбилея, означающего мистическое перерождение общества и вступление его в новый счастливый период. Официальная лесть спешила, в качестве хорошего предзнаменования для открывающейся эпохи, назвать предводителя общества именем благословенного богами счастливца.

Однако мы не должны увлекаться этими комплиментами высшего порядка. Нет ничего опаснее, как писать историю по официальным титулам, праздничным надписям и триумфальным сооружениям. Постараемся дать себе отчет о реальных условиях соглашения 27 г.

Наиболее важным делом на очереди был вопрос о пределах военного начальства. Он стоял в тесной связи с устройством общей администрации областей, входивших в состав империи, и, следовательно, с удовлетворением служебных интересов сенаторского класса, который старался удерживать в своих руках эту администрацию. Вопрос этот был решен своеобразно, но, пожалуй, не совсем врозь с римскими административными традициями. Как раньше не было центральных нераздельных имперских органов управления и колониальные вице-короли составляли вполне самостоятельный авторитет рядом с представителями исполнительной власти в метрополии, так и теперь император получил не долю общего управления по всему государству, а группу владений в свое полное распоряжение. Остальные земли были предоставлены ведению старинного республиканского учреждения, сената. Каждой из этих двух властей предоставлялось самостоятельно назначать подчиненный персонал в своих провинциях: в то время как император ставил в своих областях легатов на неопределенный срок наподобие Цезаря, распоряжавшегося таким образом в завоеванных землях, в сенатской группе сохранилась очередь наместников из числа прослуживших срок ежегодно сменяемых городских сановников.

Необходимо остановиться на условиях дележа 27 года. По Диону Кассию получается картина полной симметричности и равномерности деления: на той и другой стороне одинаковое число областей. В распоряжении сената остались Африка, Нумидия и Кирена (Тунис, Восточный Алжир, Триполи и Барка), Бэтика (южная часть Пиренейского полуострова), Греция, Македония, Иллирия (запад, середина и юг Балканского полуострова), Сицилия, Сардиния с Корсикой и Крит, Азия и Вифиния с Понтом (запад и север Малой Азии). У императора остались Тарраконская Испания и Лузитания (большая часть Пиренейского полуострова), все 4 области Галлии с границей по Рейну и на Востоке Сирия, Финикия, Киликия, Кипр и Египет.

Каковы были мотивы раздела, каково было реальное содержание сферы власти каждой из сторон, участвовавших в деле-

же? Дион представляет все дело в виде дипломатической хитрости Августа, который скрыл под видом уступки сенату свою выгоду. Сенат получил замиренные области, а он — угрожаемые и беспокойные; по виду, говорит историк, для того, чтобы дать сенату беспрепятственно наслаждаться властью, а самому взять на себя все труды и опасности, в действительности для того, чтобы под этим предлогом обезоружить коллегию, самому же получить в свое распоряжение все оружие и содержание солдат. Дион, как известно, не представляет себе сенат и аристократию реальной силой и поэтому придумывает какую-то игру, считает весь дележ благозвучным обманом со стороны фактически всемогущего государя. Едва ли можно принять искусственную драматизацию и допустить, что весь сенат попался в ловушку. Вероятно, уговор с обеих сторон был весьма сознательным и рассчитанным.

Надо иметь в виду, прежде всего, что акт 27 года не носил характера окончательного решения, он был условлен только на 10 лет и в дальнейшем предполагалось его возобновление с возможностью пересмотра. Новое распределение произошло даже раньше, через пять лет; в 22 г. переходят от императора к сенату Кипр и Нарбонская Галлия (область, прилегавшая к Средиземному морю и состоявшая провинцией более 50 лет до завоевания Цезарем остальной Галлии). В 11 г. до Р.Х., снова Иллирия (нынешняя Далмация, Босния, Герцеговина) перешла от сената к императору. Эти обмены, без сомнения, были вызваны тем, что в первых двух областях, уступленных сенату в 22 г., стали не нужны войска, в последней, напротив, явилась необходимость сосредоточить военные силы ввиду войны, открывшейся по соседству, в Придунайском крае. Но мотив этот во все не был скрытым; напротив, он был ясно и отчетливо сформулирован и основывался на принципе, которого сознательно держались обе стороны. Самый принцип верно указан Дионом, но он — не фиктивный, а подлинный: раздел был основан, прежде всего, на соображениях о размещении войск. Император, верховный начальник всех военных сил, получил непосредственное управление там, где были особенно нужны военные силы, где они были сосредоточены. В свою очередь, он устроил это размещение в собственных интересах. Пока императоры, Сулла, Помпей, Цезарь, триумвиры, селили военных ленников в Италии, их сила была страшна гражданскому обществу, но и сами они, в конце концов, испытывали все тяжелое давле-

ние военной громады. Октавиан отказался после Акции от устроения военных колоний в Италии и вместе с тем увел легионы на окраины; это была одновременно уступка с его стороны землевладельческим классам метрополии и вместе с тем спасение своего собственного авторитета над войском. Легионы, расставленные далеко от центра, разъединенные между собой, не могли в такой мере маневрировать, быть грозой для главнокомандующего; утратив свою организацию, они не могли более создавать императору тех затруднений, против которых были бессильны самые властные фельдмаршалы и предшественники его, Цезарь и Антоний.

От размещения войск выигрывали, следовательно, обе стороны. Уговор относительно провинций заключил в себе известного рода гарантию для стран старой администрации и для управлявшей ими сенатской коллегии: они избавлялись вместе с метрополией от обременительного постоя войск.

В Италии оставался только отряд гвардии, преторианцы, для охраны личности императора и представительства его двора.

Впрочем, принцип деления, отмеченный Дионом, допускал любопытное исключение. В одной из сенатских областей, в Африке, ввиду беспокойного характера степного берберского и ливийского населения, были поставлены военные силы, находившиеся под начальством сенатского проконсула. Таким образом, африканский проконсул был не только гражданским наместником, как другие его коллеги, но и военным командиром, как старинные проконсулы. У африканского корпуса, отделенного от императорской армии, была трудная работа, и местным проконсулам приходилось проявлять военные таланты. В начале правления Тиберия поднялось крупное восстание в Африке под начальством нумидийца, дезертира римской армии, Такфарина, сумевшего в течение 7 лет держать в страхе администрацию провинции и пользовавшегося, по-видимому, поддержкой местного населения. Тиберий предложил сенату сменить наместника и отправить более способного военачальника. По этому поводу император обратился к коллегии в форме послания, и лишь когда получил общее согласие сената, решился указать желательных ему кандидатов. Юний Блэз, отправленный на этот раз в Африку, и его преемник Корнелий Долабелла, люди старых фамилий, выделялись своими военными успехами. Может быть, эта видная и самостоятельная роль африканских намест-

ников и заставила следующего императора (Калигулу) провести реформу, вследствие которой в Африке произошло разделение гражданской и военной власти, и последняя была отдана в руки императорского легата. Но все же в течение 76 лет африканская окраина оставалась в полном распоряжении сената. Где объяснение этого факта?

Может быть, в данном случае особенная уступка императора в пользу старой коллегии вызвана была тем, что в Африке сосредоточилась по преимуществу крупная земельная собственность сенаторов. Впоследствии, во II—III вв., наиболее важные и значительные вотчины императоров находились именно в Африке; многие из них, вероятно, составляли результат конфискаций, особенно нероновского времени. Невольно мы припоминаем слова Плиния о казни при Нероне шести крупных посессоров, которым принадлежала половина провинции. Надо думать, что в начале принципата императорские домены в провинциях вообще, в том числе, вероятно, и в Африке, были невелики. Именно вследствие преобладания крупных магнатских поместий в Африке эта провинция осталась вначале независимой от императора. Зато впоследствии здесь и началась самая жестокая борьба за владение; как раз в этой провинции император захватил особенно большие земельные угодья, чем и создал огромный перевес своей власти.

Если мы присмотримся к особенностям территориального расположения областей императорской и сенатской группы, а затем в истории их присоединения, перед нами выступит еще одно основание деления.

При первом же взгляде на карту видно, что сенатские области составляют большую связную группу земель, которые вместе с Италией, также свободной, в качестве метрополии, от военной администрации, лежат у Средиземного моря. Сообщения между ними удобны и переезды невелики, так как они представляют по большей части вытянувшиеся вперед навстречу друг другу полуострова и занимают промежуточные большие острова.

В то же время императорские области, большею частью сухопутные, не составляли сплошной и непрерывно идущей территории. В их среде можно ясно различить две большие группы, как раз на двух противоположных концах, северо-западном и юго-восточном: на одной стороне Галлия и Испания, на другой — Киликия, Сирия и Египет. В сущности земли, нахо-

дившиеся под управлением императора, были невыгодно распределены: сообщения между ними были затруднительны, они лежали далеко от центра. Своеобразный выбор, сделанный императором, видимо объясняется не одним только применением вышеупомянутого общего принципа. На нем отразилась также история завоевания. Император сохранял земли, уже раньше принадлежавшие «династиям», как Дион называет владетельных князей конца республики, т.е. Помпея, Красса, Цезаря, Антония и самого Октавиана. Это были области, покоренные генералами республики на свой риск и собственными средствами, почти без отчета сенату, области, получившие от них устройство, частью колонизованные ими, заполненные их клиентами, управляемые их легатами и преданными сторонниками. Провинции этого разряда не вошли в обычную очередь при замещении наместничеств представителями сенатской аристократии: лишь через посредство «династов» другие римляне могли вступать в пользование новыми последними приобретениями империи.

Земли, доставшиеся императору по дележу 27 г., фактически соединяли в себе до известной степени вотчины двух домов, Помпеева и Цезарева, азиатские владения и Испанию от первого, Галлию от второго. Октавиан вступал в их наследство и еще присоединял к ним настоящую прямую вотчину, свое личное княжество или даже царство, в котором он заместил прямо старую династию. Правда, в политической автобиографии он выражается, что присоединил Египет к Римской империи; в действительности же это была чисто личная уния. Старинное римское правительство было не только поставлено как нельзя более далеко от этой императорской вотчины; оно было отделено от нее специальными преградами; ни один сенатор не мог без позволения императора вступать на почву Египта. Если принять во внимание эти обстоятельства и рассматривать императора как наследника династов, то окажется, что в дележе 27 г. он не столько вырезывал себе политические участки из старого состава империи, сколько примыкал к прежнему составу государства со своей особой новой группой территорий.

В тесной связи с вопросом о разделении администрации между сенатом и императором, стоял вопрос о финансовом устройстве, т.е. о распределении между теми же конституционными силами финансовых источников и финансовых органов. Но мы не имеем прямых сведений о том, как он был разрешен в

27 г. Возможны лишь косвенные заключения из более поздних данных. По-видимому, самый состав финансовых средств и их управление были разделены надвое соответственно общему делению империи на сенатские и императорские области. Поступления с первых направлялись в старинную центральную кассу при храме Сатурна, управление ею оставалось по-прежнему в руках сената.

Не так просто обстояло дело с императорскими финансами. В течение первых семидесяти лет принципата для управления ими не имелось одного центрального органа. По отдельным областям существовали провинциальные кассы, заполнявшиеся местными доходами и сборами и служившие, вероятно, главным образом для покрытия расходов на войско. Лишь в последние годы правления Августа была образована особая специальная императорская касса для военных пенсионеров, к которой отнесли несколько особых же новых государственных налогов. Наконец, рядом с официальными кассами император располагал частным имуществом, состоявшим в разнообразных владениях и доходах, которые были рассеяны по всем провинциям и по Италии. Это уже при Августе были весьма крупные средства; из них отчислялись большие выдачи народу, солдатам — выдачи, которыми принцепс затмил всех прочих магнатов.

Отметим одну характерную черту в частном владении его. Вероятно, недвижимость (не считая Египта) составляла сравнительно небольшую долю этого владения. Об Италии Тацит прямо говорит, что земель, принадлежавших императору, там было немного. Значительная часть личных богатств императора состояла из имуществ, полученных по «завещаниям от друзей»; Светоний уверяет, что в последние 20 лет из них одних образовался капитал в 40 миллиардов сестерциев. Это были, по всей вероятности, движимые ценности и денежные суммы; отсюда можно сделать заключение о характере частных богатств императора вообще. Может быть, это преобладание наличных или быстро реализуемых средств было особенно важно для него ввиду тех требований, которые налагало на него представительство в столице, траты на плебс и солдат. Во всяком случае, впоследствии личная хозяйственная политика императоров изменилась. Их главное внимание направилось на приобретение земельных владений, на увеличение недвижимой вотчины.

Но уже теперь финансовая сила колониального государя была значительнее, чем средства сената. Это видно из ряда слу-

чаев, когда император приходил на помощь старой государственной казне. Сам Август в политической автобиографии отмечает, что четыре раза помогал эрарию и передавал крупные суммы управляющим казною. Рассказывая о подобной же ссуде (под 57 г. по Р. Х.), Тацит своеобразно объясняет мотив ее: «(внесено императором) 40 миллионов сестерциев для поддержания публичного кредита».

Эти передачи и заполнения пробелов в чужом ведомстве со стороны императора указывают на то, что, несмотря на раздробление администрации, сбора налогов и доходов империи, несмотря на разделение отчетности, существовали общие сметы. О подобном бюджете империи упоминает Днон под 23 г. Когда Август тяжело заболел, и положение его казалось безнадежным, в сенат было доставлено его завещание вместе с обстоятельным документом, переданным консулу Пизону и заключающим в себе список военных сил и финансовых средств империи. Светоний называет тот же список *rationalarium imperii*. О таком же документе под названием *breyiarium totius imperii* говорит Светоний, рассказывая о вскрытии завещания Августа после его смерти. В этом отчете было отмечено, сколько и в каких пунктах стоит солдат, сколько лежит денег в эрарии, в фисках и сколько остается недобора в податях.

Наличность такого общего отчета иллюстрирует еще другую сторону финансовой конституции империи. Император не бесконтрольно распоряжался общественными суммами, которые поступали из доставшихся ему областей. В этом отношении Август опять отличается от Цезаря, которому «предоставили единолично распоряжаться войском и публичными деньгами». При первых двух принцепсах был обычай публиковать правильные отчеты о расходовании казенных сумм; император входил, вероятно, с докладом о нем в сенат. Новейший исследователь истории сената при Августе, Абеле, идет еще дальше и предполагает, что сенат имел полную компетенцию в важнейших финансовых вопросах по всему протяжении империи и в особенности ведал военным бюджетом. В самом деле, в одном из знаменитых январских заседаний 727/27 г. сенат решает увеличить вдвое жалованье преторианцев. В 13 г. до Р.Х. Август, возвратившись из западных областей, сообщает сенату отчет о своей деятельности и возбуждает вопрос о регулировании срок службы солдат и об их вознаграждении. Сенат устанавливает сроки и определяет в принципе больше не вознаграждать вете-

ранов землю; он вносит далее различие денежных наград; для обыкновенных легионов и для преторианцев. В 5 г. по Р.Х. сенат занят опять, по предложению Августа, проектами образования кассы и изыскания капиталов для вознаграждения солдат. Позднейшая практика при императоре Тиберии показывает, что финансовая компетенция сената была вне сомнения, и можно думать, что она была раньше, при Августе, определенно утверждена за высшей коллегией. Тиберий спрашивал сенат обо всем, что касалось «податей» и монополий, постройки и ремонта общественных зданий, набора солдат, отпусков военных, размещения легионов и вспомогательных отрядов. Когда после смерти Августа начались волнения среди рейнских и дунайских легионов и солдаты потребовали сокращения сроков службы и повышения жалованья, Тиберий ответил им через сына Друза, что будет защищать их желания перед сенатом. Друзу было поручено удовлетворить пока солдат, в чем возможно, «остальное зависит от сената, и надо ждать, что коллегия не будет ни слишком уступчивой, ни слишком строгой».

У нас нет данных, чтобы судить, когда именно были, утверждены финансовые прерогативы сената, но весьма правдоподобно, что это произошло в 27 г. в связи с разделением администрации империи.

При всей конституционной важности актов 27 г. они далеко не заканчивают собою устройства принципата. Условия, на которых размежевались император и сенат в управлении империей, оказались весьма прочными. Нельзя сказать то же самое об устройстве внутренних отношений между ними в делах италийских и римских. В этой области еще довольно долго чувствуются колебания.

Но прежде всего надо заметить, что наши сведения о политических событиях становятся чем далее, тем хуже. Политическая автобиография Августа, помимо своей тенденциозности, составляет плохое отражение порядка событий. Светониева биография Октавиана-Августа соблюдает хронологический порядок только до начала 20-х годов. Дион Кассий, правда, очень обстоятельный, сообщает сведения из вторых и третьих рук. Рассматривая образование принципата с точки зрения уже завершившегося абсолютизма, он не придает значения перспективе явлений и ему не удастся передать ее. У него, впрочем, есть любопытное признание вредности абсолютизма для развития общественной и исторической мысли, тем более по-

разительное, что оно следует непосредственно за комплиментом монархии

«Так преобразился государственный порядок на общую пользу и спасение, потому что демократический строй был совершенно неспособен спасти общество. Но в результате этой перемены исчезла (для истории) возможность передавать события так, как это удавалось раньше. В прежние времена всякие происшествия, как бы ни были они отдалены от центра, доходили до сведения сената и народа. Благодаря этому все узнавали о них, и многие могли передать их потомству. Поэтому, если отдельные авторы руководились страхом перед деятелями или ухаживаньем за ними, чувствами преклонения или, напротив, раздражения, то истину все-таки можно было восстановить, сопоставляя известия других писателей, излагавших то же самое, или привлекая официальные документы. С этого же времени (т.е. установления монархии) стали очень многое скрывать и превращать в государственную тайну: когда же что открывается и доходит до общего сведения, то люди встречают молву всеобщим недоверием: они считают, что все равно нельзя доискаться истины, раз все речи и поступки должны быть сообразованы с волею властителей и тех, кто участвует с ними в управлении. Поэтому много выдумывается такого, чего совсем не было, и, напротив, многое, что было в действительности, остается совершенно неизвестным или, по крайней мере, доходит в очень искаженном изображении. Таким образом, в Риме, в подчиненных областях и у враждебных народов непрерывно — можно сказать, ежедневно — совершается масса вещей, о которых никто не может узнать ничего точного, кроме непосредственных участников». «Поэтому, — признается Дион в рассказе приблизительно к середине 20-х годов, — я буду в дальнейшем сообщать лишь то, что считается общепризнанным, не настаивая на верности изображения; так ли это было или иначе, я не знаю».

По Диону, новая перестановка официальных полномочий принцепса происходит в 23 г. До этого времени Октавиан-Август занимал из года в год непрерывно с 31 г. консульство. С 23 г. он несколько раз подряд отказывается сам или вынужден отказаться от консульства. Впервые это случилось после обстоятельств довольно исключительного характера. Август опасно заболел и, считая близкой свою кончину, составил завещание. Завещание было доставлено сенату; но так как Август

стал выздоравливать, сенат признал ненужным вскрывать его. Однако его содержание стало известно. Всех поразило, что он избегал всякого намека на династические цели. Против ожидания, он не указал политического наследника и не назвал своего ближайшего родственника, племянника и зятя Марцелла, которому сенат поспешил, вне очереди и раньше достижения законного возраста, дать место в своей среде и право на занятие высших должностей. Август передал своему военному товарищу Агриппе государственную печать, а Пизону, коллеге по консульству, важнейшие документы и отчеты. Поговаривали, что он недостаточно доверяет политическому настрою молодого Марцелла и поэтому хочет либо «возвратить народу свободу» или передать власть популярному Агриппе, избегнув при этом всякого вида, что это происходит по его настоянию. Светоний считает также эти колебания Августа в 23 г. моментом отречения. Таких моментов в жизни Августа было, по его мнению, два. Первым он признает, эпоху переговоров, которые предшествовали актам 27 г.

Мы не можем, конечно, принять целиком формулу, сохранившуюся у античных историков: «Август думал о восстановлении республики»; трудно представить себе эту программу в полной ее реальности. Но нельзя также видеть в ней одну фикцию, только выражение лицемерия, возводимого обыкновенно в основное качество Августа. Нам кажется возможным другое объяснение.

После проявления своего республиканского лоялизма Август отказался от консульства. Затем состоялись выборы, которые показали, что в городе имеется довольно решительная оппозиция: на место отказавшегося императора выбрали одного из прежних квесторов Брута, Люция Сестия (или Секстия). Новый консул выделялся своим необыкновенным как бы религиозным почитанием памяти республиканского героя: у себя в атрии он поставил изображения Брута. Дион передает по этому поводу о необыкновенном благодушии, с которым Август отнесся к этой кандидатуре; у него даже сам Август и является инициатором оппозиционного избрания. Не было ли дело несколько иначе, чем передает историк, допускающий у монарха только один вид ограничения, именно — фиктивное самоограничение? Не составляли ли выборы 23 г. вместе с предшествующим отказом Августа от консульства своего рода плебисцита, который был допущен или предпринят властителем под дав-

лением очень заметной оппозиции? Ведь мы должны помнить, что промежуточные звенья событий все выпали, у нас остался только внешний их остов. Нельзя же, однако, такой внешний факт, как избрание консулом заведомого и ярого республиканца, принимать за невинную шутку, допущенную пресытившимся властью императором. Очевидно, это избрание и есть свидетельство наличности оппозиции; оно служило указанием на то, как необходимо или, по крайней мере, как тактично было со стороны Августа спросить общественное мнение. Затем, раз был допущен плебисцит, стало еще более делом такта не сердиться на его результаты; отсюда «благодушие» Августа.

Мы не знаем, в чем выразилась оппозиция после избрания республиканца консулом. Но, во всяком случае, для императора получилось своеобразное положение; его руководящей роли, его принципату не хватало теперь закономерной основы. Начались переговоры о выработке нового соглашения. Они закончились тем, что взамен консульства сенат предложил утвердить за Августом пожизненную трибунскую власть с правом законодательной инициативы в сенате, «на тот случай, когда он не будет консулом». Вместе с тем за ним утвердили пожизненное проконсульство с правом носить военные знаки даже в пределах померия, старинной черты гражданского управления, а также верховную военную власть над всеми наместниками во всех провинциях.

На словах *tribunicia potestate* в титуле принцепса основывали теорию демократической монархии. Нам любопытно услышать комментарий античного историка. Тацит дает такое объяснение принятию Августом трибунства: «(он) придумал себе это громкозвучное название, чтобы не принимать имени царя или диктатора, но все же выдаваться над другими должностями какими-либо определенным обозначением»¹. Тацит хочет приблизительно сказать, что в трибунате к этому времени осталось мало реального содержания; все великое лежало в прошлом; важен был только почет имени. В самом деле, что осталось от трибунства и чем была *tribunicia potestate* императора? Император не становился сам трибуном; его положение сравнительно с настоящими трибунами было единоличное и исключительное. Трибуны не были равными ему коллегами; он не подлежал переизбранию, отчету или коллегиальным возраже-

¹ Tac. Ann. 3, 56.

ниям. Но вместе с тем он не является по своему положению преемником старых вождей демократии: он не утверждался большим всенародным голосованием и не выступал, уполномоченным от народа. Исчезло главное основание для подобной роли: активные и авторитетные трибутные комиции. Правильные народные собрания, по-видимому, созывались редко и в своем случайном составе служили лишь одним из видов столичного парада. Фактически выборы производились сенатом. Трибунат представляет для императора другие реальные черты: право сношения с сенатом, затем авторитет верховной апелляционной инстанции, выводимый из *jus auxilii* трибуна, и, наконец, трибунскую неприкосновенность священной особы со всеми правами лица, представляющего «величество народа римского». Соглашение 23 г. не затрагивает вовсе условий акта 27 г., тем более, что срок полномочий, данных в этом последнем году на 10 лет, далеко не окончился. Оба соглашения касаются разных сторон управления, идут параллельно и дополняют друг друга. Трибунство оказалось наиболее подходящей конституционной формой для закрепления гражданского положения императора. Среди различных титулов оно выдвинулось почти на первое место: императоры стали считать свое правление по годам своего трибунства.

Что заставило Августа уйти из консулов и заменить активное консульство титулом трибунского авторитета? Консулы, в качестве глав исполнительной власти, созывали сенат, председательствовали в нем и участвовали в качестве голосующих членов; они применяли общий авторитет по всей гражданской территории и в частности были градоначальниками столицы. Исследователь истории сената при Августе Абеле предполагает, что императора стесняла необходимость председательствовать в сенате. Нельзя ли пойти дальше и допустить вообще желание Августа отстраниться по возможности от непосредственного вмешательства в администрацию, от личного участия в прениях, одинаково как и от руководства ими? То же стремление обнаруживается и в образовании неофициального совещания не более 20 лиц, состоявшего из консулов и нескольких влиятельных сенаторов и служившего для предварительного рассмотрения дел, которые шли в сенат. Август добивался принципата, похожего на положение Помпея в конце 50-х годов. Оно соответствовало также характеру того президентства, которое описывал Цицерон в *de republica* под названием

ректора: главу республики не должно отвлекать мелочами, актуальностями управления, затруднять корреспонденцией и аудиенциями; он призван давать лишь общее направление делам, толковать закон, служить верховной общей инстанцией. По-видимому, *tribunicia potestate*, по крайней мере в ее тогдашнем понимании, казалась более подходящей для неопределенного принципата, которого добивался император, чем консульство, непосредственно сталкивавшее его с публикой, с самим сенатом и массой всяких просителей и ходатаев.

В 23 г. не удалось, однако, установить окончательную политическую формулу для положения принцепса. Следующие три года отмечены новыми волнениями в Риме. Особенно обострились они во время консульских выборов 22 г., когда случился еще целый ряд естественных бедствий, наводнение от сильного разлива Тибра и голод в Италии. По-видимому, сказались резко недостатки в устройстве хлебоснабжения; народ находился в сильнейшем возбуждении. Дион рассказывает, что столичная толпа окружила сенат и грозила сжечь курию, если Август не будет назначен диктатором и организатором хлебоснабжения. Толпа завладела 24 ликторскими связками (знаки диктатуры) и бросилась к Августу. Но он сделал вид, что антиконституционное желание народа глубоко его огорчает, символически разорвал на себе одежду и заявил, что никогда не позволит себе покуситься на свободу народа.

Рассказ Диона производит странное впечатление: нам всегда будут подозрительны случаи, когда народ просит сам неограниченной власти. Мы невольно начинаем думать, что тот «народ», который молил Августа принять диктатуру, был подобран и подстроен самим *princeps*-ом и что эта демонстрация была «опытом», наподобие той, которую Цезарь учинил в 44 г. при посредстве Антония, чтобы узнать степень расположения римлян к царской короне. По существу, Август решился взять на себя только ту долю чрезвычайных полномочий, которые были связаны с организацией помощи пострадавшим. Он принял руководство делом подвоза хлеба из провинций и распределения его между нуждающимися гражданами.

Последующие три года Август проводит в провинциях. Наши сведения о том, что происходит в это время в Риме, крайне недостаточны и смутны. Из Диона можно только понять, что в Риме поднимает голову оппозиция; но ее требования совершенно неясны. Веллей Патеркул говорит о более грозных заго-

ворах на жизнь Августа. Из данных обоих писателей, сведенных вместе, получается следующая картина.

Несмотря на великие успехи внешней политики Августа, были люди, которые с ненавистью относились к этому блестящему положению вещей. В их среде возник заговор Люция Мурены и Фанния Цепиона, которые хотели убить Августа. Монархист Веллей признается, что Мурена был человеком безукоризненной чистоты. Вскоре после этого с аналогичными планами выступает Эгнаций Руф. У него было довольно много единомышленников, и, может быть, их замыслы и организация напоминали заговор Брута и Кассия. Эгнаций, несмотря на невыгодную характеристику Веллея («больше похож на гладиатора, чем на сенатора»), был, по-видимому, даровитый человек и, во всяком случае, в качестве эдила и претора, сумел приобрести большую популярность в Риме. Очень характерно начало столкновения молодого Эгнация с Августом. В качестве эдила Эгнаций очень понравился столичному населению, между прочим, тем, что сумел прекратить несколько пожаров, столь опасных в Риме: он тушил их нанятой на свои средства и составленной из собственных рабов командой. Это рассердило «некоторых магнатов и особенно Августа». Желая проучить дерзкого чиновника, Август издал приказ, чтобы эдилы следили за пожарами и немедленно прекращали их. На этот случай они получили от него команду в 600 человек на казенный счет. Итак, принцепс не допускал, чтобы кто-нибудь превосходил его в выдачах народу или угрожал толпе без его на то согласия. В 19 г. Эгнаций выступил кандидатом на консульство, по-видимому, против Августа, которому и на этот раз предлагали кандидатуру. Дальнейший ход дел становился неясен. Веллей говорит сначала о смерти Эгнация в тюрьме, а потом о его кандидатуре на консульство. Дион крайне спутанно и неверно изображает поведение Августа. Первое консульское место на 19 год досталось Секции Сатурнину. На второй год консул не мог быть выбран, вероятно, вследствие равенства партий, стоявших за Эгнация и за Августа. Кажется даже, что партия Эгнация была сильнее: это можно заключить из заявления консула Секция, желавшего избежать конфликта, что он не даст Эгнацию занять консульство, даже если его изберет народ своими голосами.

Дальше мы знаем только рассказ Диона. Так как Эгнаций не отступался, начались резкие столкновения в городе, и дошло до кровопролития. Сенат решил ввести в городе военное по-

ложение и дать Секцию охранный отряд, но Секций отказался пользоваться военной силой. Тогда сенат послал депутатов к Августу, который приближался с военной свитой с Востока. Узнав о размерах и продолжительности беспорядков, Август отступил от своего прежнего поведения (т.е. вышел из сдержанной пассивности), назначил от себя вторым консулом Квинта Лукреция, хотя он в свое время стоял в списке опальных, и поспешил сам в Рим. Здесь ему готовят знаки преданности, но он старается их избежать и приезжает в столицу ночью. «Так как то, что случилось во время беспорядков, совсем не сходилось с решениями, принятыми из страха в его присутствие, то Августа назначили на 5 лет верховным магистратом и цензором, а также пожизненным консулом с правом всегда иметь перед собой ликторов и сидеть на курульном кресле среди обоих консулов. Они (сенат) выразили желание, чтобы облеченный таким авторитетом, он занялся установлением порядка и издал законы, какие найдет нужными».

Досадно читать эту путаницу у Диона. Не стоило рассказывать разрозненные факты, если историк сам не улавливает их смысла. Прежде всего, неверно, будто бы Август принял в 19 г. чрезвычайную власть. Он сам решительно отрицает такой факт в своей политической автобиографии; все законы и меры, принятые в это время, были проведены в силу обыкновенной трибунской власти. Следовательно, волнения 19 г. окончились вовсе уж не таким торжеством Августа, в рассказах Веллея и Диона есть кроме того детали, правда, затушеванные, которые подтверждают впечатление, что принципат переживал сильные затруднения. Неясно, когда и кем был схвачен Эгнаций вместе со своими единомышленниками, но видно, что одно время его партия имела перевес в Риме. Обратим далее внимание на слова Диона: «Август заметил резкую разницу между выражениями преданности при его появлении в городе и тем, что делали и решали в его отсутствие во время беспорядков». Наконец, что означает ночной въезд Августа? Неужели скромность и желание избежать оваций? Скорее это мера предосторожности или даже военный маневр, чтобы обезоружить противника.

Крайне странно, что Август «назначает» консулом (вместо Эгнация или вернее вместо себя) бывшего опального Лукреция. Вероятно, он также расположен был назначить Лукреция, и в такой же мере сам сделал это, как раньше в 23 г. «благодарно» назначил консулом почитателя Брута, Сестия. Приходилось де-

лать уступки оппозиции, принимать ее кандидатов, отказываться самому, да еще приятно улыбаться на досадный оборот вещей. Нам нужно также обратить внимание на роль консула Секция Сатурнина. Веллей очень хвалит твердость, с которой он выступил против революционера Эгнация Руфа, и сравнивает его по этому поводу с лучшими из «древних» консулов. Однако в Секции никоим образом нельзя видеть и сторонника Августа. Он не хочет допускать военное положение в городе и ограничивается одними гражданскими конституционными средствами. Он, без сомнения, был также против обращения к Августу. Вероятно потому мы и не находим его потом в консульской должности; после переворота, совершенного Августом, он должен был уступить место другому: политическая автобиография называет консулами 19 г. вышеупомянутого Лукреция и еще Зиниция.

Что же можно вынести из всех этих известий, выброшенных из перспективы, перекрашенных в позднейшей традиции под впечатлением конечных результатов борьбы и победного положения принцепса? В начале 19 г. после долгого отсутствия Октавиана-Августа оппозиция в Риме пытается захватить власть. Происходят яркие республиканские демонстрации: сторонникам императора не удается отстоять его кандидатуру. Выбран умеренный противник его, Секций Сатурнин, большинство голосов собирается около имени открытого и резкого противника Августа, Эгнация Руфа. Октавианцы в отчаянии и зовут императора для подавления начинающейся революции. Уступая призыву, Август совершает какой-то переворот, следы которого тщательно затушеваны в традиции: без сомнения, он вводит то военное положение, которое отказывается ввести консул Секций. Вероятно, тут и был предательски схвачен Эгнаций Руф с товарищами, наподобие внезапного ареста сторонников Катилины в 63 г. Очень возможно, что не было никакого покушения на жизнь Августа, и весь «заговор» был выдумкой сторонников принцепса, чтобы легче отделаться от оппозиции. Консул Секций должен был за «бездействие власти» выйти в отставку. Но полной победы Август не добился. Своей кандидатуры на консульство он так и не решился поставить. В консулы прошел оппозиционер Лукреций. Всякого рода громкие титулы пришлось отстранить и соответственно отменить исключительные меры. В 19 г. опять не удалась диктатура так же, как в 22-м; свой вынужденный отказ от неограниченных полномо-

чий Август превратил потом, в посмертном отчете народу, в великую заслугу свою, в акт конституционного лоялизма. Опять оказалось, что положение принцепса внутри неясно, неопределенно и непрочно. Очень возможно, что волнения 19 г. и были толчком к новому пересмотру вопроса о гражданском авторитете принцепса, как это изображает Дион Кассий. Опять, как в 23 г., начались длинные переговоры с сенатом. В конце концов, остановились на условии, в силу которого Августу было предоставлено пользоваться консульской властью, не подвергаясь риску выборов; таким образом, он фактически становился консулом вне очереди, между тем как ежегодно должны были избираться по-прежнему два очередных консула.

Уговор 19 г. дополнил акты 27-го и 23 г., не изменяя их. На протяжении всего 8 лет мы видим ряд конституционных соглашений; они не опрокидывают друг друга, но представляют последовательную цепь пересмотров, которые ведутся с известной медлительностью и неуверенностью. Они прерываются крупными политическими волнениями, больше того, пересмотр каждый раз является последствием серьезных политических затруднений и составляет результат взаимных уступок.

К сожалению, благодаря некоторой особенности изображения в источниках истории Августа, большинство новых и новейших историков неизменно повторяли одну ошибку. Карьера Августа и вместе с тем современная ему эпоха и общество у Светония и Диона Кассия распадается на две большие главы различного содержания и, что особенно любопытно, написанные различным языком и манерой. Коротко говоря, эти две главы могли бы быть обозначены словами: история и система. Новые историки и биографы Августа и его времени держатся того же размещения. Сначала идет быстрым последовательным темпом «возвышение» героя событий, его успехи и неудачи; затем с достижением вершины или, по крайней мере, той высоты, которая кажется автору наибольшей, картина меняется: активность изображаемого им деятеля принимает совершенно другой вид, она идет не в борьбу, а в творчество, в организацию. Вместо последовательности во времени появляется систематическое размещение; герой уже не завладевает, а строится. А вместе с тем неощутимо и все вещи кругом него приходят в спокойствие, в устойчивое равновесие. Разрезом служит обыкновенно 27 год. До этого момента идет повествование; после него начинается описание. До этого года Октавиан и его совре-

менники сделали то и то. После него они только имели обыкновение делать так и так. Хронология точно теряет свою силу; можно сделать иной раз и скачок через 20—30 лет, можно сопоставлять разновременные явления и прилагать к ним одинаковую мерку.

Очень характерно эта манера отразилась в размещении материала, принятом в огромном основательном сочинении Garthausen'a, «Augustus und seine Zeit» (Leipzig, 1891—1904, шесть томов). События до 27 г. трактует первый том в последовательном порядке. Во втором томе мы находим организацию Августа с 27 г. Первый его отдел, подразделенный на главы: Август (характеристика личности), принципат, империя и провинции, сенат, народ, чиновники, финансы, армия и флот — собственно исходит от соглашений 27 г., но рассматривает систематически, привлекая на каждом шагу факты, определившиеся позднее 27 г. Историк описывает рождающийся вновь порядок независимо от колеблющихся условий его возникновения. Конечно, и такой описательный очерк имеет свое полное основание; но желательна, по крайней мере, оговорка, что политические бури вовсе не кончились, и больше того, что образование описываемого порядка зависело от толчков и указаний, которые давались политическими волнениями. А между тем, если кто-нибудь пожелал бы у Гардтаузуена найти сведения о событиях 735/19 г. и влиянии их на устройство принципата, то не нашел бы ни единого слова в главе о «реорганизации»: вместо того пришлось бы пробегать большие отделы, обозначенные «Запад и Восток» (т.е. внешняя политика 20-х годов), и отыскивать оторванные и недоконченные данные о революции Эгнация Руфа под идиллическим заголовком «Возвращение домой обоих властителей (Августа и Агриппы)».

Нечего говорить, что всякое учреждение, всякий сложный порядок разлагается в действительности на акты отдельных времен и отдельных людей; то, что мы называем системой отношений и что мы описываем в качестве таковой, есть наша фикция, наше умственное отвлечение. Эта фикция очень полезна для изучения вещей; но мы должны помнить ее происхождение и ее назначение и не смешивать ее с реальным ходом вещей, не предполагать, что система рождается и умирает такую, какою она нам представляется. Когда мы говорим о цельной политической группе, называемой принципатом, мы сжимаем невольно перспективу многих последовательных форм и явле-

ний в одну плоскость. Если нас занимают не только результаты процесса, но и самый процесс, то мы должны помнить, что равновесие общественных сил и политических властей слагалось медленно и неуверенно. Пусть республиканский строй пал в 48-м и в 42 г., но республиканцы, интересы, люди и идеи остались, и их протесты были по времени весьма бурны. Новая политическая сила не могла, как это представляет Дион, ограничиться устройством великолепного представления, парада из республиканских терминов, чтобы позади этой маскировки выстроить чуть не в один день неограниченную власть. Изученные нами колебания и соглашения 27-го, 23-го, 19 г. должны иметь смысл в наших глазах; мы не можем видеть в них только учено-теоретическую игру или взаимные поклоны; в каждом отдельном шаге приходится искать реальной передачи или замены реального полномочия.

То, что потом составило объединенную сумму императорской власти и выговаривалось зараз в одной формуле — как, например, при передаче власти Веспасиану, — сложилось из разрозненных одиночных постановлений. Среди них соглашения о разделе областей 27 г., о принятии трибунской власти 23 г., о принятии консульского авторитета вне очереди 19 г. — лишь наиболее важные; многие другие не совпадают с ними и независимы от них. Так, например, в 27 г. императору было особо передано, в силу постановления народного собрания, право заключать международные союзы. Особым актом сената в 22 г. передано ему право созывать сенатские заседания. Раньше, в 29 г. передано право назначать на священнические места. В 22 г. передано полномочие на организацию хлебоснабжения. По временам передавалось и право пересмотра списка сенаторов и т.д.

Тот факт, что в принципате комбинировались разрозненные полномочия, как нельзя более выразился в том обстоятельстве, что принцепс, как всегда охотнее звал себя сам Август — президент, как мы могли бы перевести это выражение, — не получил определенного титула. В официальных обозначениях рядом стоит как бы несколько равнозначных терминов. Например, на одной надписи, относящейся к концу правления Августа: *imperator Caesar Augustus pontifex maximus tribunitia potestate pater patriae consul censor*.

Образование принципата представляет большой кризис римского и италийского общества, совершившийся под давле-

нием империи, т.е. колониальных войн и приобретений. Громадно было воздействие самого материального факта имперского расширения в непосредственном, до известной степени, сыром его виде. Но Риму и Италии передавались также готовые продукты культуры других стран, и особенно Востока, которые на месте сложились долгими веками комбинаций интересов и понятий; таковы были греческие политические теории, таковы были формы египетской администрации. В числе этих заморских ценностей появилась и восточная теология. Она сыграла немалую роль в декорации и орнаментовке новой власти принцепсов в Риме. Императоры, начиная с Цезаря, схватились жадно за ее формулы и символы. Конечно, символы не были в настоящем смысле орудием власти; но из красок, которые доставило старинное восточное богословие, получалось совершенно своеобразное сияние, которое могло гипнотизировать толпу, чему доказательством служило и служит неизменно успешное подражание римским Цезарям всех больших и малых монархов Европы в течение 19 веков.

Одним из заметных моментов в усвоении принцепсами восточной теологии служат «юбилейные празднества», организованные правительством Августа в 737/17 гг.

Основная идея мирового юбилея была весьма стара на самой почве Италии. Но можно считать несомненным ее происхождение из старинного Вавилона. В Италии она, по-видимому, раньше всего была принята своеобразной культурой этрусков и от них перешла в Рим. В последнее время под влиянием великих открытий, сделанных на почве самой Вавилонии, исследователи склонны сводить мифы и религиозные символы, может быть, несколько суммарно, на астральные гадания и вычисления. Согласно этому толкованию, великие таинственные века, переживаемые человечеством — не что иное, как небесные циклы. Мир пережил когда-то великий лунный век; он переживает теперь великий солнечный век. Соответственно огромным векам, жизнь мира дробится на более мелкие и частные циклы; между ними выдаются периоды затмений; в конце в качестве мельчайших периодов стоят годовые и суточные сроки. Но учение о «веках» и юбилейных поворотах имеет, по-видимому, основание не только в астральных представлениях, а также в особом взгляде на человеческую жизнь, яркие следы которого мы встречаем у современных народов низкой культуры. Это именно — представление, согласно которому жизнь че-

ловека образует смену кризисов и возрождений, связанных с вступлением в известный возраст; судьба человека распадается на периоды, между которыми гранью лежат тяжкие испытания, замирания; проходя через них, человек очищается, возвышается к новой жизни. Так или иначе, из разных групп представлений сложился взгляд, что в жизни человечества есть сменяющиеся возрасты, есть периоды роста, расцвета и уклona, или «века». Они образуются очередью следующих друг за другом поколений. Весь мир как будто движется вперед, в рамках сроков, очерченных жизнью поколений, переживает при смене их катастрофы и вновь возрождается. «Века», таинственные фазы, ступени возраста, через которые проходит мир, определяются временем, в течение которого вымирает одно поколение и нарождается другое.

Теория выработала систему вычисления мировых сроков: когда умрет последний из людей, родившихся в начале одного века, тогда начинается другой, следующий век. Ввиду этого за век принимали приблизительно столетие. Но богословие не соглашалось остановиться на наших арифметических и астрономических точных и открытых во всеобщее сведение столетиях. Ее века были мистические века; лишь специалисты-гадатели могли установить точный термин нового века, который наступает то позже, то раньше в зависимости от известных знамений. Когда скопляются различные указания на предстоящую кончину мирового века, люди должны быть оповещены, чтобы они могли отомолиться от тяжелых бедствий критического момента, искупить грозные знаки жертвами и играми и обеспечить себе, таким образом, вступление в новый, лучший век; если они помогут себе соответствующими обрядами, усилят соответствующими посвящениями момент возрождений, то новый мировой век может начаться светлыми знамениями и принесет им безмятежное счастье.

По сведениям римских археологов, первые вековые игры праздновались вслед за изгнанием царей при основании республики, последние — в 146 г., одновременно со взятием Карфагена, т.е. некоторым образом в момент рождения империализма. Для правительства Августа было бы очень выгодно оставить в сознании общества ту идею, что под патронатом могущественного императора начинается новый, счастливый век. Но, к сожалению для него, со времени последних игр прошло гораздо более ста лет, и срок юбилея был пропущен. Однако Август

нашел в лице юриста Атея Капитона искусного и гибкого толкователя, который сумел приладить непослушную хронологию, доказать, что последний юбилей был не в 146-м, а в 126 году и что «век» может протянуться на 110 лет; в заключение он вычитал в книгах мистический пророчицы Сибиллы нужный срок для объявления нового мирового юбилея.

Наконец было решено отпраздновать вековые игры летом 737/17 года; придворному поэту Горацию поручили написать юбилейную кантату. Между прочим, Гораций дает в ней краткий обзор возникновения и развития римского государства, и тут уже, без колебания, Эней, сын Венеры, великой богини-матери, назван прародителем второго Цезаря-Августа.

Праздник начался с ночной церемонии: в полночь 1 июня, первого дня, с которого должен был начаться новый век, сам Август на берегу Тибра, там, где по преданию основатель римских юбилеев исцелился из чудодейственного источника, принес жертву трем богиням судьбы и молил их об охране и увеличении мощи Римской империи. По данному сигналу вспыхнуло пламя на всех светильниках, и начались торжественные богослужения, пение хоров и праздничные игры, продолжавшиеся три дня.

Официальная поэзия еще раньше поднимала тему о возвращении золотого века в Италии. «Цезарь Август, сын обоготворенного, говорил Вергилий, ты рассыпаешь обновленные золотые дни над Лацием по тем пажитям, где царил однажды Сатурн». Она представляла Августа вообще провиденциальным человеком. То император оказывался Меркурием, сошедшим с неба: бог обратился во властителя, вносящего в среду возрожденных людей элементы просвещения, охраняющего на земле мир и выполняющего миссию римского народа. То путем игры слов Августа превращали в божественного августа, т.е. бога-гадателя, Апполлона; высший бог Юпитер указал ему великое дело, подобное тому, какое исполнял Аполлон: искупить кровь гражданских войн и открыть собою новый век.

Нетрудно заметить приближение и сходство этого круга понятий с теми идеями, которые одновременно придвигались из азиатского религиозного мира. Сходство римских политико-церковных идей с известными христианскими понятиями так велико, что Бруно Бауэр в середине XIX в. мог выставить особую теорию: христианство — продукт римской государственности, перенесенной на Восток и выраженной в азиатской мис-

тической терминологии. В настоящее время после великих открытий, относящихся к восточной культуре, ответ получается иной. Основные идеи мировой религии, искупление человечества кровью, воплощение божества, обещание суда праведного и второго пришествия — очень старые идеи. Те окончательные формы, в которые они вылились, христианство, позднейшее иудейство, гностицизм, парсизм, манихейство, ислам, составляют лучи, вышедшие из одного большого религиозного очага в Передней Азии, где, по-видимому, происходило сильное брожение еще за два-три века до появления Евангелий и до фиксации того сказания, которое приурочивает начало новой религии к определенному месту и лицу. Официальное прославление римского принципата, формула, гласящая, что император — мировой бог-искупитель, не что иное, как одна из параллелей большой религиозной струи. По всей вероятности, уже на почве старинного Вавилона была царская церковь и церковь тайная, отреченная, преследуемая. Обе они пришли в Рим и встретились там в формах цезаризма и христианства так же враждебно, как и на родине.



ПОЗДНЕЙШИЙ ПРИНЦИПАТ АВГУСТА

Десятилетие от 27-го до 17 г. представляет ряд попыток со стороны императора установить правомерный конституционный режим в соглашении с высшими общественными классами. Положение принцепса далеко нельзя было назвать прочным. Оппозиция несколько раз пыталась завладеть высшими должностями в столице. Колебания самого принцепса между трибунством и консульством ярко отражают его затруднения.

С середины 10-х годов I в. до Р. Х., насколько мы можем судить, борьба затихает. В новых соглашениях, которые бы дополняли или изменяли акты 27—23—19 гг., уже нет нужды. Очевидно, положение принцепса фактически становилось устойчивее. Каковы были ближайшие основания для этой перемены?

За битвой при Акции в 31 г. и присоединением Египта в 30-м наступает продолжительная мирная эра. Принцепс заявлял себя, прежде всего, спасителем общества от бурь междоусобных войн, восстановителем национальных традиций и первым гражданином; он старался показать, что весь отдавался задачам внутренней политики; в этом смысле он развивал свою программу в одном из посланий к сенату, доказывая, что империя дошла до естественных границ своих, что необходимо удовлетвориться существующими приобретениями. Вместе с тем Август отступает, сколько возможно, за коллегиальные формы: он избегает единоличности и до известной степени присоединяет в соправители Агриппу. Приблизительно со смерти Агриппы (13 г. до Р.Х.) политика начинает меняться. Последнее десятилетие до Р.Х. отмечено крупными успехами во внешних отношениях, большими военными предприятиями и значительным расширением императорской доли в империи тех колониальных владений, которые непосредственно зависели от военного владыки. В политической автобиографии Августа это

новое торжество империализма нашло себе яркое выражение, производящее контраст со скромными и сдержанными параграфами о гражданской и мирной политике 20-х годов. Различие тона и содержания в упомянутых двух частях Анкирской надписи дало основание новейшему исследователю, Корнеманну, построить целую теорию последовательного возникновения этой политической летописи правления Августа¹. По его мнению, первоначальный остов возник рано, приблизительно в начале 10-х годов, и имел целью характеризовать совершившееся «восстановление республики». В настоящем виде надписи он занимает первые 13 глав и затем, после большой вставки, вписанной позднее, продолжается и заканчивается двумя главами 34—35, которые и составляют разобранный нами выше формулу республиканского и конституционного лоялизма Августа. Тринадцатая глава, последняя перед перерывом, т.е. в первоначальной редакции третья от конца, состоит из очень характерных выражений: «До моего рождения, за весь период от основания города храм Януса Квирина, который, согласно желаниям предков наших, мог быть закрыт только по замирении римлянами всей земли и всех морей, закрывался лишь два раза; в мой принципат сенат трижды решал закрытие храма». В этих словах еще осталась первоначальная формула возвещенной Августом эры мира. Тем резче отделяются от нее по своему содержанию втиснутые в середину главы 14—33, трактующие о крупных задачах народу, о росте императорских финансов и об успехах внешней политики.

Присмотримся ближе к тем событиям, которые изменили общий характер политической летописи Августа и политического отчета, представленного им народу римскому.

На Востоке за время принципата Августа не было сделано завоеваний в собственном смысле, но зато римляне добились дипломатическим путем немалых успехов. После больших побед Помпея в 60-х годах положение империи на восточной окраине было долго весьма затруднительно. Завоевания Помпея придвинули римскую границу к Евфрату и непосредственными соседями империи стали парфяне, наследники «великих царей» староперсидских. Почти непрерывно в течение 40 лет тянулись враждебные отношения между римлянами и парфя-

¹ Kornemann. Zum Monumentum Anciranum, Lemann's Beitrage z. alt Gesch. II, 1 (1902); III, 1 (1903).

нами по большей части к невыгоде Рима. Из трех римских экспедиций, снаряженных против восточного врага, одна, Цезарева, расстроилась вследствие его смерти, причем собранные им войска и суммы послужили фондом для организации защиты республики против триумвиров, другие две, Красса и Антония, окончились тяжелыми и позорными для римлян потерями. Снова парфяне захватили почти все восточные области римлян в 41 г. и держали их в течение нескольких лет.

Август сумел найти противовес парфянам в пограничных княжествах, Каппадокии, Армении, Мидии. Армения стала почти вассалом Рима: римляне посадили в ней царем претендента Тиграна, своего клиента, выросшего в Италии. Парфяне вынуждены были согласиться на более прочный мир; их «великий царь» дал римлянам моральное удовлетворение, отослав императору римские знамена, захваченные при гибели экспедиции Красса в 53 г. Римская дипломатия вмешалась даже в династические споры в парфянском царстве. Август в своей автобиографии несколько преувеличенно отметил эти успехи: «Ко мне бежали, умолая о защите, цари парфянский и мидийский... парфянский и мидийский народы приняли от меня, через посредство своих послов, просимых ими царей»¹.

Принцепс очень хлопотал о том, чтобы представить публике все значение этого мирного и в то же время авторитетного решения «восточного вопроса». Официальные органы, истолкователи его политики, говорили, что, благодаря новым приобретениям Рим всюду дойдет до границы Океана, облегающего землю; на земле будет только один божественный правитель народов, как на небе один верховный бог-громовержец. Близкие ко двору императора поэты Гораций, Тибулл, Проперций писали панегирики героям, которые переступят каменные стены Бактры, отнимут у ее царей благоуханные льняные одежды, обуздают китайцев с их закованными в железо конями, обледенных гетов и солнцем сожженных индусов. «От страны восхода солнца и до края его заката царит величие империи... Никто не смеет нарушить приказов Цезаря, ни те, кто пьет воду глубокого Дуная, ни геты, ни китайцы, ни коварные персы (т.е. парфяне), ни уроженцы далекого края у Дона».

Однако у римского правительства на Востоке не было завоевательных целей. Скорее имелись в виду соображения тор-

¹ Mon. Anc. 32—33.

говой политики. Впоследствии от Средиземного моря через Бактру в глубь китайских владений шел путь торговли шелком. Может быть, китайский шелковый рынок открылся при Августе. В 19 г. владетель Бактры, которому принадлежала также Северная Индия, прислал в Грецию блистательное посольство. Оно оставило впечатление в империи; больше всего говорили о приехавшем с послами индусском аскете-самосожигателе, который в присутствии Августа в Афинах, после своего посвящения в мистерии, разложил костер и, как рассказывали, со смехом бросился в пламя. Август записал: «Ко мне не раз индийские цари присылали посольства, никогда не виданные до тех пор ни при ком из римских вождей».

Весьма настойчивую торговую политику можно было наблюдать и в другом направлении. Когда греки утвердились в Египте, они стали искать морского пути в Южную Аравию и Индию, чтобы обеспечить себе прямые сношения со странами, откуда помимо пряностей, драгоценных камней, предметов роскоши и туалета, вывозили хлопок, индиго, свинец. Новый властитель Египта, римский император, вступил в этом отношении в наследие Птолемеев. Страбон рассказывает, что каждый год большая масса кораблей направлялась по Красному морю на юг. Но пока не знали периодического действия муссонов, движение было неправильно; моряки нуждались в опорных пунктах и гаванях вдоль длинного пути. В конце 20-х годов большой отряд в 10 000 человек под начальством египетского наместника Элия Галла отправился из Египта вдоль западного берега Аравии. Однако он потерпел неудачу: арабы, взявшиеся быть проводниками, но желавшие расстроить предприятие, завели римлян в дикую пустыню, и Галл вынужден был вернуться. Об этом поражении так же, как потом о гибели Вара в Германии, Август умолчал о своем отчете.

Другой характер, чем на востоке, носит пограничная политика на севере и западе. Империя имела тут дело с областями, которые пока не могли много дать торговле. На северной окраине двух полуостровов, Аппенинского и Балканского, к старокультурным вплотную придвигался беспокойный полуномадный варварский мир; он стоял совсем близко к культурным центрам, к большим торговым дорогам. На Балканском полуострове он прикасался даже к морю: весь угол нынешней Румелии, занятый полудикими фракийцами, был совершенно независим от империи: римляне натолкнулись здесь на священную

войну, как современные англичане в движении из Египта против среднеафриканских племен.

Альпийские горные народцы перегораживали пути из Италии в новое колониальное владение, в галльские области. Одна из дорог извивалась обходом у моря мимо Генуи в Марсель; здесь приходилось посылать римских офицеров для наблюдения за лигурами, всегда готовыми броситься на проезжавших. Другие дороги шли через самый хребет Альп, направляясь к Арлю, Лиону и Женевскому озеру; пока южные проходы оставались в руках воинственных племен, они беспокоили крестьян и колонистов речных долин верхней Италии. Римляне поставили ряд укреплений против главных горных выходов: Турин, Иврею и отняли у горцев золотые рудники, находившиеся в ближайших долинах. Но пока независимые племена держались на высотах, от них не было покоя. Племя салассов около Малого Бернара отводило воду или заставляло владельцев рудников покупать ее. Под предлогом работы над дорогами и мостами они скатывали громадные обломки на проходившие римские отряды. Однажды они ограбили даже обоз с серебром, принадлежавший императору. Римляне принялись за суровое истребление горных племен. После жестокого погрома в 25 г. в области салассов все уцелевшее население, 44 000 человек, из них 8600 воинов, были проданы в рабство с торгов, и покупателям было поставлено условие, чтобы они увели рабов в отдаленные места и не освобождали ранее 20 лет. Затем римляне проложили две дороги через оба Бернарских прохода: теперь можно было достигнуть Лиона в 2 или 3 дня пути от Италии.

Приблизительно те же мотивы направляли императорскую политику в отношении к Рейнским и Дунайским землям, Германии, Реции, Паннонии, Иллирии и Фракии. Первоначальная цель заключалась в том, чтобы обеспечить за собой недавно занятые большие территории вдоль границы. Особенно важно было закрепить главную вотчину дома Юлиев, богатую естественными произведениями, плотно населенную Галлию, которая стала чуть ли не первой провинцией империи. Недовольные римским господством, независимые элементы Галлии тяготели к германцам, и несколько раз германские племена, особенно сугамбры, приходили из-за Рейна. Эта опасность была так серьезна, что в 12 г. император решил перейти в наступление. Под начальством пасынка Августа, Друза Клавдия Нерона, римляне переправились за Рейн. Войну вели методами Цезаря: приме-

няли крупные технические сооружения, старались привлечь по возможности германцев на службу и ловкими дипломатическими средствами разъединяли племена. На севере Друз провел канал из Рейна в Зюндерзее и двинул морем большой флот на прибрежные племена батавов и фризов. Позже римский флот прошел тем же путем до устьев Эльбы и поднялся по реке для соединения с сухопутным войском. Оперирова, таким образом, с других концов, с суши до среднего Рейна и с моря, римляне в походах 12—8 гг. до Р.Х. захватили всю Северную Германию до Эльбы. Из приобретенных земель образована была новая провинция с центром в главном городе племени убиев, будущем Кельне.

Почти одновременно (14—9 гг.) шло завоевание придунайских земель. Мотивы вначале приблизительно были те же, как и в покорении прирейнских стран. Большие независимые племена по обе стороны Дуная, особенно геты, вторгались в приобретенные римлянами провинции, в Македонию, Иллирию; римлянам надо было для отражения их добраться до прочной пограничной черты. Но в ходе борьбы выдвинулся потом другой мотив, который, впрочем, был налицо и в Германии. Варварские племена могли служить превосходным материалом для пополнения войска. Небогатые, едва тронутые обработкой земли новые окраины получали вследствие этого значение мест нового военного набора. Для завоевателя не столько важна была территория, сколько племя, на ней жившее. Отсюда возникла и своеобразная система пользования этим ценным живым материалом: целый народ переселяли принудительно к себе, на собственную территорию: с такою задачей римский наместник Элий Кат перешел за Дунай и перевел обратно до 60 000 гетов для поселения в только что приобретенной Мезии (Болгарии).

Большие завоевания, сделанные на севере, отразились важными последствиями на внутреннем положении императора. Общая площадь приобретенных земель была, по крайней мере, в полтора раза более Галлии. В свое время Галлия, благодаря своим естественным ресурсам, вспомогательным отрядам и организации выработавшейся в ней армии, составила главную опору диктатуры Цезаря. В известной мере такое же значение имел захват рейнских и дунайских земель для Августа: он поднимал средства и авторитет императора. Существенно важно было географическое положение новозавоеванных территорий: они лежали длинной полосой по всему северу и облегали кру-

гом старые сенатские провинции: военный владыка мог теперь всюду снаружи показать свой меч над серединой.

Успехи внешней политики имели также династическое значение. В трудных и сложных военных предприятиях на севере выдвинулись пасынки императора, Друз и Тиберий. В восточной дипломатии участвовал усыновленный Августом его внук, сын Агриппы, Кай Цезарь. Хотя власть императора внутри оставалась в принципе срочной, но фактически она закрепилась возможностью наследственной передачи авторитета. В 5 г. до Р.Х. Каю Цезарю устроили в Риме триумфальную встречу. Тот же Кай Цезарь, а позднее и его брат, Люций вне очереди были намечены к консульству и привлечены к важным политическим совещаниям. Влиятельный класс всадников, превращенный в новое, как бы императорское служебное дворянство, провозгласил принцев «старшинами римской молодежи». Сам старый принцепс (Августу было уже 58 лет) должен был чувствовать свое положение более прочным, чем 15—20 лет назад, когда ему приходилось колебаться между разными конституционными формами, выбирать и менять разные временные порядки. Он ответил народу громадной выдачей из собственных средств: 320 000 человек в городе Риме получили до 60 денариев каждый.

Еще значительнее был его успех в 2 г. Р.Х., когда одинаковых почестей с Каем удостоился его брат Люций Цезарь, когда Август получил титул *pater patriae*, в качестве «спасителя» культурного общества от варваров, и в Риме освятили храм Марса-Мстителя, символ наступившей военной эры. Этот год и события, на него приходящиеся, можно считать вообще как бы вершиной правления Августа, его наиболее удачной эпохой и вместе с тем наибольшим контрастом к неуверенному положению 20-х годов. В большом политическом отчете Августа этот момент отчетливо отмечено: принцепс говорит о своих огромных выдачах народу, объединяя зараз подарки, относящиеся к различным годам, говорит о богатых посольствах с Востока, о выражениях преданности и зависимости со стороны восточных государей, о больших территориях, присоединенных к империи народа римского, и наконец, о великом почете, которого удостоилась его семья — «его сыновья». В документе получается противоречие между этими заявлениями как бы укрепившегося на своем месте признанного монарха, и теми дипломати-

ческими формулами, которыми старался описать свое положение «первый гражданин».

Как ни значительна разница положения в 20-х годах I в. и 15—20 лет спустя, однако она не отразилась на конституции в собственном смысле, она не получила формулировки в новых уговорах. Произошло лишь фактическое усиление принципа, получился некоторый материальный его перевес.

Крупнее, видимо, стали его финансовые средства: он бросает народу небывалые еще подарки. Автор теории последовательного нарастания политического завещания Августа, Корнеманн думает, что теперь именно принципс нашел уместным прибавить к первоначальному заголовку *Res gestae divi Augusti quibus orbem terrarum imperium populi Romani subject* еще характерную рубрику: «И издержки, сделанные им в пользу государства и народа римского».

К этой же второй половине правления Августа относится преимущественно установление ряда чисто бюрократических городских должностей, так называемых префектов, вполне независимых от императора и чуждых республиканскому строю. Первый из этих префектов, городской полицмейстер появился, впрочем, уже раньше, в 25 г. Другие возникли позднее. Во 2 г. до Р.Х. девять отборных преторианских когорт, гвардия императора, стоявшая около Рима, и другие войска, поставленные в Италии, были подчинены двум префектам, которым дана была над солдатами уголовная юрисдикция. Немного позднее была учреждена должность начальника городских полицейских патрулей и пожарных команд, который заменил выборного эдила; и, наконец, в 6-м или 7 г. по Р.Х. для управления обширным делом хлебоснабжения столицы, после того как император сам брал на себя несколько раз *curam annonae*, был назначен его заместитель.

Появление этих чиновников отмечает каждый момент в судьбе городского управления Рима. Столица не составляла особой коммуны. В эпоху республики общеполитические учреждения и власти были вместе с тем ее городскими органами. Со времени падения правильных народных собраний и после дележа императора с сенатом в управление городом вступил полицейский бюрократический элемент, зависимый от императора. Бюрократия в городе Рима была вдвойне результатом империи: она возникла вследствие того, что в столице появился могущественный колониальный владелец, получивший перевес над

старыми республиканскими учреждениями; но она была вместе с тем чуждой Риму ненациональной формой, принесенной из новых имперских колониальных владений, точнее из новейшей вотчины императора, Египта.

Огромный материал записей на папирусах и остраках (глиняных дощечках), открытый в Египте в самое последнее время, дает нам возможность нарисовать сложную организацию наиболее развитого чиновничьего государства, которое когда-либо существовало. Эллинистическая монархия Птолемеев, устроенная главным образом двумя администраторами III в., Птолемеем I Сотером и Птолемеем II Филадельфом, во многом примыкала к стародавней организации страны фараонов. При ближайшем ознакомлении с египетскими формами становится несомненным, что Август заимствовал отсюда ряд учреждений. Прежде всего, это и видно на устройстве столицы.

В Египте совсем не было столь типичных для Италии, Греции и Малой Азии городских округов с самоуправляющимися коммунами в центре. Египетские номы были территориями, в середине которых имелись лишь поселки городского типа, без особой городской автономии; весь округ разделялся одинаково на участки, которые местами носили характерное название «доли». «А город без выборных архонтов и булевтов, — говорит Моммзен, — не что иное, как звук пустой». Столица Египта, Александрия, не составляла исключения; она была построена по плану греческих городов и разделена на участки, которые носили старинные республиканские названия дем и фил; но она не имела самоуправления. В ней не было выборной думы, различные части городского хозяйства, благоустройства и администрации были распределены между чиновниками, назначаемыми царем. Из тогдашних городов Александрия со своим многочисленным, пестрым по национальному составу, подвижным и беспокойным населением, с громадным потреблением и подвозом припасов и фабрикатов, ближе всего подходила к Риму или даже могла соперничать с ним. Понятно, что новый владетель Египта заимствовал отсюда административные формы. В Августовых префектах повторяются александрийские чиновники. «Начальника ночного дозора» нетрудно узнать в римском *praefectus vigilum* с его командами для тушения по жаров и обхода города ночью. Экзегет был воспроизведен в префекте хлебоснабжения или, может быть, в префекте города, в римском полицеймейстере.

Заимствования с греческого Востока, особенно из Птолемея Египта, идут еще гораздо шире. Таковы некоторые новые налоги, введенные Августом: однопроцентный сбор с покупки и продажи, образцом которому послужил птолемеевский пятипроцентный налог с наследств.

Новые административные и особенно финансовые функции требовали значительного штата служащих. В эпоху республики в провинциях служебный правительственный персонал был крайне невелик. При республиканском наместнике, совмещавшем в себе финансовое, военное и судебное управление, состоял всего какой-нибудь один квестор в качестве управляющего казной, может быть, несколько легатов. В императорском управлении рядом с наместником появляются финансовые прокураторы, судебные комиссары, командиры легионов, оценочные и податные чиновники. Все это сложное распределение административных специальностей в императорских провинциях составляет опять копию с подчиненного ему же египетского управления, где рядом с префектом Египта, т.е. губернатором страны, стояли судебный и финансовый начальник; а эта организация императорского Египта, в свою очередь, лишь воспроизводила птолемеевские порядки в той же стране.

Постепенно под влиянием примера птолемеевской администрации стала изменяться вся система обложения и финансового управления, откупа: заменяться прямой правительственной администрацией и контролем с обширным составом чиновников и фиксированным их вознаграждением. Вследствие этого стал разрастаться еще один новый большой разряд императорской бюрократии.

Благодаря массе новых должностей, как в провинциях, так и в метрополии, образовались два разных порядка службы, два разряда служебных лиц: старые магистраты народа римского и новые приказные чиновники императора, префекты, прокураторы и др. Первые избирались по имени народом, в действительности сенатом, занимали должности под старыми республиканскими названиями, принадлежали к старым служилым фамилиям. Вторые назначались прямо императором и сменялись по его усмотрению. Фактически они занимали должности весьма продолжительный срок; так например, третий из городских префектов при Августе, Пизон, оставался в должности до своей смерти в течение 20 лет. Императорские чиновники большей частью принадлежали не к высшему сенаторскому классу;

они главным образом набирались из всадников. В числе крупных чиновников наместник Египта был всегда всаднического звания. Всадники составили настоящий служебный разряд императорской вотчины и императорского круга господства. Крупная буржуазия Рима и Италии, завоевавшая своими капиталами и при помощи своей корпорационной организации почти все культурные страны того времени, создавшая в экономическом отношении империю, сошла теперь на более скромное положение. Большие откупа последнего столетия республики, составляя хищнический способ государственного хозяйства, неизбежно должны были привести к кризису, к истощению податных сил плательщиков, а самый кризис был еще крайне усилен громадными конфискациями со стороны военных начальников и римских партий, которые вели между собою гражданские войны. Откупа естественно утратили значительную долю выгоды, и финансовым вождям становилось все труднее привлекать капиталы и сбережения в операции компаний.

К тому же исчезли или ослабели политические условия, которые в прежнее время благоприятствовали публиканам в приобретении больших государственных угодий, доходов и аренд. Партия аграрной реформы последней поры выступления демократии была, видимо, враждебна им: это можно заключить из поведения всадников во время заговора Катилины, когда им пришлось сплотиться крепко на стороне реакции. Но еще более проиграли негоциаторы с падением народных собраний: они лишились массовой публичной поддержки сберегателей и дольщиков, заинтересованных в финансовых спекуляциях. Опустение народных сходов было вместе с тем охлаждением биржи к эксплуатации провинций. Финансисты потеряли свое политическое значение.

Правда, империя продолжала расширяться. Но завоевания уже не были направлены на богатые старокультурные страны. Новые окраины не давали ни материала для больших поставок, ни основания для широкой податной эксплуатации. Вместе с тем римская администрация заметила практическое превосходство старинной эллинистической же системы податного управления, опять-таки наиболее выработанной в птолемеевском Египте: системы, в которой правительство берет на себя организацию сбора и контроля, ставит свой персонал сборщиков на жалованье и устраивает правильное счетоводство и проверку получаемых сумм. При этой системе роль самостоятельности и

выгода арендующих подати откупщиков крайне сужалась. Государство, правда, не могло сразу перейти к этой системе: нельзя было так быстро завести себе тот подчиненный персонал и большой инвентарь, которым располагали публиканы, и нельзя было единовременным выкупом у них перевести все дело в руки казны. Легче всего было обойтись без посредства откупщиков в сфере взимания прямых налогов. Также вновь учреждаемые налоги, каков был сбор с наследств и налог на продажу товаров, организовались сразу по типу прямой казенной эксплуатации, согласно примеру эллинистических государств, откуда они и были заимствованы.

Значительная часть старого класса капиталистов, выросшего на эксплуатации провинций, выпустила, таким образом, из своих рук большие самостоятельные компанейские предприятия. Но она могла найти известное возмещение в новой канцелярской службе, заступавшей в налоговой системе место старых торговых оборотов. Правительство императорское не могло не ценить представителей этого класса, располагавших знакомством с провинцией, опытом в финансовом и счетоводном деле. Вот почему всадники образовали главные кадры имперской бюрократии: они стали одной из важнейших опор нового императорского режима. Это обстоятельство нашло себе яркое выражение в политическом отчете Августа. Именно там, где приходится говорить о событиях второй половины своего правления, он вставляет в обычную формулу: «сенат и народ римский» еще слова: «сословие всадников». Он как будто хочет сказать, что эта общественная группа — полноправный член коллективного тела государства.

Соответственно возрастанию императорского авторитета развиваются формы культа государя. Напрасно старались провести в этом смысле резкое различие понятий античного мира и христианской Европы. Едва ли правильно утверждать, что древность чужда разделению неба и земли, светского и духовного начала, внесенному будто бы впервые христианством. Едва ли верно считать культ императоров, их обожествление, наличность священников, кадящих богу-государю, исчезнувшими формами исчезнувших верований. С одной стороны, в древности республиканская Греция и республиканский Рим действительно чужды апофеозам, теократии и цезарепапизму, с другой — такие явления, как средневековые канонизации, теории власти папы-государя, обратно, государя — главы церкви, на-

конец, сама идея божественности монархической власти, прервосходно удержались и процвели на почве христианства. Дело в том, что раздельная черта вовсе не проходит между античным миром (до принятия христианства) и Европой с IV в. Она идет внутри самого античного мира и составляет не столько хронологический, сколько географический и культурно-политический разрез. В V, IV и еще в III вв. до Р.Х. в культурных странах Запада — всюду светские республики: в Греции, Италии, Сицилии и Африке, в последней Карфаген, принадлежавший к семитской культуре, которую долго историки считали, по существу, церковной. Религиозные функции в них исполняются выборными сменяющимися должностными лицами; ни на них, ни на других магистратах нет ореола авторитета небесного происхождения. Напротив, на Востоке — в Вавилоне, Египте, Персидском государстве и сменивших его Македонской и эллинистических державах — обожествление власти и существование государственных церквей. Объяснение этой разницы лежит в тех самых условиях, которые повели к развитию, с одной стороны, автономных республик, с другой — самодержавно-бюрократических громад.

Сношения с богами в старину — дело гадалелей, которые совмещают лечение, устройство хорошей погоды, привлечение урожая, обеспечение богатства, многочисленного потомства, счастливой войны и т.д. Там, где образуются мелкие автономные общины и слагаются в союзы-республики, гадалеям-жрецам нельзя подняться до самостоятельной роли: их функции дробятся между главами семей, выборными, сменяющимися старшинами и вождями; всякий умеет действовать копьем и всякий умеет немного гадать, молиться, убирать часовню и т.д. Так было, например, очень долго в Риме без всякой специализации. Великие понтифики выбирались из числа светских чиновников и притом часто в середине их светской карьеры; это могли быть юристы, военные, инженеры и т.д.

Другое дело — в Вавилоне, Египте, Персидском государстве. Тут скоплялись в руках одного рода или династии огромные запасы богатств; а в то же время здесь сложилась большая влиятельная корпорация толкователей неба, выработавшая сложную календарную науку, тонко развитое искусство предсказания, богатую мифологическую литературу. Управляя многочисленным обществом при помощи такой плотной сети магических приемов, сквозь петли которой не могла проскользнуть

ни одна мелочь человеческих отношений, власть должна была чувствовать себя очень возвышенной, подобием божьего трона, божьего управления вселенной. Стоит только прислушаться, что говорит о себе вавилонский царь Хаммурапи (за 2200 лет до Р. Х.), и посмотреть, как он изображен: в непосредственной беседе с богом солнца царь получает от него прямо всю юридическую премудрость, весь закон для народа. Уже одна централизованность гадательной мудрости должна была усиливать власть, потому что по происхождению своему власть не только материальный перевес, но и волшебство. Весьма правдоподобно, что царь в Вавилоне, если не произошел от верховного мага, то соединял в себе первоначально функции главного волшебника и руководителя высшей священной коллегии.

Наследники восточных богатств и восточной администрации, греческие и римские властители, по своему происхождению и традициям сыновья республик, вступая в обладание колоссальным достоянием, принимались символами. Их положение было иное, чем у старых вавилонских и египетских царей или у самодержавцев новой Европы; они не имели перед собой косной массы, усыпленной вековым повторением блистательного аппарата астрологических славословий, напротив, перед ними было общество, демократичное по своим понятиям, привыкшее во власти видеть своих выборных, а в религиозных обрядах — общедоступную практику. Без сомнения, грекам и италикам было довольно трудно внушить элементы нового богочитания. Но у римских властителей задача была уже легче, так как они пользовались опытом и приемами своих предшественников, эллинистических царей Востока.

В эллинистических государствах выработались различные формы обожествления царей. Есть формы более мягкие и более резкие, более и менее прикрытые собственно религиозным авторитетом. В Сирию сама власть определенными декретами ввела культ живого правителя. Царствующий государь династии Селевкидов считался воплощением бога на земле, он был явленный бог; в знак божественности на монетах его изображали в венце, окруженном солнечными лучами.

В Египте форма поклонения сложилась иначе. Главным толчком к установлению культа государя у Птолемеев служил финансовый расчет. Им нужно было отобрать в свою пользу, секуляризовать церковные имущества, и они старались мотивировать или покрыть захват объявлением своего высшего

церковного авторитета, наподобие Генриха VIII в Англии XVI. Птолемеям приходилось устраиваться среди двух разных культурно-национальных групп, греко-македонян и старого египетского населения. Имея в виду понятия первой из этих групп, а также соперничество Селевкидов, первые Птолемеи старались извлечь всю возможную выгоду из принципатата легитимности: ловкие дипломаты, они выставляли себя прямыми преемниками и потомками македонских царей, а через них полубога Геракла. Много усилий они положили на то, чтобы перенести в свою столицу прах великого Александра, его гробница стала как бы семейным их достоянием и опорой династической политики. К имени Александра, возведенного в сонм богов, в Египте стали присоединять имена обожествленных умерших царей и цариц. Птолемей II Филадельф прибавил к богам своего отца и мать под именем богов-спасителей, но когда он ввел в тот же ряд новых богов свою умершую сестру-жену, его самого при жизни стали почитать вместе с нею под именем «брат и сестра — небожители». Следующий царь Птолемей III Эвергет начал прямо свое царствование с возведения себя с женой, по примеру предшественника, в число богов, и они назвались боги-благотворители. Наконец, при его преемнике вся эта цепь старых и новых богов была соединена вместе; ныне благополучно царствующие причислялись всякий раз в качестве последнего звена к ряду государственных богов.

Но Птолемеи не упускали из виду местной старинной религии и ее духовенства. Больше того, между тем как в Сирии активно выступала сама государственная власть, декретируя религиозные акты, в Египте светская власть искусно спряталась позади иерархии господствующей религии. Египетские греки могли сколько угодно приветствовать в государстве возрожденного, воплотившегося на земле Диониса, но сама consecrация, возведение в сонм вышних, производилась жреческой коллегией старинного египетского культа, которая пошла на компромисс с пришлыми греческими властителями и приравняла их к своим старым местным фараонам. Титулы царя принимают черты египетского пафоса, он зовется «солнцеподобный великий царь верховных и нижних стран, живой образ Бога, сын солнца». С течением времени в Египте усилилась реакция национального элемента против пришедшего греческого, и цари второго века господства Птолемеев должны были искать опоры в национальном жречестве, которое как бы венчало их на царство.

В постановлении Мемфисском, которое относится к 196 г., говорится, что египетские жрецы могут приехать в новую греческую приморскую столицу, Александрию, а царь зато обязуется прибыть в Мемфис, старинную национальную столицу, где соберутся жрецы «на празднество вступления на престол Птолемея вечносущего, любимого богом Пта, богоявленного благодетеля». Жрецы определяют дни праздников в честь богов-государей, обряду богослужений, решают, в каких храмах должны быть поставлены изображения царей и т.д. Вместе с тем новый политический культ совершенно сливается со старым религиозным, государство превращается в церковь. В силу постановления, изданного в Канеппе в 328 г. при Птолемеи III Эвергете, все жрецы при всех храмах страны должны, кроме своих других названий, еще именоваться «жрецами богов Эвергетов», это обозначение пишется на всех официальных документах и вырезается на перстнях жрецов, во всяком храме образуется, кроме имеющихся четырех коллегий (фил) жреческих, еще «пятая фила богов Эвергетов»; праздники в честь богов Эвергетов вводятся в круг годовых религиозных торжеств и устраиваются наподобие праздников в честь других величайших богов.

Третий тип государственного культа, самый мягкий, представляет пергамское государство Атталидов в Малой Азии. В число богов здесь возводили лишь умерших государей, им ставили алтари и храмы; правящий царь не был бог, а лишь «близкий к богу», состоявший под особым его покровительством. Имеется, правда, жрец, но он не принадлежит, по-видимому, к настоящему духовенству. Он главным образом занят устройством парадной процессии и музыкальных состязаний, которые устраиваются в честь государя ежегодно или ежемесячно, главным образом в день его рождения. Корнеман находит, что эти обычаи мало чем отличаются от празднования в наше время королевских дней, выражающегося в торжественной литургии, народных увеселениях и парадных спектаклях.

В пергамском культе есть черта, которая потом сыграла роль в римском государстве. Помимо официальных государственных торжеств, чинов и должностей, есть еще частные соединения, есть добровольные кружки и акты преклонения, группирующиеся по городам или по товариществам. Таково, например, общество Атталистов, которое заключало в себе труппу актеров из Теоса, проживавшую в Пергаме. Это — частное учреждение, кружок, состоявший, так сказать, под высочайшим

покровительством; его ответные комплименты за это покровительство состояли в некоторых актах публичного культа, как бы похожих на современную отprawку адреса или приветствия.

Римские правители не оставили без применения ни одной черты этих культов. Постепенно из всего этого выстроилась большая сложная система, которая медленно, с большою осторожностью, была перенесена и на западные страны. Но вначале они стояли так далеко от этого круга идей, что греки подсказали им от начала до конца все сюда относящееся. Еще в самом начале больших завоеваний римлян, в 196 г., город Смирна, забегаая вперед в числе общин, искавших покровительства Рима, олицетворил великую республику в виде богини Ромы и поставил у себя этой богине Роме храм. По одной делосской надписи видно, что в I в. до Р.Х. ассоциация купцов и моряков на этом острове поставила себя под покровительство богини Ромы. Родосцы поместили в своем главном святилище статую «римского народа» в 30 локтей вышины. Но так как в провинции и на окраины являлись единоличные носители государственного величия Рима, то скоро греки перенесли на них божественные знаки отличия: проконсулам Фламинину, Марцеллу, Цицерону, Помпею присуждались храмы и игры, в этих почестях их соединяли с богиней Ромой, наподобие пергамских царей. Наконец, с именем Цезаря (а может быть, раньше еще и Помпея, который пользовался на Востоке огромным авторитетом) связываются неслыханные почести и восхваления. Из одной эфесской надписи видно, что народ и совет в городе Эфесе, так же как в других городах Азии, почтили его «как сына Ареса и Афродиты, бога воплощенного и общего спасителя жизни человеческой». Мы встречаемся здесь с тем самым характерным выражением, которое служило в почитании Селевкидов. На другой надписи Цезарь назван «богом самодержцем и спасителем мира».

Но попытка самого Цезаря и его сторонников перенести эти формы почитания живого правителя в Рим вызвала здесь сильную реакцию; ясным выражением этой реакции был заговор 44 г. В этом отношении Октавиан повел себя очень осторожно, сделав необходимые уступки установившимся в Риме и Италии понятиям. В римской среде, между республиканских символов, перед лицом аристократии, еще полной оппозиционных чувств и затронутой скептицизмом, было бы неловкой претензией выставлять на вид божественность живого правителя. У придвор-

ного панегириста Вергилия есть только общие намеки в «Георгиках» на будущий апофеоз, которым увенчается деятельность Октавиана. Поэтому в Риме допустили только культ умершего Цезаря и притом, вознесенный на небеса усердием почитателей, он был назван только обожествленным человеком, полубогом или святым, в отличие от других, настоящих богов. Характерно также, что это вознесение Цезаря пришлось осуществить постановлением сената и народа; оно вовсе не считалось, как у Селевкидов и Птолемеев, необходимым следствием его царственного положения. В этой смягченной форме обожествление приняло характер более соответствующий привычкам римлян.

В провинциях дело пошло иначе. Римские властители вступили в наследие эллинистических предшественников своих и старались провести культ живых носителей власти. Но и здесь они были осторожны. Август примкнул сначала к традициям пергамских Атталидов; самый приступ к организации провинциального культа был сделан в тех областях, которые раньше принадлежали Атталидам или были с ним по соседству. В 29 г. по желанию населения двух провинций, Вифинии и Азии, и с утверждением сената были заложены в городах Никомидии и Пергаме два храма в честь императора и Румы. Главный жрец этого культа именовался привычным на Востоке именем архиерей. Праздновали день рождения императора и, кроме того, раз в месяц собирались на торжественную службу и музыкальный концерт; для исполнения пьес существовало особое музыкальное товарищество. Это все прежние пергамские формы. Местных римлян демонстративно выделили от этого, хотя и смягченного, культа живого правителя. Им было позволено поставить храмы в других центрах тех же провинций, в Эфесе и в Никее. В течение довольно многих лет культ живого правителя не распространялся далее восточных эллинистических областей, где римляне уже застали его сложившимся, и где лишь оставалось перенести его на счастливых заместителей упраздненных династий Птолемеев, Селевкидов и Атталидов. Довольно долго в западной половине империи допускались только частные добровольные выражения религиозно-политической преданности обывателей вне правительственной инициативы.

В этом отношении второй период принципата Августа, отмеченный крупными успехами внешней политики, представляет существенную перемену. В 12 г. до Р.Х. после отражения германцев, нападавших на Галлию, как будто бы для того, что-

бы выразить полное торжество императора, среди его вотчины был поставлен алтарь Августа в Лугундуне, центре трех императорских областей Галлии. Это было начало официально организованного культа живого государя на Западе. В 9 г. после Р.Х. такой алтарь был поставлен в будущем Кельне, центре только что захваченной и организованной новой провинции Германии. В 15 г., на другой год после смерти Августа, был построен храм обожествленному умершему императору в римской колонии Тарраконе по просьбе испанцев, и «таким образом, — прибавляет Тацит к этому известию, — дан пример для всех провинций».

Политический смысл этих демонстративных символов был весьма ясен. Когда императорское правительство «соглашалось» по видимости на устройство культа, а, в сущности, поощряло или даже предписывало его, оно искало только одного: поднятия престижа власти, окружения ее известным ореолом. Всякого рода политические волнения, всякие виды неповиновения или сопротивления получали, благодаря этому церковному осложнению, оттенок как бы святотатства. Римские власти с полной откровенностью выражали эту мотивировку. Очень реально в этом смысле рассказано у Диона об учреждении культа Ромы и Августа в Галлии. Наместник страны Друз, пасынок Августа, готовился к большому походу против германских племен, напавших из-за Рейна, ему было очень важно обеспечить позади себя спокойствие в провинции, которая перед тем волновалась. С этой целью он вызвал в Лион влиятельных галлов, нотаблей страны, и склонил их к закладке храма и превращению старинного местного праздника в государственный день. Друз полагал при этом, что «страх перед совершением святотатства удержит их в исполнении своего политического долга».

В особенности в малокультурных окраинах алтарь Ромы и Августа служил внушительным символом подчинения страны римлянам. Такова была ага *Urbiorum*, поставленная на виду только что покоренной Германии. В Британии, при первом же завоевании ее при Клавдии, поставили храм в честь императора в *Samolodunum*. У Тацита нашлось одно из его ярких выражений для того, чтобы определить впечатление, производимое на туземцев этим памятником: он говорит, что, являясь сюда с приношениями, они чувствовали себя как бы в присутствии твердыни вечного господства Рима. Полуиронически впрочем,

Тацит прибавляет замечание, которое показывает, что и у более наивных провинциальных варваров римляне не предполагали особенно глубоких религиозных чувств в данном случае: «Избранные жрецы растрачивали все свое имущество под предлогом благочестия».

Обожествление римского авторитета старались по возможности сплести с привычными местными формами культа. Императора соединяли с каким-либо богом. Имена и титулы императора вводили в местное административное деление и приспособляли их к местному календарю. В этом направлении на острове Кипре дошли до крайнего предела политико-религиозной угодливости. Здесь 12 месяцам дали новые наименования, которые представляли собой не что иное, как расчлененный перевод с латинского на греческий императорского титула. Из длинного имени *Veneris soboles Aeneas Julius Caesar Augustus Imperator tribunitae potestatis consul saepissime pontifex familia Romanorum* получились названия месяцев, педантически курьезные: «Афродитский, потомственный, самодержавный, многократно консульский» и т.п.

На Западе, где римляне вновь вводили политический культ по образцам восточных эллинистических стран, им самим приходилось придумывать формы и приемы, чтобы приспособиться к местным традициям и привычкам. Так, например, они воспользовались готовой уже организацией общего культа в Галлии и ввели в нее лишь свои принципы. Здесь с давних пор существовали праздники в честь бога Луга, совершавшиеся в начале августа около Лиона. Собиралась отовсюду масса народа; торжественные религиозные церемонии сопровождались большим торгом, ярмаркой и очень популярными турнирами поэтов и риторов. Когда Друз вводил культ Ромы и Августа в Галлии, он воспользовался привычным для галлов местом и временем собраний. Храм новых политических богов освятили 1 августа (10 года); отпраздновали обычную ярмарку и состязания в Лионе, но они стали служить с этой поры новой цели. Организация культа носила также весьма определенный социальный оттенок. В провинциях римляне всюду старались опереться на существующую или вновь утверждавшуюся социальную иерархию. В своем господстве они старались заинтересовать местную аристократию, поскольку около нее группировались обширные круги населения. Принцепсы в этом отношении продолжали политику сената, а организованный ими культ

государя был средством привлечения влиятельнейших людей провинции.

Всякая область, где вводился этот культ, избирала для него высшего провинциального жреца, архиерея (на Востоке) или фламينا (на Западе); они также назывались по провинциям — Азиарх, Виенниарх, Гелладарх. Провинциальный жрец выбирался общим собранием области, составленным из депутатов от ее городов и общин, в свою очередь он председательствовал в этих собраниях, руководил ежегодными празднествами и играми. В самом собрании преобладали крупные землевладельцы и городские магистраты, совмещавшие большею частью звание иереев того же культа; избираемый ими архиерей, естественно, был из числа крупнейших людей провинции. Должность его была выборной на известный срок, но тот, кто раз занимал ее, поднимался уже пожизненно в известный ранг: в некоторых семьях жречество принимало фактически наследственный характер. Одна надпись Фиатире упоминает архиерея Азии, которого отец, дед и прадед также были архиереями.

Должность провинциального жреца по своему социальному складу воспроизводила хорошо нам знакомый тип римского патрона, несущего общественную службу. Подобно тому, как римский магнат, принявший магистратуру в столице или муниципии, платил за свой авторитет выдачами на общественную помощь и на развлечения, так и провинциальный жрец тратился на большие игры, которые давались в праздники, связанные с культом государя. По необходимости это должен был быть один из богатейших людей провинции. Обеспечивая себе посредством городской и провинциальной аристократии повиновение массы населения, императорское правительство в обмен старалось легализировать местный патронат, социальный перевес высшего слоя. Оно выделяло предводителя местной аристократии и спускало на него свет высшего политического авторитета: у него был ликтор; он пользовался почетным местом в театре, носил особый костюм, освобождался от принудительной присяги и т.д.

Эта социально-консервативная почти бессознательная политика римских властителей в провинциях ведет нас назад, к строю, водворившемуся в метрополии. Если бы цезаризм был демократической монархией, как мог бы он превратиться на окраинах в социальный патронат? Впрочем, мы достаточно знаем его с этой стороны и в центре, в метрополии. Нам остается

ся только добавить еще несколько лишних черт для социально-политической характеристики принципата.

Мы можем начать с определения внешнего строя. Из трех старинных конституционных элементов Рима, описанных Полибием — магистратуры, сената и народа, — последний ко времени принципата исчез, выпал в качестве правильного реального фактора. Но это явление началось еще в 80-х годах I в. при снижении трибуната, а потом особенно выразилось в закрытии политических обществ в эпоху острых социальных столкновений. От прежних республиканских сходов, плебисцитов и выборной агитации остались лишь известного рода нравы и привычки столичного населения: во время больших всенародных парадов и процессий, особенно в цирке, группы граждан имели возможность выразить настроение, заявить недовольство, подать петицию. От господства старого экс-государя, народа римского, остался этикет, который должны были уважать новые правители. Светоний передает в этом смысле характерную подробность: Август заставлял себя внимательно и с интересом смотреть на зрелища, которым отдавался народ, так как принцепс помнил, какое неудовольствие и шум в массе вызывал Цезарь, позволявший себе отворачиваться от арены и заниматься делом со своими секретарями.

Два других элемента старой конституции сохранились, но стали в новые отношения между собою. Империя, т.е. посторонние владения Рима, в такой мере перевесила метрополию, что старое коллегиальное правительство должно было разделить власть с постоянным обладателем окраин, который сосредоточил важнейшие наместничества и вышел из очереди, образовал «династию». В глазах античного историка период господства династий начинается раньше Августа и Цезаря; он захватывает большие и продолжительные империумы, начиная с Суллы. Тем не менее, надо признать, что между новой имперской и старой метрополитной властью установились правильные оформленные отношения. Все эти многочисленные акты соглашения, все это церемонное исполнение политических обрядов не могло быть одной маскировкой абсолютизма. Не имея возможности определить связный текст соответствующей конституции, мы должны однако допустить наличие самого факта конституции.

Как в большей части конституций, так и в римском принципате налицо был компромисс между старой и новой властвующей

щей силой. Нам несколько мешает определить отношение между ними в этой римской комбинации то обстоятельство, что мы естественно вызываем в своей мысли конституционные монархии XIX в., а в наше время старая и новая силы размещены в обратном порядке. В конституциях новой Европы старая властвующая сила — наследственная королевская власть, опирающаяся на отживший феодальный принцип; новая сила, нация, гражданское общество, вынуждена с нею размежеваться и оставить ей сферу влияния, сохранить за ней особый закон существования, не согласный с принципом социального равенства. В Риме единоличный правитель, продукт империи, колониального управления и милитаризма, явился новой силой; старую власть, с которой он должен был совершить раздел, образовала бывшая правительственная аристократия, сосредоточенная в сенате, располагавшая огромным недвижимым имуществом, массой зависимых людей и владевшая политической практикой. Она была своего рода наследственной властью, так как должности занимали представители тесного круга фамилий, и служба составляла их нормальную профессию, в которой брат и сын подвигались за старшим представителем семьи, как в английской политической аристократии с конца XVII в.

Гардтаузен обстоятельно сравнивает политику Августа и Наполеона III, напоминая в то же время о сходстве Цезаря с Наполеоном I. Историки пользовались подобными сравнениями личностей для снабжения конституций: в римском принцепате находили сходство с наполеоновской бессословной диктатурой, опиравшейся на подготовленные плебисциты. Мы должны отбросить эти аналогии уже потому, что нет ничего общего в строении общества той и другой эпохи.

Приходится искать другие примеры, но уже не из новейших времен, для того, чтобы найти нечто похожее на эту конституцию. Строй принцепата скорее похож на то, что называлось конституцией Франции до революции и что фактически было в силе в XVI в. По определениям французских теоретиков это не была система прерогатив, фиксированных определенными актами, это была совокупность владельческих интересов и охрана владельческих привилегий, все они находили выражение в группе преимуществ, удержанных провинциальными штатами, дворянством, парламентом. Такую группу признанных гарантий для городов метрополии, для ее служилых фамилий представлял также строй принцепата. Некоторыми чертами фран-

цузский дореволюционный парламент, как средоточие служебной аристократии, напоминает римский сенат этой эпохи; между ними есть сходство отдельных моментов. Сенат пытается выступать верховной политической инстанцией при смене правления и решать вопросы престолонаследия. Он уничтожает в 37 г. завещание Тиберия, как парижский парламент в 1715 г. завещание Людовика XIV. В 41 г. после смерти Калигулы и в эпоху смут после смерти Нерона сенат пытается провозгласить свой верховный политический контроль, как парламент в эпоху Фронды. Все подобные сравнения, разумеется, имеют цену только очень общих наводящих указаний. Они полезны лишь для того, чтобы освободить нас от подчинения терминам политической символики, чтобы направить наше внимание на тот тип социальных отношений, который можно всего вернее предположить под известным политическим строем.

В исторической литературе, особенно под влиянием драматических изображений Тацита, останавливались, главным образом, на проявлениях антагонизма между императором и сенатской аристократией. Столкновения их сводили к различию и вражде социальных начал, выражаемых императором и аристократией. Поднявшийся над этой борьбой политический строй, казалось, должен был носить на себе все черты социального раздвоения. Оттого так популярна концепция Моммзена, который называет первый период империи диархией, двоевластием принцепса и сената, оттого так распространен взгляд, что политический строй принципата отличался какой-то особенной неустойчивостью форм, зависевшей от колебания противоречащих начал. Правда, есть направление в новой литературе, которое вместе с Дионом Кассием утверждает, что принципат был едва прикрытым абсолютизмом; форма была не раздвоенная, а цельная, потому что одно социальное начало, представленное императором, торжествовало над другим, представленным отжившей аристократией. Тот и другой взгляд опираются на неправильную оценку социальных отношений. Оба предполагают, так или иначе, противоположность общественных форм и идей между концом республики и началом императорской эпохи, а в принципате видят какой-то боевой порядок, основанный на более или менее полном крушении старой общественной силы. Исторические аналогии заставляют нас подумать в данном случае о другом типе социальных отношений и о другом характере происхождения политического строя. Мы уже видели, как

далеко было общество конца республики от нивелировки классов, от подъема низших социальных слоев. Аналогия наводят нас на мысль о необходимости найти соответствие между политическим порядком и господствующими социальными отношениями: принципат мог быть не только результатом борьбы сил, но и результатом соглашения, взаимодействия их.

Крупнейший колониальный владелец состоял не только в известном соперничестве со старым владельческим классом, которое могло по временам доходить до столкновений, он правил также в некотором согласии с этой аристократией. Он стоял также во главе развивающейся системы общего патроната. Принципат образовал до известной степени верхушки слагающейся общественной иерархии.

То странное направление германской науки XIX в., которое пыталось, исходя из очень бледных социалистических идей, приписать современной монархии социальные задачи, не обошли в своих поисках за аналогиями и римских императоров. Верующие в консервативный социализм спрашивали: нельзя ли в римских монархиях также видеть социальных реформаторов, действовавших на пользу низших классов? Стоит ли доказывать, что общественная роль защитников свободного и несвободного пролетариата совершенно не идет ко всему облику и поведению Августа, Тиберия и др. и их преемников? Вся обстановка, окружавшая первых императоров, говорит против такого понимания. Принцепс ведет образ жизни крупного магната, вокруг него теснится свита большого сеньора. Надо затем заглянуть в его земельную вотчину, порядки которой ярко рисуют памятники II в.: этот патримоний императора состоит из тех же старых латифундий с обширными рабскими фамилиями, при абсентеизме владельца, который управляет через посредство бюрократии вольноотпущенных, издает суровые вотчинные уставы и отдает мелких вторичных арендаторов крестьянского типа в полное распоряжение главных арендаторов и своих чиновников. В общей тенденции к патрональному закреплению рабочего состава император шел, может быть, даже впереди остальных владельцев: знаменитый потом крепостной колонат выработался на африканских латифундиях римских властителей.

Есть другие, еще более близкие непосредственные указания на социально-консервативное направление политики первых принцепсов. По словам Светония, Август был крайне не-

податлив, во-первых, в даровании прав римского гражданства, а затем и в отпуске рабов на волю: он поставил ряд ограничительных условий с тем, чтобы уменьшить число отпускаемых на свободу, затруднить всячески рабу выход из его состояния и в особенности достижение полной свободы. Тщательно были разработаны правила о промежуточных ступенях между рабством и свободой, разные ограничительные исключения и запреты при освобождении. Не удовлетворенный этими ограничениями, он еще добился, чтобы раб, носивший цепи или подвергнутый пытке, никогда и ни под каким видом не мог получить свободы. В данном случае Август повторил взгляды и практику своего божественного отца, который, как мы видели, занимал такое видное место в развитии рабовладения и дисциплины рабов в Италии. Можно привести еще яркую иллюстрацию социального консерватизма в политике Августа. В инструкции городского префекта, т.е. градоначальника Рима, намечена, между прочим, одна обязанность, которая дает возможность судить о мотивах учреждения самой должности. Префекту внушалось «быстрой расправой обуздывать рабов и мятежных граждан». Очень любопытно это сопоставление рабов и мятежных граждан. Заместитель императора в столице назначался для того, чтобы охранять существующий порядок от социальных волнений, в которых, как показывали недавние события, несвободный рабочий класс обыкновенно соединялся со свободным низшим. Таким образом, новый правитель определенно становился на сторону владельческих высших классов и обещал им свою охрану.

Чем дальше само общество стояло от нивелирующих направлений, тем более принцепс был склонен помогать общественной иерархии. Начинается резкое распределение общества на имущественные разряды с различными служебными привилегиями и почетными отметками. Вслед за сенаторским классом посредством высокого ценза замкнули также класс всадников. Из его среды были удалены люди разорившиеся и вообще все те, кто не мог представить ценза в 400 000 сестерциев. Только почетное право занимать видные места в публичных процессиях или играх было сохранено за людьми, которые раньше имели всаднический ценз или чьи отцы имели такой ценз.

Всадники, как уже было сказано, составили настоящий служебный слой для занятия новых бюрократических должностей в империи. Август выделил из них высшую группу с цен-

зом, равным сенаторскому, в особый разряд *illustres*. Для них были открыты все выдающиеся должности нового режима, наместничества в императорских областях, префектура Египта, префектуры претория и по хлебоснабжению. В рядах этой новой императорской аристократии стоит один из важнейших сотрудников Августа, Меценат, который из своеобразной гордости не хотел вступать в кадры сенаторской службы. Август всячески старался сблизиться с всадниками: молодые люди этого класса образовали особую корпорацию, во главе которой были поставлены внуки Августа под именем старост римской молодежи. Всадники давно перестали быть кавалерией в гражданском ополчении. Но в городе Риме из них были организованы шесть парадных эскадронов, которым император ежегодно делал смотр и в состав которых он помещал отбор из всаднической молодежи. В театре всадники занимали особые почетные места; среди них обладатели «публичного коня» (т.е. предоставленного на общественный счет) были выделены особым местом, они занимали «ложи младших».

Следующую группу составляли люди вновь разбогатевшие и те ветераны, которым император давал золотое кольцо за особые заслуги, затем провинциалы, возведенные императором в звание всадников. Для этого низшего разряда всадников были свои служебные кадры: они преимущественно заполняли гражданские суды, список которых насчитывался до 4000 присяжных. В остальной массе выделяется еще одна группа, стоящая между всадниками и простым народом, как бы средняя буржуазия Рима. Этому классу был также предоставлен ряд судебных мест, для замещения которых требовался ценз в 200 000 сестерциев. Кроме того, им были предоставлены около 1000 мест окружных надзирателей или старост по городским кварталам. Надзиратели, четыре, пять человек на каждый квартал (которых в Риме было всего 265), назначались из местных обывателей кураторами регионов, т.е. больших городских частей. В известные торжественные моменты они надевали парадный мундир и выступали в сопровождении двух ликторов.

Должность окружных магистров существовала издавна и имела связь со старинным культом Лавров и местных святых-покровителей, которым ставили небольшие часовни или алтари на перекрестках.

Староста околотка вместе с женой, носившей также религиозный чин, магистры с небольшим жреческим братством,

смотрели за Ларарием, который крестьяне обвешивали по окончании работ сломанными хомутами и украшали в праздники цветами и лентами, местная коллегия устраивала к этому времени гулянье и небольшие публичные игры. С ростом столицы, с усилением иностранной иммиграции культ Ларов пришел в упадок.

Поддаваясь некоторому течению общей религиозной реставрации, Август старался придать почитанию Ларов более приличный характер, вероятно, субсидировал алтари и празднества. Вместе с тем при нем в реставрированный культ начинают вплетать почитание гения императора: в молитвах стали поминать личного патрона государева совместно со святыми околота, это как бы значило, что император всюду входит в среду тех высших местных сил, которые представлялись обывателю оберегателями существующего социального порядка. Таким образом, обновленный культ принял охранительно-политический оттенок, около него образовалась своя общественная иерархия, сложилась своя мелкоместная аристократия. *Viscomagistri* с коллегиями, стоявшими во главе околоточных культов, получили более видное значение в городе; они образовали особый почетный разряд в мещанстве. Это учреждение получило еще большее значение в других городах, в итальянских муниципиях и провинциальных общинах. В этих мелких и средних копиях Рима культ императорского гения вместе с почитанием традиционных богов и святых-охранителей выдвинул новый привилегированный слой из зажиточных групп общества.

Вообще говоря, активное участие в культе, исправление связанных с ним жреческих обязанностей и устройство игр требовало довольно больших трат и было доступно лишь состоятельным людям. Богатые слои свободных классов были заняты службой в куриях, в местных сенатах. Соответственно своему административному положению, декурионы, члены сената, занимали в муниципальном культе Цезарей высшие жреческие должности фламинов и иереев. К низшим жреческим местам того же культа устремлялись люди другого социального разряда, особенно зажиточные вольноотпущенные. Эти низшие жрецы в городе составляли шестичленные коллегии: они были *seviri Augustales*. Севиры данного года вместе с севирами прежних лет, уже прошедшими эту должность, отделялись в особую почетную группу августалов, промежуточную между декурио-

нами муниципального сената и местным плебсом, приблизительно соответствовавшую римскому всадничеству.

Образование околоточной и муниципальной охраны под почетным патронатом императора само по себе было явлением социальной иерархизации, но оно, в свою очередь, должно было служить орудием дальнейшей социальной остановки и замирания социальной жизни. Низшие классы могли составлять свои коллегии и братства; но им трудно было думать о какой-либо социальной борьбе, раз зажиточные группы были организованы и прикрыты двойным, религиозным и политическим авторитетом. Нет ничего более характерного для социального положения в начале империи, как замена прежних демократических кружков и обществ, игравших такую видную роль в конце республики, патронированными союзами с местным жречеством во главе.

Принцепс шел навстречу этой организации социальных верхов: власть его и опиралась на нее, и служила ей выражением. Если в строении власти можно усматривать символ социального порядка, то в данном случае этот символ был ясно начерчен и отчетливо передавал тенденцию общественной жизни.

Общество это весьма чуждо демократическому сознанию нашей новой европейско-американской культуры. Но мы можем воспроизвести в воображении его общий облик. Мы можем нарисовать себе его состав и группировку, когда оно в полном сборе размещалось в цирке в крупный праздник. Заметно отделялись общественные разряды по своему костюму, по занимаемому ими положению. Впереди сидели сановники, затем сенаторы и их сыновья. Далее шли четырнадцать скамей для новой чиновной аристократии, всадников. Солдаты были отделены от остального народа, плебеи семейные — от холостых. Биограф Августа ставит императору в большую заслугу, что он устранил беспорядочное смешение званий в цирке и рассадил граждан со строгим разбором, расписал их по табели. Иерархически размещенное общество, собравшись на свой главный парад, присутствовало, прежде всего, при акте большого публичного богослужения. Представление начиналось с того, что длинная процессия спускалась с Капитолия и через форум проезжала в ворота цирка: среди нее двигались жрецы, в больших колесницах везли изображения богов и обоготворенных императоров. В религиозном обряде еще раз повторялась социальная градация.

Сам живой патрон общества не мог уклониться от появления на параде. Он сосредоточил в своих руках столичные развлечения, дробившиеся раньше между капиталами нескольких магнатов. Но он не мог ограничиться одними тратами, только кинуть деньги. Он должен был сам явиться на общенародное собрание, это была обязанность его звания. В цирке принцепс со своей свитой, окруженный сенаторами, занимал место, открывавшее его всему народу. Его принимали кликами политического приветствия. Могли быть и менее приятные выражения общественного настроения. Но это не изменяло общего склада социальных отношений. Всякому магнату, патрону больших свит и фамилий, приходилось выслушивать жалобы и шумные коллективные заявления зависимых от него людей. Зато в дни больших раздач они терпеливо и смиренно стояли по местам. То же самое было теперь у главного патрона, превзошедшего всех остальных. Демонстрации в цирке уравнивались системой кормления. Это кормление столичной массы начато было еще консервативным правительством конца республики, превратившим временно-агитационную меру демократии в постоянную выдачу и средство ублажения массы. Уступка правящей аристократии являлась, до известной степени, орудием против партии социальной реформы, суррогатом разрешения социального вопроса. Окончательное установление системы кормления было, поэтому, как бы знаком гибели социальной реформы. В этом деле, как и в подавлении общественно-политической жизни посредством закрытия клубов и «неразрешенных» корпораций, принципат служит прямым продолжением режима аристократии.

В системе кормления провели лишь более настойчивую регламентацию. Принцепс и его министр хлебоснабжения заведовали подвозом, поставкой и распределением главного предмета первой необходимости. Доставка в порты, погрузка, инвентарь хлебного флота, огромные магазины для хранения — все это требовало целой армии подчиненных чиновников. При Августе число лиц, получавших ежемесячно из государственных складов хлебный рацион, пролетариев, было определено в 200 000. Собственно говоря, размеры выдачи, приходившейся на отдельного человека, были совсем не так роскошны, чтобы можно было назвать это проявление казенной благотворительности премией за праздность. Это был дополнительный паек, на который нельзя было существовать. Женщины были выклю-

чены от раздач. Выдавалось зерно только мужчинам, следовательно, на семью по 5 модиев в месяц = 2 пуда, или $2\frac{2}{3}$ фунта в день. Для сравнения напомним, что Катон высчитывает минимальный паек раба в 4 модия зимой и $4\frac{1}{2}$ летом.

Если бы нужно было в немногих словах определить впечатление, которое производит общество Рима и Италии в эпоху установления принципата, мы могли сказать, что оно замыкается в сложившихся рамках, останавливается в своем движении. Это впечатление подкрепляют черты культурного сознания эпохи.

Характерной политической формулой августовской эпохи было восстановление «старинного и первоначального вида республики». Под этой формулой прошло конституционное соглашение, определившее принципат. Сколько бы ни было здесь вложено политической дипломатии и даже политического лицемерия, остается в высшей степени характерным тот факт, что правительство искало опоры в культе старины и шло ему навстречу. Политическая и социальная реакция любит облекаться в формы ученого интереса к национальной старине, любит поддерживать антикварные, археологические разыскания, любит окружать себя атрибутами и обстановкой подлинной и воображаемой древности. Археологический национализм сильно выражен у самого Августа и в окружающем его обществе. При благосклонной поддержке императора начал изображать славное прошлое Рима ритор Ливий на своем торжественном языке. В доме Августа учителем его внуков был принят исследователь древности Веррий Флакк. Август был не прочь указать с аффектацией на то, что на нем вся одежда по-старинному приготовлена работой его домашних. Его дочь, знаменитая впоследствии своим мотовством и приключениями Юлия, должна была, по его воспитательному плану, расти, как древняя римская девушка в скромной тиши за домашней работой, приготовляя с рабынями пряжу. Можно догадываться, что в известных кругах блестящего римского общества эти причуды немало вызвали смеха, тем более что добровольное воспитание не уберегло дочь императора от бездны обыкновеннейших увлечений; но Август проводил свой культ старины с серьезной миной.

Подогревать национальное чувство картинами великой древности казалось Августу хорошим социально-педагогическим приемом. Подвиги предков должны были утешить общество в его политическом бессилии. Биограф Августа Светоний

говорит: «Он чтит, почти наравне с бессмертными богами, великих людей, которые вознесли так высоко римское могущество, он велел возобновлять поставленные им памятники, сохраняя на них славные их надписи, он поставил их статуи в триумфальных костюмах под двумя портиками своего форума для того, чтобы, как он говорил, их пример дал возможность судить его самого, пока он в живых, а после его смерти — всех государей, его преемников. Даже статуя Помпея была поставлена против его театра, под мраморной аркадой»¹. Возвеличение деятелей прошлого должно было служить династическим целям: Август старался собрать все традиции, все великие имена около имени своего и своей семьи. Соображения этой династической дипломатии ярко выступают в погребальных процессиях императорского дома. Надо припомнить при этом, какое значение вообще для римского рода имели церемонии похорон и особенно несение изображений предков, которое нередко превращалось в драматическое шествие фигур старины, представляемых лицами свиты нобилей. На похоронах Августа несли изображения всех замечательных людей Рима, начиная с Ромула, и между ними опять фигурировал Помпей: процессия представляла как бы обоготворение всей римской традиции в лицах. Еще любопытнее был тот погребальный парад, который показали народу в начале правления Тиберия при погребении его сына Друза. Тут вывели в длинной процессии родоначальника дома Юлиев Энея, всех альбанских царей, основателя города Ромула, потом сабинскую знать, от которой вели себя Клавдии, предки Тиберия, — Атта Клауза и изображения всех представителей знаменитого рода. В этом политическом театре характерно отстранение ближайших прямых родственников Августа, темных Атиев и Октавиев, и появление такого литературно-романтического создания, как Эней, а в то же время любопытно желание династии опереться на традиции римского нобилитета, подставить себя чуть ли не к совокупному прошлому аристократии.

В пользу такого обоготворения римского прошлого с увеличением его в образе правящего дома работали и другие сторонники нового строя. С подобной целью Агриппа выстроил знаменитый Пантеон. По мысли инициатора это был общеримский национальный храм. Против входа поднималась статуя Юпите-

¹ Svet. Aug. 31.

ра Карателя: направо и налево были боги и герои, покровители Юлиева дома, Марс и Венера, Эней и Юл, затем Ромул, основатель Рима патрицианского, и Цезарь, основатель Рима императорского.

С характерной эффектацией правительство любит напоминать о воспитательном значении старины. То собирают моральные сентенции, рассыпанные у древних авторов, и посылают их в провинции магистратам, то в римском сенате читают, по предположению Августа, речи, которые произносились в эпоху старинных суровых нравов. В своем политическом завещании Август говорит: «Своими новыми законами я опять поднял уважение к примерам и обычаям наших предков, давно забытым».

В связи с политической романтикой стоит и религиозная реставрация, которую опять-таки усердно поддерживало правительство. Едва ли можно предполагать горячие религиозные чувства у Октавиана, усыновленного свободомыслящим Цезарем, учившегося в высшей греческой школе на Востоке, интимного собеседника скептического Горация. Его религиозная политика, вероятно, вся была тонким расчетом. Но для того, чтобы пойти на этот путь, надо было встретить соответствующий тон настроения в обществе. В этом отношении произошла несомненно перемена со времени Цезаря, который, как говорят, публично выразил в сенате свое недоверие к учению о бессмертии души.

Усиление в римском обществе религиозных страхов и благочестивых упражнений, без сомнения, составляет факт, отражающий лишь в другой форме все то же замирание политической жизни. Мастер социального угадывания, каковым мы должны признать Августа, отдал ему обильную дань. В 12 г. до Р.Х. Август стал в качестве великого понтифика во главе культа. Всюду он начал показывать чрезвычайную ревность к восстановлению заброшенных святынь, оживлению полузабытых обрядов, открытию, подновлению и публикации старинных пророчеств. Стараясь поднять народный культ Ларов, император в то же время внушал аристократам необходимость поддерживать старые домашние часовни. Он записался сам во все религиозные союзы. Решено было начинать сенатские заседания торжественным обрядом. Составили и издали свод мистических пророчеств таинственной Сивиллы.

Римское общество подходило, по-видимому, к тому самому концу, который завершил несколько раньше бурный, свер-

кавший талантом и смелой мыслью век греческой демократии. И тот, и другой мир укладывался своими утомленными членами, своими истощенными жизненными органами в формы, издавна существовавшие на Востоке и казавшиеся от незапамятной старины какими-то окаменевшими палеонтологическими глыбами. Без сомнения, и там на этом царском астрологически слаженном Востоке когда-то кипела политическая борьба: следы демократических протестов остались еще в традиции маленькой Иудеи, несмотря на многократные клерикальные обработки ее истории. Мы можем предполагать то же самое на родине Библии, в старинном Вавилоне: в кодексе Хаммурапи уцелела единственная, но для нас необычайно ценная глава, содержащая угрозу жестокого преследования политических заговорщиков и их укрывателей. Да и у самих проповедников царства «не от мира сего» остались, под легко поддающимися разгадке символами, проклятиями, посылаемыми сильным сего мира, вероятные отзвуки какой-то старинной задавленной оппозиции. Все это, однако, были лишь могильные памятники для западного общества для греков и италиков, в тот момент, когда у них самих стала водворяться монархическо-церковная, бюрократико-крепостная организация, давно восторжествовавшая на Востоке.

Век демократии всюду был краток сравнительно с господством своего антагониста в Италии он, может быть, еще короче и, во всяком случае, бледнее, чем в Греции. Демократия старинных стран, лежащих у Средиземного моря, держалась на быте независимых крестьян, мелких хозяев на земле, виноградарей, пахарей, садоводов, в Греции также свободных ремесленников, каменщиков, гончаров-художников, оружейников и некрупных купцов-мореходов. Труд и энергия этих классов, их жажда богатства и создали империалистическое расширение как в Греции, так и в Риме. В современной жизни наиболее ясно подобную связь демократии и империализма можно наблюдать в Северной Америке. Новая демократия выставила, однако, рядом с этими воинственными задачами широкие идеалы справедливого мирного раздела общего человеческого богатства, лишь слабо мелькающие в социальной мысли античного мира. Новая демократия в то же время прочнее, устойчивее, чем греческая и римская, и не даст себя одолеть. Судьба античных демократий для нее поучительна, но не в смысле «ошибок», которых следует избегать: всякое общество ведь работает в меру своих сил.

Поучение лежит в другом, в возможности сравнить и оценить условия разных эпох: демократические общества Греции и Италии были слишком малочисленны и одиноки; при своем расширении они не встречали равных соперников, которые научили бы их подумать об устройстве широких союзов однородных групп; империализм вырастал в виде одностороннего господства и, в конце концов, «становился могильщиком» создавшего его общества. Подданные окружали зерно энергических завоевателей плотной стеной крепостной организации, и эта организация вторглась внутрь самого общества в виде невольничьей работы, разбивая, таким образом, первоначальную трудовую основу независимых хозяйственных элементов. Демократия была уже социально разрушена, когда приходил соответственный политический конец, когда формы господства и иерархии, установившиеся на окраине, в области империи, появлялись в метрополии.



СОДЕРЖАНИЕ

1. Рим и Италия до образования империи	5
2. Возникновение империализма и начало римской демократии . .	35
3. Итальянская революция и реакция	81
4. Новый подъем империализма римского капитала	118
5. Образование магнатства	145
6. Последнее выступление демократии	178
7. Подготовка принципата	227
8. Падение республики	274
9. Военный империализм	303
10. Первое десятилетие принципата Августа	341
11. Позднейший принципат Августа	380